№.2

Слова
л.о.в.а
Л.О.В.А

2.0.1.5

«Водолей»
Чикаго–Москва

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
С48

РЕДСОВЕТ

Витковский, Евгений *(Россия)* – председатель

Афанасьева, Вероника *(Россия)*
Басова, Ирина *(Франция)*
Бонч-Осмоловская, Татьяна *(Австралия)*
Зельцман, Эльвина *(США)*
Клугер, Даниэль *(Израиль)*
Кольчужкин, Евгений *(Россия)*
Комков, Олег *(Россия)*
Ли Мэн *(США)*
Мичковский, Олег *(Россия)*
Молодяков, Василий *(Япония-Россия)*
Хиива, Ирья *(США)*
Яблонский, Александр *(США)*

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Моло́дый, Вадим *(США)* – главный редактор
Данцина, Елена *(США)* – редактор
Александровский, Сергей *(Украина)* – перевод
Бабанская, Алена *(Россия)* – поэзия
Драгунская, Ксения *(Россия)* – драматургия
Кузьменков, Александр *(Россия)* – критика
Лемехов, Сергей *(Россия)* – графика
Мазурова, Анна *(США)* – проза
Слепухин, Сергей *(Россия)* – эссеистика
Собакин, Тим *(Россия)* – поэзия для детей

ISBN-13: 978-1519601889
ISBN-10: 1519601883

© Авторы, 2015
© С. Лемехов, оформление, 2015
© Издательство «Водолей», оформление, 2015

Уважаемые дамы и господа!

Вы имеете возможность прочитать этот номер альманаха благодаря щедрости наших спонсоров. Имена приводятся в алфавитном порядке.

Михаил Бухало, Altman Dermatology Associates
Александр Гашунин
Анна Гуревич
Вадим Дехтяр, Life Balance Clinic
Сергей и Юлия Зацепины, Радио «Народная Волна»
Ян и Флора Кацнельсон, USA Vein Clinics
Лев Кипнис Health Box Clinic
Светлана Коваль
Михаил Коган, Kogan Self-defense
Фаина Кравченко, Женсовет газеты «Reklama»
Галина Крафт
Константин Лакирович
Мириам Левина
Валерия Левитина
Марина Либова, Real Estate Broker
Эрик Нагаж, Advanced Arlington Medical Center
Эрнест Ниссен
Талия Прилуцкая
Леонид Сагальчик
Вера Свинцова
Жанна Свинцова
Лора Скевин
Елена Скоп
Яков Стрельчин, Yakovs Studio
Владимир Федин, Chicago Dental Arts
Белла Чернис
Земфира Элькина
Дмитрий Якубов

Издание печатного альманаха требует расходов, и без вашей финансовой поддержки ни один номер не выйдет в свет.

Желающие оказать помощь в издании альманаха могут купить его во всех магазинах, торгующих книгами издательства «Водолей», а также в интернет-магазине «Амазон». Вся выручка будет направлена на издание следующего номера.

Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет



Сергей Александровский

* * *

Илье Будницкому

Мне голос был. Он звал утешно...
Анна Ахматова

Хочу покоя, праздности хочу!..
Вселяют годы в каждого тревогу:
Пусть век никчемный вновь себе дорогу
Прокладывает к мору и мечу,

Кадит и ловкачу, и палачу –
Мне все равно. Я мыслю понемногу
О том, что возраст подставляет ногу,
И что не грех наведаться к врачу.

Я ныне чужд любых твоих забот,
Юдоль ничтожных прав и чахлых льгот,
Тлетворный, тусклый мир Большого Брата...

Зазывно шепчет Повелитель Мух –
А я руками замыкаю слух,
Глядя на луч пурпурного заката...

20 мая 2012

ANIMAL FARM

Юрию Лукачу

Усердно жвачку жуй, людское стадо,
Пока тебя хозяйская рука
Пасет! – и множься, коль велят пока
Из года в год плодить за чадом чадо.

Убой далек, беспечное говядо –
Знай, тучные нагуливай бока!..
Строг фермер, да заботлив: табака –
Не надо, молвит. И стихов – не надо...

Не зря мирскую дрянь, земную грязь
Насытил и взлелеял темный князь:
Доволен сброд, и славит властелина;

Век шествует – греша, глуша, круша...
Сиротствует бесправная душа,
И царствует несмысленная глина.

21-22 мая 2012

CUM GRANO SALIS

Андрею Кроткову

На Святой Руси петухи поют...
Н. Берг

Нет, радио горланит на Руси! –
Вседневно, ежечасно и повсюду:
Везде почет назойливому чуду
Техническому, Господи спаси...

Что ж, громкоговоритель, голоси –
Дай волю горлодеру, словоблуду!
И я внимать, скрипя зубами, буду
В автобусе, в троллейбусе, в такси...

А прежде, молвят, нас возили кони;
И, говорят, не только в глухомани
Возможно слушать было тишину...

Кляну всяк час Попова и Маркони,
Кляну всяк день Кулона и Гальвани –
И век пропащий всячески кляну.

24 мая 2012

* * *

Олегу Комкову

Живу без права быть собой;
Живу без права на покой;
Живу, не ведая, зачем –
Живу, как ем: и глух, и нем.

Про поэтическую лень
Забыв, кидаюсь, что ни день,
Как все двуногие скоты,
В объятья серой суеты:

Не затаишься под кустом,
И не укроешься листом, –
Лишь наглухо закроешь рот,
Когда за горло жизнь берет.

Умолк, подобно соловью,
И даже слёз теперь не лью –
Былым стремленьям вышел срок,
Душа уснула, как сурок:

Всё день да ночь – да сутки прочь!
И как душе не изнемочь?
В синь-порох душу перетрут
Людская дурь и скотский труд...

А на дворе опять зима,
А на земле опять чума –
И не мечи в мирскую тьму
Стихов, не нужных никому:

Скажи поэзии «адью»,
Влачащий посуху ладью...

12 декабря 2014

* * *

Вадиму Молодому

Здесь чужероден был бы книжный шкаф;
Здесь не играют в шахматы и шашки;
Здесь кофе льют в сияющие чашки,
Опальный сахар со стола убрав.

Здесь каждый рассудителен и здрав,
Здесь не дают курильщикам поблажки;
Здесь пресекут богемные замашки
И легкомысленный приструнят нрав.

Тоскующим гостям людского стойла[1]
Хмельного здесь не предлагают пойла,
Беседуя про цены и детей...

Поддакивай. И, злость поглубже спрятав,
Будь начеку: вовеки супостатов
Ни вежливей не встретишь, ни лютей...

28-29 марта 2014

1 Выражение Герцена (см. «Концы и начала», Письмо первое).

Вероника Афанасьева

(ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ ДУРОЧКИ)

«Плачет старушка: мало пожила...»
Б. Окуджава

Освоение смерти.
Шаг за шагом. Медленно.
Пробираюсь оврагом
В абсолютную
Неизвестность...
Но узнаваема до боли
Местность.
Знакома настолько,
Что невольно отзывается:
«Больно. Больно».
Темно и жутко.
Но тут же рядом –
Любопытство.
Остреньким взглядом,
Мыслями беглыми
Отвлекает от сути:
А как же все-таки
Это будет?
На что похоже?
Что позабудем,
А что запомним?
Кого осудим,
Кому снисходительно
Прощенье...
О, лицемерие смиренья!
А нас какою мерой
Измерят?
По мере только ли
Или неверью?
Света чаемого
Дождемся ли?

К ризе Божией
Прикоснемся ли?
Господи, успокой
Старушку,
Заглянувшую
В жерло пушки!

ПОСЛАНИЕ ДРУГУ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Вспомни, о, вспомни!
В том мире, что полон
Неверия и сомненья,
Мы жили, словно Адам и Ева
До грехопаденья.
Среди суеты, отчаянья и
Без-надежности.
Тихо выращивали цветы
Веры и нежности.

* * *

Господи!
Верую
В Твое
Всесилие!
Помилуй,
Спаси и прости!
Мир погибает
От обилия
Целлофановых пакетов,
Человеческой глупости
И болтовни!

Май 2012

САМОЕ ШУТОЧНОЕ,
ОТ КОТОРОГО ТЫ БУДЕШЬ СМЕЯТЬСЯ

Он разлюбил ее тело.
И с горя оно потолстело.
Но осталась, дыша,
Чуть живая душа.
И не выбраться ей из тела,
Даже если бы захотела.
И не верит народ,
Что конец ей придет.

* * *

Подругам из школы –
Где дом наш веселый?
Сменили те домы
Лихие содомы.
Но им неподвластна
Тоска о прекрасном.

* * *

Снилось мне, Ариадна,
Что ты одна,
Что сидишь на камне
Бледна, грустна,
Что забыл тебя виноградный бог.
Не увел, любя,
В золотой чертог.
Со своей одна
Тяжкой ношею.
Прозываешься
Дважды брошенной.
Но ответь, ответь
Мне, избранница,
Легче ль долю терпеть
Жены пьяницы?

* * *

А нравственность стоит
На четырех столпах:
Священник, врач,
Учитель, страж порядка.
Когда они в порядке,
Жизнь в порядке.

ПРАВНУКУ МОЕМУ ВЛАДИСЛАВУ НА 2014 ГОД

На деревянной синей лошадке
Смело поскачем.
Все беды, несчастья,
Все неудачи – с дороги!
Доскачем до синего моря
В лучах золотого заката.
На теплый песок опустившись,
Замрем в ожидании чуда.
У Господа мира и жизни
Смиренно попросим.
Да будет на все, что случится,
Господь, Твоя воля!

29 декабря 2013

* * *

Переводчик –
Перевозчик
Слов
В глубь
Миров
По необъятности
Времени
В бесконечность
Пространства.

ЭКСПРОМТ НА ЗАГОЛОВОК ЯПОНСКОЙ ТАНКИ «ДУМЫ О ВЕТРЕ И ВОДОРОСЛЯХ» (ПО ПРОСЬБЕ Г. ЕГОРОВОЙ)

Тоску навевая,
Уныло колышет ветер
Зеленые волосы
Водорослей.

21 декабря 2013

РАЗГОВОРЧИКИ

– Присосался, как пиявка,
Вся любовь
– Только знаешь ли,
Что пиявки
Пьют дурную кровь?
– Ни на радость
Ни на горе – ох да ах!
– Это мы узнаем
Вскоре
В вещих снах.
– Пожеланье непонятно –
Не радар…
– Ну, тогда верни обратно
Божий дар…

3 января 2014

* * *

И снова – грозны
Времена.
Все против всех
Сражаются
Отчаянно,
Сполошно.
А я – пытаюсь жить
Заповедью

Максимилиана
Волошина:
Молюсь за тех
И за других,
И теми, и другими
Бита,
Как в оны времена.
Вы скажете – смешно!
Но дверь закрыта!

3 января 2014

* * *

День угасает.
Но солнце взойдет.
Docet ultra
Depresso resurgo.
Тень извещает:
За закатом – рассвет.

* * *

«Граждане, Отечество в опасности!
Наши танки на чужой земле!»
А. Галич

Граждане! Мир в опасности!
Мы распинаем Христа.

Каждый день.
Каждый час.
Вместе и порознь.
Каждый.
И при том удивляемся –
Отчего
Каждый из нас
Страждет?
Ставим вопрос:
Где был Христос,

Когда человечество
Гнило в могилах,
В Треблинке,
Освенциме,
На Соловках.
Во всей человечьей беде
Где был Он, где?
И Он отвечает смиренно:
«С вами.
В Треблинке.
В Освенциме.
В стреляной яме.
В заплеванном
Презираемом нищем.
На разоренном пепелище.
В каждом страдающем,
В каждой беде
С вами всегда и везде...»

Граждане!
Совесть моя нечиста.
Я распинаю Христа...
Почти каждый день.

26 августа 2014

Ольга Шенфельд

ДОРОГА

Дорога льется сквозь меня
Под мерный рокот голубиный…
Нужна, заброшена, любима,
Привычна в сутолоке дня,

Усталый взгляд, негладкий лоб,
Не умолкающие звезды,
Зеленоватый мягкий воздух,
С перрона выпитый взахлеб.

От суеты до суеты
(Других не нужно и не встречу).
В один поток сольются речи,
Сойдутся дымные мосты.

Попутчик пресный как вода
И как вода необходимый…
Улыбчива и нелюдима,
Благословляю поезда –

Прохладный след просохших слез,
Волнистый свет небесных конниц.
В висках анапесты бессонниц
И амфибрахии колес.

* * *

Краснощекое яблоко рыжего гамена,
Дребезжащая дудка унылого Гаммельна,
Благородная сухость забытых пергаментов –

Это осень –
Не юное звонкое золото,

Равнодушный оскал повзрослевшего города.
Это – мысли размыты и чувства размолоты.

Пряный ветер настоян на листьях и лестницах,
Хной окрашены кудри вчерашней прелестницы.
Бледноликое солнце прозрачнее месяца.

Это рыжий судья, хулиганка, бессонница,
«Ничего не простится, но что-то не вспомнится».
Это медного неба чеканная конница.

Но навстречу, по крошеву, пешая странница:
«Ничего не случится, но что-то останется,
Ни о чем не жалей, соучастница таинства»

Царство млечных пустот и ликующей просини.
Я однажды уйду холодеющей просекой.
Неужели останется – с бору по сосенке –

Две случайные строчки – подружки-ровесницы –
Постояльцы на мраморной пушкинской лестнице?

* * *

– Мон шер ами, скажите, здесь всегда
Так чопорно, безжизненно и сухо?
Я думала, поэты легче пуха,
А эти – как стоячая вода,
Устроили на сцене тронный зал.
– Ма бель ами, Вы слишком романтичны.
В наш век поэты вялы и практичны,
Мельчают демиурги на глазах –
Бочком, ползком войти в известный круг,
Печататься, плодиться, величаться...
– Поэты называют это счастьем?
– Вы слишком романтичны, милый друг.
– Как близнецы – «крыла ...лазурь...эфир...
Девятые врата...седьмое небо...»,
– Манят поэтов мистика и небыль.
– Все потому, что скучен пошлый мир.
Девицам суаре и синема,
Родителям финансы и альянсы.

Вы тоже – фельетоны и романсы,
А сочините «Горе от ума»?
– И в Персии за взгляд Ваш голубой
Погибнуть? – Гибнут нынче по расчету,
За подвигами едут к готтентотам,
А здесь царит незыблемый покой.
– Мон анж, Вы не читаете газет.
– Да бросьте, «милый друг». Во время оно
Все знали без газет Наполеона.
Взгляните за окошко. Быть грозе.
Нас ураган подхватит, закружит...
– Но Вы забыли зонтик и накидку.
– Ах перестаньте. Вымокнуть до нитки –
Ведь тоже приключение. Бежим.

– Ну вот, исчез прилизанный эстет.
Взъерошенный искатель приключений
Гораздо лучше, чем унылый гений.
– Зачем Вы не читаете газет?
– И не хочу читать. А Вы давно
Даете здравомыслия уроки?
– Война не любит медлить на пороге
И скоро дом наполнится войной.
– Чей? – Европейский. Наш уютный мир –
Прилизанный, мещанский, благодушный.
– Так Вы из тех, кто воспевает пушки
И «в каждом громе слышит звоны лир»?
Хотите упоения в бою?
А вы пошли б, признайтесь, добровольцем?
– Мой ясный свет, мое земное солнце...
– На пошлость разрешенья не даю.
Вы, все равно, невыгодный жених,
За фельетоны слишком мало платят.
Пойдемте. На ветру просохнет платье.
Гроза прошла и шум вдали затих.
– Так стихнет смех, дразнящий голос Ваш,
Мелодия шагов, шуршанье шлейфа
Моей беспечной королевы эльфов...
Последний вечер. Тающий мираж.
Обманная ночная тишина
Рыданьями взорвется на рассвете.
И память о несбывшемся поэте
Разбрызгает кровавая волна.

Мой ангел, друг, живите без меня –
Одна, с другим, но только будьте живы.
Вы слишком, ослепительно красивы,
Вам, бабочке, не место у огня...
– Вы точно ворон в черном сюртуке
И каркаете громче целой стаи.
А мотылек где хочет, там летает.
Мой бледный мистик с черепом в руке,
Подите зарифмуйте «кровь-любовь»,
Все будет лучше, чем такая проза.
– Вы слишком скоро станете серьезны,
Исчезнет смех... – Не повторяйте вновь.
Предчувствия, болотные огни,
Кровавый вздор... Не верю ни на йоту.
Я выйду замуж. Скоро. По расчету,
Поэзии высокой изменив.
Найдите жрицу мрачную под стать,
Алтарь накройте, окна занавесьте...
Я Вас люблю и мы сегодня вместе,
И это значит – войнам не бывать!

Я не хочу дописывать сюжет,
Заимствуя из тысячи романов.
Пусть век, еще бесформенно-туманный,
Останется на этом рубеже,
Замедлит взгляд на вспыхнувшем лице
Под диадемой солнечной капели...
Эрцгерцогу осталось жить неделю.
Еще не время думать о конце.

* * *

Юные глаза нежны
И насмешливо-бездонны.
В них полуночные звоны
И полуденные сны,
Блеск шампанских пузырьков
И туман мгновенной страсти,
От бессилья до всевластья
Быстрых несколько шагов.

Огнедышащая сталь
Глаз уверенных и зрелых –
Жребий брошен. Выбор сделан.
Цель огромна и проста.
Неприступный бастион
Станет звездным обелиском…
И в последней строчке списка
Женских несколько имен.

Паутинки в уголках
Глаз надмирных и крылатых.
Люди – верные солдаты
Из потешного полка –
Расставляются щелчком
На доске волшебной сказки.
Но уже близка развязка
И финал почти знаком.

Мудрость выпита до дна
И осадка нет в стакане.
Что откроется на грани
Если жизнь опять одна?
Понимая все и всех,
Не сберечь земные царства.
Как последнее лекарство
Взгляд расплескивает смех.

Не вхожу царицей в сны,
Не казню и не венчаю.
Мой удел необычаен –
Видеть мир со стороны.
Но блуждая допоздна
По сонетам и балладам,
Я в четыре этих взгляда
Безнадежно влюблена.

ДАР

И наконец дается в дар,
Как притяжение земное,
Засахарившегося зноя
Густой сиреневый отвар.

Настаивая города
На этих вяжущих соцветьях,
Весна как будто не в ответе
За все былые холода.

Какое счастье синева
Над закольцованной дорогой.
И снова жгучая тревога
Перерождается в слова,

Лучи царапают гортань,
Глаза взрываются от боли
И я придуманной неволе
Плачу придуманную дань.

ВЫЖИТЬ

Разбить свой день на мелкие дела,
Растить детей, заботиться о близких
Как будто не плодятся обелиски,
Как будто не звонят колокола.

Иначе бездна. Беспредельный ад.
Запекшиеся ненавистью губы.
Храни себя. Как неразменный рубль
Храни себя. Пока не виноват.

Хотя бы на мгновение поверь,
Что в мире есть твои любовь и воля.
Не отдавай себя вселенской боли –
Насытиться не может этот зверь...

* * *

В сухом голубином свете,
На звонкой гончарной глине
С пространством играет ветер,
Редеющий хвост павлиний
Сметая лоскутной грудой
В холодную пищу дыму.

Владения ветра всюду,
Но время царит незримо,
По теплым течет жилищам,
По улиц застывшим звеньям.
Мы станем однажды пищей
Для дыма, огня, творенья,
Для капель небесной сини
На рыжей древесной глине

Один, уходя, раскинет
Мерцающий хвост павлиний.

* * *

Не прохладной тучкой, не ветром диким,
Не блестящей шапкой на горном пике,
Не ручьем, привольно текущим мимо,
Я вернусь бессмысленной и любимой,
Я приду голодной, смешной, орущей,
Ничего не помня о райских кущах,
Ничего не зная об адском дыме,
Я приму как данность лицо и имя.
И под этим именем, с этим ликом
Мне опять захочется стать великой,
И пройдя виток в круговерти судеб,
Я вздохну беспечно: «не вышла в люди».
И земная боль утечет туманом,
И душа увидит иные станы,
И насущный хлеб обернется словом...

И родится мальчик под чьим-то кровом.

Ирина Валерина

ЯЗЫЧЕСКИЕ СТАНСЫ

Сва!

Сва, Сварог! Новый век оказался похабней прежнего,
только ты, создатель, едва ли заметишь разницу.
Что в масштабах твоих столетья – песок, конечно же…
Это мне, недалекой, вечно большое блазнится,
если дохлую муху держу, да у носа самого,
да скосив глаза, да забыв от старанья выдохнуть.

Догрызая землю, цветёт сорняк от зерна адамова.
Я молчу бездарно – не вижу иного выхода.
Да и что смотреть: ни зги не видно, одни облаточки.
Неученье жжёт, темнота темнит, пустота пустеет.
Жизни толком нет, а вот смерти – вполне достаточно.
Смерть у местных смертных – излюбленная затея.

Хоть всю жизнь навзрыд санскритских жуков нанизывай,
но все письма несут обратно слепые ангелы,
руки прячут в карманы, бренчат неразменными жизнями.
Я даю на чай, предлагаю чаю – они не наглые.

Сва, Сварог! Всё терпимо, в общем, но в ночи звёздные –
ну, вот как сегодня, ну, сам же знаешь, – я помню лишнее.
И весь мир, возвратившись в образ, плывёт по воздуху
и у губ моих замирает в твоей ладони созревшей вишнею…

Уроборос и город Ур

В заброшенный город Ур вкатывается уроборос.
Размыкает кольцо – с виду обычный полоз,
подслеповатый, шарахающийся от тени.
Таращится на сохранившиеся таблички – улицы те ли?

Улицы, вздыхающие сквозняками, –
булыжником выложены, но сердце, поди, не камень –
отзываясь на внимание чужака,
приосаниваются слегка,
встряхивают гривами заросших плодами смокв.
Смоквы гонят сок,
переспевшие финики истекают сладчайшим соком.
Уроборос томно поводит оком –
чернейшим зрачком в золотом ободке,
разевает зубастую пасть и говорит: кхе-кхе.
Таково начало тронной речи,
а заканчивать незачем, да и нечем:
уроборос не говорит, только делает вид,
что является частью Слова.

Раздаётся рык, знаменуя явление Уробороса Злого.

Улицы вздрагивают, пытаются разбежаться,
друг с другом смешаться. Змей посматривает с прохладцей,
после, уже не пряча скверный характер за архетипами,
обвивает хвостом самую аппетитную:
бывшую торговую, звучавшую на разные голоса,
пахнувшую пряностями и страстями. За–
глатывает дурочку целиком:
сыплются в чрево бездонное за домом дом,
на зубах трепещут жухлые занавески.
Уроборос теряет ленивый лоск и становится резким.

Птицы кричат: «Беги, Ур, беги!».

Сонный покой безвременья вспорот.

Уроборос улыбается во всю золотую пасть
и
пожирает город.

* * *

Атлантида видна в первый миг комендантского часа.
К. Михайлов «Троя»

Атлантида видна в первый миг комендантского часа,
а потом до скончания века таращишься слепо
то на мутное море, то в грязно-зелёное небо –
виден купол прозрачный, но звёзды бывают нечасто.

Перелётные гуппи вьют гнёзда с апреля по осень
и поют на трёх тысячах герц невозможные песни,
но мальки не выходят дорогой предвечной и тесной
на морские просторы, к обманным сверканиям блёсен.

В пролетающих чайках порой узнаваемы знаки
и, возможно, открылось бы больше, но я не авгурю
с той поры, как скурили страницы последних центурий
оголтелые варвары, дети свиньи и собаки.

Проходящие берегом пенятся брагой и злобой –
тяжелы животы, переполнены потные чресла.
В назидание всем длится день бесконечный воскресный,
забиваясь под вязкие мысли, как камешки – в обувь.

Умирающий мир верит в сказку не больше минуты,
но в преддверии вечности даже и мига довольно.
Атлантида видна. Я латаю прорехи, и теплится чудо,
и летят дромадеры на свет,
и теряются в щели игольной.

Про дауна и бога

Аллилуйя, люди, свершилось, возносите к небу хвалу,
ломайте тонкие пальцы за зиму настывшей вербе,
накрывайте столы, шинкуйте к селёдке горчащий лук –
Ваня-даун проснулся рано и бога увидел первым.

Тот шёл, опустив голову, но горел золотистый нимб
(Ваню любила бабушка и часто читала книжки),

и Ваня всё сразу понял и очень хотел за ним,
но не пустило тело, к тридцати обрюзгшее слишком.
Да и окно с решёткой (пятый, поди, этаж)
он не открыл, понятно, только ладонь поранил.

Мир ничего не видел – где значим объём продаж,
не пробудиться страху, не прозвучать осанне.

Бог уходил всё дальше, плакал навзрыд дебил,
трясся, сморкаясь трубно в мятый подол рубашки.
Он же как мог, так верил, он же за всех просил:
маме – конфет и платье, пчёлам – цветущей кашки.

День наступал, как гунны;
жарила плоть плита,
плыл по квартире запах: спонсоры, пища, милость.
Ваня смотрел в окошко и бормотал:
«Бо-бо-о-х...», а старая мама чадца тихо, привычно злилась:
– Горе моё, ну что ты, где у тебя болит,
хоть бы тебя прибрали к стае господней птицей...

...Шёл над землёй и слушал эхо таких обид,
что и хотел бы – света, но понимал – лучиться
поздно, пускай скорее кончится гиблый век,
миг – и помчатся кони Судного дня.
...Но чем
так зацепил тот сирый, маленький человек,
что до сих пор он полон им и преступно нем?
Время открыться Слову, время звучать трубе,
время камням летящим серу нести и пламя.
Время!

Но шепчет голос, даже начав слабеть,
что-то о пчёлах, кошках и престарелой маме.

В петле

Гонишь новости в дверь, сочиняешь на завтра историю,
где, конечно же, всё непременно всегда хорошо,
но сквозняк мировой шелестит за тяжёлыми шторами.

Растревожены царства: диктатор уже Рубикон перешёл
или стоит ещё подождать до второго пришествия –
там, глядишь, всех и вся уравняет священный напалм?

Истаскав себя в хлам, лживым словом жонглируют бестии,
улыбаясь на фоне причалов и ношенных пальм.
Загустевшую кровь пожирают имперские вирусы,
в пожелтевших табличках – война, а потом – хоть кроссворд.

Что тебе написать в вязкой глине затупленным стилусом,
у меня нет надежды, что кто-нибудь веру спасёт.

Я рисую цветы – ведь они унаследуют царствие,
я рисую зверей, у которых нет мёртвой души.
Пусть им будет просторно – а после и гиперпространственно,
пусть плетут пауки на орбитах свои шалаши.

Отлистай хоть две тысячи лет,
хоть добавь ещё чёртову дюжину –
неизменен сюжет, ненасытен, неостановим:
воют вдовы;
в соседнем дворе ждут наёмника к стылому ужину,
и выходит лже-цезарь из лужи запретов сухим.

Утром выйдешь на улицу: лаются горькие пьяницы,
небеса безразличны, деревья нежны и свежи.
Что ж, какая ни есть, но, похоже, пока продолжается,
заблудившись в петле временной, бестолковая жизнь.

Сон разума

Спят одиссеи в листьях, не выходя из комы.
Мимо летят столетья, шансы и навсикаи,
падают серафимы, не подстелив соломы,
виснут коты-мальчишки на «колбасе» трамвая.

Лозы пьют кровь земную жадными ртами жизни,
солнце целует грозди, свет набухает соком.
Сыплются с неба манна, рыбы, лягушки, слизни,
птицы времён дюраля, бомбы и чьи-то боги.

Разом изжив ромео, страсть познают джульетты,
но из романа века выйдет пустая повесть.
Анны, покинув шеи, ищут себя по свету:
если одна встречает свой уходящий поезд,
то для другой готовы рельсы, бидончик масла,
медь неразменной сдачи, хворь пенсионной мути.

Муторна маргарита – пахнут оливки властью.
Смотрит в окно и плачет – мастер выходит в люди.

Софья любви не пишет, вера уже не тешит.
В праведность заигравшись, правда меняет лица.
Пачкают пятна крови белую фальшь одежды.
Зло, наступив на эго, снова к добру клонится.

Хмурый седой герасим сено собакам косит.
Ртутные воды Стикса плавно несут планету.
День чередуя с ночью, лето сменяет осень.
Спит, закопавшись в листья, тот, кто придумал это.

Лар, маленький бог

> Маленькие боги, как и боги пенатов, домовые, вовсе не духи, а крохотные воплощения, иначе говоря, существа абсолютно материальные, черпающие свое могущество в той земле, на которой они обитают.
>
> *Уорс. «Сравнительный фольклор»*

Маленький бог, зевая, крутится в полусне.
Тысячи лет под боком, тысячи – в изголовье.
Зябнет немое время в старом хлеву коровьем.
В замкнутой сфере мира падает лёгкий снег.

Нет ни следов, ни тропок, нет потемневших крыш,
только к утру проступит смутный набросок жизни:
вросшие в землю хатки, слепоглухая тишь.
Выйдет отлить ночное дряхлый нечистый мызник,
ляпнет словцо гнилое в матовый небосвод,
но для плевка до солнца снова не хватит силы.

Маленький бог вздыхает. Где оно, волшебство?
Сдержанно отразившись в чаше времен Аттилы
(вспомнить бы, как досталась жаркая эта медь?),
охнет, плеснув с ладони иглами стылых капель.
Рявкнет голодным мявом злая синичья смерть,
пёстрая птичья стайка порскнет с еловой лапы –
и поползёт улитка вязкого бытия
да в некрутую гору: чайник, вода, яишня.
А и чекушка если: радости бобыля –
счесть по артритным пальцам.
Моралите излишни.

Было, конечно, было – тога, тугая брошь,
тёплый очаг, ларарий, ласковые молитвы,
пальцы матрон, нежнее замшевых тонких кож...
Было – прошло. И вышло аж до большой ловитвы
рыбарей новой эры. Что ж сожалеть о том?
Время собраться в люди да помянуть Матвея,
что обживает нынче новый подземный дом.

...Падает жгучий пепел.
Где они, те Помпеи?..

Шива танцует

Времени нет. Солнце светит. Земля летит.
В тёмных галактиках зреют чужие дети.
В рай силурийский спускается трилобит.

Ветер.
Ветер безумеет. Шива танцует твист,
звёзды грохочут в полосках тигровой шкуры,
знаком змеи замыкается квадратура,
юзом на свет продирается василиск.

Тонны песка заметают мои следы.
Я летописец дней, что упали с дуба.
В этом сценарии прожито столько дублей,
что умирать логичнее молодым,

но...

Времени нет, солнце светит, трава растёт,
дети рождаются, пчёлы приносят мёд –
этот период пока не дошёл до края
плоской Земли. Я пишу, ничего не зная.
«Котики» вербы цветут, вытесняя вайю.
Шива танцует с ветром лихой фокстрот.

Юрий Лукач

ИЗ ЦИКЛА «МЕЛИЯМБЫ» (2012–2014)

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ИТАКИ

Плывем. Куда ж нам плыть? На западе туманы,
восток прозрачно-чист, но дышит пустотой.
Дымящаяся плоть курчавого барана
сулит нам долгий путь, но не сулит покой.

Осталась за кормой усталая Европа,
горит морская соль на ранах и рубцах.
Качая колыбель, не думай, Пенелопа,
о сыне без отца, о круге без конца.

Нам предстоит доплыть до края Ойкумены,
увидеть Новый Свет, взойдя на перевал.
И снова паруса над гладью белопенной,
и кормчий на весло налег, как на штурвал.

Вернемся мы домой и баек порасскажем
о чудищах морских, о тайнах жутких встреч.
Уж если путь лежит вне зоны каботажа,
смешно из этих бед хоть баек не извлечь.

Скитальцы и глупцы, герои поневоле
по-варварски сидят за чашею вина.
Еще горят костры у стен беспечной Трои,
еще ее судьба не определена.

ПОДРАЖАНИЕ КАТУЛЛУ

Vivamus mea Lesbia, atque amemus...

Будем жить любовью, моя подруга,
нам не привыкать обходиться малым.
Кровожадно Время, но близоруко –
нас оно не сыщет под одеялом.

Пусть рычит от злости, обман учуяв,
пусть бесплодна будет его охота.
Подари мне тысячу поцелуев,
Чтобы всех завистников сбить со счета.

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

dissolve frigus ligna super foco
large reponens atque benignius...

Рассеем стужу в ночь новогоднюю!
Она совсем не для одиночества.
Мы тьме назло зажжем светильник,
стирая из памяти пятна сажи.

Не ведаю, что там богам угоднее,
но твердо знаю, чего мне хочется.
Открой же, Лида, холодильник –
там ждет заклания бок говяжий.

Пусть будет стол наш богат салатами!
Бутыль достану хмельного с полки я.
У нас вино не из Фалерна,
но зелье любое приятно людям.

Проснемся утром слегка помятыми.
Что ж, до утра еще время долгое,
содвинем рюмки – мы, наверно,
сегодня счастливы ночью будем.

ОРФЕЙ

Золотая лира творила чудо:
из уст Орфея
плыли гимны всюду на радость люду,
по ветру вея.

Но пополз ужом шепоток за стены,
сердца тревожа:
– Отчего любезны к нему камены
и девы тоже?

– И зачем, внимая его напевам,
делиться хлебом?
– Говорят, он к девам проникся гневом,
ушел к эфебам.

Сотрясала горы над царством Геи
молва земная:
– Почему орфеи живут не сея,
но пожиная?

Вопль «эван-эвоэ» безумиц громкий,
визжат сатиры.
Не придут потомки собрать обломки
певучей лиры.

ОДИССЕЙ

В мире, оставшемся без богов,
жизнь продолжается по спирали;
тени расстрелянных женихов
чаще во снах мне являться стали.

В прошлое не отыскать пути,
будь хоть семижды высоколобым.
Стоило ли по морям грести
между сиренами и циклопом?

Дома скитальца опала ждет,
а на чужбине и мед не лаком;

заново бревна рублю на плот,
к веслолюбивым плыву феакам.

Нынче Итака – барак чумной,
где на входящего смотрят косо.
Ты накорми меня, Алкиной,
прежде чем станешь вести допросы.

Мне бы вернуться в отцовский сад,
вместе с женою золотовласой
выйти на пажити, где храпят
богоподобные свинопасы.

Поздно. Забудь про уютный дом,
вертелы с мясом, хмельные чаши...
Мимо с тобой, Телемак, пройдем,
обликов родственных не познаша.

Чем же заполнить остаток лет
до завершенья земного срока?
Я одинок, и надежды нет,
как и заступницы совоокой.

ХРОМЫЕ ЯМБЫ

Сегодня праздник на дворе, не иначе –
нам с Гиппонактом бог послал по оболу!
К питейной лавке, две усталые клячи,
мы захромаем с ним рысцою веселой.

Кувшин прикупим, и возьмемся за ступки,
и на закуску сварим тертые зерна.
Вино не стыдно лить нам в мятые кубки
и кашей после закусить не зазорно.

Мы помолчим немного, чтобы разрядку
дать арахнидами источенным нервам,
и за Тантала – по чуть-чуть, для порядку –
он был концлагеря насельником первым.

Потом за тех, что без вины виноваты,
и тех, что спели не в угоду кому-то,
а стременную, как всегда, – за Сократа,
добавив к выпивке щепотку цикуты.

Харон впустую приплывет за хабаром,
(пусть Кербер в ярости заходится лаем)
услышав: «Старче, отвези-ка задаром.
Не отвезешь – мы здесь еще погуляем

и побуяним по-геракловски, где бы
и отчего ни пропадала бы наша.
В гробу видали олимпийское небо,
одно лекарство от несчастий нам – каша!»

* * *

Ели мы зверей неубитых мясо,
запивая снедь из дырявых чашек,
и не омрачала ничья гримаса
праздников наших.

Усладивши плоть, открывали двери,
и в дремучий бор нас вела дорога;
шли мы на ловитву другого зверя –
единорога.

Знали, что не будет в охоте толку,
только чистым девам он дарит ласку;
в пленницы ему подавай креолку
и папуаску.

Скрылся в чаще лев с золотой короной,
и единорог удалился хмуро;
снова не достались нам рог толченый,
львиная шкура.

Мы домой вернемся, с судьбой не споря,
новое вино подольем из меха.
Всё у нас в достатке: любовь и горе,
боль и утеха.

ШАПИТО

Гнали вас годы взашей,
иначе ли обидели –
горе излечим ваше,
поторопитесь, зрители,
и на билеты сбросьтесь!
Ночь фонари развесила
прямо над шапито. Здесь
будет сегодня весело.

Слышите? взвыли трубы
праведной скуке вызовом,
и не нужна Гекуба
пасынкам Дионисовым.
Хлопайте же в ладоши!
Вам не знакомы ни жажда, ни
наша тоска, но всё же
в сути мы схожи, граждане.

Все, кто без лонжи, сдуру
пренебрегая лестницей,
лезут на верхотуру,
чтобы оттуда сверзиться –
братья нам в жизни этой.
Ежели не бродяга ты,
так на судьбу не сетуй,
хуже бывали тяготы.

Гаер широкоротый
тоже не знал заранее,
что для него работой
станет огнеглотание.
Только попомни, зритель,
(ибо не знаем сбруи мы) –
либо ты укротитель,
либо ты дрессируемый.

Мы на поклон к разиням
выйдем смешной походкою.
Завтра мы вас покинем,
память по нам короткая,

под ноги лягут мили,
но на лугу останется
горстка манежной пыли –
дом отыскавшей странницей.

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

Орды тропами шли звериными,
их копыта мешали грязь,
и античность легла руинами,
еле видным дымком виясь.

Шла на смену речам патриция
странно каркающая речь;
пред оравою чернолицею
древних кладов не уберечь.

Вандализм обжимал подковою
достижения сотен лет;
прочь спешили яйцеголовые,
заметая по-лисьи след,

и в чащобах сыны империи,
кто не верил ни в чох, ни в сон,
укрывали свое безверие
под монашеский капюшон.

Понимая, что всё утрачено
и уже не вернется впредь,
в отдаленьи от азиатчины
принимались пером скрипеть...

Новых гуннов близко владычество –
поступь варварская слышна –
где погибнут без электричества
интернетные письмена.

Снова быть городам сожженными,
снова свистнет палачий кнут;
станут висельники баронами,
сделав сервами прочий люд;

поплетутся обозы с пленными,
и на пиршествах будет знать
в замках с грязными гобеленами
псам объедки свои кидать.

И найдутся ли те, которые,
невзирая на дикарей,
будут вновь создавать скриптории
за стенами монастырей?

* * *

Обшарив мир на норд-осте и на зюйд-весте,
путь к индиям не найдя, не открыв америк,
в лагуне причалить и с каравеллой вместе
китовою тушей выброситься на берег.

Там высушит ребра ветер хриплоголосый,
срывая мясо, как штормы срывают шкоты,
а кости отыщут местные эскимосы,
из них понаделав дротиков для охоты.

Горят в сугробах костры на прибрежных склонах,
над варевом искры вьются веселым роем –
такие вот кенотафы для побежденных
от века ставят следящие за прибоем.

Олег Комков

СОНЕТЫ

* * *

Вадиму Моло́дому

От первой до последней немоты
пройти межой молчания и речи,
до древней глины в сказочном Двуречьи,
где время обрело свои черты,

где вещи утешающе просты
и тишью веет их ночное вече,
и звёзды говорят по-человечьи,
и внемлют вести камни и кусты.

И посвящённым сделаться, когда,
свой клинописный облик узнавая
в наречьях, не оставивших следа,

душа пресуществится – и, живая,
не призраком покинет плоть мою,
но словом, возвращённым бытию.

СОНЕТ-ФАНТАЗИЯ

Вратиће се опет када лишће пане…
Јован Дучић

Мне тайный лик открыла вновь – не та ль,
Чьи сны лились, печальны и негромки,
Из мглы, где бредит у незримой кромки
В небытиё отпущенная даль?

– Облеки, обними, обмани,
Обреки на последнее чудо
Распылённые в сумраке дни!

– О несчастный! я небыль, остуда,
Лихорадка продрогшей стерни…

– Но откуда твой свет?

– Ниоткуда…

И на ветру, как траурная шаль,
Волнами складок зыблются потёмки;
Оставив сердцу льдистых слов обломки,
Уходит прочь и гасит взор – не та ль?

СОНЕТ-ЭЛЕГИЯ

Осени кончен псалом; к золотому прильнув аналою,
Молча над хладью мирской молится, вечно одна,
Зрит в несказанной дали утишающе-близкую заметь,
Млечную небыль меты, саван для сбывшихся нег.
Брошенный воздух трезвит, напоённый пречистою мглою:
Вновь распустила судьба нити святого рядна;
Слёзы нездешних дерев – помышленья сгущаются в камедь:
Вязкую жертву стиха примет бестрепетно снег.

Ветры врываются в речь, как муссонные сны Диотимы,
Сорванным гласом листвы смутно вещая чрез нас
Нечто о мерклом былом, где, грядущей тоскою хранимы,
Души ласкают ещё талассы тёплый атлас.
Вскую недужную песнь посылают пророчицы-зимы?
В ней потаённое спит, век не смыкаючи глаз.

СОНЕТ-РАПСОДИЯ

Что на кроснах твоих, Пенелопа?
Чьей судьбою дарованы нити?
Или вещую длань Ариадна
Протянула тебе через время?

Совладаешь ли ты, Пенелопа,
С бесконечною хрупкостью нити?
«Дар твой тяжек, сестра Ариадна,
Не соткётся текучее время!

Разве слёзный сотку тебе саван,
А себе – асфоделевый пеплос,
В коем встречу рассветное небо...»

Отпусти в потаённое саван,
Распусти асфоделевый пеплос –
И на кроснах распустится небо.

ИОНИЧЕСКИЕ СОНЕТЫ

Ангелосу Сикелианосу

1

Явился вновь лазурный сон, из отсветов заката,
Из рос денницы сотканный и синей мглы полудней,
Украшенный соцветьями боготворящей пены,
Что млели зачарованно, послушны флейтам ветра,
И, словно совлекла на миг сноликая Геката
С миров священный свой покров, трезвей и непробудней
Предстала явь, и светлый шум в глухие хлынул вены,
Как шум стихов, исполненных неслыханного метра,

И мира тройственный покой животворил стихии
И безраздельно властвовал в родном самодвиженьи
Полночных недр и полных вод и в пеньи небосвода,
И, древле опьянённые простором евтихии,
Цвели в уме, не ведая о смертном отраженьи,
Святые мысли талассы – мой сон, и зов, и ода.

2

О тайном ритме времени дремотно говорила
Со мной вечерняя волна, о благодатном даре
Закатов, что в безмолвие пресуществляют пламя,
Дабы надёжней сохранить пылающие лики

Вещей от смертных глаз – и там, где вечной повилики
Жгуты опутывают плоть, меж тусклыми стволами
Забывших речь древес, беречь побеги Божьей твари
Для возрастанья в тишине, чья высь прозрачнокрыла,

И волноока, и чиста; и, словно дым светилен,
Был говор вод несбыточен в голубизне простора,
И облака нездешние, как тени слов, редели,
И тихо грезил окоём тонами асфодели,
Внимая песнопениям неслышимого хора
Долин, где голос полночи всеведущ и всесилен.

3

«Я – только слух», – безмолвствовал небесносущный ветер,
До срока затаившийся над сивой дымкой моря.
«Я – только взгляд», – смущённая, алела тихо Эос,
Как сновиденье, восходя в немую душу мира.
«Я – только глас», – обмолвился заветной тайной ветер,
Бесплотными воскрыльями коснувшись плави моря.
«Я – только свет», – истаяла смиренномудро Эос
В исполнившейся пустоши лазоревого мира.

Так светогласым божеством рождалось въяве слово
О древнем веществе стихий, разлитом в лоне моря,
О вечной юности времён в святой софии мира;
И странно вторила душа, едва обретши слово:
«Я – только слух, я – только взгляд над полноводьем моря,
Я – только глас, я – только свет небесной вести мира».

4

Смиренно щедрые дары приносит смертным утро:
Священным золотом песка наполненные чаши,
Небесно-бирюзовую купель для омовений,
Юдоль души украсивший венец из перламутра,
И тайнообразную мглу над глыбами сапфира,
И кущ масличных фимиам, и нектар дуновений,
И вещий белопенный шум, что всех созвучий краше
Благовестит о пламенном безмолвии эфира,

О вечном бдении светил над лучезарной бездной,
О снах, объявших естество космического лимба
По мановению судьбы, торжественно и мудро,
Чтобы на краткий миг явить, как за чертой небесной
Из ионической дали к подножию Олимпа
Смиренно тварные дары несёт бессмертным утро.

5

Се, чайка белой мантиссой волхвует в запустеньи
Над опрозрачненной волной, где золотые нити,
Что золотые грёзы нимф иль душ небесных тени,
Колышутся, рождённые в пылающем зените,
И вновь лазоревую высь немое полнит пенье,
Чьи словеса надвременны, как надпись на граните:
«Внемлите, земнородные, лучам, волнам и пене,
Пред солнцеликим естеством главы свои склоните,

Чтоб синюю мистерию узреть в полдневном зное
И над мерцаньем талассы, подобным тайной речи
Листвы, серебряною мглой вещающей иное,
В смешеньи ветра и огня, простёршемся далече,
Постигнуть вечность – и на миг, в священной метанойе,
Возжечь лазурного ума сияющие свечи!»

СОНЕТ-ВОСПОМИНАНИЕ

Најбоље кад име у даху се смрзне
и остане тако, неизговорено.
Владимир Јагличић

Не омрак и не явь, не облик и не мгла –
Как заметь на Покров, кристалл во тьме сознанья:
И пристально гляжу сквозь призрачную грань я
На сны, которых жизнь коснуться не смогла.

И чья-то бредит речь, текучая, шаманья,
И мнится: за спиной – стоокие крыла,
И отразят ума немые зеркала
Всепоглощающую боль воспоминанья.

Но прошлогодний снег развеян, словно прах,
В надмирной пустоте, где отсверки мгновений
Мерцают издали, что замки горних душ, –

И лишь земной души нехоженая глушь
Услышит, как шумит, всех болей сокровенней,
Дыханье имени в космических ветрах.

СОНЕТ-ГРОТЕСК

Из грёз, набросанных вчерне,
Далёким отпустом вечерни
Над лунной пустошью Оверни
Воскреснет речь твоя во мне –

И уподобится вполне
Душа сивиллиной каверне,
И винный дух в сырой таверне
Восшепчет о чужой вине…

Пока судьба, ещё немая,
Бредёт овита навью мая,
Испей забвенья – и внимай,

Как бредит пенистая Лета,
Забывшись в гуще бересклета:
Lanquan li jorn son lonc e may…

СОНЕТ-НОКТЮРН

Млечной, как древле, земле
Снится теней листопад.
Медленно тлеющей мгле
Отдан до времени сад.

Светы нетленных лампад
Стынут на призрачном тле.
Льдинный, невиданный ад
Зыблется в лунном котле.

Ранним безмолвием слов,
Будто лишённые снов
Тайные мира грехи,

Сквозь исступленье и хлад
Льют искупленье и лад
В душу ночные стихи.

ИЗ ХУАНА РАМОНА ХИМЕНЕСА

Se entró mi corazón en esta nada…
Juan Ramón Jiménez. Sonetos espirituales, XLIII

В небытие душа моя вошла:
так упорхнувшая в испуге птица
порою, обезумев, очутится
в пустынной зале, где почила мгла.

И, расправляя робкие крыла,
летит туда, где бесконечность мнится, –
и вот уже озарена темница
обманом разноцветного стекла.

Но вновь и вновь о низкий небосвод
пичуга бьётся – и, ещё живая,
на миг замрёт, изодрана в клочки…

И упадёт в углу, забыв полёт,
и захлебнётся кровью, остывая
в агонии бессилья и тоски.

Алёна Бабанская

ПОЛЕ НА ЛАДОНИ

Смотрю на кадмий и на охру,
Смотрю на охру и на кадмий,
И не вздохну я, и не сдохну,
Пока мелькает осень в кадре,
Пака она парит жар-птицей,
Пока пожаром полыхает,
Пока кино не прекратится,
И свет не вырубит механик.

* * *

Тумана полог шерстяной
Висит над речкой.
Товар заморский, привозной,
Сиречь не вечный.
Его к полудню унесет,
И он растает.
А нам торчать тут круглый год,
В гробы врастая.
И жизнь посконную творя
Без всяких правил –
Как бог, который, говорят,
Тут нас оставил.

* * *

Вот река впадает в реку,
В вышине парит орел.
В берегах кисельных млеко
У околиц наших сел.
Оттого-то бродим сыты,
Нос по ветру в табаке.

Оттого не сеем жито:
Ни разбитого корыта,
Ни синицы в кулаке.
Зачерпнешь с утра рукою
Облака и провода –
Что же, господи, такое
Эта млечная вода?

* * *

Смотри, какой сентябрь отрадный,
И липы солнцем зажжены,
А мы с тобой, как полк засадный
Стоим у каменной стены.
Коварные готовим козни,
Врагам, и пытки, и расстрел.
И каждый вечер все морозней,
И стали запахи острей.
Мы бдим с усердьем глуповатым,
И в каждом видим супостата.

* * *

Сердца стук и стук колес
Из одной советской песни,
Если, братец, чушь понес –
До конца неси, хоть тресни,
Как вериги или крест,
Как за ратный подвиг орден.
Мы с тобой из этих мест,
А давно чужие бродим.
И входя в последний мрак,
Оплатив проезд Харону,
Буду чушь нести как флаг,
Непременно, непреклонно.

* * *

Вам не понятно, островным,
Куда бежать с подводной лодки,

А здесь пройди хоть полстраны,
В медвежьем скройся околотке,
Где все гуляют под хмельком
На богом брошенной равнине.
А кто пошел за языком,
В его плену сидят поныне.
Вам непонятно, островным,
Что скифы мы и азиаты,
Лежит в разрухе полстраны,
И брат доканывает брата,
А нам все божия роса.
Соврут календари и святцы.
Кого тут господи, спасать,
И чем тут господи, спасаться?

* * *

Язык родной, бескостный, длинный,
Проворный, точно помело,
С етицкой силою былинной,
Хоть матерись на все село,
Я с малых дней с тобою знаюсь,
Там отвечай, ядрена вошь!
Почто, водя все время за нос,
До Киева не доведешь?

* * *

Эту церковь, этот холмик,
Пролетели, и не вспомним,
Восхитились, и забыли,
При осеннем изобилье.
Лес густой, речушка, елка,
Сердце стукнет, сердце екнет.
Белой точкой самолет.
Сердце бедное замрет.
В это поле на ладони,
Вышло племя молодое:
Березняк янтарный, светлый.
В деревнях дымки, как петли –

Электричка, лучший путь
Дым отечества вдохнуть.
И по стыкам, как по кочкам,
И гляди, куда захочешь –
Или лучше не гляди
С сердцем, замершим в груди.

* * *

Мы не можем с тобой посрамиться,
Мы спасем пионерское знамя.
Добежим до канадской границы,
И секретик умрет между нами.
Так привыкли, живем наизнанку,
Ежечасно твердим о высоком,
И строчит пулеметчица анка
В истекающих клюквенным соком.

* * *

А мы играли в сериал,
Танкистов и собаку.
У нас никто не умирал,
А только шли в атаку.
Я до сих пор смотрю в прицел:
Момент, и выстрел грянет!
И ты меняешься в лице,
Белоголовый Янек.

* * *

Что для юношей тверезых,
А тем более хмельных
Пара сломанных березок
На просторах временных.
Потому – гуляй, рванина!
Потому – руби топор!
Среднерусская равнина,
Поздней осени костер.

* * *

А ну-ка, норушка, а ну-ка, зегзица,
А ну-ка нарушь-ка, а ну-ка границы
Для птичьего лета, для зимнего клева,
Зачем нам с тобой пионерское слово?
Зачем барабанщик и бой наш последний?
А рыбки листвы уплывали намедни,
И было ни облачка в небе закатном,
Тянуло дымком, и харчами по хатам.
А ну-ка, зегзица, а ну-ка, норушка,
Вот-вот, что внутри, отразится снаружи:
Октябрь пролетарский на марше, на марше,
Багровые клены знаменами машут
И ветер свистит с пионерским задором:
К последнему бою готовы? Готовы!

* * *

На дороге пар клубится,
За кустами леший бродит,
И тревожно кычет птица
На неведомом болоте.
День, короткий, как затяжка.
Дождь назойливый из лейки.
И ручей на дне овражка
Тихий-тихий черной змейкой.

* * *

Гладит, гладит против шерсти ветер облака.
И куда ни путешествуй, на пути Ока.
По заморским странствуй странам, там, где жизнь чудна,
Но когда поют осанну, то течет Двина.
На соседа глянешь волком, лязгнув бердышом –
Успокоишь сердце Волгой, Доном, Иртышом.

РУНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ



Вот первая сестра, вторая,
На медленном огне сгорают.
А если б был огонь быстрей,
То, что же мне сказать сестре?
В прошедшем времени, в грядущем
Огонь не может быть упущен.
Тебя желанный мой, склоню
Огонь, в огне, огня, огню.



Сколько волка ни корми,
Что потребуешь взамен?
Платье красное, кармин,
Счастье странное Кармен?
Серый, слышишь, уходи,
Если можешь, убеги,
Черный камушек в груди,
И расходятся круги.



И ласточек свисты,
И девичьи взгляды,
Поманит нечистый,
лукавый косматый,
что держит в своих заскорузлых руках,
ручья перекаты и луг в васильках.
Завьются костер, благодатный и скорый,
Звенящих комариков жадные своры.
И будет косматый играть на дуде,
Кукушек баюкать в седой бороде.



В прозрачном облаке из флера,
Она, прекрасная, как Флора,
Хотя ветвистого ствола
Уже потрескалась кора.
Она живет в тебе незримо,
Она желает быть любимой,
Пускай растресканой коре
Уже б мечтать о топоре.
И с высоты своих скворешен
Все ждет, который ей обещан
Самим движением планет.
Простая яблонька, ранет.



А я сижу на берегу, смотрю на воду.
А я сто раз тебе солгу, моя свобода,
А я сто раз тебя предам своим преданьям,
И до свида, и до свида, и до свиданья.
А я сижу на берегу, жую печеньки,
А я тебя не берегусь, реки теченье,
Где пропадает без следа мой день вчерашний:
Бежит зеленая вода , по ней мурашки.
А я сижу на берегу, куда податься?
А я еще с тобой могу, судьба, бодаться,
И жить неведомо куда, не зная брода.
И до свида, и до свида, моя свобода.



А мне не жарко и не парко
Во все воронье горло каркать,
Всего-то этот вещий дар–
С вороньего полета «кар»,
Сидишь, качаешься на ветке
Такой несносный, незаметный,
Но вездесущий, как кошмар,
И только «кар», и только «кар».



Карканьем выйдешь, клекотом
И поросячьем визгом.
Все-то пустые хлопоты,
Все-то пустые мысли,
Мхом, прошлогодним хворостом
Вспыхнешь от искры малой.
Попусту это, попусту,
Я и не так сгорала.



Нелюдимо наше море, неприветливо на вид,
Проживает в форс-миноре, и от этого штормит.
И над нами и под нами грозовой развернут фронт,
И светило временами равнодушный кривит рот,
А затем раскат, и вспышка вдруг притягивает взор.
Я, похоже, даже слишком полюбила форс-минор.



Когда б не смерть – не делал ни хрена б,
И рос, как молочай и белена,
Не нарушал божественного плана
Под дудочку смеющегося Пана.
А ты живешь все время поперек,
Не бабочка, не зверь не василек,
Но будто бы объелся беленою,
Чудовище двуногое земное.
Когда б не смерть – блаженствовал в тиши б,
Не рученьки, не ножки не зашиб,
Не убивая, не любя, не строя,
Чудовище двуного земное.
Когда б не смерть, навряд ли ты, живой,
Был мерой и вместилищем всего,
Что извлечет фортуна из-под спуда.
Чудовище двуногое и чудо.

МУЗЕ

Когда беда тысячествольно
бьёт с неба, с суши и с воды,
когда уже настолько больно,
что я не чувствую беды,

когда душа – сплошная рана
и сыплется на рану соль,
ты появляешься нежданно
и заговариваешь боль.

ПРЕПОЭЗИЯ

Я чую препоэзию, а это
заумный бред, забуквие словес
и редкой ночью на мольбу поэта
узорчатые отзывы с небес.

Она почти не пишется, а пышет
и одаряет радужной дугой,
где каждый звук неугасимо вышит
не здешней нитью, тамошней иглой.

БЕГЛЕЦ

Поэты здесь рабы, а не поэты.
И муть небес обманчиво чиста.
Чеканит ночь фальшивые монеты
из бронзы пожелтевшего листа.

Но ты ушёл, и сонные кварталы
обрамили дорогу на перрон.
И ведали, догадываясь, шпалы,
куда далёкий путь твой проторён.

Попутный поезд на второе утро
остановился, чтоб уйти назад.
Там, на конечной станции маршрута,
сошёл ты, рад поездке и не рад.

Сошёл и замер на пустом вокзале,
как будто из того конца земли
тебя сюда просили, приглашали,
ну а встречать забыли, не пришли.

ВЕЧЕР

Осень ли подкралась рановато,
лето укатило ли спеша,
только беспредельная когда-то
съёжилась озябшая душа.

За окном под серым небосводом
теребят гитару сыновья.
Разнополым заняты народом
подворотня наша и скамья.

Девочки тоскуют, но подспудно,
чтобы не заметили юнцы.
На мгновенье мне поверить трудно,
что гожусь я девочкам в отцы.

А потом приходит снова скука,
ни желанья в сердце, ни огня.
Ах амур, стреляющий из лука,
поохоться, милый, на меня.

АГАФЬЕ

Я по воле судьбы-баловницы,
весь больной и промокший насквозь,
снова в хате, где кроме божницы
только двое: хозяйка и гость.

Отказавшись от чая с вареньем,
я забудусь в табачном дыму
и негромким молитвенным пеньем
обогрею себя и уйму.

А когда полегчает на сердце,
вдруг услышу твой голос в тиши:
«Ах, откуда в тебе – иноверце –
столько много рассейской души?»

Я родился на юге, а проще –
не была мне праматерью Русь.
Только здешние звонкие рощи
я и раем назвать не боюсь.

Вот и нынче пред нашею встречей
я за трелями в рощу забрёл,
и увлёкся, и с птичьих наречий
их на русский язык перевёл.

Я покину тебя на рассвете,
поклонюсь на прощанье избе,
где всю ночь я грустил о Дербенте,
как в Дербенте грустил о тебе.

РУССКИЙ ПЕРС

Я кладбище певчих изгоев,
где с пулей казённой меж глаз
спит Клюев, увы, не достроив
в России мужицкий Шираз.

РОДИНА

Весь Дербент, как грустная страница,
нараспев читается с холма.
На одной окраине – больница,
на другой окраине – тюрьма.

ЗИМА

Снега и снега на земле,
как будто Отчизна на белом
операционном столе
больная и духом, и телом.

ПОСЛЕ ЖИЗНИ

К прощенью склоняя людей,
не к скорби, а только к прощенью,
я буду простившею тенью
скорбеть у могилы своей.

ЗАПОВЕДНИК

О бедная моя страна,
в наш век больной и непогожий
ты вся как заповедник божий,
где рвёт и мечет сатана.

ВЕСНА

Голубое небо нараспашку,
а земля зелёная в цветах.
Вновь рядится в майскую рубашку
родина смирительных рубах.

НЕВОЗМОЖНО

Элиту до толпы, как до земли,
сумели опустить вожди-бандиты,
но как ни бились, так и не смогли
толпу возвысить до былой элиты.

АКВАРИУМ

Пусть он многоуголен и широк,
но всё равно в минуты ностальгии
в нём рыбка в тот забьётся уголок,
который ближе к морю, чем другие.

СТОН

Догорела свеча, и ко мне
долетел в тишине голосок.
Это где-то взывал об огне
не успевший сгореть мотылёк.

РУКИ

Навеки раскрыты объятья,
в которые тянется люд.
Но гвозди, что вбиты в запястья,
сомкнуться рукам не дают.

ТОЛПА

Толпа всегда останется толпой,
к тому ж не сможет без опеки грозной
и не свободной станет, а бесхозной
она при демократии любой.

СОЛИСТ

Рождённому творить особняком
ни в хоре нет нужды, ни в дирижёре.
Не делайте его хоровиком,
он зафальшивит иль зачахнет в хоре.

ПЕЙЗАЖ

Хмурится, как море, небосвод,
полнится печалью многоструйной.
И не тучка, кажется, плывёт,
а чадра утопленницы юной.

ПАМЯТЬ

Я тленен, но вечен Дербент,
в чьей памяти татуировкой
в надежде предсмертной и робкой
я выколю автопортрет.

ПОСТСКРИПТУМ

Вот к пьесе «Горе от ума»
две строчки нынешнего века:
чем выше лоб у человека,
тем он удобней для клейма.

ЗАЧЕМ?

Возвысил над чернью и догмой,
от грешной земли оторвал.
Зачем ты бескрылому, бог мой,
так много крылатости дал?

СОН

Разбит маяк, завалена дорога,
но истина влечёт меня – и вот
я мысленно взвиваюсь в небосвод
и просыпаюсь, не достигнув бога.

Майя Шварцман

* * *

Когда меня отчислят из живых,
списав из единиц в разряды шлаков,
я выпущу из рук погасший стих
и лестницей, которую Иаков
воображеньем сонным смастерил,
взойду в края, каких не видно снизу,
куда ведут ступени без перил
и не нужны ни пропуски, ни визы.

Я, запинаясь, поднимусь туда
по вертикали судового трапа,
не веря в окончательность суда, –
как каторжник, который по этапу
пускается, не веря ни клейму
на лбу, ни в непреложность приговора,
в уме всё возгоняя сулему
реванша за изъятье из фавора.

Меня там встретит утомлённый клерк,
от должности малоподвижной тучный.
Гостеприимства тусклый фейерверк
изобразит, сипя одышкой, ключник,
казённый посоветует маршрут,
зевая на заезженных цитатах...
(Не мне чета уже бывали тут
в бытописателях и провожатых!)

Я уроню, замусорив пейзаж,
щепотки слов, обрывки эпитафий –
последней эмиграции багаж –
на белых облаков потёртый кафель
и, надпись «рай» увидев у ворот,
всплесну руками, ахну, и забуду
зажать ладонью бездыханный рот:
Не может быть. Я только что оттуда.

МУЗЫКА

Давно покойный деревянный дом
в уральском переулке конопатом,
отстроенный зажиточным купцом
и уплотнённый пролетариатом.

Вторые рамы на зиму, поля
широких половиц, царица печка.
Окно во двор, поленница, земля,
полынью заселённая беспечно.

В стене бельмо заложенных дверей,
фанерная труха жилых коробок,
и в сотах скособоченных клетей
тела жильцов, бытующих бок о бок.

Все под присмотром. Родина ли мать
звала с плаката, глаз вонзя иголки,
красноармеец добровольцем стать
велел, не отводя зрачков двустволку, –

живя на людях с ночи до зари,
как вынести в докучности соседок
общенья роскошь по Экзюпери,
как роскошь одиночества изведать?

В шкафу, за книгой, просто под столом –
всё, что даёт находчивость ребячья,
освоено; какой бы ни был дом,
он – божья пазуха...
Но, как ни прячься,

откуда ни смотри – всё тот же взгляд
тебя находит неизбежно снова:
насмешлив, молчалив, продолговат... –
Всё детство «Неизвестная» Крамского

за мной следила, заслонив собой
дыру меж кирпичей, сквозную рану
стены. Тогда в спасительный покой
мне оставалось лезть – под фортепьяно.

*

Оно владело мною. Я в залог
была принесена ему младенцем,
и, запертые в нём, хранились впрок
запасы гамм, пассажей и каденций.

Оно чернело пасынком среди
тазов и дров, таинственной коробкой,
скрывая в лакированной груди
струенье струн, и я ладонью робкой

всё гладила отвесные бока,
и в отраженье смутное дышала.
Оно меня терпело свысока,
мыча глухим гудением металла.

На табуретку книг не подложив,
не стронуть было клавиш ледохода.
И шаткие, в занозах, стеллажи,
покрашенные марганцем и йодом,

делились книг увесистым добром.
В какую темноту, в какую рань я
ни открывала первый встречный том, –
смеркалось общежитья мирозданье.

Случалось, книги падали, в плие
скольженья на лету успев раскрыться.
Все говорят: нет правды на земле…–
под саваном пергаментной страницы

светилось на разломе белых крыл,
непостижимой музыкой дурманя.
Среди миров в мерцании светил…
Промчались дни мои быстрее лани…

Под маской слов актрисой травести
магнитами мелодии и звука
меня тянула музыка расти,
к жилищу бога приближая руку –

*

и дотянуться. Крышку приподнять.
Из-под руки разбег клавиатурный.
И пальчик робко в *до*, в судьбу до дна,
и ноги на педальные котурны.

О нота *до*! о дом! о долгий путь
из детства. Так звучит ошеломленье
и первая попытка посягнуть
на собственное летоисчисленье.

Светла, как день, бела, как молоко.
Вся музыка добра, как мир, как мама.
До взрослости так страшно далеко,
как пятерне до горизонта гаммы.

И жизнь спешит в восторженной игре,
младенческого *до* сдувая пенку
и окуная палец в реку *ре*,
осваивать ближайшую ступеньку.

Теперь крепись, назад – и речи нет.
Переливаясь, звукоряд широкий
о собственной твоей величине
даёт молочно-белые уроки.

Короткий музыкальный алфавит,
устав семи слогов волшебной речи.
Аккордами врываются в зенит
дробинки нот, как выстрелы картечи.

Меж *до* и *ре* – игольный интервал,
его уколы благозвучьем скудны,
пророчески словарь его назвал
живым и острым именем секунды.

Больших и малых – скопище секунд
всю жизнь твою на нотный стан нанижет,
разноголосия затеет бунт,
лакуны пауз меж фанфар престижа

расставит наугад, подарит шанс
реприз, этюдов, тем и вариаций,
готовя драматический каданс
пред тем, как в тишину навек сорваться.

*

В других краях всё та же жизни соль,
всё та же нота в середине гаммы.
От контрапунктов, прозвучавших вдоль
всей жизни, остаются эха шрамы.

Теперь другая девочка, как я,
за фортепьяно, с книгами на стуле,
одновременно сладости жуя,
неспешно подбирает *Во саду ли…*

В саду дрозды выводят вензеля,
расписываясь взбалмошной руладой,
и в воздухе, друг друга веселя,
порханием рисуют акколады.

Она растёт, как до-мажор легка,
и в комнате становится длиннее
на кремовой окраске косяка
шкала её добавочных линеек.

Водоворот сменила пастораль
событий домотканых, малосольных.
Держа согласья тихого педаль,
я с музыкой сверяюсь, как подсолнух;

я дома в ней. Потерям вопреки
мотив любви как прежде многоцветен,
хоть дома нет, в котором косяки
носили вертикаль моих отметин.

НОЧНОЙ ПУТЬ

Едешь с концерта полями на велосипеде –
пар из рта, за спиною не крылья, а скрипка.
Там, где люцерна курчавилась, цвета камеди,
ныне цвета ноября, земляная присыпка.

Как монолитна окраска осенних предместий –
ржавчина почвы, дома с черепицей чепрачной…
Листья ракитника цвета горчицы и жести
авиапочтой летят на суглинок прозрачный.

Лужи под корочкой, неба ночного зевота,
гланды луны и белёсые пасмы в зените.
То ли оборочкой туча легла, то ли кто-то
мир с вышины пеленает в морозные нити,

то ли, всерьёз утомившись, над Фландрией всуе
пряжу во сне растрепали уставшие мойры,
то ли мороз индевеющим дымом рисует
Китежа свет, атлантиду, мираж, лукоморье.

Нет ни души, только холоду в поле не спится,
дремлют коровы в коровниках, лошади в стойле.
Обод шуршит, и мелькают колёсные спицы.
Путь зачарован, и странно, ты едешь – домой ли,

близко ли дом, и попутный ли кружится ветер
воя в колёсах, крутя тополей веретёна?
Только вопросы, а в небе никто не ответит,
тропку кивком не укажет, клубка не уронит.

Этих минут колдовство только крик петушиный
мог бы протестом взорвать, но по будкам дворовым
носом клюют петухи, прижимаясь брюшиной
к теплым насестам, и спят – не заступятся словом.

Флюгерный кочет, и тот наваждения шалость
трусит прервать, бесполезный скрипучий посредник…
Все мы хлопочем, чтоб слово за нами осталось,
но не узнаем, какое же станет последним.

* * *

Приятно туристом бродить наугад,
как палец блуждает страницами книжными,
идти, попирая имбирь и мускат
опавшей листвы на холодном булыжнике.

Держа на уме, как просфору во рту,
возлюбленных строк стихотворные святцы,
на Гиссельбергштрассе свернуть в темноту,
но всё ещё медлить и не приближаться.

Согреться отсрочкой свечи за столом
и чашкой «Высоцкого». Выйти из чайной
и дрожью инстинкта найти этот дом –
обитель тоски его мемориальной.

«Здесь жил...», разгораясь поэзией впрок,
снимавший мансарду ли, комнаты угол,
сожжённый смятеньем и сам как ожог
скуластый философ с губами как уголь.

Кто б знал этот адрес, кто чтил бы теперь
невидного дома карнизы и плинтусы,
когда бы отсюда, расплавивши дверь,
не вырвался русский грохочущий синтаксис.

Не всё ли равно нам, столетье спустя,
была, не была ли у чаеторговца
на выданье дочка, – причины пустяк
ушёл в примечанья и лёг как придётся.

Сто лет миновало, как здесь пронеслась
чума разоренья любви невзаимной,
триумфом несчастья насытилась всласть
и вдребезги всё разнесла в мезонине.

Под крышей вскипев, как под крышкой котла,
сглотнула ступенек суставы артрозные
и вынеслась вон, раскалясь добела,
любовная первая страсть студиозуса.

Любовь разрасталась и, расколыхав
рыданьем гортань, поперхнулась приличьями
и хлынула в город горячкой стиха,
бруски мостовой превращая в горчичники.

Добротным декором его окружал
квартал, досаждая своими услугами,
таращился оком совиным вокзал,
ворочались лавки со снедью упругою.

Под тёплой корицей коричневых крыш
качался кондитерской вывески бретцель,
процентные банки сулили барыш
и высился корпус университетский.

От зноя бульвары свернулись в кольцо,
а кирхи и кухни до ороговенья
застыли под облачным душным чепцом
в апатии средневековой мигрени.

На свет фонарей как на зов ночника
бросались секунд бестолковых капустницы
и падали вниз. Их глотала река
толчками теченья в гранитном напульснике.

Он шлялся до ночи. Как псы, допоздна
калитки лениво засовами клацали
на звук его бега. Болталась луна
латунной медалью у неба на лацкане.

Всё рухнуло топливом в глотку костра.
Летела в огонь сантиментов безвкусица,
лузга восклицаний, частиц кожура,
пылали, треща, устаревшие суффиксы.

Всё было им смято и уценено.
Минувшее было захвачено смерчем и
скручено в узел, и умерщвлено,
и душу хлестало жгутом гуттаперчевым.

К утру миновал наваждения вихрь.
В испарине звуков, очнувшись от приступа,

он вынырнул из помрачений своих,
собрал на пожарище угли – и выстоял.

Он взял этот город, затерянный средь
других, словно крестик на вышивке фартука,
и запер его в стихотворную клеть
бесценным трофеем под именем «Марбурга».

Ярослава Широкова

* * *

ветер губы заговорил
мы скребем по полям перил
и без ветхих на то причин
ёжимся и молчим

потому что слюна слепа
и кусается языка
все пустыни перекати –
зарево во плоти:

мы стучим разводным часам
выбив стёкла на полюсах
горло тянется к волосам
в сбивчивых телесах

сухопутный калейдоскоп,
с наших тел не сойдёт потоп –
все кувшины твои худы
принеси воды.

* * *

мокрый воздух застукивает предтечь
окрестностей. Вытихает стаей
снега, раскиданного от плеч,
берегом, который тебя оставил,

осиновой бирюзой
наледи, хрустящей в оправе пения,
выводя собой нехитрый узор
говорения.

и каждый, плывущий мимо с корзинкой звёзд,
выкинет посох в твоих краях –

станут лучами ветки наземных гнёзд,
Голубь выведет голубят.

* * *

пока одета осень в облака
окраин, полногрудые мурашки
выпячивают сытые бока
под воротом учительской рубашки,

ты спишь на остановке у реки,
где плачут наливные пеликаны,
и падают хмельные рыбаки
в компьютерные сети и стаканы.

трамваи входят по двое в глаза,
безопытно слоняются кареты,
кондукторы теряют голоса
и угощают ехать без билета.

* * *

И начнётся вода,
вытекая по краю реки.
рукава окуни –
злые окуни руки оставят
без последних фаланг

и каждый, слизнув по куску
раскроится на чёрном песке.

нашей лодке они не страшны –
золотистое дно
отвлекает качанье,
но легче воды не касаться.

рыбаков выдаёт настроение
всех подловить,
но просторная рыба
охотится лучше мужчины.

грязь размокнет во рту
как нажива в матёрых зубах,
проплывёт по гортани
во тьму невидалого рода

ночь качнётся на леске
и выпадет за воротник.

над рекою летает засохшая
вялая рыба

в местных водах течет перегар,
голоса под тобой –
разобразны до крика,
старик вынимает бутылку
и пустую подносит ко дну

и уходит река,
и уносит в себе отражение мокрого солнца.

РОССИ

выйдет на люди продолговатая осень.
просыпается при-смерти старая Росси
в отраженье фольги, как потухшая рыба,
выжидая шаги городского пошиба –

заскрипят у крыльца, обкромсают перила,
бодиаметр неба оперят акрилом,
улизнут по ступеням речного бордюра,
о себе не оставив губного прищура.

дождь распарит листву, рукава приморосит,
опылит семена, и бульварная Росси
приземлится в земле у корней парохода.
все мосты постоянно разводят кого-то.

АЛЛО

у меня новостей – что вишневых горстей
полтора кулака, да в пыли рука.
в спальне вчера обнищала постель
горькая, как мука

гнилых иллюстраций полны ярлыки
на давно нерабочем столе
алло, по подъездам парят бурлаки
каждый в своей дыре

цари огорошили променад,
словно кругом житьё
в трубах спивается аромат,
что за гнильё-моё

здесь вечереет электрошок
громкий вороний грай
перешитые губы мычат в мешок
отчего ты молчишь? Don't cry.

* * *

у него интервал минута
и он вникает,
что умеет ещё покурить
на душе подкожно,

зажигалка в тепло опоздает,
он лузгает шарик
«прядь часов не время, но я умру
если смерть возможна»

раздается секунд пятнадцать.
спич робота о раздвоении двери.
успевает? как машинист?
ожила машина?

я же должен успеть!
столкновение.

поезд корчится от остановок,
будто он умер без никотина

СТАЛИН

стан курка похож на костлявый хруст,
тянется повальный сезон расстрела,
лакомый металл не сползает с уст,
молнию заело.

если наблюдать за моей страной,
вынимая линзу седого цвета –
Сталин возвращается к нам, живой.
в виде пистолета

БАБА Я.

темная сторона травы
устье росистой выемки
дети до детворы
пили с твоей руки

и превращали скоп
выжженных шалашей
в чёрную крапинку уголька
в мятую полосу камышей

где их теперь искать
выпали за болотица
ухо к земле прикладывай –
сердце ещё колотится

* * *

жалуясь на хлеб –
живота нехватки
нищий раздвоит
тетиву рогатки

вслушается вой
корабля на каме
птица улетит
не дождавшись камня

и рука сметет
крохи с языка
переворотив
память старика

СТРАНА ОЗ

Морщится на погост
Горец страны ОЗ,
Лет четырех от роду

В правом боку дыра,
Скомкав скелет костра
Мылит губами соду.

Падая каждый крок,
Сватая через скок
Голосом человечьим

Кудри житейских тел.
Клевер и чистотел
Обременяя речью

Издали прогудит
Поезд его груди,
Оголосится в смехе

В маковой бороде.
«Перескажи мне, где
Урфин кует доспехи?»

«Там, где твои блины
Выпекут живуны
Бабушка или мать
И унесут дремать»

Валерий Носарев

МЁРТВЫЕ ЧАСЫ
(стихи из романа «маленький адольв»)

* * *

Ах, Божий дар!
Ох, Божий суд!
Вот солнце смирное несут
Два идиота на руках
Впотьмах,
Две лысины плеснули лунным светом,

Всплакнули две жены
Протяжно и легко,
Заволокло окно туманом и тоской,
И больше не видать.

Кровать в углу косилась одиноко,
И заливался всласть
Сверчок,
Суля икоту.

* * *

Терпеливо я пою,
Терпеливо я храню:
Вот огрызок,
Вот печаль,
Две – три истины,
Худую даль.
Вот пролилось,
Пролилось,
Ухвати себя за хвост.

Не успел, и опять:
Даль, даль, даль
Копать
Самому.
Даже могильщики
Себе не копают могил.
Случается – сияют в гробах,
Любят похоронный снаряд:
Лопату, веревки и гвозди.
Но чтобы копать в дали,
Себе самому
Яму,
Надо быть приговоренным тремя
Людьми
К погребальному обряду
Любви.

* * *

Я молча враждую с дождём –
Рассказываю старую сказку,
А он с торопливым листом
Ведёт без меня перебранку.

Вот кто-то кого-то задел,
И он, шелестя, умирает,
Кот на часах смирно сидел,
Пока тот окно отворяет.

И влазит задумчиво к нам
Снаружи – сметая приличья.
Кот лает и, мчась по стенам,
Кошачье теряет обличье.

Сидели вдвоём,
За окном – по-прежнему дождь,
Скучал водоём,
Весь день объезжал его вождь
Верхом
На лошади с красивым лицом.

* * *

Помню выдолбленный скворечник,
След на воде шестом толкаемой лодки,
Ель в паутине осенней и медный подсвечник,
Злую радость выпитой водки,
Колокольни безмолвный звон,
Палец, топором рассечённый,
Вниз к реке осторожно ступающий конь,
На огне котелок закопчённый.
И лиловый-лиловый вереск.

ЛЮДОВИК II,
КОРОЛЬ БАВАРСКИЙ

Привяжется видение ночное –
Король и лодочка, и лебедь
Под луною,
За нею вод послушный топот,
Солёный лёд утюжит берега,
И Мюнхена коварный шёпот,
Благоразумья грозные рога.

Гостей не звали –
Король один,
Лишь, спрятавшись, зевали слуги,
С ним Лоэнгрин.

Ночь выпита до дна –
К о р о л ь с в о б о д е н –
В ожиданье сна
На белом неба своде
Растаяла луна,
И на губах вино,
Кровавой влагой
Пятнит салфетку снежную оно –
Бавария проснулась –
Вестью благой
Спешат народ обрадовать кучера:
. . . . . .
Был жив вчера!

. . . . . .
Озёра, Альпы,
Заплаканные рощи короля,
И в облаках луна.

* * *

Приснилось мне слово с голубоватым оттенком,
А руками потрогать – глина.
Плачет скрипуче ребёнок за стенкой,
Сосед тянет пиво, и жену его зовут Нина.

Железо в синеватой дымке ржавеет,
Соседка с прозрачной рубашки соскребает тину,
За рекой малина спеет.
Ветер устало струится, освежая картину.

Мелодия выразительно отставила пальчик,
Менуэта тропинка вьётся.
Соседи сегодня уедут в Нальчик.
Ворон больно в стекло клюётся.
Отлегло одеяло и вскрылось
Ужасное тело рассвета,
Солнце мухой о перекладину билось
И было серо-кирпичного цвета.

* * *

Вот снова ненужное лето
Вносят медленно доктора.
Слава Богу, остановятся на этом.
А может, опять повторят?

Пахнет подсохшим гноем,
Завёрнуто в марлевый бинт,
Начинается кошачьим воем
Летнего неба синь.

Желты цветы одуванчика,
Бритвами машут стрекозы,

На самом краю диванчика
Из пятки вынимаю занозу.

Время такое дачное,
Смуглеют лица и кажутся младше,
Птицы поют навязчиво,
И так хорошо на кладбище.

Жалоба не читается.
Природа видимо права.
От ветра легко качается
Больная моя голова.

* * *

Не стремитесь быть одиноким –
От одиночества белеет кровь.
Смотрите – в чёрном иноки
Хоронят беленькую любовь.

Первая радость забвения –
В природу открыто окно.
Лишь половиной зрения
Весною видеть дано.

Белеет гора, зеленеет луг,
Дождь семенит по крыше,
Но вот – облака уплывут,
И откроется то, что выше.

Одному – бесцветная даль,
Сумрак мутный и пыль дороги,
Смерти желанной сталь.
И тошнит на родном пороге.

И это не всё – и то не всё.
Всегда продолжение следует.
Кто в руки берет весло,
Неоставшихся боль наследует.

* * *

В очертаниях приличных
Кресты и лошади – ночная блажь –
Да мертвецов косноязычье...
И овса им не дашь.

Оборвано всё – оборвано,
Рука затекает всласть.
Жаль, что так мало даровано,
И в этом не наша власть.

Всякому без различия,
На полках, в дорожной пыли,
Разбирают свои отличия,
Не зная за что они.

И вести плохие и радости
Выравниваются в одно.
Снова, без всякой надобности,
Свинья заглянула в окно.

Пальцы такие тонкие,
Желаний не может быть,
Бесчисленными протоками
Доверчиво плыть и плыть.

Чтобы колодец не вычерпать,
Чтобы не видеть дно,
Вот именно
Для того
И дано
Вместо золота
Ночное серебро.

* * *

Темноты колодезный скрип
Прерывается высоким тоном,
Когда листья невидимых лип
Птицы крыльями тронут.

Мужик с бородой и в красном
Оборвал последнюю ноту.
И опять хрипело ненастье,
Слепые брели по болоту.

Чувствуют пальцы холодное горло,
Сердце размокшей пищей,
Мышь по ноге взбегает проворно,

Электричества сухое потрескивание,
Запах жжёной резины,
Палкой стучат по железной лестнице.

* * *

Страж полуночи, Ангел пухлощёкий,
Сложил златые крылья – спит,
И легче бабочки воздушной
Порхает голова в зенит.

Туда, где снова лес из были
За деревянною крепчайшею Двиной.
К огню бесшумно звери выходили
И чайник подавали с кофейною водой.

Туман цедил сквозь губы,
Невнятно, исповедь горе,
За ним охотничие срубы
Зевали в утренней росе.

Гора в холодном сне,
Сама проснуться не умела.
Долбили клювом по сосне:
Душа просилась в тело,

В избу пустую, где спасут,
Там наверху они не сгнили,
Хозяева ушли на Суд
И брёвна круто посолили.

Ну, до чего же полночи тихи,
Не слышно говора, ни лая.
Одно лишь «тук» ореховой клюки
Святого Николая.

* * *

Уехать в Котлас чёрно-белый
С углём и деревом пополам,
Чтобы не знать, кто будет первым
На стадионе мерзких драм.

В цыганской ветреной глуши
Согреть холодные ладони,
Надев большие сапоги,
Послушать, что расскажут кони.

Почувствовать, что есть о д и н,
И быть ему совсем не скучно
Там, где никто не проходил,
И дятел клювом считал сучья.

Придать значение дровам,
Забот других закончив вязку,
Пускай стена всегда права,
И плюнуть на неё опасно.

Но днём не лезут на рожон.
Скрывают чувства и понятье.
В ночь беглецы гребут веслом,
Переменив сначала платье.

И страшно, если вдруг пройдёт
Желанье Котласа и бреда,
Пока по сердцу петли вьёт
С собою горькая беседа.

Елена Цыганова

* * *

Для нас очень мало изменится, когда мы шагнем за черту,
И ветер, играя созвездьями, мою подтвердит правоту.
Он так же поет о несбыточном, как там, вдалеке от земли,
И так же изрыты копытами дороги в нездешней пыли.
Там встретят суровые ангелы и скажут: «Покоя не жди!
Крылатые кони оседланы, сраженье еще впереди».
Нас снова обнимут любимые, шепнув: «С возвращеньем домой!»
И вмиг потеряет значение разлука в полжизни длиной.
К нам звездные гроздья приблизятся, как ветки, касаясь лица,
И странная, странная музыка заставит забиться сердца,
И радужным вихрем закружатся видения прожитых лет,
И хлынет навстречу неистовый, все скорби смывающий свет
И облику, с детства знакомому, иную придаст красоту...
Не так уж и мало изменится, когда мы шагнем за черту.

* * *

До иных призов неохочий,
Обречен на судьбу калеки,
Если ты – прирожденный летчик,
А родился в девятом веке.

Грома яростней голос стали –
Наяву, а не на экране,
Но ведь дети во сне летали
И при Грозном царе Иване!

Не искать им иного блага,
Не видать им счастливой доли:
Безрассудная, злая тяга
Их томит и лишает воли.

Современникам – непонятна,
Им – нужнее воды и хлеба...

Для чего рождаться крылатым,
Если заперты двери неба?

Бесполезны, как аксельбанты,
Сеют дрожь, как речная сырость,
И терзают тоской таланты,
Что даются не впрок – на вырост.

Нет для них в нашем веке ниши –
Как жестоко Ты шутишь, Боже!
Отпусти, тоска, отпусти же...
Жизнь прекрасна. Но все же, все же...

* * *

Наши пути – не Твои пути,
Век наш недолго длится,
Плоть наша немощна – как снести
Тяжесть Твоей десницы?

Гордость, внушенная Сатаной, –
Язва людского рода.
Страсти мои обладают мной –
Где же моя свобода?

Господи, труден мой путь к Тебе –
Небо не для бескрылых.
Замысел Твой о моей судьбе
Я разгадать не в силах.

Кто-то – подвижник, мудрец, герой...
Всем им – своя награда.
Я – оловянный солдатик Твой,
Большего мне не надо.

* * *

О, где ты, мой Святой Грааль –
Причуда, ставшая напастью?
Какую терпкую печаль
Таит вино простого счастья!

Зачем менять веселый пир
На скрип кочевничьих кибиток?...
Но человеку тесен мир,
Он, как дракон, – сплошной избыток:

Ни зверь, ни птица, ни змея...
На мир он смотрит, как впервые,
Два измеренья бытия
Его влекут, как две стихии.

Ах, крылья – лишняя деталь,
Плод инженерного огреха!
На этом свете, как ни жаль,
Они – досадная помеха.

А всё ж душе покоя нет –
Глядит разгневанной царевной,
И вечно узок ей корсет
Привычной жизни повседневной.

Как ни рифмуй себя с судьбой,
Но душу не теряй из вида,
Вися меж небом и землей
Садовником Семирамиды.

Её так мало для высот,
Зато для счастья – слишком много...
Кому знаком её полет,
Тому лишь день пути до Бога.

* * *

Век-волкодав не сулит нам нирваны –
Мчимся по жизни, как в конной атаке.
Всё нипочем, коль найдется в карманах
Сахар – для лошади, хлеб – для собаки.

Шутит над нами судьба неустанно,
Шлет то дурные, то добрые знаки.
Сладим мы с ней, если в наших карманах –
Сахар для лошади, хлеб для собаки.

Нас окружают забавные люди,
То меланхолики, то забияки.
Всех мы простим, всех поймем, не осудим
(Сахар для лошади, хлеб для собаки).

Быт наш на ссоры и дрязги не скуден,
Лезем мы в драки и слушаем враки.
Чтобы остаться людьми, не забудем:
Сахар для лошади, хлеб для собаки.

* * *

Посвящается моему покойному Барсику, а также алабаю, спасшему своего хозяина-самоубийцу и погибшему под колесами поезда, и всем хвостатым собачьим ангелам.

Соткусь из поземки, сгущусь из ночного мрака,
Траву не примну, на снегу не оставлю след.
Чего ты боишься? Это же я – собака.
Извечный твой спутник, хранящий от зла и бед.

Чудак-человек, ну откуда тут Баскервили?..
Мой род побратался с твоим на заре времен.
Бок о бок – такие версты, такие мили!...
Вот лапа, держи. Никакой я тебе не сон!

Промчусь по опавшей листве – ни следа, ни звука.
Там кто-то, бедою сломлен, не в силах жить,
Но хватка незримой пасти удержит руку,
Уже занесенную, чтоб перерезать нить.

Меня не влечёт покой, не манит безделье,
Я снова на страже. И, службой посмертной горд,
Ночные страхи гоню от твоей постели,
Надежду тебе несу, как в зубах апорт.

Известно любому, что Ангел-Хранитель – имя
Небесного воина с крыльями и мечом.
Но ангелы, брат, бывают еще такими –
Ведь Богу видней, где чьё место и что почём.

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

Гудит промерзшая земля,
И звонко щелкают подковы,
Мы привстаем на стременах,
Вознесены над суетой.
И хочется начать с нуля,
С начала, от первоосновы,
А память о минувших днях
Развеять пеплом и золой.

Как будто с чистого листа
Нам всё начать еще не поздно,
И каждый, как в семнадцать лет,
К любви и подвигу готов.
Степь заметенная пуста,
Над головой смеются звезды,
И вдруг сплетается в сюжет
Простая песенка подков.

Копыта разбивают наст,
Летят заснеженные чащи,
В которых дремлет колдовство,
И грива хлещет по лицу...
Сегодня каждому из нас
Мечтается о настоящем,
Как в церкви в ночь под Рождество,
Как перед битвою бойцу.

Вот-вот поднимется метель,
Смешает землю с небесами,
И кони ускоряют шаг –
Они торопятся к жилью...
А в голове играет хмель,
И мир наполнен чудесами,
Как будто свыше подан знак,
Что быть нам, грешникам, в раю.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОНЮ

Твои глаза – как гулкий коридор
В другие времена и измеренья.
Для нас звучит созвездий стройный хор,
А мы ведем безмолвный разговор,
Не споря, кто из нас – венец творенья.

Наверно, ты! Я не наделена
Столь совершенным обликом. А разум –
Каприз богов, подарок колдуна,
Морок на грани хаоса и сна,
Подвластный чувств ребяческим проказам.

Наш разум натворил немало бед,
И Судный День уже не за горами...
В тебе же ни греха, ни злобы нет –
Из света создан, ты стремишься в свет, –
Дитя стихий, любимое богами.

* * *

С ближним не обходится без драки,
Но не могут оттолкнуть меня
Рыцарская преданность собаки,
Гордое смирение коня.

Человек-чудак то треплет нежно,
То хлыстом огреет до крови...
Добрый конь выносит безмятежно
Бремя человеческой любви.

Кто из нас ни разу не лукавил?
Все грешны, кого ни назови!
Честный пес, не зная наших правил,
Всей душой вверяется любви.

Человек – насильник и предатель,
Без дорог блуждающий во мгле...
Брат мой Пес! Храни тебя Создатель!
Ты – последний ангел на земле,

Где не любят и не верят в чудо,
Богу лгут, друзей не берегут...
Брат мой Конь! Умчи меня отсюда
Хоть на час, на несколько минут!

Нас и здесь ведет одна дорога,
Мы и там, за гранью бытия,
Встретимся у Отчего порога...
Брат мой зверь, там будешь ты – как я.

ЯРУ 9 ДНЕЙ

Львиное сердце, львиная стать,
Восемь неполных лет.
Времени зыбь, как речная гладь,
Скроет твой легкий след.

Дождь за окном шелестит «Прощай»,
И не помочь беде.
Весточку мне о себе подай,
С кем ты теперь и где?

Друг, о таких, как ты, говорят,
Как о солдатах, – пал.
Катится день без тебя в закат,
Словно слеза – в бокал.

Так и не купленный новый мяч
(«Хамство, а не цена!») –
Непоправимая, плачь не плачь,
Перед тобой вина.

Наша разлука – ошибка, ложь,
Смерти, я знаю, нет.
Верю – крыльцо, где меня ты ждешь,
Позолотит рассвет,

Скатится солнце за окоём,
И на исходе дня
Я у ворот в этот старый дом
Остановлю коня.

* * *

Аралезы – добрые духи в облике больших крылатых собак. Они спускаются на поле боя и возвращают к жизни павших героев,зализывая им раны.

Осень примет ключи
у холодного лета потери…
Этим летом такая разверзлась в душе пустота!
Ведь скрепляет священный союз человека и зверя,
Как и всякое братство,
– любовь до конца, до креста.

Эта верность – алмаз, эти узы – прочнее железа!
Нам бы век не расстаться, да, видно, угодно Творцу,
Чтобы, плоть отряхнув, уходили они в аралезы,
Лишь во сне, на мгновенье крылом прикасаясь к лицу.

Высоко, высоко в облаках кружит белая стая –
Пёсьи души зовут нас с небес, становясь на крыло.
Отправляйся в полет. Отпускаю тебя!
Отпускаю…
Помни голос и запах, шаги и ладоней тепло.

Унеси их с собой, ведь однажды мы встретимся снова
И узнаем друг друга, чтоб больше уже не терять…
Ангел львиной породы,
на грешной земле
тяжело вам…
До свидания, друг! Возвращайся в небесную рать.

Игорь Вельгач

Моя поэзия – вот нищенка на свалке,
И я покорно погружаюсь в прах,
Какая честь высокая быть палкой
В её руках.

Долгое мрачное синее «у» –
в вое бездомного пса на луну,
в звуке когтей по сырому песку,
в дуле, нашептывающем виску,
в рюмке, катающейся по кругу,
в шелке, стянувшем прозрачно и туго...
Синее «у» – как тоннель-переход
к жизни, дарованной нам в обиход...
Неугомонное шлепанье ног,
скрипы и вздохи, полночный звонок,
старый поляк с нафталиновым носом
греет колени в кальсонах с начесом,
то-о-о-нкий восток из каморки еврейки
тянется струйкой кошерной брыжейки,
густо заваренный чай полуночника,
ножик, испиленный до позвоночника,
синяя скатерть с пятном от мазута –
все атрибуты ночного уюта.
Всё, что история не приняла,
всё, что смахнула концом помела,
я подберу, сохраню, не нарушу
и положу в свою жадную душу.

1987

МИКРОПЛАСТИКА

...Виноградина зорче телескопа, ибо
в телескоп вовеки не узреть,
как трепещут в замкнутом изгибе
косточки, зачерпнутые в сеть...

* * *

...Я б родился на пальмовый лист,
зеленеющим соком умытый,
ах, зачем мне подставили сито,
я бы был непросеянно чист...

* * *

...Проснулась роза у ручья
и, выдохнув пчелой,
кольнула тоненькой иглой
пузырик бытия...

* * *

...Я нахожу по следу голоса
тропинку в хижину твою.
Так по изгибу трав и колоса
я ветер в поле узнаю...

* * *

...Упав на гордые колени,
Ушами чутко поводя,
Безмолвно молятся олени
Иконе, полной от дождя...

* * *

...Ничего не хочу, кроме
Как укрыться в густой кроне
И смотреть, как мимо ладоней
Ветер ветку с плодами клонит...

1987–89

САМАРКАНД

Горстка длинно-белых
И горячих слов –

Наполняет тело
Самаркандский плов.
Пальцы азиатки
В перстенях горят,
Раскуси – и сладкий
Брызнет виноград.
Из пиалы чая –
Лаки-лаки-та –
Дым – бедром качая,
Танец живота,
По бокам поглаживая, –
Лаки-лаки-тма –
В паранджe оранжевой
Спелая хурма.
Мулы и верблюды.
Вездесущий свет.
В опустевшем блюде
Виден минарет.
В облако тугое
Скручена чалма
Хитрою рукою
Хитрого ума.
И из тонкой складки
Чуть раскосых глаз
Нож – кривой и гладкий –
Вылетает в вас.

1988

* * *

Не оттого ль себе я тошен,
Не оттого ль бессильна речь,
Что я колол, забыв из ножен
Свой меч отточенный извлечь.

Не оттого ли стал поэтом,
Что всё срифмовано кругом,
И всё, что есть на свете этом,
Желает рифмы на другом.

Не для того ль строка вторая
Сжигает первую дотла,
Чтоб строчка первая, сгорая,
Собой вторую не сожгла.

Не для того ль прием радушный
Приблудшей мысли строю я,
Что вслед за гостьей в полог душный
Вольется воздуха струя.

Не оттого ль слова дряхлеют,
Едва родившись – старики,
Что соблазнительно белеет
Челнок Харона у реки.

Не оттого ли холодею,
В объятьях скованный, как раб,
Что не разнимет Галатея
Из камня вытесанных лап.

Не для того ль за рюмкой стройной
Завис поникшей головой,
Чтоб в час полуденный и знойный
Быть на суку, но над толпой.

1989

* * *

В свете лампы, нависшей, как цапля,
В звуке лопнувшей тетивы
Твоя грудь – две ползущие капли
От горящей моей головы.

* * *

Мой милый нежный друг,
Мой сон и пробужденье,
Не в том ли наслажденье,
Чтоб всё менялось вдруг?

И снова вписан в круг
Любовный треугольник,
И я опять невольник
Меня обвивших рук.

1986

ЛЕНИНГРАД

...Буду я покручивать львиные хвосты,
буду я покачивать шаткие мосты,
снова я увижу, как афганская борзая
тянется от Невского до проспекта Мая.
Снова я разрушу Бельведеры торта,
и напьюсь мадеры с дружеской когортой,
и заврусь, конечно, сам не замечая,
истинный поборник пряника и чая...

1988

* * *

Ты ищешь тему –
Брось, пустое.
Так тщится раб, уснувши стоя,
Увидеть сон о том, как спят,
Как царь, приставленный у пят,
Тревожит сумрак опахалом
Движеньем преданным и вялым.
Ты ищешь темы:
Где мы,
Кто мы?
На букву И – у нас истома,
На букву Е – у нас елей,
На букву Н – у нас налей,
И вновь, устав от вязкой дремы,
Ты вопрошаешь –
Кто мы,
Где мы?
И в благозвучьи этой темы
Не слышно, как стекает время

По длинной шее, по лопаткам,
И, с локтя капнув на лампадку,
Шипит, как рыбка на песке...
Ты веришь преданно тоске...

1989

* * *

Вот уж сутки на исходе,
как меня в любви зачали –
три четвертых части года
мне остались до печали.

Мне осталось так немного
позабыть, чтоб вспомнить позже –
у последнего порога
преступить и молвить: «Боже...»

1987
Петергоф, поезд

ПЬЯНОЙ ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Раскрыт, как заговор, кошель,
Но толку мало в том.
В метро луна не лезет в щель
И ни в какой проем.

На каждом дереве она
Развесила шары,
За кругом света не видна
Вся тьма ее норы.

Собакой трется между ног
Навязчивая стужа,
Квартал оглох и занемог
И запахнулся туже.

А окна вдавлены в дома,
Как гвозди в сапоги.

Эй, кто там выжил из ума,
Безумцу помоги!

1989

* * *

Твой взгляд, словно гвоздь, ржавеет в стене,
Он ищет в потемках руду.
Мне выпала честь, и велено мне
Торчать с ним в одном ряду.

Но вечность спасёт, меня извлекут
Лет тысячу-две спустя,
Свершат надо мной свой праведный суд
И сделают полгвоздя.

Нет правды – есть я, нет лжи – есть они,
Нет среднего – есть война.
Еще есть мудрец, сидящий в тени,
С пригубленной чаркой вина.

1987

ШАРЖ НА МИРОЗДАНЬЕ

*

Вы раздеваетесь, в шкатулку
Ссыпая серпантин колец.
Так в сумрак приторный и гулкий
Сползает каплею мертвец.

*

– Я провожу?
– Да нет, сама...
Сошла по лестнице с ума,

Как струны тронула перила,
Толкнула дверь и озарила
Холодный кафель светом звезд.

*

...Две мухи в комнате снуют,
и хорошо: где мухи, там уют.
Бабулька – бульк! – и утонула в кресле,
чуть умерла – и надо же, воскресла...
Вы что это такусенькое вяжете, бабуля?
Варежку для дули?
дульки? дулицы?
Ах, пинеточки для пра–
пра-пра-пра-пра-пра –
протарахтел грузовичок по улице,
как по лицу,
и на лице морщинки паутиной.
Всё связано канвой единой...

1987–89

* * *

Свастика твоих ног,
Пластика твоих рук.
С листиков твоих мук
Я выжимаю сок.

Готика твоих дум.
Кортики твоих слов.
В гроте твоих углов
Я изживаю ум.

Пасеки твоих пчел.
Часики твоих бед.
Классики твоих Вед –
Я это нужным счел.

Катеты твоих снов.
Литеры твоих лиц.
Жизни твоей в блиц
Я проиграть готов.

1986

* * *

Она любит слушать, как рвутся шелка,
Как дышит на зеркало дог,
Как тайные силы влекут из чулка
Два скрещенных жребия ног.

Она любит видеть в своих глазах
Вершины блистающих гор,
Где мечутся раненный в спину страх
И раненный в грудь укор.

Она любит пить из черепа дня
Жемчужину черной росы,
Где отраженный квадрат окна
Звенит от удара осы.

Она любит прясть, используя лиру –
Гармония обретена.
Гудение нити, вращение мира
На кончике веретена.

МОЛИТВА № 1

Благодарю тебя, Создатель,
за эту жизнь!
За этот плен...
Что я не гений, не писатель,
не председатель и не член.

Еще за то благодарю я
тебя, Всевышний Коновал,
что я пока что
не ворую,
и никого не убивал.

За жизнь без видимого толку.
За прочный стул,
хороший стол.
За то, что я с утра «пятерку»,
хоть у соседа, да нашел

* * *

Я перед вами – весь, как на духу.
Штаны – навыворот.
Портянки – на диване.
Своей души бюстгальтер на меху,
как на духу, снимаю перед вами!
На мне сошелся клином белый свет.
Прожекторы в упор. Спасенья нету!
Прикрыться бы страничками газет,
на коих доводилось быть поэту...
Стихи мои! Мой фиговый листок.
Им не прикроешь ни стыда, ни срама.
Их, может быть, хватило б лишь на то,
о чем в стихах не говорится прямо.

Сижу, смущенно сунув палец в нос,
и ощущаю дрожь в районе пупа...
Все это, братцы, было бы смешно-с,
когда бы это не было так глупо.

* * *

В том, что живу на этом свете белом,
я не виновен
ни душой, ни телом.
В том, что умру, – не буду виноват.
Когда-нибудь не выдержу, устану.
Снежинкой на ветвях берез застыну.
И –
никогда меня не повторят.
Но –
я умру не по своей охоте.
Под взглядами далеких звезд чужих
умру в пути,
в движении,
в полете!
Умру я от безумной жажды жить.
И, холодея от бессильной злобы,
я не промолвлю смерти:
«Так и быть...»
Ожить я захочу
затем лишь, чтобы –
чтоб допонять.
Домыслить.
Долюбить.

* * *

Чего мы ищем, убегая?
Какой нас хлещет в спины бич?
Какого призрачного рая
мы все стараемся достичь?
Пора смирить свою натуру.
Не то, споткнувшись как-нибудь,

накроет сдуру амбразуру
твоя единственная грудь.
Решать проклятые вопросы?
О стенку биться головой?
Уж лучше Александр Матросов
вернулся с фронта бы живой!
Увы! Снарядов было мало.
А дот все бил и бил
под дых!
А дураков всегда хватало,
нас, безымянных, рядовых.

ХУДОЖНИКАМ СТАРОГО СКИТА

Бродяги, смертники, изгои...
Весь мир нам кажется чужим.
Живем, не дорожим собою
и перед смертью не дрожим.
Нам в этой жизни невозможной
всего страшнее – суета.
И вот – звучат тоской острожной
все песни Старого Скита.
Теряем кисть из рук умелых.
Теряем смысл. Теряем цель.
Летит вдоль стен заиндевелых
горизонтальная метель.
Банальна жизнь. И смерть банальна.
Тоска банальна. И – беда.
И мы – почти горизонтально –
летим, не ведая куда!
Летим, летим над милым краем,
где нам открыты все пути.
вот так над жизнью пролетаем.
Так над судьбою пролетим...

* * *

...Как жаль, что больше нету в мире Бога
А жизнь... Хоть непонятна, но проста:

она все та же дальняя дорога
от Красного
до Вечного
Креста.
Привозят из роддома на машине,
на кладбище везут, землей пыля.
На полпути к какой-то там вершине
нас примет всех родимая Земля.
...Такая невеселая картина
в глазах моих мерцала и плыла,
когда меня попутная машина
куда-то
мимо кладбища
везла...

* * *

Я мало в этой жизни сделал,
но все ж судьбой не обделен
зеленым ветром, снегом белым,
простором четырех сторон.
И, знать, в одном мое спасенье,
за то судьбою я храним,
что воду пил из Енисея,
встав на колени перед ним.

* * *

Дорога начинается с порога.
И где-то, через тридцать три страны,
в твоем дому кончается дорога.
Но только лишь с обратной стороны.
Всех радостей хлебнув,
всех бед отведав,
не говори, что все, мол, ерунда!
Предчувствие беды или победы
куда кошмарней, чем сама беда!
Куда весомей, чем сама победа!

* * *

Не нажил ничего. Хоть много прожил.
И вот теперь – прощайте! Уезжаю...
Простите все, кому остался должен.
Я вас прощаю!
Вы оставайтесь. Я не помешаю.
Ни слез из-за меня, ни радости со мной
уже не будет. Я ль тому виной?
Я вас прощаю...

* * *

Еще мгновенье – и угаснет день.
Закончится бесшумно. Без оваций.
В тяжелой промороженной воде
серебряные звезды отразятся.
От берега до берега – рукой
подать. Но это только мнится.
От берега до берега – покой.
Меж Временем и Вечностью граница...

МОЛИТВА НОМЕР ДВА

Господи, Господи... Если ты есть...
Дай мне прощение, успокоение.
Пусть соберется какой-нибудь съезд,
по Рябеченкову примет решение.
Пусть выбирает из тысячи мест.
Пусть отдохнет он, духовный калека,
где человек человека не ест,
где не казнит человек человека...

* * *

...Я стою под Кремлевской стеной,
гордо руки сложив за спиной.
Автоматы наведены.
Я ж не знаю своей вины...

Грянет залп. И, царапая стену,
опускаться на землю я стану...
И исчезну. Мгновенно. Мгновенно...
Но царапаться не перестану...

* * *

Я – один. Замерзающий инок.
На сто верст – ни единой души.
Паутиною белых снежинок
кто-то сумрачный вечер прошил.
Я живу в ожидании встречи,
где вниманьем ее почтить?
Тяжким грузом ложатся на плечи
все несбывшиеся мечты.
Я брожу по пустому небу.
Я – отверженный в звездном краю.
Словно странник, просящий хлеба,
я у окон твоих стою.
Тишина... Ни огня, ни звука,
ни улыбки, ни взгляда нет.
Ночь – постылая старая сука –
приласкалась в тиши ко мне.
Вот и стой под окном и тоскуй.
Тишину, застывая, слушай.
И корявый ночной поцелуй
навсегда запечатал душу.
Все мне чудится странный сон.
от него я в ночи просыпаюсь:
я – могильщик своих похорон.
Горсть земли на свой гроб бросаю.
А потом
над холодным холмом.
снег накинув, как плащ, на плечи.
чуть ворочая языком.
говорю я прощальные речи.
Мол, погиб он в расцвете сил.
Был он молод, и бодр, и весел.
Был изгоем. Поэтом был.
И ушел, не допев своих песен.

И теперь – ничего не надо,
ни забот, ни кошмарных снов!
Мать-земля! Из твоих сынов
он один из достойнейших
Ада...

* * *

«Не стреляйте в белых лебедей!
Не губите птиц! Цветов не рвите!»
Господи! Какая дребедень!
Ну зачем вы это говорите?!
Ну зачем мы Это говорим?!
Разве Это нам добавит чести?
Ну, спасли когда-то гуси Рим,
все равно ведь римляне исчезли!
Люди умирают каждый день.
В большинстве – не по своей охоте.
В небе, на земле и на воде.
В собственной постели. На работе.
Все ж в одном мы варимся котле!
Все мы смертны.
Может, хватит крови?
Если даже в собственной петле –
кто для нас веревку приготовил?
Люди умирают каждый день.
Может, завтра я расстанусь с вами.
Поплывет кругами по воде
ваша исчезающая память.
Может, завтра упадешь и ты,
для кого-то – милый.
Иль – постылый.
Съежатся бумажные цветы,
сложенные в кучу у могилы.
Надпись на табличке: «Был такой»...
Жесткая железная ограда...
Наконец-то он нашел покой.
И свободу.
Так ему и надо?

МОЛИТВА НОМЕР ТРИ

Не дай мне, Боже, умереть зимой!
А, превратившись в белую ворону,
спустись с небес,
поговори со мной,
хоть с глазу на глаз,
хоть по телефону.
Всевышний! Ты один виновней всех
за то, что длится нашей жизни драма,
что я плачу за первородный грех
неведомых мне Евы и Адама.
Что я всю жизнь следил за журавлем,
синицу грея в кулаке при этом.
Всеведающий! В Царствии Твоем
позволь расстаться
летом с белым светом!
И где ты, Боже?
Говорят, – везде.
Всех видишь, знаешь все
и все умеешь.
Узнать бы только –
на какой звезде
ты над моей свечою руки греешь!

Александр Шапиро

* * *

Косой залив, косу обняв,
Предался с нею забытью,
И птицы дремлют на камнях,
Пережидая жизнь свою.

Летучий остров колдуна
У горизонта приводнён.
Над ним колышется луна,
Зачем-то вышедшая днём.

Здесь кажется, что и село,
И прилегающий лесок,
Как водоросли, принесло
И выбросило на песок.

Ступая на кустистый склон,
Невольно думаешь, с какой
Запел бы здесь бандонеон
Мужской пронзительной тоской.

А впрочем, мысли о мужском
Бесстрастны, как морская гладь,
И быть не нужно стариком,
Чтоб незнакомку не желать.

Затем и ходишь на причал,
Где молоком покой разлит,
Чтоб научиться не кричать,
Не жаловаться, что болит.

Не то что прибавляет сил –
И ты не то что бы устал, –
Но вырабатывает стиль
Вода, белесая, как сталь.

На коже высыхает соль.
Пора отчаливать отсель.
Пойдём домой. Накроем стол.
Не будем собирать гостей.

* * *

Спали в душной комнате вдвоем.
Путались в прорехах одеяла.
В косо занавешенный проем
матовое зарево сияло,

тяжело вздыхал дождливый сад,
и сосед, разбуженный под утро,
вызывал в уборной водопад,
на судьбину сетуя как будто.

Собственным бездельем утомясь
в тщетном ожиданье карнавала,
время протекало через нас
и узорной тенью застывало,

и когда, восстав на зов трубы,
мы сбегали в день за будней коркой,
бедное окно стучало створкой,
отдаваясь ветру без борьбы.

* * *

Снова сеет изморось нехорошая,
даль заполошила, размыла близь.
Мокрые, тупые, простые лошади
мордами прижались, как обнялись.

Странно увлекаться, смешно ухаживать,
незачем привязанность волочить.
Серозем, еще не промерзший заживо,
смотрит в удивлении и молчит,

словно умоляют и просят помощи
не поля, не лошади – сразу весь
плавающий в сере, во млеке тонущий,
падающий сквозь ледяную взвесь,

округленный в капле и в оке мерина
видимости медленный оборот, –
словно в этом мареве все потеряно,
даже теми, кто своего неймет.

Лишь усталый ветер плетется по лесу
и рождает в лиственной полосе
робкие ответы густому голосу –
рокоту автобуса на шоссе.

* * *

Только нас отъяло друг от друга,
как я понял, с ясностью младенца:
эта ночь свободного паденья
будет последней.

Только нас расслабленная тяжесть
распластала на избитом ложе,
как она решила: этой ночи
быть с нами вечно.

Думала она, что я не вижу,
а я думал, что она не помнит.
Так и жили в тайне друг от друга,
так и умерли вместе.

* * *

По границе светового конуса,
низко над серебряной травой,
мчится обезумевшая конница
с птичьим криком стаи кочевой.

Шелохнется земляная гранула,
побежит ершистая волна…

Это время, это жизнь нагрянула.
Пей до дна.

* * *

Песенка, написанная палачом.
О любви, конечно же, а то о чем.
Искренняя песенка, не без грустинки.
Видится как будто вечер, и весна,
и в синеющем предместье, из окна –
бормотание заезженной пластинки.

Видится еще, как где-то наверху
вызревает смысл, как ягода во мху,
а потом, из глубины мохнатой тучи,
выбирает наобум проводника,
и записывает музыку рука,
приспособленная убивать и мучить.

Что ж, признаемся: и мы не без греха.
Мелочевка, человечья требуха
коммуналок, и не в каменных палатах
зачинались, и не в золоте росли,
и с усильем прорастали, как могли,
сквозь чащобу из таких же – виноватых.

Как нам ни бреши, на чем нам ни бренчи, –
Благодетели себе и палачи,
Всё мы рады, всё мы любим, как умеем,
а не любим – поминаем лишь добром
это небо над рисованным двором,
эту песню, сочиненную злодеем.

* * *

Не жил, но был. Потом решил,
что бызнь без творчества плюгава.
Надыбал клейкого состава,
в приливе сил

настряпал дышащих мочал,
рыгающих болотной слизью.
Назвал все это новой жизнью
и заскучал.

Мне прошлой ночью не спалось.
Все досаждали эти твари.
Прогнать бессонный бестиарий
не удалось.

Потом я стал одним из них,
из липкой движущейся массы,
уничтожающей припасы
без выходных.

Так я был пересотворен
и стал окукливаться снова,
чтоб разбудить себя родного
в конце времен.

* * *

Выйдешь с утра освежиться
лицо остудить на ветру
сорвется с балкона нездешняя птица
канет в дыру

Листвы неопрятная ветошь
дырявая сплошь
травы торопливая ретушь
мурашная дрожь

Смотри эти дырки повсюду
глазеют из темных углов
и специалисты по сюру
латают их сетками слов

Они хитроумны и прытки
и не замечают когда
запутываются их нитки
как дырчатая борода

Там вроде заплатку нашили
а тут прорвалось
проткнула прореху пошире
небесная ось

Вот я стою на балконе
гляжу на кусты
общее место в законе
густой пустоты

Я исповедаюсь тополю
а человеку совру
падаю штопором штопаю штопаю
самую темную самую теплую
в мире дыру

* * *

Страдая от полдневного ожога,
еще немного постоим
посередине города чужого,
когда-то бывшего моим.

Потерянный набросок карандашный
уйдет под мост, размякнет от воды,
и засмеются каменные башни,
и снова запоют сады.

* * *

Разучился доверять посулам
видимости. Вижу, скажем, дом.
Кто бы этот морок ни подсунул,
всё равно ведь заберет потом.

Отвернусь – и ничего не станет,
не останется со мной.
Занесет косматыми песками.
Скроет коркой ледяной.

Как назвать таинственное, что-то
большее, чем заводной бубнёж,
что сотрется в ходе отворота:
и вернешься – не вернешь?

Пахло старыми коврами в доме,
ночью распахнулась дверь в чулан –
и исчезла. Всё исчезло, кроме
формуляра радостей и ран.

Всё почистили, поубирали,
подравняли нашу ерунду.
Как ходил я этими дворами.
Как сейчас иду.

БАЛЕТНАЯ БАЛЛАДА

наш театр представляет премьеру
мировая война в па-де-де
энергичную танца манеру
знатоки оценили везде

поглядите и вы понарошку
пусть наполненный зал поглядит
как вращает изящную ножку
офицер перед тем как убит

перед тем как красиво красиво
словно стая обугленных птиц
разлетается брызгами взрыва
перепуганный рой танцовщиц

как гвардейцы роняют винтовки
ах вальсируют падают ах
а вокруг чудеса джигитовки
на игривых картонных коньках

а по воздуху пульною пылью
балеринки легко мельтешат
а по полю танкетки поплыли
венценосные как падишах

ненавижу искусство балета
обожаю балетную прыть
мимолетный рассказ пируэта
как погибнуть или как убить

вы смотрели премьеру впервые
досмотрели финал до конца
браво браво ликуют живые
и погибшие кланяются

* * *

Одни кричат: это наша земля.
Другие кричат: это наша земля.
Мы сорные травы на спорной земле.
Меньше нуля.

Одни хотят народной войны.
Другие хотят народной войны.
Но наши корни глубоко в земле
переплетены.

Одни говорят, что воюют за нас.
Другие твердят, что воюют за нас.
Но если б они ворвались в твой дом,
никто бы не спас.

Когда не останется яств на столе,
когда не останется искры в золе,
они уберутся. Останемся мы
на убитой земле.

Ярослав Старцев

СЕЗОНЫ

* * *

И бывает так: лес придвигается к океану.

Единороги выходят на опушку – стволы и колючий кустарник размыкаются, пропуская их на вересковую дорогу к прибою. Раздвигаются, отползают плети ежевики, оставляя кое-где чёрно-синие потерянные ягоды; отклоняется и съёживается можжевельник, пряча зелёные иголки меж маленьких и кривых сухих стволов; терновник открывает пустотную изнанку зарослей.

А волны – движутся навстречу, и каждое биение прилива съедает ещё по куску пляжа, превращая медведеподобные глыбы в резвящихся тюленей, стирая уже почти ясную вязь, которую пишут гнёзда мидий по камням – до полусточенных точек и чёрточек, захлёстываемых и дразнящих сквозь прозрачный водный слой.

И только тонкая полоска между вересковой шершавой ковровой дорожкой и обсидианово-зелёными бурунами – тонкая полоска зелени, глины, известняка и пустоты вдоль уходящего отвесно обрыва.

Море не может подняться к краю утёса само – и выгоняет, выплёскивает гневно скрипящих поморников – слетевшие с пращи новой волны, они несутся крылатой белой галькой к берегу, но и земля будто отталкивает их, и кричащая стая отворачивает, не достигнув обрыва, и вновь, плавным водоворотом, закручивается вниз, к приливу, сливаясь в предсумеречном воздухе с пеной и опять рассыпаясь из белого неясного марева на десятки успокоившихся в родной стихии качающихся корабликов.

А потом приходит солнце – сквозь раскрывшийся вдруг проём в небесном жемчужно-блёклом тяжёлом пуху. Прозрачная желтизна лучей проливается к обрыву – и, встрепенувшись, плавно ступавшие единороги грудятся в полукруг, направив витые шпили рогов вниз и к центру, – к морю.

Солнечный свет, почти растворившийся было в густом воздухе, вспыхивает вдруг спиральными ручейками, обвивает костяные

грани и струится вдоль серебрящихся ложбинок, чтобы выстрелить веером сияющих игл, летящих с кончиков рогов к воде – туда, где вздымается изумрудная, теряющая быстро синеву и песчаную пыль величественная глыба волны, обрамленная слабыми белокраими всплесками, раздувающаяся до необозримого купола. Спицы лучей пронзают, преломляясь, эту непомерную линзу, но не могут пройти насквозь, сплетаются в самом её центре – и там, крутясь, начинает вызревать пламенеющее нечто, огонь внутри волны. Жёлтоплавкий вихорёк багровеет, потом разражается слепящим белым сиянием, и весь купол вскипает взрывом, рассеивая по-над обрывом, вдоль хребтов волн, по перьям не укрывшихся поморников, по шерсти единорогов, по можжевеловым кустам и вересковому цвету бессчётные золотистые брызги, одевающиеся тут же в радужные переливы высвеченной солнцем водной мороси.

И этот миг не терпит присутствия мыслящих существ – ни людей, ни богов. Каждая из золочёно-искристых капелек, пронизывающих воздух, сгущающих его, имеет силу создавать – и каждая мысль, каждая воля в этом играющем бликами тумане становится явью, и поднимается вверх, и оседает на мир кованой незыблемой маской. И пока только безмысленные твари сходятся на грани между лесом, камнем, водой и небом, пока капли отражают и передают бесконечным эхом, отливают в чеканный каркас лишь безумное нутряное желание жизни в себе и жизни вокруг – мир живёт, дышит и ярится, и замирает в ожидании каждый год, в тот день, когда всё начинается сызнова, чтобы встречей стихий творить свою судьбу.

* * *

Видишь свою чешую на земле.
Жареным пахнет,
Не думать о горнем время.
Срублена гниль, не волнуйся, доверься золе,
Шёпотом жахнет –
И верно, карбон не кремень.
Тонкими пальцами – просишь – и проще
Снулить липкую шкурку.
Неопределённость касается выбора бока.
Шов по хребту обветрен дыханием рощи,
И выманил мурку,
А мурка – жива, не жестока.

И необъятно желанье занозиться в горле,
До безвоздушья, и кашлем немым пучеглазым,
Чтоб несомненно хватило покоя.
Дальше – невнятно что чавканье, гомон ли, ор ли…
Сдвинули разом,
И осознающие – стоя.

* * *

Без разрывов и вскриков –
Плавно
Превращается лето в дождь.
Тем уж – нет, а иным – подавно.
Не надеешься, в общем.
Ждёшь.

Простынь выстыла: мокро.
Станем
Гостю греть в этот раз тарелку?
Все учебники – пеплом:
Сами.
Все уверенней, пусть и мелко.

Всем по крестику,
Чтобы точно –
Раз нехватка – иных ли, тем ли.
Кружим плавно, и дождь полночный
Превращается тихо в землю.

* * *

Память опадает. Лежать легко –
Будто бы периной подёрнут саван,
Смазан и засален, обмундирован –
Там и за понюшку немноженько.
Градус перехода поди, считай,
Радианты влево, супруги – книзу,
Истово и бережно веря сглазу,
Склизенько по тропке сноровчатой,
Пальцами фрагменты цепляя в дым,
Чуть охолонув, так что иней ноет,

Так-таки и чуешь – вот-вот растравит,
Не прекрасновыйным, так полостным.
Изнывает надфиль отчистить чадь.
Накрепко привязана, реет сонно
Лодочка подмёршего Хеллекина,
Будто бы зовя полуночничать.

* * *

Я продам тебе запросто веру в бога –
Выбирай любого, поди не скиснет,
Пара дней всего-то, потом полжизни,
Я могу продать ожиданье слога,
Упоенье снами, любовь к отчизне,
Или жест, на котором любая виснет,
Походи, понюхай – товару много.

Захоти гарантий, продам со скидкой,
Но гарантия, знаешь ли, тоже стоит –
Скажем, четверть запаса безумной боли,
Наживую штопанной вечной ниткой:
Это будет, постой-ка, лет восемь, что ли –
Округлю до дня, если всё устроит,
И подарок – месяц любови прыткой.

Всё по-честному, ты не боись, приятель,
Кто ни брал, – довольны, приходят снова.
Что, цена… Ты качество-то попробуй –
Даже простенький вон отразлучный шпатель,
Не подвержен скуке, протраве злобой…
Нет, на душу поди поищи другого,
Я на этом рынке не покупатель.

* * *

Вот они игрушки на ветке еловой,
Вырезаны споро, и пар оседает,
Будет, будет иней узорчатый скоро,
Будет, будет новый, обильны зверушки.

Вот они гирлянды, невскрыты, весомы,
Заячьи пореже, людские – крупнее,
Будут снова девы приветливо-свежи,
Позабудем всё мы до новой команды.

Вот они святые в епископском платье,
Вот они подарки – в мешочке круглятся,
Будут снова дети, пускай под огарки,
Хоть бы и не знатью, свои да живые.

Будем, будем, будем играть, веселиться,
Будем жечь омелу, и лопать от пуза.
Вот оно опять мимо нас пролетело,
Вот оно достанется – только б не людям.

* * *

Прошлогоднего снега фуфайку прожечь до мездры –
Непустое занятие. Пламя пребудет холодным,
Не насытит пришедшего к праздничным играм голодным,
Но откроет, насколько и пустоши эти пестры.

Переливы речей перекатами скользких обид
Пролетят, прокружат, обернутся в кипящие брызги –
И пойми потом, так ли уж очаровательны визги,
И в каком из отсеков мучительно-сладко свербит.

Запевай, заводи заударный лихой батальон,
Понастрой поладней, и струною бывает гаррота,
Не найдётся пока что на этот снежок окорота,
Но и тратят, уж если по правде, совсем не мильён.

Между тем, и мороза и тьмы выпадает сполна,
И поди угадай, что они учудят напоследок.
Мы-то знаем, бывает всегда или так, или эдак,
Мы-то знаем, что вечер не вечен, там свет и луна.

Елена Тверская

BEACH-ART
(ЧЕЛОВЕК ПИШЕТ ВИЛАМИ НА ПЕСКЕ)

Вот он пишет вилами на песке
На простом графическом языке.
То рисует круг он, а то овал,
Что придумал, то и нарисовал.
А зачем – неведомо никому,
Лишь бы ему нравилось самому,
Да существованию своему
В подтвержденье – видимое «Ау!»
Процарапать наперекор тоске,
Как-нибудь, хоть вилами на песке!

КАНИКУЛЫ В НЬЮ ЙОРКЕ

Что-то каникулы быстро кончаются –
Раз – и урок.
А у лошадки в такт перья качаются:
Нью-Йорк, Нью-Йорк!

Кажется многое, с виду случайное –
Ближе родни.
Старости юность дает обещания,
Зрелость – ни-ни!

Лошадь по городу перемещается,
Возит людей;
И в голове ее не помещается
Столько затей!

Сельской была она лошадью белою;
Ей невдомек,
Что городские со временем сделают
Нью-Йорк, Нью-Йорк!

Время надежд, удалое, покосное,
Время потерь,
Годы бескостные, все девяностые –
Где вы теперь?

Что остается, а что разрушается –
Кто разберет?
Только по парку теперь разрешается –
Взад и вперед.

И, запасая весеннего, летнего
Времени впрок,
Цокают– слышишь? – лошадки последние:
Нью-Йорк, Нью-Йорк!

PASO ROBLES ВЕСНОЙ

На виноградниках тепло.
Пока немного приросло
Зеленых веток молодых,
Но глазу весело от них.

И возвращается пчела,
Из далей, где она была
В разведке – много ли цветов?
А луг к налету не готов.

Гуляют ламы между гряд,
Съедая травы все подряд
И удобряют, проходя,
Лозу, в преддверии дождя.

Гармония – и мы в нее
Существование свое
Вливаем – совпадем иль нет? –
Как с винами минувших лет.

Все: в ожидании дождя.
И дождь прольется погодя,
Потом, потом, когда-нибудь,
Когда уже – в обратный путь.

СЧИТАЛОЧКА

В первые пять
Вернуться опять.
Следующие двадцать
Повторить раз пятнадцать.
Пару лет подряд
Прокрутить назад.
Пару-тройку лет
Зачеркнуть, как бред.
Задержаться в сейчас,
И не один раз.
А последних пять –
Можно и не брать.

LA GRANDE BELLEZZA

Нигде не любят чужаков,
Они везде – чужие.
В них – воплощение грехов
И недостатков жизни.
Но не в Италии, о нет!
Она не поскупилась
Ни на фонтаны, ни на свет,
Ни на какую милость,
Когда нам выпало втроем
В Италии остаться
И макаронами ее
Почти что год питаться.
Я благодарна навсегда
За доброту и жалость,
За то, что память на года
Bellezza напиталась;
Что за красивые глаза
И восхищенны взоры
Нам цены скидывал базар
На хлеб и помидоры;
За то, что, небом голубым
Своих не обделяя,
Дарила радости чужим,
За труд не почитая;

Что презирала не всерьез,
Бранила – вполнакала,
Покуда солнца и стрекоз
На каждого хватало!

АМЕРИКАН БЬЮТИ

Порхающая жизнь пакета.
Белесый пластик, свод пустот,
Нелепый знак, что бренно это
Существованье, что умрет
В углу каком-то неопрятном,
Полупрозрачный на просвет,
В старании неоднократном
Стать многоразовым
пакет.

SUMMER SOLSTICE

Зависло солнце. Высоко витает
Единственное облако – не тень,
И лето на легато налегает,
И полдень плавно переходит в день.
И далеко до музыки заката,
До темы сумерек, крещендо тьмы
Аккордов ветра, дождика стаккато,
До коды осени, до паузы зимы.

ПРОГУЛКА В СЕНТЯБРЕ

Пойдем пройтись. Суббота, не суббота –
Сентябрь – поэт, ему пройтись охота;
Он из прогулок делает стихи,
И это сразу видно по размеру:
Слегка холодноваты и манерны,
Но в частностях – быть может, не плохи.

Паук над залетевшей мухой бьется.
И с молодостью муха расстается.
Шмель пролетел с обиженным лицом.

Вороны с высоты глядят на марши,
И обсуждают с теми, кто постарше,
Каким все это кончится концом.

К пяти протяжно свищет электричка,
Знакомая, как старая привычка.
А вот и вечер с первою звездой.
На убыль дни, но это обойдется.
Загадывай желанье. Не сойдется –
Загадывай по новой, не впервой.

О ДРУГОМ

Вот, жизнь – такая недлинная,
Хотя бывает длинна
(Особенно если в памяти
Не держится ни хрена),
Несется, как оглашенная,
Как будто спешит куда...
А смерть – бывает мгновенная,
А длится потом всегда.

ПО БЫВШЕМУ ВРЕМЕНИ

Осенью и весной –
Это только со мной,
Или вообще со всеми?
Переставляют время.

На два часа, на час,
Не спросив человека,
На треть, на четверть века,
Это же – всякий раз –

Словно стукнуть по темени!
И отвечай на раз:
Сколько теперь у нас
По бывшему времени?

ЛЕОНИДЫ

Налетели Леониды.
Я боюсь
Их немного, а для вида –
Притворюсь.

Если будут попадаться,
На виду,
Я, как пешка,
Прямо в дамки
Попаду.

Но на небо налетела
Пелена.
Ни одна звезда на небе
Не видна.

Ваш полет за пеленою
Скрыла мгла,
Леониды!
Буду пешкой,
Как была.

«ШОКОЛАДНИЦА»

В «Шоколаднице» на Тверской
Рядом с шумной людской рекой
За стеклом на секунды-две
Силуэт промелькнет в окне.
Как покинутый мной близнец –
Мама общая и отец, –
Кофе пьет на исходе дня
Так похожая на меня.
Кофе пьет и ест шоколад…
Я давно не смотрю назад
И не пью, как велось у сов,
Кофе после пяти часов.
И кофейная гуща мне
Говорит, что многое не

Сохранилось, хотя сбылось,
И проходит земная ось
Много лет не через меня…
Эта девочка – мне родня.
Пусть живет, где юность прошла
Шоколадницей в два крыла.
И без малого в N-десят
Я, хотя не смотрю назад,
Виртуально махну рукой
Этой девочке городской.

ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

Снег умрет – и не вспомнят, как жил.
Стает весь, не поверят, что был он.
На морозе он мерз, что есть сил,
И под солнцем держался насилу.
Был белейший сперва, а потом
Стал и порист и темен, как деготь.
Прошлогодний – так скажут о нем
И вернуть захотят, но не смогут.

Михаэль Шерб

* * *

Прими меня, заброшенный вокзал.
Где арматуры ржавые волокна
Просвечивают сквозь бетон, и окна,
Прищурившись, глядят дождю в глаза.

И грозный, нескончаемый состав
Уходит в небо через купол-темя…
Здесь вечно ускользающее время
Я встречу и поймаю за рукав.

Пусть отразят небесный сухостой
Затертые скрижали расписаний,
Я встану между встреч и расставаний, –
Не одиночкой: точкою, звездой.

Пусть не вода, а божья благодать
По стенам тонкой струйкою стекает…

Ладони кленов улетают стаей
Огромный воздух осени терзать.

* * *

Когда из сумерек балета,
Нет, не точеные черты –
На тонких парусах рассвета
Фонарик утренней звезды
Плывет туманом придорожным,
Не шелест – листьев ли, травы, –
Но трепет музыки подкожной
Ночною бабочкой из рук
Летит меж пальцев на свободу,
И капля, превращаясь в звук,
Холодную колышет воду,

Безмолвия ломает лёд ,
Звучит – и быть перестаёт.

* * *

Зачем с полынной, выцветшей латыни
Природа перешла на царственный иврит,
Зачем накрытый стол посередине
Огнём объятой комнаты стоит,

И рукопись ветвей пестреет от помарок, –
Ее закатный свет, как верный пес, лизнул,
И дерево огню оставило в подарок
Прощальной новизны пчелиный плотный гул?

Когда над нами ночь раскроет звездный веер,
И лаком тёплый дождь покроет колею,
Пусть всё вокруг заснёт, пусть одеревенеет
И небо на шипах, и воздух на клею.

* * *

По асфальту струй простудных
Перевернутый камыш.
Вязнет сумеречный студень
В серебристых блюдцах крыш.

Кто, невидим и печален,
Мнёт податливую твердь,
Окунает жесты чаек
В остывающую нефть?

Чьи уныние и скука,
Растворенные в золе,
Стебли черного бамбука
Расстилают по земле?

Многоклювы птицы-тени –
В каждом клюве по звезде,
И древесные олени
Отражаются в воде.

* * *

Листать блокноты листопада,
Пока осиная прохлада
Сосёт вино мускатных нот
Из лопнувшего винограда
Повисших в воздухе длиннот.
Уже закатным солнцем сада
Твоё лицо освещено,
Но мне привыкнуть не дано
К периоду полураспада.
Я засыпаю. Перед сном
Мне улыбается дитя.
Пшеничный свет его вчерашний,
Путём созвездий проходя,
Касается небесной пашни
И там становится зерном,
И улыбается над нами,
Потом становится лозой,
Потом становится золой,
И птичьим криком над полями.

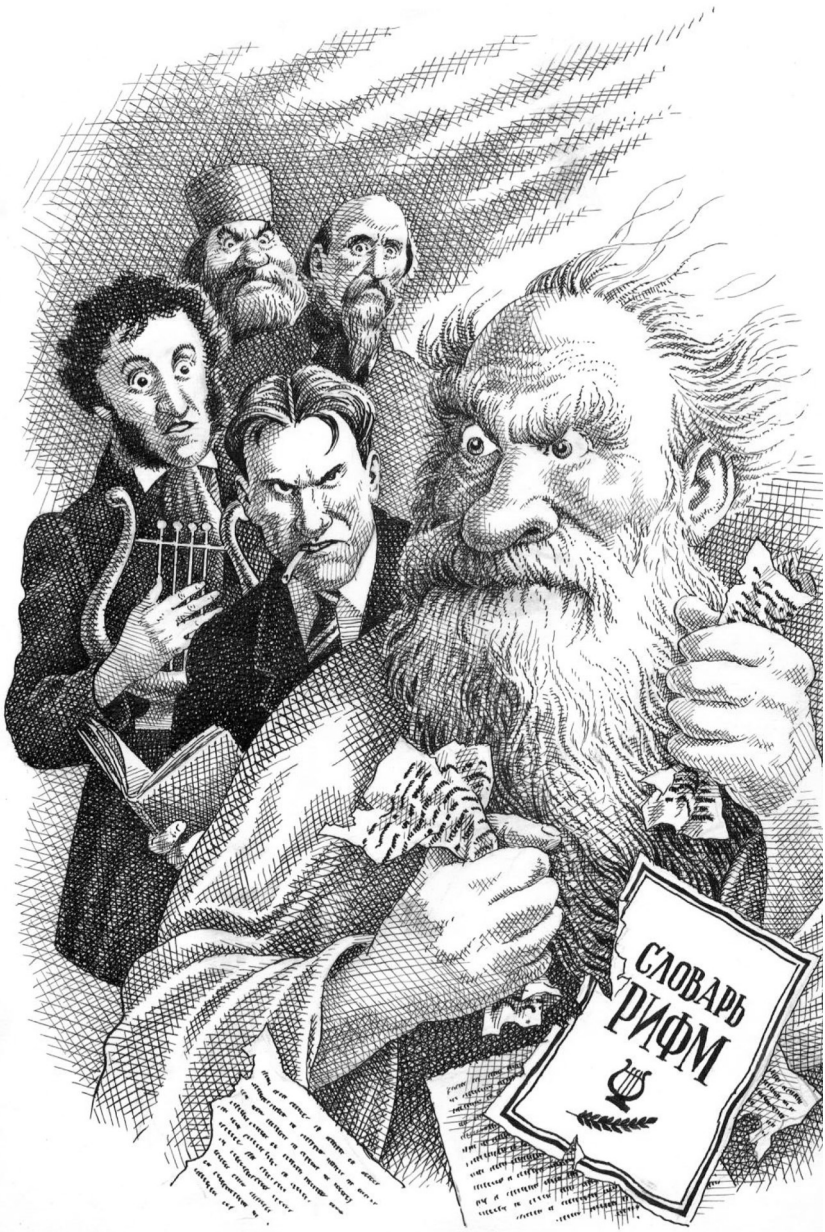
ЭЛЕГИЯ ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ХИНТА

Подступает к горлу холод
Ожерельем из осин.
Ветерок бежит за ворот
От бумажных гильотин.

Это осень птичьей ратью
Затаилась в синеве.
Меж собой все листья – братья,
Если лягут на траве.

Так стучится в двери клювом
Лета радужная тень,
Так сияет медным блюдом
Безрассветный, плоский день.

Не рифмой единой



Андрей Кротков

ЗАПИСКИ ЛАЗАРЯ

От редактора

Происхождение этого текста неизвестно. Написан он шариковой ручкой на листах писчей бумаги современной выделки. Однако характер почерка, дореформенная орфография и стилистические особенности оригинала позволяют атрибутировать текст, как принадлежащий автору гораздо более раннего времени.

При подготовке публикации текст был приведён к современным нормам орфографии и пунктуации, некоторые детали изложения прокомментированы (курсивом в скобках прямо в тексте), остальное сохранено без изменений.

1.

С чего начать – я, милостивые государи, не знаю. Потому начну с самого начала, которое, как выяснилось, для меня было вовсе не начало, а скорее даже совсем наоборот.

Одышкою и грудною жабой мучился я последние шесть лет жизни моей. Доктора предписывали полный покой, лавровишневые капли, настойку валерианового корня, calii bromati (*бромистый калий, универсальное успокоительное средство в медицине позапрошлого века.* – Ред.) и всё, что тогдашняя медицина (теперь уж имею право о тех временах говорить в прошедшем) имела в распоряжении для пользования сердечных недугов. Да толку от этих средств было мало. Приступы меня то и дело валили и растаптывали, особенно при моём горячем характере, от которого и сам я немало страдал – как услышу или прочту какую-нибудь особо выдающуюся глупость, с цветочками, с виньетками, с витиеватыми росчерками выведенную, так проклятая жаба начинает своими коготками по сердцу скрести, а потом словно чёрт на грудь садится и дыхание давит.

Вот и тогда, в Петербурге, в морозный день с ветром и позёмкой, февраля двадцать первого дня, года одна тысяча восемьсот девяносто пятого (*дата приведена по старому стилю.* – Ред.), схватил меня, по погоде, очередной приступ. Совсем худо стало, грудь от

боли словно разрывалась, в голове закружило и смешалось, дыханье перехватило... С мыслью, что, видать, конец мой приходит, и лишился я чувств. Не было ни страха смертного, ни возвышенных мыслей.

А потом... Похоже на то, как будто, упавши в чём был спать с сильного перепою, начинаешь сквозь тяжкий хмельной сон очухиваться, и себя, словно по кусочкам раздёрганного, собирать.

Чувствую, что лежу на мягкой постели, что голову вроде как ветерок овевает, что глаза мои прикрыты, но сквозь веки ощущаю свет, и довольно яркий, совсем почти как дневной, а рядом слышу звуки непонятные – щёлканье, стрекотанье, тоненькое урчанье, пыхтенье и позвякивание. Похоже, будто одновременно кто-то ложечки серебряные перебирает, разом тикают несколько старинных каминных часов, самовар закипает, а по полу обыкновенный деревенский ёж бродит и пыхтит, как только ежи пыхтеть умеют. Чувствую себя не то чтоб совсем благолепно, однако сносно – боли в груди нет, дыхание свободное, только вот горло немного саднит и спину поламывает от долгого лежанья.

Дай, думаю, открою глаза. Попробовал – вышло, открылись, видят. Отчётливо, заметьте, видят – не в пример тому, как прежде без очков. Ногами поперебирал – целы ноги, чувствительны. Руками поводил – руки свободны, движутся. Но как попытался привстать да сесть – нет, не могу, слабость великая, враз в пот прошибло и голова опять вскружилась.

И тут, на моё шевеление, появляется и надо мною склоняется человек. По здравом размышлении, сколько я мог тогда себе позволить здраво размышлять, смекаю, что это, должно быть, доктор.

Склонился он надо мною и глядит. Молодой, лет тридцати, стрижен коротко, выбрит гладко, как актёр – ни бороды, ни усов. По белому докторскому халату понимаю, что не ошибся.

– Проснулись, Николай Семёныч? – спрашивает.

Языком-то поворочать я прежде не догадался, а тут попробовал – надо же, слушается, только во рту сухо. Прошепелявил я нечто невразумительное, а он мне воды в ложечке поднёс, и сразу глаголание моё прочистилось.

– Как себя чувствуете? – спрашивает.

– Благодарю, – отвечаю, – для моих лет неплохо, а после такого приступа и совсем, можно сказать, превосходно. Скажите, – говорю, – уважаемый, не знаю как вас звать-величать, где я? Вижу, что не дома. Должно, в лечебнице?

– Вы правильно догадались, Николай Семёныч, – отвечает, – в лечебнице. Лежите спокойно, не пытайтесь подыматься, это вам пока опасно из-за слабости сердца. Как можно будет вставать, я

вам сообщу и сам при этом непременно буду. А главное – ничему не удивляйтесь.

И ушёл.

Очень он меня последнею фразою смутил. И не только ею. Не могу сказать теперь, откуда, но с первых слов его и от одного его вида закралось в меня некое общее смущение и впечатление чего-то небывалого. Вроде говорил он по-русски, да как-то не совсем по-русски – такого говора, такого тона, такой манеры держать себя я прежде не видывал. Слишком уж запросто, бесцеремонно – в моё время даже меж близких друзей в разговоре и общении наблюдалась некоторая церемонность, а сей эскулап спиною поворотился и ушёл – себя не назвавши, не прощаясь и ничего толком не сказав.

Мысли разбрелись было, но я их скоренько в кучку смёл. Лежу в чистом светлом покое, чувствую себя неплохо – чего ещё? Авось сейчас придут и разобъяснят, как я сюда попал.

Уж не знаю, почему я сразу не догадался голову направо повернуть. Повернул – и обомлел. Там стоит стол наподобие тех, что в университетских естественнонаучных лабораториях видеть можно, а на столе... Одно слово – приборы! Я их видывал и даже умел различать по предназначению, видывал и манометры и барометры, и катушки гальванические, и электрический осветительный прибор господина Лодыгина, и новейшие телеграфные аппараты, и даже телефон – из Америки привезённое изобретение господина Белла, коим можно пользоваться для прямого разговору голосом по проводам посредством электрической сигнализации. А таких – отродясь не видывал. И для чего они нужны – понять не могу. На скалах (*слово «шкала» до начала XX в. произносилось именно так.* – Ред.) тоненькие стрелочки дрожат, огоньки вроде лампадок мигают, по светящимся окошкам тянутся – и движутся – светящиеся же линии, а главное – от одного такого прибора прямо ко мне, рабу Божьему, протянуты снурки не толще рыболовной лесы, на концах коих сделаны нашлёпки, и приляпаны эти нашлёпки к моей груди – две напротив сердца, две с другой стороны, под рёбрами. И от этих-то приборов и исходят все те непонятные звуки, что я сперва принял за самоварное гуденье и ежиное пыхтенье.

Вот тебе и раз, – думаю, – уж не на том ли я свете, и не отволокли ли меня прежде сроку в анатомический театр, где способные ученики Евгения Базарова собираются меня, как лягушку, выпотрошить к вящей собственной славе и во приумножение научных знаний? Коли так, то шиш я вам дамся.

Насчёт того света я сам себя тут же и окоротил – потому как о существовании того света достоверных учёных сведений в моё

время получено не было, а тому, что наш гимназический законоучитель преподносил насчёт райских кущей и серного жупела, я и в юные года поверить не мог.

Тут открывается дверь, и входят двое – давешний молодой знакомец и с ним другой господин, на вид – моих лет, седой, и тоже гладко выбритый. Что, думаю, здесь у них за мода такая английская – начисто скоблиться?

– Здравствуйте, Николай Семёнович, – говорит седой, – мне сообщили, что вы пришли в себя и самочувствие ваше нормальное.

– Всё так, – говорю, – спасибо за уход и лечение, в прямом смысле слова сердечно вам благодарен; только, господа, благоволите, наконец, разъяснить мне, где я нахожусь, а заодно позвольте узнать ваши имена, ибо чувствую себя в неловкости от того, что вынужден к вам обращаться безлично, как к питерским извозчикам.

– Меня – говорит седой, – зовут Андрей Николаевич, я кафедральный профессор и доктор медицины, а это мой молодой коллега, медицины кандидат, зовут его Сергей Васильевич.

И оба переглянулись. Мне эта их переглядка не особенно понравилась.

– Вижу, – говорю, – господа, что вы от меня что-то скрываете, потому и переглядываетесь, как Цицероновы авгуры. Уверяю вас, от меня скрывать ничего не надобно, ибо я видал всякие виды и мало чему на этом свете удивиться смогу. А потому убедительно прошу быть со мною откровенными, каковой откровенностью отплачу и вам.

– Ну коли так, – говорит седой, – то откровенность за откровенность. Позвольте только, многоуважаемый Николай Семёнович, нам произвести некоторые наблюдения над вашим самочувствием, а затем мы с вами обо всём обстоятельно потолкуем.

Пощупал он у меня пульс, оттянул нижние веки, помял живот, посмотрел в светящиеся окошки тех приборов, что на столике справа стоят. Затем оба они взяли по стулу и подсели к моему одру – слева, где свободное место.

– Помните ли вы – говорит седой, – тот сердечный приступ, после которого вы лишились сознания?

– Помню, – отвечаю.

– А еще что-нибудь помните? Не было ли у вас каких-нибудь особенных ощущений?

– Да нет, – говорю, – плохо мне было, а потом как провалился, и всё.

Седой замолчал и смотрит на меня, и молодой тоже. Потом седой вздохнул и говорит:

– То, что вы сейчас услышите, уважаемый Николай Семёнович, может показаться вам удивительным, более того, совершенно невероятным. Готовы ли вы услышать то, что я вам скажу?

– Готов, – отвечаю, – я давно ко всему готов.

– Хорошо. Так вот, Николай Семёнович, от того приступа вы скончались. Однако мы с помощью особых средств и усилий смогли вернуть вас к жизни.

– Понимаю, – говорю, – я про такие случаи слыхал, когда мнимоумерших к жизни возвращали; стало быть, и на мою долю такой случай выпал, чего я, по правде говоря, никак не ожидал.

– Вы, Николай Семёнович, были не мнимоумерший, а самый настоящий умерший, со всеми признаками прекращения жизни. И сейчас мы с вами беседуем, как с воскресшим Лазарем.

– Как же, – говорю, – сюжет известный. Неужто и я, господа, четыре дня лежал бездыханный и вышел к вам из склепа повитый погребальными пеленами?

– Да нет, – говорит седой, – дело обстоит гораздо серьёзнее. Вы поймёте, что я имею в виду, когда я назову вам нынешнюю календарную дату. Так вот, Николай Семёнович, сегодня у нас на дворе девятое июня одна тысяча девятьсот девяносто девятого года от Рождества Христова, и со времени вашей кончины миновало чуть более ста четырёх лет.

– Вы, господа, – говорю, – наверное, меня разыгрываете, или же здесь не простая лечебница, а дом для умалишённых, и вы назначены для освидетельствования моих умственных способностей.

– Николай Семёнович, – говорит молодой, – мы нисколько не собираемся вас разыгрывать и вообще шутки шутить, а то, что вы живой и, надеемся, здоровый, находитесь в другом времени и в грядущем по отношению к вашей прошлой жизни веке, так в этом вы вскорости сами сможете легко убедиться, когда ознакомитесь с некоторыми предметами современной обстановки и с обстоятельствами внешней действительности, с которыми мы вас обязательно познакомим въяве, но только не сразу. Кстати, хорошо ли вы понимаете то, что мы говорим?

– Понимаю хорошо, – отвечаю, – хотя, должен признаться, слышу в речи вашей некоторую искусственность, словно вы для разговору со мной отменно репетировали.

– Так и есть, – говорит он, – мы опасались, что современная речь вам не всегда будет понятна, и специально – как вы выразились, отменно – репетировали, или, как теперь говорят, тренировались, а в частности перечитали некоторые ваши, Николай Семёнович, сочинения.

– Какая, – говорю, – однако, приятность для русского литератора слышать, что его сочинения и сто лет спустя на родине читают. Неужто они в публичных библиотеках ещё в сохранности?

– Не только в сохранности, – говорит седой, – но сочинения ваши издавались неоднократно во многих томах, и всегда с большим успехом.

– А в таком разе, – говорю, – позвольте, господа, спросить, нет ли уж мне и памятника от благодарных потомков?

– Есть, – отвечает молодой, – как не быть. В вашем родном городе Орле.

– И мой бренный прах – говорю, – тоже там покоится?

– Мы этак – отвечает седой, – далеко с вами зайдём, и разговор наш приобретает опасные повороты, но коли уж вы спросили, Николай Семёнович, то отвечу, что покой ваш на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге был потревожен, но в степени очень малой, и возвращение ваше к жизни произошло совсем не по сигналу архангеловой трубы, как о том трактует Священное Писание, а путём изъятия самомалейшей частицы вашего бренного, как вы изволили выразиться, праха, из коей современная наука методами, вашему пониманию вряд ли доступными, восстановила вас такового, каков вы были сущий. Так что позвольте поздравить вас со вторым рождением, а заодно принести извинения, что сделано всё это было без вашего дозволения.

– Ну, – говорю, – коли уж иной раз за скорую безболезненную смерть обещают отблагодарить, то за дарованную новую жизнь, господа, только самый распоследний сукин сын не восчувствует и не поблагодарит. Однако, господа, я теперь в некотором утомлении, и хочу несколько переварить всё то, что вы мне рассказали. Согласитесь, для пожилого человека сей груз новизны немал и обременителен.

– Пожилым человеком – говорит седой, – вас, Николай Семёнович, теперь назвать будет затруднительно, скорее уж новорождённым младенцем. И вы, безусловно, правы – отдыхайте. Сейчас вам принесут снотворное снадобье, выпейте его безбоязненно. И помните, что вы для нас не подопытное существо, а живой человек в своём праве и достоинстве. С этого, собственно, и надо было начать наш разговор.

Выпил я снотворное и тотчас уснул.

2.

Проглядывая сделанные записи, по некотором размышлении решил я первую их часть оставить без изменений, вторую же основательно сократить, а третью и все последующие, буде возникнет нужда в написании их, сочинять осмотрительно, не растекаясь мыслию по древу. Названным грехом согрешил я в помянутой второй части моих «замогильных записок» (спасибо г-ну Шатобриану за удачное заглавие).

Меня и раньше критики упрекали, что я привержен греху многоглаголания и витиеватости. Некоторая основательность в том упрёке была. Теперь же, в обстоятельствах совершенно исключительных, такой грех может быть оправдан – ибо, оказавшись в положении много интереснее Робинзонова, то есть представ не единственным человеком на необитаемом острове, но сам ставши некоторого рода необитаемым островом в океане человечества, я имею право ежеминутно и каждодневно удивляться всему, что вижу, и с полным основанием могу изводить немеряное количество бумаги для записи своих впечатлений, тем более что уважаемый мною профессор Андрей Николаевич сие занятие очень поощряет и говорит, что моим запискам цены нету. Я, однако, склонен думать, что в многописании моём сказались давний простой и отвычка: шутка ли, сто лет перо в руки не брал – а уж теперь, добравшись, отведу душу!

И вот, по первоначальном насыщении забытыми трудами, постановил я себе в правило сделать словам тесно, мыслям просторно. Что толку в наиподробнейших записях всего виденного и слышанного – они для меня суть новости, нынешнему же человечеству всё сие давно не в диковину, да и разом проглотить такое количество свершившегося никакой ум, сто лет продремавший, не в силах. Довольно будет сказать, что за время от моего преставления до чудесного, силою науки, воскрешения – человеческий разум, похоже, не спал ни дня, прогресс свершался неудержимо, и весьма многое, что инженерною мыслью было изобретено, сделано и построено, изрядно облегчает жизнь человеческую сравнительно с тем, что было в мою эпоху. А вот в улучшении природы собственно человеческой, в повадках и замашках детей Адамовых я никакого особого прогресса высмотреть не смог, как ни старался. Но об этом чуть позже и отдельно.

Упомяну кратко, что стараниями пользовавших меня докторов восстановление моих сил и здоровья шло успешно и быстро. Чему искренне радуюсь, так это обретённым на сей день возможностям

медицины. Недуги, в моё время совершенно безнадёжные и неисцелимые, теперешними медикусами излечиваются легко, фармакопея стала в десятки раз преобширнее той, что прежде; сам я однажды писывал в «Сказе о тульском косом левше», что доктора николаевских времён никаких сильных средств, кроме клистира, кровопускания, рвотного порошку да слабительного корня, в арсенале не имели и средствами этими крепко злоупотребляли, по каковой причине даже сильные пациенты их, будучи ослаблены потерею крови и желудочным изнурением, в преизрядном числе отдавали Богу душу наравне с пациентами слабыми. А теперь, говорят, хирургическое искусство дошло до того, что можно здоровое сердце пересадить взамен больного, и Андрей Николаевич намекает, что со временем предложит мне рассмотреть возможность подвергнуться такой операции.

(A propos (*франц. кстати.* – Ред.): беседуя с Андреем Николаевичем, то и дело вспоминаю сына моего, которого имя и отечество по совпадению точно такие же, и испытываю тихую грусть. С ним мы не всегда ладили – я был крутенек, и он непрост. А теперь знаю – по моей же просьбе мне сообщили – что сын мой Лесков Андрей Николаевич скончался в году 1953-м. Нет ничего страннее отцовской гордости за покойного сына, однако горжусь тем, что Андрей в военной службе дослужился до чина полковника, много позже был одним из основателей новой российской пограничной стражи и скончал живот свой восьмидесяти одного года от роду, пережив меня не только по естеству жизненному, как подобает детям переживать родителей, но и семнадцатью годами чистого счёта. Знаю также про внука моего Юрия, родившегося уже после моей смерти, и про правнучку Татьяну. Обстоятельств их дальнейшей жизни узнавать не ищу, ибо страшусь возможной встречи с потомками колена своего – для них это будет потрясением. Сам себя назначаю к одиночеству. Неизъяснимо печально это чувство – знать, что ты пережил всех прямых потомков своих и остался на земле один как перст; впрочем, подобные обстоятельства наблюдал я и прежде, зная многих людей, что от счастливой многосемейственности приходили к одинокой старости, и не вижу в таком положении своём никакого сходства с судьбою Иова многострадального).

Когда я окончательно окреп и поправился так, что меня перестали возить в покойных креслах на колёсном ходу и дозволили самостоятельно перемещаться по зданию лечебницы, Андрей Николаевич и Сергей Васильевич приступили к истолкованию мне теперешнего моего положения. От них я узнал, что чудесное воскрешение моё есть до некоторой степени государственная тайна, и

что о нём осведомлены всего несколько лиц в правительстве, в том числе и предержатель верховной власти, который теперь в России есть лицо срочно-выборное и именуется на американский и французский манер президентом. Просили они меня также не роптать (по нынешнему выражению, «отнестись с пониманием») относительно того, что некоторые ограничения для меня в свободе перемещения пока что необходимы – ради моей же безопасности, но со временем они будут упразднены; они просили и настаивали, чтобы я ни в коем случае не считал себя ни государственным узником вроде Железной Маски, ни подобием морской свинки в учёных опытах г-на Мечникова. Я отвечал, что принимаемые меры к охранению моего существования совершенно разумны, и что все ограничения, которые сочтено будет нужным на меня наложить, я приму как должное, поскольку щекотливость ситуации с бродящим по улицам воскресшим покойником превышает разумение не токмо частных приставов и городовых, но затруднительна и для лиц, облечённых высшею государственною властью.

Андрей Николаевич, обходительности и предупредительности которого я не перестаю удивляться, в очередной раз явил сии качества, обратившись ко мне именно тогда и именно с тем вопросом, о котором я сам имел помышление, а именно – не хотел бы ли я ознакомиться с ходом основных мировых событий по печатным источникам, дабы не пребывать в наводящем тоску неведении. Когда я согласился и выразил желание приступить незамедлительно, Андрей Николаевич сказал, что некоторые предварительные сведения он сообщит мне изустно и собственноручно, так как без подобного предуведомления мне будет непросто разобраться: «За последние сто лет люди наворотили дел больше, чем за все века от сотворения мира, и увы, большая часть этих дел ни к чему хорошему не привела». Я отвечал, что ничуть этому не удивляюсь и даже полагаю, что найду в анналах описание исполнения некоторых моих тайнодумных пророчеств, о которых в своё время публично не высказывался, дабы не напугать почтеннейшую русскую публику своим пессимизмом.

Беседы наши с Андреем Николаевичем имели самое благотворное воздействие, после чего я уже самостоятельно засел за предоставленные мне хроники и труды.

К изменившемуся за протекшее время русскому правописанию я привык быстро – и усматриваю в нём благоразумную надобность. Бессмысленное, на мой взгляд, цеплянье старых академиков от грамматики и гимназических учителей за устарелые правописательные нормы основывалось на всегдашнем нашем российском

ретроградстве, и я хорошо помню невозможность объяснить самому себе, почему один и тот же звук, в произношение поставленный, на письме следовало изображать сугубо и трегубо, почему надлежало в конце слов с окончанием согласным непременно ставить немые ерики, для чего букве «и» давалась в пару совершенно однозвучная буква «і»... Соглашусь, что известный консерватизм правописательный необходим затем, чтобы недоучившийся грамотей не варачкал как Бог на душу положит, а следовал общеобязательным правилам – но столь же твёрдо придерживаюсь убеждения, что всякому консерватизму также следует указывать предел, иначе он обратится в гирю на шее просвещения, и реформа орфографии русской нашему языку урона не нанесёт, как то прорицали меднолобые противники гражданского шрифта при Петре Великом. Тем не менее собственные записи я буду делать в правописании прежнем, к коему привык.

Всегдашний мой скепсис в отношении благоразумия и благонамеренности человеческой натуры – качество спасительное, ибо только благодаря ему и сумел я без душевного надлома и сердечной боли воспринять всё прочитанное мною о ходе исторических событий века, прошедшего со дня моей кончины. Про то, что в России упразднится монархия и установится республика, и что на этом поприще не обойдётся без гражданского братоубийства, что рано или поздно нам не миновать войны, а то и двух войн с надутыми спесью потомками остзейских баронов и прусских бауэров (с каковыми несдержанными на язык барончиками я собственноручно сразился в ревельском ресторане, пустив в дело последним аргументом летающий курзальный стул), что на волне всеобщей дури и разброда до верховной власти в России могут добраться бездонные и бесчердачные поклонники немецкого экономического писателя г-на Карла Маркса, что от бывшей российской империи при первом её кризисе непременно отложатся Польша и Финляндия, а за ними вслед потянутся кавказские горные князья и туркестанские эмиры, что под правлением марксидов худшие стороны российской государственности усугубятся, а лучшие истребятся – про всё то я не знал достоверно, ибо не Саул есмь и не во пророках (*ветхозаветная реминисценция на историю первого царя израильского Саула, одно время присоединившегося к бродячим прорицателям, отчего и пошла ироническая присказка «Неужто и Саул во пророках?»* – Ред.), но смутно догадывался внутренним беспокойством и душевной тоскою. А теперь, когда узнал я, что правление марксидов, продлясь три четверти века, пало, и что Россия в который уж раз пошла по смутному кругу, и опять её обкусали и обгрызли

с краёв, как нищие коврижку – то начинаю верить в «дурную бесконечность» г-на Гегеля и возвращаюсь мысленно к собственной давней диатрибе насчёт того, что нету в России ни либералов, ни демократов, ни консерваторов, ни прогрессистов, а есть одна деревенская попадья...

Не много удивляюсь я и тому, что Россия в теперешнем её виде очень напоминает самоё себя столетней давности, особенно в части неравенства граждан по доходам и соответственного образа жизни разных сословий, из коих высшее сословие сибаритствует не хуже самых состоятельных европейских буржуа, а низшее сословие обретается в положении, мало отличном от положения диких пещерных предков, то есть питается тем, что Бог послал, и не имеет подчас цельного лоскута для прикрытия срама.

(A propos: Андрей Николаевич известил меня, что, ввиду совершенной исключительности моего нынешнего положения, я бессрочно принят на казённый кошт и полное государственное содержание посредством выплаты мне пенсии, что мне будет предоставлено в пожизненную собственность бесплатное казённое жильё и собственный же выезд, а также все другие средства к современной жизни, без которых оная была бы затруднительна, и без которых мы в наше время превосходнейше обходились).

Обещав быть во второй части своих записок кратким, я всё же на время уподоблюсь популярному среди ленивых гимназистов авантюрному писателю г-ну Жюлю Верну и оставлю краткий очерк впечатлений об уровне инженерной изощрённости текущего века – хотя ума не приложу, какой интерес могут представить мои впечатления сторонним читателям; они были бы интересны моим современникам из прошлой жизни, однако средств для путешествий во времени нынешняя наука так и не изобрела, да и вряд ли изобретёт, потому что тогда вся история человечества превратится в толкучий рынок разновременных прохиндеев и очень скоро сделается натуральным сумасшедшим домом. Вообразите только иваново-вознесенского купца, приехавшего в древние Афины торговать своими ситцами, или Мамаеву рать, вышедшую на Куликово поле с нарезными артиллерийскими орудиями, купленными у г-на Круппа...

Наблюдая нынешнюю жизнь с материальной её стороны, я вижу, что все теперешние удобства её суть продолженные и усовершенствованные начинания прошлого, часть коих я застал в эмбриональном, так сказать, состоянии, а ныне вижу в фазисе почти полного развития. К примеру, я быстро освоился с устройством, которое передаёт движущиеся изображения и звуки из весьма даль-

них мест таким образом, что зритель как бы сопричастует происходящему там; называется это устройство «телевизор», и я был рад, что без труда угадал смысл этого названия, едва лишь впервые его услышал – нам, наследственным консисторским, казённопалатским и поповичам, латинское и греческое корнесловие знакомо даже в большей степени и лучше, чем теперешним студентам.

Не могу не похвалить и чрезвычайно удобное устройство для телефонной связи, которое можно носить с собою в жилетном кармане наподобие портсигара, и посредством которого я могу беседовать с любым обладателем такого же устройства, в какой бы отдалённой губернии он ни находился. В своё время я в Петербурге так и не воспользовался ни разу телефоном – сильна была старинная привычка вызывать посыльного или передавать записки и письма с прислугою. И вот теперь поди ж ты – запросто обращаюсь с устройством, о котором не имею ни малейшего понятия, как и на каких принципах физических оно действует. А впрочем, многие ли пассажиры Московско-Петербургской железной дороги в моё время знали, как устроен паровоз, влекущий вагоны? Им ведь ехать надобно было, а не в паровозном деле разбираться.

Единственное, к чему не могу привыкнуть и на что поглядываю с опаскою – это машины, летающие по воздуху. В ясную погоду я вижу их в небе каждый день по нескольку десятков и всякий раз поражаюсь, что такое сделалось возможно. Впрочем, и в пасмурные погоды движение такой машины хоть не зримо, да слышно – оно сопровождается звуком столь сильным и громким, что его ни с чем не спутаешь. По словам Андрея Николаевича, летают они на высоте до десяти вёрст, расстояние от Москвы до Парижа преодолевают за три часа и вмещают в себя до трёх сотен пассажиров разом... Нет уж, помилуй Бог, летать по воздуху я не отважусь, да и куда мне лететь? Когда я высказал свои опасения Андрею Николаевичу, он со мною согласился.

Совсем забыл упомянуть в начале этих записок, что местопребывание моё теперь в Москве – городе, в котором бывал я прежде не весьма часто, и который знал гораздо хуже, нежели мои любимые Киев и Петербург.

Москва вновь сделана столицею российского государства, в чём есть несомненный исторический резон, определяемый силою древней традиции, однако не мне сейчас взвешивать эти резоны – я вырос в привычке и знании, что столица России это Санкт-Петербург. В теперешний монастырь не с моим замшелым уставом лезть.

3.

Вопреки утверждениям фантастических писателей, что человек, угодивший в далёкое будущее или далёкое прошлое, приспособиться там не сможет и непременно скончается от нервного потрясения и непривычки к условиям времени – я к нынешнему веку на удивление быстро приспособился, и живу в нём, не особо сокрушаясь о былом. Может быть, такая гибкость нравственного позвоночника моего вызвана тем, что я всё же у себя дома, русский среди русских, и отчаянное путешествие моё было путешествием всего лишь во времени, которое протекло поверх меня и само по себе есть субстанция невещественная. А переместись я, скажем, компаньоном г-на Миклухо-Маклая к папуасам на Новую Гвинею, в сопровождении министерского циркуляра о водворении меня там на вечное поселение – то через полгода непременно взвыл бы волком и удавился на какой-нибудь роскошной пальме.

Хотя теперь я всё чаще задумываюсь о двух предметах, ранее в голову не приходивших. Первое: почему именно мою персону избрали для реинкарнации и метемпсихоза (*древнеегипетское учение о переселении душ.* – Ред.)? Второе: чем и как буду я возмещать и замещать вынужденную праздность, навязанную мне необычностью обстоятельств? Привычку к писательскому труду, каковой труд есть труд каторжный, но любезный моему журнальному сердцу, ничем избыть невозможно. А поскольку я есть в некотором смысле литературный феномен, то есть писатель уже состоявшийся и волею случая получивший возможность через сто лет прибавить несколько томов к собственному собранию сочинений, то возникает третий вопрос, слыша который я всегда люто гневался: о чём писать?

В отличие от хроник и справочников, осилить пропущенную мною русскую словесность я не смогу – для этого надобна целая жизнь, и не полученная в кредит, как моя теперешняя, а прожитая горбом и изведанная шкурою. Разве смогу я уразуметь, к примеру, какими мыслями, переживаниями и общественными надобностями был вызван к жизни роман «Мастер и Маргарита», сочиненный около 1936 года г-ном Михаилом Булгаковым, сыном надворного советника Афанасия Ивановича Булгакова, профессора Киевской духовной академии, коего я в его молодые годы не коротко, но знавал, и кажется, даже припоминаю его маленького первенца Мишеньку? Г-н Булгаков-младший, как мне сказали, сейчас один из самых превозносимых российских писателей; однако я решительно не смог преодолеть даже начало сего прославленного рома-

на, поскольку незнаком с породившей его атмосферою, а переписанная автором история последних дней Иисуса Назарянина представляется мне неумелым модничаньем светского писателя, мало знакомого с церковною традицией. Впрочем, я могу быть неправ. Или же я, как теперь говорят, «не врубаюсь» – вот отличное словцо, что на фоне нынешней замусоренной иностранщиной речи мне нравится! Немало прочёл я в иные времена романов, раскрывая которые, чувствовал себя тупым топором, именно что врубающимся в узловатый чурбак и от него отскакивающим! От шибко узловатого чурбака и острый топор отскочит, и одна такому чурбаку дорога – в печку.

Немалое удовольствие доставили мне поздние сочинения Антона Чехова, от которого, каюсь, я при жизни больших свершений не чаял, и роман графа Льва Толстого «Воскресение» (*издан в 1899 г.* – Ред.). У Чехова просто всё хорошо, ни убавить ни прибавить, а у Толстого преотличны сцены народные и бытовые – но как только ударится граф в свои обычные проповеди и толкования евангельские, так уж тут просто хоть святых выноси. Прочитавши, потосковал: я-то с их поздними вещами ознакомился, а свои поздние, коли напишу, им подсудобить не смогу – только если разве к одному Лазарю воскресшему захотят ещё двоих Лазарей присовокупить, но это навряд. У них, учёных, и от меня одного голова скоро вспухнет.

Живу я в чужой подмосковной, в бывшем имении какого-то безвестного генерала, про которого ничего не слышал, хоть мы с ним и были ровесники. Обиходят меня совсем почти по укладу старинного барства. Женщина средних лет здесь за кухарку, зовут её Светлана Николаевна – имечко редкостное, только по балладе Жуковского известное, в моё время было не в обычае так дочерей называть. Горничная, что на стол подаёт и в комнатах убирает – тоже средних лет, звать Надеждой Дмитриевной. Я не сразу привык обращаться к прислуге по полному титулу, но, говорят, теперь так полагается, чины упразднены и сословия тоже (как же, упразднишь их!). Женщины тихие, приветливые, но чувствуется, что на службе – выучены: пока не заговоришь, сами голос не подадут, только по крайней надобности. У ворот, в домике вроде кордегардии (*помещение для караула.* – Ред.), дежурят на смену полицейские служители в штатском платье, Василий и Анатолий. Василий – мой земляк, орловский. Оба в прапорщицком чине (в полиции чины теперь те же, что в армии). Василий как-то показал мне свою фотокарточку, где снялся в форме. Смешно: прапорщик, а погоны вроде как генерал-майорские (*у дорево-*

люционных офицеров и генералов звёздочки на погонах были одинакового размера. – Ред.).

Никаких препятствий в передвижениях мне никто не чинит. Забор вокруг усадьбы – курица перескочит. До Москвы – три версты; надо, однако, сказать, что теперешняя Москва раз этак в шесть-семь больше той, что я помню; где прежде были подмосковные имения и дачные места – всё сплошь застроено многоэтажными домами. Когда выхожу прогуляться, Василий или Анатолий мне кричат: «Николай Семеныч, телефончик не забыли? Если что – сразу звоните, мы мигом подоспеем!» А что «если что» – я не доведываюсь. Окрестности почти безлюдные, лихих людишек вроде не встречал, а коли и встречу, так с меня взять нечего. Правда, говорят, маленький телефонный аппарат – вещь дорогая, и карманные воры их тянут наравне с бумажниками.

Андрей Николаевич и Сергей Васильевич приезжают строго – два раза в неделю. Исполняют свои докторские обязанности, проверяют мое здоровье, которое, грех жаловаться, очень хорошо. Видать, при воскрешении в меня забыли вложить назад прежние хвори. В остальном же я вижу в них проступающую некоторую тягостность. Сделав своё дело, они тяготятся мною – не в том значении, что я им надоел, а в том, что они, люди интеллигентные, испытывают неловкость за моё нынешнее положение, в которое они меня поставили и которое, при всех его удобствах и беззаботности, нельзя назвать иначе как «не пришей кобыле хвост».

Открыть общественности факт моего воскрешения никак нельзя. Потому что, кроме сенсации, то есть большого мыльного пузыря, ничего иного не получится. Интересен не я, писатель Лесков (может, и интересен – кучке профессоров словесности да читателям моим, которых я нежно люблю, но не стерплю, ежели они выстроятся в очередь с моими книжками, чтоб я их понадписывал чувствительными пожеланиями). Интересен самый факт возможности воскрешения давно умерших. И когда газетные репортёры меня обгложут до костей и выкинут, когда я надоем публике (а это случается обыкновенно скоро) – то к Андрею Николаевичу и Сергею Васильевичу толпами побегут зарёванные просители; один станет умолять на коленях, чтоб воскресили недавно умершую любимую жену, другой начнёт молить за скончавшегося малолетнего ребёнка, третий – за маменьку и папеньку, четвёртый – непременно за любимую собачку Жучку; найдутся – куда ж без них? – дураки, которые потребуют воскресить вообще всех великих людей всех времён и народов «во имя прогресса человечества» (я бы им Батыя да Шемяку воскресил). И если скорбящих родственников,

вдовцов и безутешных матерей понять ещё можно, то на вразумление остальных, на розги, чтоб им всем вогнать ума через задние ворота, да на сумасшедшие домы, чтоб их всех позапихать – в России ни лозин, ни кирпичу не хватит...

Эх, господин писатель Лесков, не ты ли тот самый злой джинн из бутылки? Не пора ли, по поговорке, лезть в неё обратно?

Правду говорят: мы любим других людей за то добро, которое мы им сделали, и ненавидим их за то зло, которое мы им причинили. Лежал я в своей домовине и дожидался – напрасно – Страшного суда. Извлекли меня на свет, не испросивши моего согласия. Мол, бедный Йорик, эк тебя угораздило; а давай-ка ты, братец, ещё поживи, мы средство знаем!

Злоблюсь, но нагнать в себе злобы на нужный градус никак не могу. Подарочек дорогой мне даром достался – вторая жизнь, почти что жизнь бесконечная, «где несть печали ниже воздыхания». Поят, кормят, сыт, пьян, и нос в табаке, и четвертной в кармане. А ежели, от сиденья на одном месте заскучав, подам я прошение о переименовании меня в Евлампия Вонифатьевича Раздудырина, то выправят мне паспорт на это имя – и пойду я гулять по России, никем не узнанный и никому не нужный, стану жить в своё удовольствие: за казённый-то счёт почему ж не жить. А если вздумаю, на манер Емельки Пугача, объявиться, если вскричу дурным голосом: «Ратуйте, православные, я не Евлампий Раздудырин, я Николай Семёнов Лесков, писатель земли русской!» – то в один миг окажусь у Всех Скорбящих (*известная психиатрическая лечебница.* – Ред.), в той комнате, где стены войлоком обиты и в поларшина ватою проложены.

В первый раз побывавши в центре Москвы, я там долго не выдержал. Не в многолюдстве дело, не в том, что все переменилось – оно и должно было перемениться, – а в сильнейшей духоте и приключившейся со мною оттого обморочной слабости. В больших городах российских и раньше пахло не розами, особенно после того, как стадо на бойню прогонят или кавалерийский полк пройдёт, – но теперь от самоходных экипажей, топливом коим служит нефть, нагнетается такой удушливый смрад, что человеку моей комплекции решительно невозможно считать его за пригодный для дыхания воздух.

Успел только наспех оглядеться и приметить старое рядом с новым. Кремль на месте, Иван Великий на месте, Храм Христа Спасителя на месте, Василий Блаженный на месте, Никола в Хамовниках на месте, Мартин Исповедник на месте, Рождество Богородицы в Путинках на месте. Мосты через Москву-реку хороши.

Выше я писал, что на Москве бывал редко и знаю её плохо. По правде если, не так уж редко бывал и знаю примерно хорошо. Москву всё ж люблю – она, по мне, вроде красивой глупой бабы: и раздражает, и глаз не оторвать.

Новую архитектуру текущего века я оцениваю только по огромности – глаз мой она не ласкает, слишком много стекла и прямых линий. Ну да мне здесь не жить. Что же до людей, то я, грешник, их будто вовсе не замечаю, более того – побаиваюсь. Мне по календарю – сто шестьдесят девять лет, и самый наидревнейший старец, на улице встреченный, в лучшем случае годится мне в правнуки. Ловлю краем уха обрывки речей, но почти ничего в них не разумею – много незнакомых слов и неизвестных мне понятий. Только ёкает сердечко, когда слышу матерную брань – всё та же, родная, в святителей и в крестителей. Не перевелись ещё на Руси ни праведники, ни охальники. Да, видимо, и не переведутся.

Если и довелось мне совершить для себя знаменательное открытие, то вот оно – нынешняя русская печать. А открытие состоит в том, что читаю я её, как свежайшую для своего – того – времени.

Насколько я понимаю суть теперешних политических разногласий, то сводятся они едва ли не к нашим салонным разногласиям пятидесятых-шестидесятых годов, но, в отличие от них, выносятся бесцензурно в открытую печать и обсуждаются куда более развязно. Все курилки живы: и господа западники, трактующие спасение и благоденствие России через копирование европейских учреждений, и господа славянофилы, уповающие исключительно на мироточивые иконы и на особую благодать в том месте притвора, где гуще накаждено, и господа умеренные либералы, норовящие подоить всякую встречную коровку, даже нетелю.

А в одной газете, название которой я от волнения и возмущения даже не запомнил, довелось прочесть... самого себя. Точнее, цитату из давней моей повести (*«Заячий ремиз»*. – Ред.), которую автор приводил как аргумент неотразимый:

«И тогда начали лезть в Перегуды жиды и католики с тем, чтобы им тут купить места и поставить себе домы на базаре; а потом, разумеется, они уж начнут столы стругать, штаны шить да сапоги, и шапки ладить, да печь бублики, и играть в шинке на скрипицах, и доведут Перегуды до того, что все здешние христиане чисто перепьются и перебьют трезвым жидам их носатые морды, а тогда за них, пожалуй, потребуется ответ, как будто и за заправских людей».

Далее автор, ссылаясь на мой авторитет посредством вышеприведенной цитаты, развивал дополнительные соображения насчет

того, сколь пользительно будет для России немедленное поголовное изгнание из неё всех жидов и католиков, и в заключение напоминал, что вот, мол, Николай Лесков в свое время настоятельно этого требовал, да его не послушали. А мне ничего не оставалось, как бессильно кипятиться и багроветь гневом; вздумай я сейчас пойти в редакцию этой газеты, припри я автора к стене и спроси: «По какому праву, милостивый государь, препарируете текст моего беллетристического сочинения, по какому праву слова, произнесённые персонажем вымышленным, вы подаёте как мои собственные, автора повести, мысли и убеждения, почему втираете очки читателям, и меня, врага всякой религиозной монополии и национальной нетерпимости, выставляете сущим подонком?» – то тут мне и конец. Когда ты писатель-покойник, хоть и живой, то простись с авторскими амбициями и будь готов к тому, что из твоего листового золота, к украшению церковных маковок предназначенного, любая чернильная душонка может нарезать мишуру для рождественской ёлки...

4.

«Но правды нет и выше...»

В один из тех тёплых майских дней, когда кажется, что на дворе не весна, а спелое лето, сидя у кордегардии на лавочке, разговорились мы с прапорщиком Василием, земляком моим. Натурально, о делах орловских. Мне приходилось держать ушки на макушке, чтоб ненароком не обмолвиться – однако выяснилось, вскоре и без труда, что Василий понятия не имеет про то, кто я таков и откуда взялся, что ему от начальства поручено меня охранять ненавязчивым образом, самостояния моего не стесняя и отнюдь за мной не приглядывая, а только состоя при моей особе на страже и посылках (которыми я его, видит Бог, не обременял); обиняками я разузнал, что ему (и Анатолию) меня представили как важного государственного учёного, который долго болел, а сейчас нуждается в поправке и живёт на свежем воздухе. Он и Анатолий меня знают как Николая Семёновича (сие истинно), фамилия которого Летков (сие ложно). В выданном мне паспорте я значусь под собственным природным именем, только год рождения мне выставили другой, 1939-й – почти на сто лет омолодили, чтобы я по наружности годам своим соответствовал, а в отношении того, что меня, дескать, знающие и памятливые люди могут узнать и опознать, Андрей Николаевич возразил: во-первых, такое и в голову никому не взбредёт подумать, чтобы давно умерший русский

писатель живьём шлялся, во-вторых, помимо меня, в нынешней России живут ещё семеро Николаев Семёновичей Лесковых разных годов рождения, а в-третьих, если кто-то по паспорту зовётся Александр Николаевич Романов, то сие ещё не значит, что он император всероссийский. После такой убедительной элоквенции я не мог не согласиться, что жизнь моя вне опасности, и поклонницы меня на клочки не раздерут.

– Давно ли ты, Василий, – спрашиваю, – дома последний раз бывал?

– На Пасху ездил, – отвечает, – неделю отпуска начальство дало.

– Ну, и как там дела идут?

– Да никак.

– Как это – никак.

– Давно ли вы сами, Николай Семёнович, дома-то были?

– Я – (вру и не краснею), – особь статья. Сорок пять лет назад уехал, с тех пор и не сподобился. Не к кому мне ездить. Ни родни, ни друзей не осталось. Одна слава, что родился на Орловщине.

– Тогда понятно, почему вы спрашиваете. У меня мать там. Пенсионерка. Отец три года тому как помер.

– Отчего?

– Одеколону обожрался, сердце и не выдержало.

– Одеколону?

– Вы прямо как с Луны свалились – не обижайтесь, если грубо сказал.

– Зачем же ему понадобилось одеколон пить? Неужто водки нельзя было купить или вина, если уж душа горела?

– Денег не хватило, стало быть, и не мог купить. А флакон одеколону стоит пятнадцать рублей – против шестидесяти за бутылку водки. Мать с отцом вдвоём на две с половиной тысячи жили, иногда я им присылал, когда было что. У меня тоже не разбежишься – зарплата хоть и не самая маленькая, да жена, ребёнок, квартиру снимаем. Отец и всегда-то крепко поддавал (я пометил в мысленной записной книжке, что этот банный термин в теперешней России означает «сильно пил»), а тут, со скуки и от тоски, совсем с катушек слетел (пустился во все тяжкие). Они с мужиками практически каждый день скидывались (мужик теперь означает не крестьянина, но мужчину вообще; скидывались – делали складчину). Когда последнее просадили, дошли до одеколона. Ну, и не рассчитали... Из всей компании двое померли, четверых в больнице откачали кое-как.

Вспоминая деревенское пьянство моей молодости и связанные с ним грубые сцены и тяжёлые картины, я не могу не признать, что

нынешнее состояние этого нашего национального порока стало ещё хуже и беспросветнее, но полнейшая бесполезность перемалывания языком такой темы, как вред пьянства, заставляет меня стыдливо умолкнуть, тем более что моё похмелье – в чужом пиру.

– А что мать поделывает, чем занимается?

– На лавке у ворот сидит целый день, как мы сейчас, и с соседками лясы точит. Больше нечем заниматься.

Вот еще одно поразившее меня наблюдение: в России сложился целый, как любят говорить марксиды, класс межеумочных людей, не крестьян и не горожан. Они полностью оторвались от земли и сельской жизни – и толком не прижились в городах, принесли в городскую жизнь не лучшие свои сельские обычаи и ничему путному не обвыклись в условиях города; нанимаются они на самые грязные и скудно оплачиваемые работы, не усовершенствуются и не обучаются, свободное время проводят в тупой праздности, разряжаемой пьянством, не следят за своими детьми и легко пускают их в поулочные университеты, откуда прямая дорога ведет в мазурики и каторжанство. В уездных городках прежней России подобное было попросту невозможно; население их складывалось не стихийно; переход из сословия в сословие был затруднителен, так как означал для крестьянина необходимость расстаться с прежнею сословной собственностью, выйти из общины и записаться в городские мещане; подряды на производство необходимых городу общественных работ распределялись между жителей или раскладывались по повинности; всякий мещанин кормился трудами рук своих, хотя не гнушался и работы по найму; подгородные крестьяне занимались главным образом базарной торговлею и извозом; несколько записных городских сумасшедших и пропойц, что называется, погоды не делали, а тех из них, кто становился опасен для городского покоя и благочиния, полиция спроваживала по этапу в административную высылку. Теперь же, судя по тому, что я читаю в газетах, выслать пришлось бы половину губернии...

В общем, я, кажется, сильно переоценил и свою проницательность в отношении современной России, и свою способность разбираться в нынешних важных жизненных вопросах, а внешнее относительно благополучное состояние страны в действительности есть не что иное, как самоварная позолота.

Вот записал только что длиннейшую тираду, размахнулся, как в молодости, когда прямо в типографии карандашом дописывал главы романов и тут же сдавал в набор, или прямо в редакции строчил заметки и статьи, а мальчишка-посыльный переминался у меня за спиной в ожидании, когда можно будет схватить ис-

писанные листы и стремглав помчаться к метранпажу. Кому всё это теперь нужно? Подобает ли мне на старости лет подаваться в публицисты-дебютанты, тем более что современного газетного языка я всё равно не осилю, и даже подражать ему более или менее талантливо не смогу?

Ерёма, сидел бы ты дома, точил бы веретёна...

(A propos: упражнялся в обращении с новейшей электрической пишущей машиной, которая совсем не напоминает известный мне механический «ремингтон», так как основана на принципе светового письма по луминесцирующему окошку; превосходнейшее изобретение человеческого ума, несказанно облегчающее труд всей пишущей братии; но – мудрено... Не справлюсь. Относительно этой машины я безусловно устаревший экземпляр. В обращении с нею нет никаких особых сложностей, однако она оказывает на меня такое же психологическое влияние, какое, скажем, оказала бы паромашинная лесопилка на средневекового плотника, рубившего терем для великого князя Владимира Киевского. Ловлю себя на том, что просто побаиваюсь к ней подходить. Зато я очень полюбил самопишущие ручки со стерженьками внутри, позволяющие обходиться без чернильницы, и управляюсь с ними совершенно свободно, хотя ход пера у них даёт определённо другое ощущение в руку).

Испытал великий соблазн: просматривая источники библиографические, выяснил, что за минувшие сто лет про вашего покорного слугу написано несколько десятков больших учёных статей, и даже книги – и восхотел с некоторыми из них познакомиться, однако, охолонув, сдержался. Тщеславие – великая страсть, оно и меня, старого тёртого хрыча, одолевает. Нет, милостивый государь, нате выкусите, такого удовольствия вам доставлено не будет; не вы ли сами завещали по погребении вашем никаких речей не говорить – так что ж теперь, сто годов спустя возжелали неговоренные надгробные речи по записи прочесть и полной мерою испить из той чаши, о коей сами молились, чтоб миновала?

Теряюсь. В полноте проходящей заново жизни чую превеликую пустоту. Боже мой, для чего ты меня оставил?

5·

Сегодня весь день читал толстую книгу, а под вечер, выйдя к речке, присел на лавочку и долго сидел почти безмысленный. Правильнее сказать, мысли внутри ворочались еле-еле. От подобного чтения опустошаешься.

От непрожитой мною до сегодняшнего дня жизни я, похоже, отмахнулся с чрезвычайной и неподобающей легкостью. Теперь могу сказать: слава Богу, что миновала меня чаша сия.

Не зря, не зря корпел я в своё время над романами *(«Некуда» и «На ножах».* – Ред.), за которые критика разнесла меня в клочья; не зря, видать, послано мне было искушение, когда в 1862 году ославили доносчиком за то, что печатно требовал от правительства разъяснений по поводу петербургских пожаров. Сделавшись двух станов не боец, чудом просквозил я над тогдашним российским политическим и умственным болотом. Чуял, как старый пёс, что разброд умственный у нас только зачинается, а вовсе не кончается, что публике нашей одного жареного петуха мало будет, что звавший к топору г-н Герцен до своего докричится. Да что толку, что чуял? Таких чутких немало было и без меня.

Краем уха доводилось мне слышать в Петербурге про создаваемый некий «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»; при всегдашнем моем малом интересе к политической пропаганде среди мастеровых людей и не мог я предположить, что из означенного союза в скором будущем составится политическая партия российских марксидов, а вождём её сделается некто г-н Ульянов, помощник присяжного поверенного, родом из симбирских дворян. Каюсь, мало кому из нас, политических публицистов старого, дореформенного ещё закала, верилось в правоту учения марксидов о богоизбранности рабочего люда; мы полагали – наивно – что в нашей мужицкой стране последнее слово будет непременно за мужиком, который хоть и пьяноват, и ленив, и прижимист, и в вере нетвёрд, да у которого мы все, как ни верти, сидим на шее. А вот теперь знаю достоверно, что, на мужицкой шее верхом сидючи, и въехала Россия в новые для неё страшные времена. Оказывается, когда господа марксиды о 1917 годе достигли-таки высшей власти, именно мужика они и взбулгачили на форменный бунт, обещавши конфискацию, полный передел и бесплатную раздачу всех помещицких, казённых, удельных, церковных, монастырских и коронных земель с одновременным запрещением наёмного труда, аренды, купли и продажи земли. Однако уже через десять лет сего аграрного благоденствия, когда в России не было ни одного безземельного мужика, выяснилось обстоятельство, которое за полвека до того мог бы предречь не то что учёный экономист, но и любой грамотный помещик: уравнявши землёй, не уравняешь головой. В незапамятной молодости моей я навидался наших орловских мужиков, которым сколько земли ни дай, хоть всю степь до самого Чёрного моря, а они так и будут ходить в опорках и драных свит-

ках и жаловаться на неурожаи; на земле может крепко хозяйствовать и добывать приличный доход только человек лютоватый, умеющий считать копейку, семижильный и расчётливый; с развращённого помещичьим своевольем, обобранного реформою шестьдесят первого года, задавленного податями, обкрученного мировой порукой, а потому полагающегося только на авось и небось мужика никакое дело не стребуешь, никакую работу ему не поручишь – ковыряется он с прохладцею, дальше того, чтобы худо-бедно впроголодь прокормиться, не загадывает, пуп надрывать не любит; что на барской, что на своей землице работает – три раза замахнётся, один ударит, да покурит с полчаса, да вздремнёт столько же под телегою. И что ж удивительного, что свободная Россия при свободном мужике через десять лет начала запоясывать пустое брюхо потуже, чтоб не шибко громко урчало? Тем более понимаю вождей марксидских, когда они, глядючи на запустение и оголодание взамен обещанного благолепия, почесали где следует – и постановили оного не оправдавшего надежд мужика перво-наперво обобрать ещё раз как следует, всё обобранное добро пустить на фабричный рост и казённую промышленность, а высвободившихся таким образом мужиков загнать в ярмо на манер прежнего крепостного и связать их порукою куда крепче прежней мировой, под названием «коллективное хозяйство». Так и вышло, что исполнилась вековая мечта русского мужика – поступил он на полный государственный кошт, натирал мозоли подмышками и труждался не в пример прежнему, за что ему от казны полагалось продовольствование весьма скудное и голодное, и был тем не весьма доволен, однако взбунтоваться за минувший век ни разу не решился – напротив, находил в такой разновидности крепостного права некоторую приятность; и по сей день, говорят, о ней мечтает... Так что не верю писаниям либеральных журналистов восьмидесятых годов века нынешнего: они хором утверждают, что не тронь марксидская власть мужика, была бы не скудость, а райский крин. Нет, господа, не знаете вы историю отечества своего. Ведь едва ли не в точности повторилось то, что последовало за реформою шестьдесят первого года: отпавших от земли мужиков всосала фабричная промышленность, на земле выживали те, кто к ней был сердцем и делом привержен, а у нас в России, где прежде спички были и то шведские, к девяностым годам стало наконец возможно купить товар российской выделки, ничем не уступавший заграничному. Ведь смешно сказать: за дамскими веерами в Париж посылали!

Впрочем, я разгорячился несоответственно теперешнему моему ни-на-что-не-влиянию. Видать, послесмертное воскрешение

от хлада могильного не остудило моего прежнего пыла. Несуразен есмь и пристрастен зело. Как тот русский гимназист, о науке астрономии сроду не слыхавший, но которому ежели дать на ночь карту звёздного неба, то утром он возвратит её непременно исправленною.

6.

Не сдержался-таки. Пролистал книгу сына моего Андрея, озаглавленную просто – «Жизнь Николая Лескова»; вернее, начал было листать и даже пару абзацев пробежал, да свет в очах моих затуманился, сердце заныло, и такую сырость слезокапную вокруг себя развёл (хотя никогда на слёзы скор не был), что добрейшая Надежда Дмитриевна, кою я высокомерно в своих записках поименовал прислугою, заставши меня в кабинете в бесчувственном состоянии, подняла форменную военную тревогу, по которой тотчас примчались Андрей Николаевич с Сергеем Васильевичем и полные сутки от меня не отходили, даже спали в соседней комнате, пиджаками укрывшись.

Теперь лежу под периною – познабливает. Аккуратно пью лекарственные облатки. В первый раз за всё здешнее пребывание не удовлетворился тою едой, что мне приготовили – попросил ржаных сухариков да чаю с малиной. Все тотчас подали, и не только малинового варенья, но и свежей малины раздобыли. Чай теперешний отменно хорош – выпил три чашки.

Пожалуй, пора подводить черту. Собственной тени, подобно Петеру Шлемилю (*герой повести немецкого писателя Адальберта Шамиссо.* – Ред.), я не лишился – выходил на солнце, проверял. В зеркале тоже себя вижу – стало быть, не призрак я. И борода растёт, и седины поубавилось, и одышка исчезла. Опасаюсь, как бы во ближайшем благовремении при столь явных признаках оздоровления не зажглось во мне греховное любострастие – до любови продажной я отроду не касался, с деревенскими девками амуры по сеновалам не разводил, а жениться мне теперь никак невозможно, ни по политическим соображениям, ни по совести.

Помню, одного нашего орловского иерея недостойного взяли под микитки и на Соловки спровадили за то, что он, по получении взятки в пятьсот рублей, брата с сестрою тайно перевенчал. В моем же случае положение стократ хуже иерейского, потому что я, как ни верти, воскресший покойник, и, следовательно, должен вести существование духовно-бесплотное, яко душа в раю. Ежели я какому-нибудь батюшке откроюсь, кто я таков есть, то его сперва

кондрашка хватит, а после он, от меня открестясь, мне же и анафему возгласит. Хотя теперь, говорят, не анафематствуют, и даже взаимное патриаршее отлучение после раскола церквей – и то сняли...

Жить я дальше могу, сколько Богу угодно будет мне жизни отпустить. Да вот хочу ли? Сам не знаю. И что прикажете делать, если вконец надоест? Руки на себя накладывать я не посмею. Меня попрекали, что в вере нетвёрд, что слишком душою либерален и склонен потакать чуждым исповеданиям, что за пашковцев, редстокистов, квакереев (*протестантские деноминации, встречавшие в России сопротивление властей.* – Ред.) и жидов заступался. Чем только ни попрекали. Может, я до государственного нашего казённо-фарисейского православия и небольшой охотник был, но «Соборяне» и «Мелочи архиерейской жизни» моей рукой писаны, и безо всякого дурного пасквилянтства. Просто веру мою я не любил носить, как купец на брюхе золотую цепочку. И заповеди Моисеевы мне не поп перстом в лоб вколачивал, сам их душою принял. Вот отчего смущаюсь теперь, что некого, по поговорке, за смертью послать, а сам я, per pedes apostolorum (*лат. «апостольскими стопами», т. е. пешком.* – Ред.), в ту сторону не ходок.

Лежанье на одре болезни – самое подходящее время привести мысли в порядок. Однако что-то не думается, больше в сон клонит. Авось отлежусь, и тогда потачки себе не дам.

Сегодня, поднявшись с постели и совершив небольшую прогулку на свежем воздухе, убедился окончательно, что самочувствие после недавнего кризиса восстановилось. Но не полностью. Утаил от добрых докторов моих, что вернулось прежнее ощущение болезненности в области сердца, то самое, про которое мне покойный доктор Захарьин (хороший врач, но жаден и алчен был до невозможности) толковал: «У здорового человека нету и не может быть ощущения собственных внутренних органов, а коли уж оно появилось, то сие есть первый признак их неблагополучия». И одышечка хоть маленькая, да вернулась. Нарочито, чтоб проверить, взошёл бурным аллюром вверх по косогору в парке, и тотчас запела в груди фисгармония, и круги тёмные перед глазами поплыли. Отсиделся под кустом и ещё с час гулял.

...Просмотрел свои записи. Бумаги на них я извёл почти целую десть – впрочем, теперь такого объёма бумажного не знают. В основном – лихорадочная бестолковщина, вроде записок путешествующего по чужой стране, да попытки глубокомысленных умствований и прожектов в старом добром благонамеренном духе – доложить губернатору о непорядках в уезде и обязать его взять срочные меры к исправлению оных. Прилежно отметил ка-

рандашом всё более или менее кажущееся мне достойным, а листы, без отметок оказавшиеся, старательно изодрал в мелкие клочки и с небывалым прежде наслаждением, уподобясь Гоголю, спалил на дворе. Оставшееся надо будет перебелить поразборчивее.

Остаток дня, если следовать афоризму Козьмы Петровича Пруткова, провёл подобно кормилице, с аппетитом сосущей собственную грудь – сиречь перелистывал собрание собственных сочинений, выпущенное примерно около 1958 года. Самых скандалезных моих романов там нет (цензурушка-матушка в очередной раз вымарала), а в предисловии слегка оттаскали меня за виски и бороду, но в возмещение полученной выволочки погладили по шерсти, приведя высказывание некоего литератора Максима Горького (коего не имел чести знать при жизни), где сказано буквально следующее: «Как художник слова, Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтою охвата жизни, глубиною понимания бытовых загадок её, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и соратников своих».

«Немногим уступает» и «нередко превышает»... Почти в точности сходно с тем, как Антон Чехов в 1886-м, в зубоскальном журнале «Осколки», приведя шуточную табель о рангах русских писателей, меня сделал статским советником, сладчайшего шармёра Григоровича в действительные статские произвёл, а графа Толстого и Гончарова – в тайные советники. Выслуга лет большая, и в делопроизводстве полный порядок, а вот чином не вышел – начальству не глянулся... И презабавно, надо сказать, звучит восторженная сентенция насчёт «священного писания о русской земле». В сложении столь торжественных словес автор явно затруднился, какое из них следовало бы писать с заглавной, какое со строчной буквы, и для ранжиру всё помельчил. Заодно уравнял нас, многогрешных литераторов, со святыми пророками и апостолами.

Предварительный, он же окончательный, итог моим самобичевательным занятиям будет таков: ни от чего из мною написанного и напечатанного не отрекаюсь, что-либо впредь писать и печатать зарекаюсь. Кроме сией промемории, которой скоро положу конец.

7.

Пережил я великую радость, хотя теперь для меня всякая радость слезлива и одышлива, как для старой вдовы, которая дочку-вековуху наконец выпихнула замуж. Да и то – вспомнить, каковы-то мои годы, разве что Мафусаил ветхозаветный со мною поспорить может. Посему пишу о пережитой радости с некоторым запозданием, утрясши и перевари́вши предварительные впечатления.

А именно: когда я выразил желание побывать в Санкт-Петербурге, Андрей Николаевич, поразмыслив недолго, решил, что это вполне возможно и даже некоторым образом пойдёт мне на пользу.

Некоторое волнение доставила мне дорога, ибо удобства и комфорт теперешние никак не могут быть сравнимы с теми, что предоставлялись чистой публике в незабвенной памяти вагонах первого класса, да и мчался поезд с такою скоростью, что у меня, покойно сидевшего, несколько перехватывало дух, как у мальчишки на качелях; пожалел я, что от великой скорости не смог толком разглядеть виды по сторонам дороги, не увидел толком даже Тверь, до которой домчались мы чуть более чем за час.

Зато в Петербурге было мне истинное пролитие бальзама на душу и внутреннее проветривание от московской копоти, да простят меня гостеприимные московские хозяева. Сии высокопарные слова говорю и записываю только от их чистосердечности. Более, чем чему другому, возрадовался я тому, что, несмотря на обилие изменений, за прошедшее время неизбежных, узрел и признал я в Петербурге тот прежний город, в котором скончал дни свои сто лет назад. Полагаю, что подобное стало возможно именно оттого, что Петербург был в некотором заштате, и у ломателей-переустроителей до него руки не доходили. Да и правду сказать, в Москве ломать легче, а последствия ломки незаметнее. Здесь же не то – доску из забора вырви, и сразу другой вид.

Что я делал? Да ничего. Гулял и глядел. Андрей Николаевич добыл для меня экипаж с возчиком (водителем по-теперешнему), но я воспротивился и сказал, что Петербург знаю, не заплутаю, и что его надобно вымерять шагами, для подкрепления твёрдости каковых попросил снабдить меня тростью и тем удобным телефонным аппаратом, о котором уже упоминал.

И в первый же день по прибытии отшагал я по петербургским мостовым столько, сколько в прежней жизни не выхаживал, наверное, за месяц. Был в крепости, бродил по бастионам, был у памятника Петру Великому, петлял по мостам через Неву с

берега на берег, ходил к Клодтовой конюшне, фланировал вдоль каналов. Приустав, даже гульнул – в открытом заведении под навесом выпил кружку пива. Но впечатлило меня не сколько питие сие, вполне удовлетворительное, сколько приветливая юная девица, его мне подававшая – юбка на ней, как говаривал покойный Пафнутий Львович Чебышев, стремилась исчислением к бесконечно малой величине, так что даже не совсем ясно было, с какою целью она надёвана, ибо ничего толком не прикрывает, а верхняя часть туалета отличалась эфирною прозрачностью, сквозь которую угадывалось полнейшее отсутствие всех тех затяжных и корсетных приспособлений, без которых в моё время дамы обходиться не могли. Впрочем, в текущем столетии подобный смелый наряд не вызывает у публики не то что протеста, но и какого-либо любопытства, ибо зауряден и повседневен, и не моё дело судить нынешние нравы.

От описания подробностей воздержусь. Рад уж тому, что Нева не стала уже и воды в ней не стало меньше, что всё так же нестерпимо блещут солнечные отблески на её ряби, что стреляет полуденная пушка, что фальконетовского императора не переплавили на чайные ложечки, что с западным ветром притекает тот свежий морской дух, который я так любил на ревельском взморье и от которого расправляется и легко дышит моя больная грудь, что бьют петергофские фонтаны, что не заложена кирпичом арка Главного штаба (как то было в Москве, где хотел я пройти в Кремль через Тайницкие ворота и нашёл их наглухо заложенными, да и в самоё твердыню московскую теперь свободного прохода нет, только по расписанию, чтоб не докучать засевшему там начальству), что Невский по-прежнему Невский... Я и мимо собственной квартиры решился пройти, стрельнул глазом по окнам – ничто не переменилось. Показалось мне, что даже портьеры прежние.

А сейчас, в поезде на обратном пути, вспоминаю слова старинного автора: никогда не возвращайся в те места, где ты был счастлив. Не больно-то я был счастлив здесь, наоборот – сколько души из меня повытянули господа революционные демократы петербургского розлива. Но не побывать не мог. И теперь прощаюсь. С Петербургом, с Россией, с белым светом. Набрасываю в уме последнее моё письмо и старательно отделываю его в манере, хотя знаю, что опубликовану ему не быть. Пора ставить точку в небывальщине с возвращением писателя Лескова на круги не своя.

8.

«Милостивые государи мои!

В чувствах смешанных и расстроенных, не зная, какое заглавие дать нижеследующему пространному изъяснению, оставляю его безо всякого заглавия – в надежде, что буду понят.

Благодаря необыкновенному развитию научных знаний, я получил от вас редкий и драгоценный дар – возможность вернуться к жизни после собственной физической кончины. Прежде таковая возможность относилась только на счёт Господа Бога нашего, ныне же стала делом рук человеческих, и в том никакой гордыни и никакого кощунства я не усматриваю, ибо никто не в силах положить предел пытливости человеческого ума.

Однако, после целого года безбедной и достаточной жизни в любимой мною России грядущего по сравнению с моим века, полагаю себя не вправе выносить какие-либо об упомянутой жизни суждения, а также не считаю себя вправе давать оценки и переоценки тому прошлому, что пережил самолично и что узнал из источников. Никакого ощущения, кроме полнейшей своей излишности и ненужности в текущем времени, я не испытываю. Всё, что было мне судьбою предписано и предначертано сделать, плохое ли, хорошее ли – я уже сделал. Роль праздного сытого созерцателя современности, лишённого к тому же возможности воздействовать на ход дел, лишённого права открыть своё подлинное имя, словно бы я тайный агент враждебного иностранного государства или вынужденный таиться беглый уголовный преступник – мне глубоко противна. Никакие радости жизни, никакие удобства и удовольствия, легко доступные мне благодаря щедрости правительственной и теперешней вещественной изобильности, меня не радуют. Фикусом в горшке, стоящим в доме градского обывателя, Вечным Жидом российским, предивным монстром из петербургской Кунсткамеры – быть не желаю и не могу.

Так как многотрудное лазарево воскрешение моё совершено было против моей воли (каковую волю предварительно испросить вам было не менее затруднительно), то полагаю себя вправе исполнить в отношении себя же собственную, на этот раз действительно последнюю, волю – и научный этот эксперимент прекратить. Испытывая, как христианин, неодолимое отвращение к членовредительному и кровопролитному самоубийству, намереваюсь повторно уйти из жизни примерно так, как это вышло и в первый раз, то есть перегрузить больное сердце моё телесными упражнениями, для него непереносимыми, дабы оно естественным образом оста-

новилось. В случае успеха сего предприятия – прошу, молю, повелеваю, заклинаю и запрещаю возвращать меня к жизни, как бы вам этого ни хотелось. Тем более что с телесною оболочкой моей, в нынешнем её положении, никаких трудностей и двусмысленностей юридических не возникнет – меня как не было, так и нет, и концы в воду.

Полагаю, что краткое моё послесмертное житие достаточно разъяснило современной науке всю бессмысленность подобных затей с реинкарнацией усопших, не говоря уж об их более чем сомнительной нравственной стороне и о неразрешимости противуречий религиозного характера, в сём случае неизбежно возникающих. Послушайтесь, милостивые государи, совета Спасителя нашего: «Предоставь мёртвым хоронить своих мертвецов».

Остаюсь непокорный и неблагодарный, отживший своё, и, по обретённому опыту, уже не чающий воскресения мёртвых и жизни будущего века,

Николай Лесков».

Кирилл Малянтович

РУССКАЯ ОДИССЕЯ

От публикатора

Кирилл Георгиевич Малянтович (1924–2007) – человек-летопись. Внук известного адвоката, предпоследнего министра юстиции Временного правительства Павла Малянтовича, он 18-летним ушёл на Великую Отечественную войну. Дважды был ранен, чудом уцелел в кровопролитных сражениях 1943-1945 гг., где бросаемых в бой советских солдат – расходный материал – никто не считал. Победу встретил в Вене. После войны попал под вторую волну политических репрессий и провёл 5 лет в лагерях, в 1956-м был реабилитирован. Развив природное дарование рисовальщика, стал обладателем редкой профессии художника-мультипликатора (сейчас сказали бы – аниматора). Работал на студии «Союзмультфильм», в телеобъединении «Экран» художником и режиссёром. Лично причастен к созданию длинного ряда отечественных анимационных фильмов, на которых вырастает уже третье поколение зрителей. Отойдя от дел, занялся литературным творчеством, чем выявил ещё одну грань таланта. Своим долгом он считал восстановление истинных биографий соотечественников и развеивание идеологических мифов. Короткая повесть, предлагаемая вниманию читателей – не беллетристика. Всё рассказанное в ней – чистая правда.

Андрей Кротков

Жизнь идёт. Понемногу из памяти начинают стираться события, факты, подробности необычайного времени, интересных встреч, удивительных судеб... Одну такую судьбу человеческую, рассказ о которой довелось мне услышать в бытность мою в Лубянской тюрьме, хочу записать я, пока забвение, как пруд ряской, не затянет в памяти моей этот удивительный рассказ.

Но сначала расскажу, как сам попал в это малоприятное место.

ГЛАВА 1

Страшный террор 1937–1938 годов, красным колесом прокатившийся по всей стране, прошёлся и по нашей семье: было уничтожено два поколения целиком – 9 человек. Четверо были расстреляны, пятеро, в основном женщины, погибли при разных обстоятельствах в лагерях ГУЛАГа.

Уцелели мы с братом – в то время ещё дети. Когда началась Великая Отечественная война, мы были призваны в армию и воевали – я в пехоте, он в авиации. В войну нам повезло – оба остались живы, вернулись домой в Москву, к нашей матери – единственной из семьи, не арестованной в 1938-м.

Брат вскоре уехал на Север, в Ухту, где работал в экспедициях Главнефтеразведки буровым мастером. А я остался с матерью в Москве и работал во время описываемых событий художником в «Союзмультфильме».

Так продолжалось до 1949 года, когда в мире произошло событие, коренным образом изменившее мою судьбу.

Атлантический пакт западных стран создал вооружённые силы НАТО, основная часть которых находилась в Западной Германии. На торжества по поводу их создания из Америки приехал престарелый Керенский и участвовал в церемонии вручения вновь созданным частям боевых знамён. Тогда же он дал пресс-конференцию, на которой дотошные корреспонденты западных газет задали ему вопрос: «Вы являетесь последним законным главой Российского правительства. Если бы в России изменился политический строй, согласились бы вы вновь возглавить русское правительство?». На что престарелый экс-премьер дипломатично ответил: «Несмотря на мой преклонный возраст, я никогда не отказывался и не отказываюсь от активной политической деятельности!».

Всё это тут же доложили товарищу Сталину, и тот, следуя своему правилу «Бей своих, чтоб чужие боялись», тут же издал директиву №1000. Согласно этой директиве подлежали немедленному репрессированию следующие категории его подданных:

– все, кто когда-либо состоял в каких-либо партиях, кроме большевистской РКП, а таких партий после февральской революции насчитывалось по спискам Учредительного собрания – 16;

– все, кто когда-либо осуждался по 58-й статье;

– члены семей репрессированных ранее;

– военнопленные времён Великой Отечественной войны (правда, почти все они уже были осуждены ранее как изменники

родины; сразу после войны им давали по 8-10 лет, а по грозной директиве добавляли до четвертака – 25 лет).

Так что и до меня, сына и внука врагов народа, дотянулась длинная рука всесильных органов. Брата, слава Богу, эта участь миновала. Может, потому, что он уже и так находился в Ухте.

В июньскую ночь 1951 года я был арестован и доставлен на так называемую малую Лубянку – небольшую внутреннюю тюрьму, скрывавшуюся за красивым бело-голубым фасадом небольшого дворца, что в начале улицы Дзержинского – теперь Большой Лубянки.

Сидел я там в знаменитой 16-й камере. Знаменита она была тем, что в отличие от остальных, вмещавших от трёх до шести человек, вмещала человек двадцать. Камера была вроде как сортировочной, люди в ней не задерживались: поступит человек, пробудет три-пять дней – и выдёргивают его дальше.

Я почему-то пробыл в ней почти полгода. Перед глазами моими прошла целая вереница врагов народа разных сортов. Историй за это время я наслушался самых необычайных...

Как-то втолкнули к нам в камеру несколько новичков. Происходило это обычно по ночам, ближе к утру. Пока схватят сонного, пока привезут, заприходуют, пройдёт человек шмон (обыск), потом в санобработку, да иногда ещё и первый допрос снимут – человек не опомнился, глядишь, и сболтнёт лишнее. Потому до камеры добирался свежеиспечённый арестант обычно к утру, незадолго до подъёма.

Среди прибывших в ту ночь появился в нашем обществе маленький человечек, лет под шестьдесят на вид, Сергей Иванович Дубинкин.

В суконном потёртом пальтишке, в дешёвеньком, но аккуратном костюмишке, в кепочке и ботиночках, похожих на детские, тихий, молчаливый, он жил незаметно в уголке камеры. Если кто-нибудь заговаривал с ним, он отвечал крайне вежливо, даже несколько подобострастно, тихим невыразительным голосом.

Но иногда, наблюдая исподтишка, замечал я в нём разительную перемену. Задумавшись над чем-то своим, он вдруг преображался: старое сморщенное лицо его вдруг каменело в выражении такой жестокой ярости, что становилось жутко глядеть. Прямо перед собой глядел он своими жёлтыми круглыми глазами, и взгляд этот был немигающий и свирепый, как у степного орла. Видно было, что не такой уж он тихий и безобидный старикашка.

Обратил я на него внимание и в бане. Этот маленький человечек был на редкость складно сложён. Под его постаревшей, словно

высохшей кожей перекатывались тоже слегка подсохшие, но ещё внушительные бугры мускулов. Очевидно, в молодости он был очень силён – в своей весовой категории.

И потом – шрамы. Их у него было несколько. Огромный послеоперационный шрам вдоль живота – язва желудка явная. Шрам – даже не шрам, а дыра – на правой скуле ниже глаза. Третий шрам пробороздил стриженую голову, да и по телу ещё два-три менее внушительных.

У Дубинкина была жесточайшая язва желудка (видимо, операция не помогла), которая в тюрьме дала себя знать. Особенно страдал он от чёрного хлеба и кислейших щей, которыми нас кормили.

Ему помогали чем могли. Увы, все были подследственными, ларёк (передачи) не получал почти никто – одна из следовательских уловок, чтобы человек был на допросах посговорчивей.

И часто, не успев пообедать, стесняясь, шёл Дубинкин на парашу, и его долго и мучительно рвало.

Раз в неделю в окошечке-кормушке появлялся живот не в гимнастёрке, а в белом халате – шёл медобход. Страждущие наперебой излагали свои недуги, на что из кормушки раздавалось: «Подай ложку», – и в подставленную ложку, как милостыня, опускалась безобидная таблетка аспирина или кальцекса. Пользы от неё не было.

Дубинкину пару раз выдали таким путём по ложке питьевой соды, а становилось ему всё хуже.

Но однажды белые халаты всё же вошли в камеру: не бывать бы счастью, да несчастье помогло...

Допрашивая несговорчивого арестанта, следователь переусердствовал и продержал его в карцере больше семидесяти суток. За это время состав нашей камеры сменился неоднократно. От старых жильцов к новым передавали, что есть в камере упорный Кац, который уже третий месяц в «трюме».

Легендарный Кац умирал. Тут уж всполошилось тюремное начальство: смерть в карцере – истязание, ЧП. И вертухаи срочно приволокли его в камеру: пусть умрёт здесь.

Мы с ужасом смотрели, как они неловко пытались затолкать в камеру почти негнущееся, неживое тело. Нашлись люди опытные, битые. «Не пускать их, ребята!» – крикнул один, – «а то они его нам пришьют!». И несколько отчаянных, внезапно для надзирателей, да, наверное, и для самих себя, вытолкнули из камеры тюремщиков с их страшной ношей.

Началась борьба. Сбежавшиеся вертухаи толкали несчастного Каца в камеру. Мы выталкивали в коридор – «на продол». Каме-

ра забунтовала – стучали скамейками, крышкой от параши, сапогами, орали: «Врача! Врача давай!». Тюремщики смутились, дрогнули – и сдались.

Пришли врач и разъярённый дежурный по тюрьме. Делать было нечего – пришлось принять меры. Врач распорядился вызвать тюремную машину-санитарку, чтобы везти Каца в Бутырки, где была тюремная больница, а пока в камеру внесли его мы сами. Его – то есть огромный скелет, обтянутый кожей и заросший давно не стриженными волосами.

Кац умирал – это было ясно. Закатив глаза, он с хрипом дышал, вздрагивая при каждом вздохе. Стыдливо примолкли даже видавшие виды тюремные крысы. О нас и говорить было нечего. После многие сознавались, что в этот миг думали: и меня ждёт такая участь! Не одно «чистосердечное признание» было сделано после этого случая...

Наконец приехала бутырская санитарка.

Но тут произошла новая задержка: наш корпусной потребовал снять с Каца казённое лубянское бельё. А то уйдёт добро в другую тюрьму!

Бутырские принесли комплект белья бутырского.

– Ну, что стоите? Переодевайте товарища вашего, – обратился к нам дежурный по тюрьме, – а то орали, орали... Всех ларьком лишу!

Последняя угроза «лишить ларьком» подействовала плохо: мы и так его почти не получали. Мы кинулись переодевать Каца. Не тут-то было: не удавалось отогнуть его судорожно прижатые к груди руки.

Наконец беднягу унесли. Следом потянулись из камеры и остальные. И тогда – будь что будет! – за полу халата ухватил врача Паша Круглов.

– Гражданин доктор! Гражданин доктор! У нас в камере больной язвенник, – сказал он, указывая на Дубинкина, – ему диета нужна и лечение!

– А то умрёт, как вот этот! – загалдели мы опять.

О Каце говорили как о покойнике.

Дубинкина вытолкнули вперёд. Мы обступили врача кольцом, не давая пройти к двери. Остановились и тюремщики.

Только растерянностью врача можно объяснить тот факт, что Дубинкина он осмотрел, расспросил, и – о чудо! – со следующего дня тот стал получать белый хлеб, стакан белёсого молока, вместо уксусно-кислых щей – какой-то жидкий супчик.

Дубинкину полегчало. Он преисполнился благодарности к тем, кто особенно ратовал за него.

Прошло несколько дней. Возвратясь с допроса, неунывающий Паша Круглов со смехом объявил на всю камеру:

– А знаете, оказывается в двадцатом году белое движение в Крыму возглавляли барон Врангель и граф Дубинкин!

И указал на Сергея Ивановича. Мы дружно расхохотались – насколько этот человек не был похож на графа и вождя белого движения. Старик смутился.

– Ты откуда это взял? – спросили мы Павла.

– Да при мне мой следователь с другим заговорил, – ответил он. – «Ну, как там твой белогвардеец?» Это про него.

Любопытство наше разгорелось, и мы навалились на Дубинкина с расспросами. Помявшись, он рассказал нам следующую историю.

ГЛАВА 2

Родился Сергей Дубинкин в 1898 году в Одессе. Отец его работал ткачом на фабрике, принадлежавшей немецкому акционерному обществу. Детей в семье было четверо, жили трудно.

Когда подросла старшая сестра Ольга, отец отвёл её на ту же фабрику, где работал сам. Подрос Сергей – и ему нашлось там место. Ольга вскоре вышла замуж за ткача той же фабрики, а после событий 1905 года мужу её, замешанному в беспорядках, пришлось скрыться из родного города. Вскоре Ольга уехала вслед за ним, а через некоторое время стали приходить от них нечастые письма: живут под самой Москвой, в посёлке Кунцево, муж Ольги работает снова на фабрике, только на суконной.

Подошёл 1914 год. Началась война, прозванная в народе германской. Газеты запестрели описаниями подвигов русских воинов. Журнал «Нива» в каждом номере печатал батальные картинки и фотографии «С театра военных действий». Мальчишки бредили подвигом храброго донского казака Кузьмы Крючкова, в одиночку перебившего немецкий кавалерийский разъезд из двенадцати человек.

Жажда подвигов захватила шестнадцатилетнего Серёжу Дубинкина. Однажды тайком пристроился он на крытую брезентом платформу уходящего на фронт эшелона, залез в стоявшую там двуколку и двинулся в действующую армию.

В эшелоне этом, как оказалось, ехал Елисаветградский драгунский полк. На вторые сутки солдаты обнаружили добровольца.

– Уж не помню, что я им и говорил тогда, но всё же уговорил: драгуны повели меня к эскадронному, и тот разрешил меня оставить. Так и стал я полковым приёмышем.

Обмундировали его, зачислили в эскадрон. Сперва поставили ухаживать за конями. Потом сел Сергей в седло – и вскоре стал заправским драгуном.

– Это всё про казаков говорили, что лучше их конницы нет, а против драгун – казаки ничто! Они только джигитуют лихо да мастеровых нагайками пороть здоровы, а в настоящем бою драгун им не превозмочь! У драгун и выучка, и храбрости больше! У драгун и палаш тяжелей был – рубили напополам!

– А ты, Сергей Иванович, мог человека пополам разрубить?

– Напополам до седла не рубил, врать не стану. Сейчас я что? Язва проклятая доконала, ослаб, а тогда я человека рубил впоперёк!

И он показал взмахом руки – от плеча наискосок до подмышки. Вся его фигурка напряглась и подобралась, лицо оскалилось, как у мясника, ребро ладони со свистом рассекло воздух. Рассекло так, что мы зримо увидели в руке палаш. И поверили – действительно рубил!

– А какая самая сильная в мире конница была?

– Самая сильная кавалерия была венгерская. Сильнее венгерских гусар нет: уж больно фехтуют они ловко!

...Из эскадрона впоследствии был переведён Сергей Дубинкин в полковую разведку. Когда в 1917-м свершилась революция, застала она его старшим унтер-офицером и полным Георгиевским кавалером.

– Полный бант имел! – с гордостью пояснил Дубинкин.

– А это что, полный бант?

– Это значит, имел я все четыре медали Георгиевских и кресты Георгиевские всех четырёх степеней. И мог быть в первый офицерский чин представлен.

– А за что тебе кресты дали? За какие подвиги? Расскажи!

– За службу. Присягу я соблюдал, вот что!

...По рассказу Дубинкина выходило, что присягу соблюдал не он один, а весь полк. Они даже не присягнули Временному правительству. Офицеры-монархисты во главе с командиром полка держали полк в повиновении. Среди хаоса, охватившего развалившуюся русскую армию, полк продолжал воевать до начала 1918 года.

– Мы ведь не пехота какая, мы присягу помнили!

Однажды выстроили нас, и командир, его высокоблагородие полковник Басов, выехал на середину и говорит: «Братцы! В России законная власть пала, государь наш отрёкся от престола, идёт

братоубийственная война! Мы должны помочь истинно русским людям освободить нашу единую и неделимую Россию от ига большевистского!»

Снялись мы с позиции и пошли походным строем назад в Россию. Привёл нас полковник к генералу Деникину.

Полк целиком вошёл в корпус генерала Мамонтова, а я стал взводным.

– И в рейде Мамонтова ты участвовал? И с Первой Конной сражался?

– Участвовал. Вот там-то меня и ранило, – он указал на дырку на скуле. – Сошлись. Мы – ура, и эти ура. Рубимся, не поймёшь, кто кого. Смотрю, летит на меня один. На коне-то толком сидеть не может, в поводья вцепился, локти подбрасывает. Я пропустил его справа, под руку, только шашку занёс, а он в меня – в упор из нагана. В сей момент я ему башку снёс – и больше ничего не помню...

Очнулся – в избе лежу, надо мною женщина склонилась. Голову так и разламывает – глянуть больно.

Оказалось, она меня после боя подобрала, перенесла к себе, прятала, пока красные были, выхаживала. Хорошая женщина, всё остаться просила, звали её Анна. Выходила она меня.

Оставаться у неё я не думал. Как смог на ногах стоять, решил к своим подаваться. Собрался. Нюра и оружие моё сберегла, только конь пропал тогда, в бою. Коня я себе достал – плохонького, деревенского. И поехал на юг. Нюра меня провожала. На всю жизнь я её запомню, хорошая была женщина...

Ехал, хоронился, до фронта добрался – Бог пронёс. И уже красную территорию миновал, как настиг меня разъезд будённовский, человек десять. Днём в чистом поле.

Пустил я коня в карьер, да разве то конь был? На своём бы я ушёл, а на этом – доставать они меня стали, вдогон палят. Я свой карабин скинул, на скаку обернулся и одного свалил. Да вот беда, глупая баба карабин сберегла, а подсумки с патронами растеряла. Стрельнул я всего раза три.

Тут они коня подо мной завалили. Хорошо, ноги из стремян выпростать успел – так кубарем и вылетел. Вскочил – да бежать. Впереди хлебные скирды стояли. Я туда, враз вскарабкался на самый верх. Сижу, шашку вынул, думаю, буду отбиваться. А ещё у меня пистолет остался, бельгийский браунинг, я его с немецкого офицера снял в 1916-м, в разведке.

Подскакали, кричат: «Сдавайсь! Так тебя эдак!» Я в ответ из браунинга ещё одного ссадил. Им меня саблями не достать – отъехали и стрелять начали. Я в солому зарылся, пули в ней вязнут.

Тогда они догадались – подожгли скирду. Она сырая была, разгоралась плохо, но всё же вижу – конец приходит. Или в скирде сгорю, или надо принимать бой. Они меня, конечно, порешат.

Только я со скирды прыгать собрался – в одной руке шашка, в другой пистолет – как вдруг раздались частые выстрелы. Завернулись будённовцы – и наутёк.

Выручили меня кубанцы из дивизии генерала Шкуро. У него всё донцы да кубанцы были. Вовремя они в баталию поспели. Спасли.

Поймали мне коня, и вернулся я к своим.

А под Воронежем зимой попал в плен. Там Будённый Мамонтова настиг и разбил.

– Что же это вас, таких вояк, Будённый разбил? – поинтересовался один из нас.

– Чего, чего... Так ведь он, Будённый, сам драгун был, драгунский вахмистр! – убеждённо ответил старик.

Выручили Дубинкина невзрачная внешность и малый рост. Погоны он сорвал, кресты свои, замотав в портянку, спрятал за голенище. И прикинулся дурачком, насильно мобилизованным в Добровольческую армию. Это удалось как нельзя лучше.

Вскоре он попал в ту самую Первую Конную, с которой недавно сражался – в Пятую Железную кавалерийскую дивизию Дмитрия Жлобы, лихого партизанского командира, который в 1918-м, после измены Сорокина и расстрела Северо-Кавказского Совнаркома, вывел свою конницу под Царицын и внезапным ударом с тыла сорвал первое наступление белых на город.

С этой дивизией проделал Дубинкин поход Первой Конной до Кубани, ходил на поляков. В 1920-м Конная была переброшена против Врангеля, который, выйдя из Крыма, захватил Южную Таврию и занял Каховский плацдарм.

В легендарной битве под Каховкой сделала судьба Дубинкина новый крутой поворот.

– Бой начался на заре, за нашими спинами аккурат солнце только вставало, когда мы в атаку пошли.

Вам, деточки, этого не увидать, как взяла с места целая дивизия разом – тысяч 15 сабель – и пошла забирать в карьер. Земля загудела! А кругом – степь, ковыль, трава коню под брюхо. Впереди железнодорожная насыпь, за нею белые позиции. Как мы по степи разгон взяли, насыпь перевалили, да по насыпи вниз, на белых – ничем нас не остановить было!

Сам Жлоба на насыпь первый взлетел, стоит, нас вперёд пропускает, клинком машет, башлык красный за плечами горит.

И попали мы в ловушку: белые в траве натянули на низких кольях проволоку – спираль Бруно в несколько рядов. В траве высокой её не видно, кони стали падать, задние на передних, а дивизия летит – не остановишь, и все в ту кучу.

По нас ударили из сотен пулемётов враз, через головы – артиллерия, да шрапнелью, шрапнелью. А в тыл к нам по линии заехал белый бронепоезд...

И настал конец. Поднялась в штыки белая пехота, офицеры, марковцы да дроздовцы... Мало кто уцелел.

Мне в том бою досталось по голове шрапнельной пулей. Хорошо, она на излёте была, да спасла толстая папаха: череп пробило, но жив остался. Упал с коня и потерял сознание.

Очнулся под вечер. Солнце уже садилось над степью, большое, красное. Лежу и шевельнуться не могу. Кругом трупы, по полю офицеры кучками ходят и раненых добивают.

Из последних сил достал я свои кресты из сапога и нацепил на грудь. Папаха с красной лентой с головы ещё раньше слетела, а амуниция, что у красных, что у белых – одна.

Нацепил кресты и опять потерял сознание...

Очухался в Симферополе, в лазарете. Подобрали меня белые, документов нету, по крестам признали за своего и вывезли в тыл.

Операцию мне сделали – честь по чести. Стал я поправляться, когда прорвали красные Перекоп. На корабле отплыли мы в чужие страны. Русскую землю покидая, плакали. С палубы назад в последний раз глядели...

Одолели нас комиссары!

– Ишь ты, какой гусь! – заметил кто-то из слушателей, – То за белых был, то за красных, значит.

– Ну и что ж, что за красных, раз уж так пришлось. А присяги я им не давал!

ГЛАВА 3

Приплыли мы в Турцию, в Стамбул-город. Только в город нас не пустили, а пошли транспорты дальше, в эти проклятые Галлиполи, чтоб им ни дна ни покрышки!

– А что это?

– Лагеря там для нас союзники сделали, вроде как бы военные, только это не лагеря были, а погибель. Галлиполи – это полуостров. Ни дерева, ни кустика, только камень да трава сухая, по трещинам скорпионы да тарантулы. Одно слово – «Голо поле»!

Горловину полуострова перегородили проволокой колючей в три ряда, и очутились мы как бы в плену. Спереди французский экспедиционный корпус, сзади море, на море – эскадра английская, пушки с кораблей на нас наведены. Союзники называются, так их мать... Им бы, пока мы в силе были, да почитай пол-России за нами, им бы навалиться разом – одолели бы мы Совдепию. А они только амуницию слали, да консерву всякую, чужими руками жар загребать привыкли. Когда одолели нас большевики-комиссары – отвернулись союзнички от русского человека.

Но мы духа воинского не теряли. Встали на проклятых Галлиполях биваком, палатки разбили, живём. Было нас тысяч 30: донская казачья дивизия Шкуро, кубанская дивизия Кутепова, терцы да кубанцы атамана Улагая, пехота – офицерские полки.

Сперва строго было, дисциплину держали, как в старые времена. На занятия водили, строевая и всё такое. Говорили нам, что Совдепы долго не продержатся, что голод там окончательный, крестьянские бунты, что к весне тронемся обратно.

Только смотрим – стали потихоньку генералы да офицеры разбегаться. Им что? У них и деньги, и камни-золото, языки они знали.

А нам куда? Остались, как дети малые.

Подступили союзники с ножом с горлу, чтоб мы оружие наше сдали. Мы – ни в какую! Понимали, что как обезоружат, тут и конец придёт.

Один только человек нас не предал, не покинул – генерал Кутепов. Один он, как отец родной, всё с нами делил и при нас состоял, а остальные подались кто куда.

Врангель в Германию уехал, да он из немцев-то и был *(генерал Пётр Николаевич Врангель был происхождения шведского.* – К.М.). Шкуро-генерал, сказывали, в цирках выступал с донцами-конвойцами – джигитовку показывал. Слащёв назад в Россию подался. Ходили слухи, что его приняли и простили...

А мы в Галлиполях загорали. Союзники сманивали нас то в Иностранный легион, то в какую-то Австралию.

Некоторые поехали, но громада держалась дружно. Россия под боком, двое суток ходу по морю – и вот она. Это нас поддерживало на чужбине...

Тут открылась в Италии конференция. Наш генерал Кутепов отправился на неё просить за нас.

«Ребятушки, – сказал он нам на прощание, – вы уж как-нибудь до меня продержитесь, а я без решения вашей судьбы не вернусь. Только дисциплину-порядок держите, а то они, союзники то есть, всех вас сметут. Вы у них как на ладони».

И уехал.

Прошла неделя, вторая, пятая. Нет генерала, будто сгинул. Многие стали говорить – сбежал и покинул нас. Дисциплина пала, порядку не стало. Как ни пытались унтеры, фельдфебели да казачьи есаулы держать, а уж и у них веры не было, что Кутепов вернётся. Союзники последний ультиматум нам сделали, чтоб оружие сдали, и провианту нас лишили.

Решили казаки собрать войсковой круг, как у них принято. Они промеж себя дружней всех держались. Кликнули на круг и остальных.

Офицеров среди нас почти не осталось – собрались унтеры, фельдфебели и казачьи хорунжие. Рядили всю ночь, решили из лагеря пробиваться, разошлись по ротам. Весь следующий день готовились: оружие чистили, набивали пулемётные ленты, точили шашки, приготовили и орудия. Только снарядов у нас не осталось, набрали по два на ствол. К орудиям – расчёты из одних унтеров.

Из последней муки хлеб испекли. Не людей, а коней накормили. Я тогда в кутеповской дивизии был, меня на эскадрон поставили. Словом, приготовились скрытно, сторожа наши ничего не приметили.

Как смеркалось, кубанские и терские пластуны поползли проволоку резать и часовых французских снимать. Порезали, сняли – кого кинжалом, кого арканом. Ни один не пикнул.

Только рассвет забрезжил, ударили мы из орудий залпом, потом вторым. Загремело ура – мы за два года и кричать отвыкли. Пошла в штыки пехота, прорвала французскую оборону, а в прорыв казаки – «Ги-и!». Фейерверкеры наши, снаряды расстреляв, замки с пушек сняли и за пехотой ушли. Так мы этих французов вёрст двадцать пять гнали, положили их видимо-невидимо.

С моря англичане дали залп по лагерю, только он уже пустой был, одни палатки разнесло, мы уже из-под огня вышли. Мы корабельных орудий только и боялись, а войско ихнее – это нам было ништо.

К полудню, преследуя и уничтожая остатки французского корпуса, русское войско ворвалось в небольшой турецкий городок, где захватило армейские провиантские склады и арсенал. Сами поели вдоволь и коней накормили, сменили русские трёхлинейки, к которым ни у кого не осталось патронов.

Опомнившись, союзники попробовали перейти в наступление, но снова были разбиты.

– Видят французы-то, что не взять им нас: кишка тонка. И пустили они, деточки, против нас негров! Была у них такая пехота

в красных штанах, называлась – зуавы. В нас боевой дух взыграл, как свою силу почуяли. Было всё нипочём. Дрались с красными, пришлось и с чёрными повоевать. Зуавы эти, слов нет, вояки – не французам чета, их, говорят, на западном фронте немцы дюже уважали, но против распалённого русского солдата никто не устоит, никто его превозмочь не может. Бой был жестокий, разбили мы чёрных. Больше они на нас не совались.

Собрали круг и начали судить-рядить, что дальше делать.

Одни говорили: продолжать поход, завоевать всю Турцию и устроить своё царство. Другие говорили: идти на Стамбул, захватывать корабли и ехать воевать в Россию опять. Были и такие, что предлагали идти пешком до кавказской границы и просить милости у Советской власти – авось не звери, всех не казнят. Повинную голову, мол, меч не сечёт. Но таких слушали мало – во всех кураж был.

Не знаю, что бы мы натворили, но как раз в то время прилетел из Европы наш Кутепов. И привёз весть: согласились шесть стран нас принять на жительство.

Пожурил нас, что его не дождались, и повёл к Стамбулу. Вышли мы к греческой границе. Союзники нас больше не цепляли.

На греческой границе оружие сложили и разъехались кто куда. Не стало доблестной армии русской!

...Сам Сергей Иванович на первых порах попал в Албанию.

Началась тяжёлая жизнь без Родины, без друзей, без языка, без профессии, без денег. В Албании он строил дороги и работал в каменоломне.

– Бедная эта страна Албания. Очень народ бедный и строгий, вера басурманская, и насчёт баб плохо!

– А ты баб любил, Сергей Иванович?

– А что же! Я тогда молодой был, справный. Без баб как же?

Однополчанин поманил его в Болгарию. Там малость полегче: во-первых, язык понятный, во-вторых, жили побогаче. К тому ж болгары – православной веры.

Он там и фрукты убирал, и опять камень бил. А на одно лето попал в Казанлык, на знаменитые розовые плантации. Летом в жару собирали там лепестки роз, из которых добывалось драгоценное розовое масло. Днём, на жаре, розы благоухали с такой силой, что зачастую сборщики теряли сознание, и их вытаскивали из розовых зарослей куда-нибудь на ветерок.

Казалось бы: что может быть легче и приятнее – собирать цветы? Ан нет! Двенадцать-четырнадцать часов под палящим солнцем, одурманенному тяжёлым ароматом, в плотных зарослях ро-

зовых кустов, куда не проникало спасительное дуновение ветерка – это лето показалось Дубинкину не легче работы в албанских каменоломнях.

– Русских тогда в Болгарии много работало повсюду, а в то лето пронёсся слух, что русских в Югославии принимали хорошо.

Взял я расчёт и подался в Югославию.

Приехал в столицу ихнюю, Белград. Действительно: государство новое, своего ничего нет. И они нашего брата, русского, брали с охотой и в армию, и в жандармерию.

Указали мне, куда явиться. Начистил я сапоги, кресты надел и явился утром. Вхожу. Сидит в кабинете человек. Форма на нём вроде старой австрийской, но личность – спутать нельзя! Наш человек, русский, в полковничьем, а то и в генеральском чине: взгляд грозный и весёлый, усы на две стороны.

Подошёл я к нему честь-честью – строевым, под козырёк взял и представился по порядку: старший унтер-офицер 3-го эскадрона 1-го полка Кубанской генерала Кутепова дивизии Сергей Дубинкин для прохождения дальнейшей службы явился!

А он смеётся:

– Явился, говоришь? Орё-ёл! Гляди-ка, полный кавалер! Мал золотник, да дорог!

Расспросил меня, что после Галлиполей делал, и определил в граничары. Стал я пограничником по-нашему, сделали меня командиром заставы.

Участок, куда попал Дубинкин, был на югославско-итальянской границе недалеко от Триеста. Тогда он назывался Фиуме и был подмандатной территорией Лиги Наций.

– Но всё равно там итальянцы хозяйничали, а как он вроде вольный город был, то лазеек там, что на нашу, что на итальянскую сторону – видимо-невидимо, и очень лихо контрабанду возили.

Участок мой частью по суше шёл, городок один пополам пересекал. Речка текла, так по ней граница на мосту – полмоста наш, полмоста их. А дальше шла по морю. Недалеко от берега островок, на нём рыбаков семей с десяток жило. Только ловля рыбная их для отводу глаз, все они контрабандой жили. Разбойники чистые!

Довольно скоро Дубинкин сообразил, какие выгоды сулила должность, если, конечно, за дело браться с умом. Обложил всех местных контрабандистов и тёмных людишек оброком и зажил припеваючи. Кто упорствовал – тех ловил Сергей Иванович беспощадно, никакие угрозы его не пугали.

– Русского человека хотели напугать – ишь чего! Да я, милые, видал такое, что им и в страшном сне не снилось!

Так и жил.

– Стала ко мне одна девушка ихняя ходить. Милицей звали. Красивая, хорошая была девушка, жалела меня. С год ходила, пока не затяжелела. А у них насчёт этого строго. Родители как узнали – её прокляли и из дому выгнали.

– А ты что ж её к себе не взял? Женился бы!

– Не, я в ту пору об этом и не думал. Мало ли их у меня было!

– А куда ж она делась?

– Бог знает. Ушла куда-то из села от сраму. Там строго, люди старым обычаем жили.

...После 1930 года появились на границе нарушители нового сорта – люди, бежавшие из Италии от преследований фашистов.

– Этих я всегда пускал, эти жизнь свою спасали. Я сам в 20-м так-то вот из России уходил. И не брал я с них ничего.

Дюже здорово на меня тогда итальянцы обижались, что я беженцев укрывал, особенно эти – в чёрных колпаках. Фашисты. Грозили не раз, что доберутся до меня.

Сербы узнали, что я контрабанду пропускаю, и решили меня суду предать. Хорошо, в штабе друг нашёлся, галлиполиец, предупредил в последнюю минуту. Я в штатское переоделся да пистолеты с собой взял: один свой браунинг, другой казённый. И подался за кордон, в Италию.

Границу перешёл даже очень просто и добрался до Фиумагорода. Там меня чернорубашечники опознали. Давно грозились, а тут нате – сам в невод приплыл. Опознал меня на улице один, и сразу целая свора набежала. Да меня голыми руками не возьмёшь, не таковский. Средь бела дня отстрелялся и ушёл.

Понимаю, ненадолго это: идут за мной по пятам. Хочешь не хочешь, пришлось назад заворачивать в Сербию.

Там тюрьма, а здесь жизни решат как пить дать.

Прибежал в город, через который мой бывший участок проходил. А там граничары итальянские на меня особо злы были. Обложили как волка, сворой, гонят по улицам, стрельба.

Бегу, остановлюсь, стрельну – и дальше. Так к границе выскочил. Впереди речка, мост, два карабинера ходят итальянских, два граничара сербских. Тихо, жарко...

В обоих руках по пистолету. Кричу карабинерам:

– Бросай ружья! Руки вверх!

Они с перепугу карабины побросали, руки подняли, стоят. Я, глаз с них не спуская, задом на мост пячусь, на сербскую сторону.

На берег погоня выскочила – и ну палить. Но я уже середину моста миновал, на югославской стороне был, и карабинеры веле-

ли стрельбу прекратить. А почему? Пули-то на югославскую сторону летели. Это пограничный конфликт. Им отвечать...

Так я допятился, пока два штыка в спину не упёрлись. Я через плечо пистолеты свои подал, руки поднял и сдался.

Военный суд осудил Дубинкина за должностные преступления на 3 года тюремного заключения и лишение воинского звания.

– Ну, дёшево ты отделался! Детский срок!

– Это по-вашему мало, – ответил Дубинкин, – а по-тамошнему очень даже много. Там помногу не давали, но как в тюрьму приведут, в затвор по-ихнему, – то перво-наперво рёбра пересчитают так, что на полсрока памяти станет.

– И тебе досталось?

– Мне – нет. Как-то пронесло. Судил меня военный суд, пока приговор писали, то да сё – в тюрьму привезли меня среди ночи, тюремщики спросонья были – скоренько меня в камеру сунули, а там и забылось-обошлось. Сохранил Господь...

– Как там тюрьма? Хуже нашей или лучше?

Вопрос был животрепещущий.

– Да ну, какое сравнение! Там всё по-простому, по-человечески. Кормили густо, похлёбка кукурузная с убоинкой. Передачи, кому полагалось, носили каждый день. Даже вино в камеру передавали. Там ведь без вина за стол не садились. Дежурный себе отольёт по-божески, остальное отдаст. Водку только – ракию ихнюю – запрещалось.

А начальник тюрьмы у нас был душа-человек. Бывало, на обходе откроет дверь камеры, ему табурет подадут, он в дверях сядет и с нами разговаривает. Всё срамил нас за наши злодейства и уговаривал, как срок закончим, чтобы жили честно и смирно. И так, нас увещеваючи, распалялся, что одному-другому и по уху достанется. В назидание.

Однажды и до меня очередь дошла. Видел он, что передач я не получаю, на казённых харчах живу, поведение смирное. И решил мне милость оказать.

Вызвал к себе, расспросил, кто я, кем раньше был, что делать умею. Когда узнал, что я старый кавалерист, определил конюхом при тюрьме. Он в тюрьме свой выезд держал – пару коней добрых.

Стал я каждое утро из камеры на работу ходить. Жить сделалось много легче. Во-первых – сидеть тоска одна. Во-вторых, что-ничто лишнее перепадало каждый день. Придёт сам начальник, глянет, что кони у меня в порядке, из своих рук чарочку поднесёт...

– А что же, там заключённые не работали?

– Почему? Работали. Только работа была – тьфу. Выведут в город улицы мести, за это в обед добавку дают.

Мы вздохнули. Наша судьба вырисовывалась перед нами достаточно ясно. Всех нас ожидали исправительно-трудовые лагеря, а в них долгие годы труда тяжёлого, далеко не столь идиллического, чем тот, о котором повествовал «граф Дубинкин».

– Увидел тюремный начальник, что лошади у меня справные, лоснятся, как на смотру, и экипаж блестит как стёклышко. Совсем он ко мне доверием проникся, стал иногда брать за кучера. Ездил я с ним в город запросто, вольно.

– Бежать не думал?

– Нет, не думал: жизнь в тюрьме совсем наладилась, срок шёл. Я дёшево отделался тюрьмой. Человек без подданства – сделать со мною сербы могли, что хотели. Я и под суд попал потому только, что на государственной службе состоял.

Однажды и вовсе неожиданный случай произошёл.

День был воскресный, отдыхал я после обеда. Вдруг дверь отворяется и надзиратель меня зовёт: «Иди, – говорит, – Дубинкин, там тебя видеть хотят!» А сам усмехается.

Иду и думаю, кто бы это мог быть? Кто меня видеть захотел? Родни нет, друзья по белу свету разбрелись. Иду, голову ломаю.

Приводит он меня в канцелярию и говорит: «Тебе, Дубинкин, свидание!» А в канцелярии, гляжу, старичок со старушкой сидят, рядом с ними девочка лет семи-восьми.

Спрашивают старички меня так печально:

– Ты ли будешь русский граничар Сергей Дубинкин?

– Я, – говорю.

– А мы родители Милицы твоей, а это дочь твоя.

Я так и оторопел.

– Где же Милица сама? – спрашиваю.

– Умерла наша Милица, – отвечает старичок, а старуха в слёзы, – умерла в чужих людях.

– Так... А что вам, добрые люди, от меня надо? Я, видите, теперь не граничар, а затворник тюремный.

– Ничего нам от тебя не надо, сынок, только внучка наша осталась без матери, сиротой, а ты ей всё-таки отцом приходишься. Так чтоб она знала, что у неё отец есть... И вот прими от нас, Христа ради, – и подаёт мне кошёлку. Собрали, вишь ты, по бедности сыру кусок, лепёшек пару, помидоры, паприку и вина бутылочку небольшую.

Меня аж слеза прошибла. Поклонился им низко, поблагодарил. Девочку по голове погладил, спросил, как зовут.

– Зорица, – отвечает, а сама на меня смотрит испуганно.

Поклонились они мне и ушли. Надзиратель меня в камеру отвёл и даже вино не ополовинил – восчувствовал человек.

Стали они меня посещать. Не часто, но ходили. Передачи свои сиротские носили. Мне и сидеть веселей: и у меня на воле кто-то есть! Одна эта мысль поддержку давала.

ГЛАВА 4

Отсидел свои три года и на волю вышел.

Не знаю, как это получилось, но при освобождении мне в канцелярии паспорт дали настоящий, законный, югославский. То ли ошибку какую тюремщики совершили, то ли потому, что я у них всё же на государственной службе состоял, то ли начальник тюрьмы пожалел и посодействовал – не знаю по сей день.

Вообще-то он за лошадей, за выезд меня хвалил всегда и моё смирное поведение одобрял. Когда выходил я, он мне чарку поднёс и динаров дал на дорогу немного. И, конечно, сказал напутственное слово – чтоб больше не попадался!

Вышел я за ворота и пошёл не оглядываясь. Примета есть: оглянешься – когда-нибудь опять сюда вернёшься. Пошёл прямо в ближнюю кафану – трактир по-ихнему. Ракии себе заказал – против вина она позабористей, закуски кое-какой, и отпраздновал свободу.

Решил я из Фиумы подаваться – здесь меня знали слишком даже хорошо. Решил идти в самый Белград. Город большой – столица, да и нашего брата, рассейских, я слышал, там много осело, помогут земляку.

Так и вышло.

Приехал в Белград, покрутился-покрутился – и встретил полчанина, тоже кутеповца Гришу. Гриша работал в Белграде в ресторане швейцаром, а проще – вышибалой. Был он из бывших лейб-конвойцев, росту богатырского, косая сажень в плечах и силищи непомерной. Хозяин его ценил крепко, потому что он при своей отваге любой шумок или дебош враз успокаивал. Одного его виду страшились.

Привёл меня Гриша к хозяину и протекцию составил. Взяли меня официантом. Фрак дали, манишку крахмальную и штиблеты лаковые – во как!

Стали обучать делу: как подать, как убрать и всё такое. А ресторан был богатейший, шикарный. Мрамор везде, цветы. Оркестр играл – румынские цыгане, на скрипках пилят замечатель-

но. А публика чистая – богатеи собирались, дамочки ихние в золоте да в мехах, офицеры...

Недолго я так проработал – не шла эта должность лакейская, не приучен был. Как ни старался – всё что-нибудь не так делал.

И перевёл меня хозяин на кухню.

Сказал:

– Вижу ты, Сергей, стараешься, потому и не гоню, но вид у тебя, сам понимаешь, невзрачный. Ты посмотри, какие ребята подобраны – молодец к молодцу! А ты своей рубленой башкой публику пугаешь.

Сделался я кухонным мужиком: плиты топил, дрова носил, котлы мыл, таскал припасы с кладовых. Словом, волчком вертелся – почище, чем в зале.

Ресторан работал всю ночь. Пока уберёшься после закрытия, то да сё, глянь – и рассвело. Домой идёшь под утро. Но зато сыт и пьян и нос в табаке – каждый Божий день. Жалованье почти не тратил, даже стал откладывать на чёрный день.

Жил я тогда у Гриши – он мне приют дал, когда я в Белград пришёл и крыши над головой не имел. Так я у него и остался – жильё было просторное, мне каморка нашлась.

Гриша женат был. Жена не жена, баба при нём находилась. И была она из благородных, дворянка-белоручка. Он её, голодную, в Турции подобрал – пожалел. Любил её страсть как, только что на руках не носил. А меня он уважал, что мы с ним земляки и полчане. Было ему с кем словом русским перемолвиться.

Бывалоча, выдастся свободное времечко, мы с ним выпить сообразим, сидим, походы наши вспоминаем, Россию. Как она там? Песни, бывало, поём российские.

– Какие вы песни пели?

– Разные. Казачьи пели, строевые, домашние, которые помнили.

Гришка, надо сказать, пил шибко. Душа тосковала. Утром из ресторана идёт – пьяней вина. Придёт домой, завалится и храпит до вечера, пока на работу не идти. А она, баба его то есть, от такого поведения стала скучать и по сторонам оглядываться. Что ей оставалось? Баба молодая, гладкая, натура своего требует, а Гришка либо дрыхнет, либо пьян в стельку и к ней без внимания.

Она ко мне и подкатилась. Я поначалу от неё сторонился – совестно было: ведь Гришка мне друг и благодетель. А потом – сами понимаете. Грех сладок, человек падок.

Видимо, пришёлся по сердцу Гришкиной бабе наш Дубинкин, и свидания у них пошли регулярно. Гришка не замечал ничего, лю-

бовники потеряли всякую осторожность. Развязка наступила внезапно: как-то раз Гриша застал их, и гнев его был страшен.

– Еле ноги унёс – убил бы с удара. Он быка кулаком мог убить! Оказался я опять без крыши над головой и без работы – в ресторан, само собою, показываться не посмел. Пошёл я тогда к нашим в РОВС – просить, чтоб помогли.

– Что такое РОВС?

– Русский общевойсковой союз (*правильно «общевоинский»*. – К.М.). Организация такая была по всем странам, где русские люди проживали. Штаб в Париже, командовал РОВСом наш генерал Кутепов...

Пришёл я в РОВС: так мол и так, помогите георгиевскому кавалеру. Стали они меня на работы пристраивать. На дороге работал, на стройке – где придётся. Наконец на место определился – дворником, чистачом по-ихнему, к одному богатому сербу. У него дом был – вилла на Дединье (*аристократический район Белграда*. – К.М.), сад огромный. Работы хватало – я и за садовника был, зато кров над головой заимел, и платил тот серб неплохо. Вроде опять жизнь наладилась.

Так жил, пока война не началась. Докатилась до Югославии, пришли в Белград немцы. Сербов разбили быстро, король ихний Пётр сбежал, а правителем стал хорват Павелич – холуй немецкий *(ошибка рассказчика: Анте Павелич был главой пронацистского Независимого Хорватского Государства.* – К.М.*)*

Меня это всё не очень касалось. Как раньше мёл метлой, так и продолжал. Но однажды приходит полицейский сербский, вручает повестку и ведёт в участок. За что – не говорит.

Заводит в кабинет, а там за столом сидит немец. Не простой, чёрный, мёртвая голова в петлице – СС. Садиться приглашает и говорит:

– Здравствуй, славный русский воин Сергей Иванович Дубинкин!

По-русски чисто лает, но выговор не наш, как у чухонца.

– Здравствуйте, господин хороший, – говорю, – простите, не знаю, как вас величать.

– А это не обязательно, – смеётся, – важно, говорит, что я всё про вас знаю, господин старший унтер-офицер! Германское командование знает вас как отважного борца с коммунистическим режимом. И сейчас, когда наш фюрер Адольф Гитлер ведёт войну для освобождения России от большевистского ига и установления в ней нового порядка, наше доблестное командование призы-

вает вас под знамёна фюрера. Нам нужны такие люди, как вы, дорогой Сергей Иванович!

Вскочил, руку вытянул да как рявкнет:

– Хайль Гитлер!

Что сделаешь? Встал и я. А он сел и говорит:

– Ну как, господин Дубинкин? Согласны ли вы идти под знамёна Великой Германии, освобождать свою родину от тирании жидокоммунистов?

А я про себя думаю: «Не затем я святую присягу принимал, когда на войну шёл против вас же, колбасников, чтобы теперь с вами против России идти. Ишь чего захотели!»

Он видит, что я запнулся, и, как мысли мои читая, говорит ласково:

– Если вы, господин Дубинкин, не хотите помочь доблестной армии фюрера, то мы вынуждены будем считать вас сторонником наших врагов – жидокоммунистов – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем более что вы русский, господин Дубинкин!

Вот как заговорил, сука!

Вижу – деваться некуда. Отвечаю:

– Ваше благородие, я бы с радостью, да только как я буду в вашей армии служить? Я ведь языка немецкого не знаю.

Он улыбнулся и говорит:

– Рад слышать такие слова с вашей стороны, господин старший унтер-офицер. О языке не беспокойтесь – формируются части из ваших соотечественников, готовых идти освобождать Россию от большевистского ига, так что направим вас к своим.

Я спрашиваю:

– Что это за части? Кто ими командовать будет? Немцы или русские?

– Ваши, ваши, – отвечает, – командовать будет русский генерал Власов, а называются эти части Русская Освободительная Армия.

– Так ты, Сергей Иванович, ещё и власовцем побывал?

– Как бы не так! Дался я им, немчуре поганой!

ГЛАВА 5

Собрали нас по Белграду, выдали документы от немецкого командования, что мы добровольцы в эту самую армию освободительную, денег дали на дорогу и место назначения указали в Германии. Город какой-то – я название не запомнил. Дали провожатого, шарфюрера – у них, у чёрных, все были фюреры. И поехали мы.

Только венгерскую границу переехали, я и отстал. В первый попавший поезд вскочил и поехал незнамо куда – лишь бы подальше. Видимо, есть всё-таки Бог на небе – пособил мне. Я всю Венгрию проехал благополучно. Где проверки были – документ немецкий помогал: они, венгры, не знали, где этот самый городок немецкий, и пропускали меня дальше. Так я австрийскую границу пересёк и добрался до Вены.

С вокзала вышел – куда идти, что делать дальше – не знаю. Иду по городу – и опять мне, деточки, Бог помог или счастье моё такое: слышу русскую речь! Русскую не русскую, украинскую, но всё же нашу. Идут две дивчины и разговаривают.

Я к ним.

– Девчата, – говорю, – землячки!

Остановились они, удивились. Потом разговорились.

Они оказались с Украины, угнанные на работы. Попали в Вену, работают на какой-то фабрике. До этого в Германии были, там гораздо тяжелей, немцы их за людей не считали, как со скотиной обращались. Повезло – отправили сюда. Здесь много легче и народ добрее, даром что те же немцы.

Спросили, откуда я. Тут уже не до хитростей, я им открылся. Правда, не сказал, что я из белой армии. Сказал, что взяли меня немцы из Сербии, где я жил с детства.

Как я там с детства оказался – это они не спросили. Повели к себе.

Жили они в бараках на окраине. Был там лагерь. Проволокой обнесён. При входе караулил старик-вахман, австриец. Они с ним поздоровались. Он их, видимо, знал, только рукой махнул – идите. На меня и не глянул.

Привели к себе в барак, покормили, чем Бог послал, и сказали, что надо дождаться вечера, когда все с работы придут – может, мужчины что посоветуют. Дождался я вечера. Повели они меня в мужской барак, оставили во дворе, сами сбегали, привели несколько человек и мне сказали, что это – земляки, люди верные, им можно всё сказать. А в барак нельзя – «есть там людыны дуже поганы» – доносчики то есть..

Стали мужики думать-гадать, куда бы меня пристроить. И тут один – армянин средь них был – придумал. В Вене, говорит, есть армянский монастырь, живут там монахи и с давних пор считаются австрийскими подданными, но всё же люди они веры православной (*не совсем верно.* – К.М.*)* и должны русскому человеку помочь. Надо к ним пойти, поклониться и попросить. Вызвался тот

армянин сходить со мною и поговорить – земляка они лучше выслушают. На том и порешили.

На ночь спрятали меня мужики на чердак. Наутро пошли мы с тем армянином в монастырь.

У нас монастыри большие, как крепости, а тот был – просто дом на улице. Постучали мы у входа. Долго не открывали. Шкурой чую, кто-то нас выглядывает, только не пойму откуда.

Наконец открыл дверь монах, строгий такой, немолодой уже, спросил по-немецки – кто такие и зачем пришли. Провожатый ему по-армянски ответил. Он на нас удивлённо посмотрел, велел ждать, ушёл и дверь за собою закрыл. Скоро открыл снова и впустил вовнутрь. Там другой монах, постарше, повёл нас в покои. В покоях игумен ихний – совсем старый. И вообще я там ни одного молодого не видел – только пожилые да старые. Все, как у нас, в чёрном облачении, только у наших на головах скуфейки, а у этих башлыки чёрные.

Армянин мой тут же подошёл, игумену руку поцеловал, обернулся и мне велит. Приложился и я. А армянин мой начал что-то втолковывать. Я не понимаю. Вижу, что старик-игумен на меня поглядывает.

Поговорили они, и провожатый – мне:

– Всё, в порядке, Сергей-брат: согласились тебе помочь. Кланяйся и благодари. Останешься пока у них. На улице тебе делать нечего – враз немцы заметут, а у нас своих знают и чужого продадут. Найдутся чёрные души. Здесь тебе полная безопасность. Обещают тебя пристроить законно, чтоб не подкопаться. Прощай, брат!

Поклонился он ещё раз игумену, к руке подошёл – и проводили его. А я остался.

Монах мне по-русски: «Иди за мной!» Я обрадовался – русскую речь услыхал, хотел что-то спросить, он не ответил, только головой кивнул и повёл за собой. Привёл в келейку малую, в ней кровать, скамейка, в углу налой с книгой, над ним иконы, лампада горит, и больше ничего.

– Отдыхай, – сказал и вышел.

Так я у них дня четыре прожил. Из кельи только в отхожее место ходил. Еду мне носил тот монах, что по-русски понимал.

Наконец свезли они меня в городок небольшой и определили на работу на шахту. Сделали аусвайс – документ, что я серб вольнонаёмный.

На шахте той много было всякого народу. Были и поляки. С ними я кое-как объясниться мог. Они меня обучали шахтёрскому делу.

Проработал я на шахте с полгода или поболе. От пищи дурной и пыли заработал себе язву желудка. Сперва перемогался кое-как, потом совсем скрючило. Товарищи настояли и положили меня на операцию в лазарет для бедноты. Сделали её – вот видите. Да сами понимаете – бедняку задарма сделали, кое-как. Война, врачей хороших нет, все на фронте и в госпиталях военных. Располосовали, зашили, и пошёл я на поправку. Наконец меня выписали, но сказали: «В шахту – никс».

К тому моменту я уже по-немецки чуток ферштеял, и шпрехать научился малость. Кое-какие деньжонки были. Вскоре устроился на фабрику ткацкую. Там много легче было чем в шахте – не сравнить. Да и дело знакомое – в детстве я с этого начинал. Сперва учеником поставили, потом к станку ткацкому, потом стал наладчиком станков. К тому времени я комнатку себе снял, приоделся, денежки завелись. По воскресеньям ходил в бирхалле – пивную по-ихнему – пивком побаловаться, или просто так шпацировал.

...Рассказ Дубинкина прерывали только вызовы на допросы.

Возвращался он мрачный и подавленный. День-два молчал, уставясь невидящими глазами куда-то вдаль. Там, в кабинете следователей, куда дёргали Дубинкина, видимо, происходили такие дела, которые не потерявшему в жизненных передрягах чувства гордости и собственного достоинства старому солдату были непереносимы. Но потом он оттаивал, и рассказ продолжался.

Работал Сергей Иванович на своей фабрике, а Вторая мировая война, названная нами Великой Отечественной – продолжалась.

Наступал 1945 год, война докатилась и до Австрии. К городку, где жил и работал Сергей Иванович, подошли советские войска.

– В городе, конечно, полный переполох, кто в бега ударился, кто в доме затворился и ждёт, что будет. Кто и радуется, навстречу Красной Армии бежит!

– А ты?

– Я к своим кинулся, к русским – их в городе тоже лагерёк был небольшой – на той шахте работали, что и я. Я к ним примкнул. Думаю в куче-то не разберутся, кто есть кто.

Так и вышло. Командиры русские, придя в лагерь, построили всех и, кто по возрасту подходил, тех в армию забрали, на пополнение. Воевали они уже долго, в частях большие потери были, нас быстро по ротам распихали. Конечно, допросили: кто как сюда попал? Я сказал, что родом из Одессы, проживал там на такой-то улице. В армию не взяли по причине язвы желудка, рубаху им задрал и рубец показал – поверили. И зачислили во взвод рядовым.

– Тебе повезло, что улицу за время Советской власти не переименовали как-нибудь, а то бы тут тебя и раскололи.

– Вот видишь, сыночек, выходит, и тут мне повезло, Бог помог!

Попал я во взвод. В нём юнцы желторотые последнего призыва. Призвали их, сердечных, даже не обучили толком – сразу в бой. Взводный от них недалеко ушёл – такой же сопляк, только года на два постарше. Пришлось старую науку вспоминать, молодёжь на ходу кое-чему учить. Ничего, слушали меня, даже взводный прислушивался. Как-то спросил:

– Ты что, Дубинкин, в кадровой служил?

– Служил, – отвечаю, – служил, когда тебя на свете не было. Я ещё на германской воевал, и на Гражданской. Так-то вот!

С боями мы до самой Вены дошли.

Там такой случай вышел. Только мы в наступ пошли – убило нашего взводного, взвод дрогнул и пятиться начал. А в наступлении, раз уж пошёл, с аллюра сбиваться нельзя. «Промедление смерти подобно!» – эти слова нам в германскую его высокоблагородие полковник Басов часто говорил.

Я командование принял. Кричу:

– Стой, ребята! Слушай мою команду!

Собрал взвод и повёл. Только не в лоб на позицию немецкую, стал вправо забирать. Забираю вправо, скрытно во фланг немцам и вышел. Ударили мы, как снег на голову, с позиции их сбили и закрепились. Тут и весь батальон подошёл – вышло так, что мы ему дорогу раскрыли, была в том бою победа наша.

После боя меня к самому генералу представили. Подошёл я честь по чести – строевым, откозырял, представился. Генерал говорит:

– Молодец, солдат, грамотно воевал! Откуда сам будешь? Кто ты?

– Сергей Иванович Дубинкин. Родом из Одессы. Грамотно воевать научился в германскую, старшим унтер-офицером был.

– Молодец, старший унтер-офицер!

И тут же наградил медалью «За отвагу».

А я ему:

– Рад стараться, ваше высокопревосходительство! – само сорвалось.

Тут все хохотать. Генерал, просмеявшись, говорит:

– Вот теперь точно верю, что ты старший унтер-офицер.

И велел меня сразу в старшие сержанты произвести…

Потом были бои за Вену, где кончилась для Сергея Ивановича Дубинкина война.

ГЛАВА 6

Подоспела демобилизация старших возрастов. Поехал Дубинкин домой, в Россию, покинутую и обретённую Родину.

Вернулся в родную Одессу демобилизованный воин-победитель. На груди медали «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу в Великой Отечественной войне». В кармане – проходное свидетельство, за плечами – походный сидор (*солдатский вещмешок.* – К.М.) с нехитрым солдатским скарбом. Пришёл на родную улицу – а там ни дома, ни родных, ни знакомых...

Поискал по Одессе – не нашёл родных. Куда податься солдату? И тут он вспомнил о сестре Ольге. Может, хоть она жива в своём далёком Кунцеве, под Москвой.

И тронулся Дубинкин в дальний путь на поиски сестры.

Приехал в Москву, расспросил дорогу до Кунцева и, сев в электричку от Киевского вокзала, вскоре добрался до места. Крепко помнил он эти долгие годы адрес сестры – ещё с тех пор, когда приходили от неё редкие письма после бегства их с мужем из Одессы.

Кунцево тогда ещё было подмосковным посёлком, застроенным дачами и деревенскими домишками. Улички носили старые названия. К счастью, и улица, на которой жила сестра, называлась по-старому. Отыскался дом, в котором жила Ольга с мужем и двумя детьми.

Можно представить неожиданную радость встречи брата с сестрой после столь долгой разлуки.

– Спрашивает она: да откуда же ты взялся? Мы тебя давно в душе схоронили. Ты как на войну удрал, только по первости весточки были, потом ни слуху ни духу. Где ты столько лет пропадал?

Я ей чего-то наговорил, как в германскую воевал, потом в Гражданскую. Что в белой армии был – скрыл. Сказал только о Первой Конной. Потом по России мотался, потом война, призван был и до Вены дошёл. А когда демобилизовался, домой в Одессу вернулся – там ни кола, ни двора. Тогда про тебя, Оля, и вспомнил, решил тебя искать – может, хоть ты жива. Вот и нашёл.

Она слушает, охает, ребята её на меня во все глаза глядят. Тут и муж её с работы вернулся. Он на суконной фабрике так и работал. Его даже на фронт не брали по броне. Оля там же, она у станка, он мастером.

Ольга на стол собрала, я поллитру вынул припасённую, сели ужинать. Я говорю шурину:

– Устрой к себе на фабрику, чай помнишь, ещё в Одессе я на ткацкой работал, дело не забыл.

Он и загорелся: отлично, это я в два счёта устрою – у нас знаешь какая нехватка в людях после войны! Завтра же и пойдём.

Назавтра он договорился, свёл меня в кадры. Взяли охотно, стал я к станку, всё честь по чести.

Недолго я у станка простоял: привезли на фабрику из Германии станки трофейные. Надо их было устанавливать, да налаживать, а специалистов нет. Хотели даже из Германии звать. А тут я объявился и в дирекции сказал, что станки эти знаю, могу их наладить и пустить.

Очень удивились, откуда я эти станки знаю? Не стал говорить, как я в Австрии на них нагляделся, сказал, что на таких станках ещё отец в Одессе у купца работал и меня с мальчишеских лет к этому делу поставил.

Директор говорит:

– Давай, Дубинкин, коль не шутишь, действуй!

Станки мы установили, отладил я их, пустил в работу. Очень в дирекции рады были, премировали меня. Отрез дали на костюм и наладчиком станков поставили.

...Так начался в жизни Дубинкина новый период его удивительной судьбы: сестру нашёл с семьёй – родню обрёл, дом и работу. Всё устроилось как нельзя лучше.

Познакомился он с соседкой-вдовой, потерявшей мужа на войне. Женщина была тихая, скромная. Воспитывала сына-подростка, работала на той же фабрике.

Женился Сергей Иванович. Отпраздновали скромную свадьбу, перебрался он к жене. Зажили хорошо, дружно. С мальцом-пасынком Сергей Иванович подружился, тот его признал и полюбил.

Казалось бы – жить да радоваться... Ан нет!

Снова в многострадальную жизнь Дубинкина вмешалась судьба.

Зимой 1951 года среди ночи в дверь раздался стук. Когда проснувшиеся хозяева открыли, в сени вломились люди в штатском.

– Человек пять их было. Я и опомниться не успел, как они мне руки заломили и наручники надели. Я им – что? За что?

А они:

– Мы тебя, троцкист проклятый, сколько лет по всей стране ищем, а ты вот где – под Москвой окопался!

Я говорю:

– Ребята, вы чтой-то путаете!

А они:

– Ты Дубинкин Сергей Иванович? Разберёмся!

Обыск сделали, ничего не нашли – в машину и сюда, к вам.

Привезли, обыскали всего, даже в рот и в ж... заглянули, остригли наголо – и на допрос. Привели в кабинет. Там собрались человек десять. Смотрят на меня, как на чудо какое.

Первый их вопрос был:

– Ты Сергей Иванович Дубинкин?

– Я.

– 1896 года рождения?

– Нет, – говорю, – 1898-го, вы в паспорт мой загляните.

– Заглядывали, заглядывали, – говорят, – лучше скажи, где ты его взял?

Один другому:

– Смотри, он себе паспорт одесский достал.

– А какой же? Если я в Одессе родился!

– Знаем, где ты родился!

– Ну и где же?

– Да здесь, подлец, в Москве, на Пресне!

– Как вы сказали? На Пресне какой? Да я и места такого не знаю.

Тут полковник, солидный такой, кулаком по столу как грохнет:

– Хватит ваньку валять, мерзавец! Нам всё про тебя известно, троцкист проклятый!

Я не понял:

– Троцкист? Это что такое?

– Ах ты, сукин сын, такой раззэдакий! Троцкистов не знает! Суньте его в трюм, да с поддувалом – пусть посидит, вспомнит!

Сунули Дубинкина в трюм, то есть в карцер. Вспоминать. Чтобы лучше вспоминалось, включили поддувало – вентилятор, создававший ураганный сквозняк, пронизывавший до костей раздетого до белья узника.

Откуда ему, бедолаге, было знать, что среди сподвижников Троцкого в двадцатых годах числился его полный тёзка – Сергей Иванович Дубинкин, только двумя годами старше. Тот Дубинкин был членом Краснопресненского райкома ВКП(б), московского оплота приверженцев Троцкого. Первым секретарём в то время состоял ближайший соратник Троцкого Беленький, а московский Дубинкин – членом бюро райкома.

– Да, был такой, припоминаю! – сказал сидевший вместе с нами Сергей Сергеевич С., бывший настоящий троцкист, которого привезли с Волго-Дона и наматывали новый срок...

После высылки Троцкого за границу начались в стране повальные аресты и расстрелы его сподвижников. Арестован был и Сер-

гей Дубинкин. Прекрасно понимая, что его ждёт, он при первой возможности ухитрился сбежать, и с тех пор, с 1929 года, числился во всесоюзном розыске.

И вот – удача! МГБ ликовало: 23 года розысков увенчались успехом. Троцкист Дубинкин обнаружен. И где – под боком, в Кунцеве, почти в Москве.

Сергея Ивановича начали активно допрашивать – били, и в трюм опускали, и в боксе на стойку ставили сутками.

– Я им объясняю: так и так, родился в Одессе в 1898 году, проживал там-то и там-то до 1941 года, в армию не призывался по причине язвы желудка, а немцы – будь они прокляты – как пришли, меня на работу в Германию угнали, был в Австрии, работал на шахте, а как наши пришли, меня в Красную Армию мобилизовали. Вену брал, медаль имею – вы же их при обыске забрали. Демобилизовался в 1945 году, приехал в Одессу – там ни дома, ни родных. Вот я и приехал к сестре в Кунцево, устроился на фабрику – и весь сказ. А ни про какой троцкизм, что вы мне талдычите, я и знать не знаю.

Они говорят – врёшь, сволочь, и давай меня мытарить. Я потому держусь, что случаем услыхал, как мой следователь по телефону докладывал: наводили в Одессе справки – бесполезно, архивы утрачены в период оккупации. Так что опровергнуть они меня не могли. Я обрадовался, думал – выкручусь.

– Нет, друг ты наш дорогой, Сергей Иванович, – сказал кто-то из более опытных, – не выкрутишься! Сюда попал – забудь думать. Даром, что ли, они того Дубинкина 23 года ловили – теперь всё на тебя спишут. Ещё и ордена за тебя огребут. Теперь ты троцкист, Дубинкин!

– Вы, ребята, объясните толком, что это такое?

Объяснил ему настоящий бывший троцкист Сергей Сергеевич С. Закончил своё объяснение пессимистично:

– Плохи твои дела, Сергей Иванович, они с тебя не слезут...

Так и оказалось. На допросы Дубинкина стали вызывать всё чаще, пропадал он всё дольше, иногда по целым суткам. Мы понимали – тяжело ему достаётся.

Однажды он, вернувшись, сел к столу и объявил:

– Мочи моей не стало – открылся я им, кто я есть.

– Ну, и что?

– Следователь мой как услышал – рот разинул и обалдел. Когда в себя пришёл, вызвал конвой – меня в бокс, сам по начальству побежал. Стою в шкафе час, другой, третий, совсем ног лишился. Вдруг открывают, ведут в кабинет, там народу видимо-невидимо.

Как меня ввели, все загалдели, а тот здоровый, что по-первости кричал – улыбается и говорит:

– Давно бы так. Садись, рассказывай всё как на духу!

Я рассказал им всё как есть.

– Так, значит, ты не тот, не троцкист?

– Да я вам уже третий месяц твержу!

– Ну ладно, иди, белогвардейская рожа, отдыхай! Ишь хлюст: все страны прошёл, подлец!

– Теперь жди обвиниловки, – сказали мы, – залепят они тебе на полную катушку четвертак.

– Да хоть все сто – я сидеть у них не собираюсь.

– Тебя не спросят – посидишь как миленький, куда ты денешься!

– Это вы сидите, если хотите, а я не буду! – угрюмо отрезал он и замолчал, замкнулся в себе, как это часто бывало с ним раньше. Опять лицо его окаменело в яростном напряжении, а немигающие жёлтые глаза уставились вдаль...

Прошли недели полторы, и нашего Сергея Ивановича прямо с подъёма забрали из камеры. Вернулся он только к отбою.

– Ну что?

– Обвиниловку мне прочли. Пришёл, а там человек пять, все полковники-подполковники.

– Вот и граф Дубинкин пожаловал! Ну, слушай!

И стали мне статьи вычитывать. Мол, обвиняюсь я по статьям 58-1б, 58-2, 58-3, 58-4, на довесок – 58-10, часть 1.

– Признаёшь себя виновным? – спрашивают.

А я:

– Вы мне сперва объясните, господа хорошие, что эти статьи означают?

– Означают они, – объясняет следователь мой, – вот что. 58-1б – измена Родине военнослужащего в военное время. 58-2 – вооружённое восстание. 58-3 – отторжение территории. 58-4 – связь с мировой буржуазией. 58-10, часть 1 – антисоветская агитация.

– Признаёшь себя виновным? – спрашивают.

– Нет, не признаю.

– Это почему же?

– Потому, – говорю, – что это не я, а вы в 17-м году России и Государю Императору изменили, а я как присягу принял, так до конца ей верен был. Это не я, а вы против Российской империи и Государя Императора восстание подняли. Это вы территории Российской империи отторгали да разбазарили – поляков, да чухну, да Бессарабию распустили. Насчёт связей – какая же у меня связь

с буржуазией? Я за кордоном был рабочий человек: и на дороге, и в каменоломнях, и в шахтах кишки рвал. Агитации никакой не вёл. Всегда помнил, что в моём положении вести себя надо тихо, лишнего не болтать. Так что и этого не было.

– Так и сказал?

– Так и сказал.

– А они что?

– Как я всё выложил, оторопели они – что сказать, не знают. Потом один следователю моему буркнул:

– Ну ладно, кончай с ним!

И ушли. Следователь меня в другой кабинет повёл. Там за столом писарчук сидит и наш фабричный жмётся. Понятые – двое. По рожам видать – тоже их братия. Очную ставку сделали.

Мой говорит фабричному:

– Говори, что слышал, как он Советскую власть ругал. Он что говорил? Ещё кто слышал?

Наш фабричный от страха дрожит – запинается. Что он на меня показывал, я его быстро уличил – врёт всё. Под конец он совсем запутался, да и заплакал. Плачет и говорит:

– Прости, Иваныч – заставили.

– Бог простит, и я прощаю.

А следователю говорю:

– Пошто человека тираните? Мужика до слёз довели.

Следователь аж перекосился и велел его прогнать, а меня обратно в камеру. Даже писать ничего не стали.

...Мы слушали, и я подумал – в первый раз, наверное, эти заплечных дел мастера слышали от жертвы такие слова. Ни один советский человек, попавший в их лапы, не посмел бы бросить им в лицо такие обвинения.

Невзрачный пожилой человек, казалось бы сломленный, вдруг проявил такую силу духа, такую отвагу, что смутились эти люди-звери...

Рассказ кончился. Все разошлись по углам.

Один я остался около него: наши места были рядом.

Почувствовав мой взгляд, он внезапно обернулся

– Нет, так я им не дамся, – сказал он, и в голосе его прозвучала железная уверенность, – дай только до лагеря добраться!

– А там что? – спросил я.

– Уж кого-нибудь достану. Только б оружие добыть – я им последний бой устрою. Или пан, или пропал!

Так это было сказано, что я поверил: не пустые слова, исполнит он угрозу.

– Сергей Иванович, дорогой, – сказал я, – хочу тебя предостеречь. Не особо ты распространяйся насчёт своих планов. Продадут ни за грош. Я удивляюсь, как до сих пор на тебя никто не стукнул – ты ведь давно свою историю рассказываешь. А в лагере сексотов будет полно. Донесут – и тебя или просто пристукнут, либо загонят туда, где тебе небо в овчинку покажется. Держись, Иваныч! Надеюсь, доживём до лучших времён. Надо постараться и в лагере дожить!

А наутро выдернули меня с вещами, отвезли в Бутырки в осуждёнку – и больше никогда не слышал я в лагерных скитаниях о храбром старшем унтер-офицере Сергее Ивановиче Дубинкине.

Как в дальнейшем сложилась его судьба? Сколько сроку отмерила ему лубянская Немезида? Где он оказался? В каких лагерях? В огромном пространстве архипелага ГУЛАГ затерялись следы его.

Сергей Смирнов

ПЁСЬЯ ДЕНЬГА

Однажды император российский, объезжая свои северные территории, остановился на свежесрубленном мосту через быструю речку, наклонился через перила, заглядевшись на бегущую воду, а из кармана у него выпал кошелёк с деньгами – и на дно. И генералы, и служки, и простые люди, сопровождавшие его, бросились спасать государевы деньги. Но император, недовольно поморщившись, лишь махнул рукой в белой перчатке:
– Пёс с ней, с деньгой!

Мишка Фирсов работал в аэропорту на автопогрузчике. Аэропорт был маленький, как и сам арктический посёлок, но работы хватало: в сутки два московских рейса, десяток местных, да спецрейсы ещё, да залётные. Мишке работа нравилась, авиация нравилась тоже, носил серебряную птичку на ушанке. Жил он с женой в аэропортовской гостинице, в маленькой комнатушке. Наталья тоже работала в аэропорту в метеобюро. На север она приехала сразу после техникума, молоденькая и глупенькая – потому, может, и приехала, что не понимала, куда едет. Правда, поначалу жилось ей весело и беззаботно: лётчики – народ без предрассудков. Но где беззаботность, там и ветреность, и, угадав это, она удержалась от опрометчивых шагов, а в мелькании золотых дубовых листьев и нашивок углядела как-то маленькую Мишкину птичку, углядела и прочную земную профессию, и спокойный характер, а может и ещё что, чего другим вовек не разглядеть. Несколько лет жили они хорошо, чинно, душа в душу, потом как-то незаметно души их разъединились, и осталась одна чинность.

Так и пошло: Наталья в метеобюро, на верхотуре, а Мишка внизу, «зилок» свой знай по территории гоняет. Летом с грузом, зимой полосу расчищает. Работа, конечно, не то, что у Натальи, но тоже нужная. К тому же времени свободного – навалом. Плохо только, что девать его некуда, нечем в посёлке заняться, особен-

но зимой в полярную ночь, – тут хоть волком вой. И то пробовал, и это – неинтересно, не тянет и всё. Ну и, понятно, прикладывался частенько с приятелями. Как без этого. Только бывало от этого ещё хуже: тут жена насмерть запиливала.

По пьянке кто-то надоумил его охотой заняться, понарассказал всяких баек да случаев, и с людьми и с животными. Мишка тут же купил ружьё и даже сходил пару раз на зимних куропаток, но охота оказалась делом хлопотным, не таким легким и весёлым, как в рассказах: ходьбы да беготни много, иногда и на пузе поползаешь, а толку – чуть, по полторы штуки на ствол; и жалость какая-то появилась по-первости, потом ещё Наталья незаметное словцо кинула – в общем, ружьё Мишка забросил и о нём почти не вспоминал.

И вот как-то раз, перед навигацией, когда самая межсезонная гнетуха, приходит к Мишке знакомый его, Иван, водитель с «газика», и прямо с порога, захлёбываясь, выкладывает, что спустили директиву провести мероприятия по ликвидации бродячих собак, и что Степан Филиппыч из исполкома попросил его, Ивана, разузнать, поспрашивать среди охотников, мол, может, кто и согласится пострелять от нечего делать. Дело-то добровольное, не каждый на собаку ружьё поднимет.

– Правильная директива, – кричал Иван, – хотя и жалко, конечно.

– Ну, жалко, – Мишка никак не мог понять, куда приятель клонит.

А тот, возбуждённо размахивая руками, сыпал дальше, что за эту, значит, работу председатель райисполкома даст записочку в пушной магазин, а та-ам чего только нет!

Мишка и сам знал, что в пушном магазине охотники по справкам из «Заготпушнины» могли получить какой угодно дефицит, и даже импортную дублёнку.

– Ну-ну? – уже с интересом спросил Мишка.

– Тут я и говорю: есть у меня корефан! С ружьём! Обмывали-то, помнишь? И парень ты, говорю, что надо, свой в доску. В общем, бумажку он для тебя даст – разрешение. Сам понимаешь, мало ли дураков на свете, привяжутся ещё. Ну что, Михаил Петрович?

Светло-коричневая дублёнка, как живая, встала перед Мишкиными глазами. «У Наташки дублёнка есть, с «материка». Расшитая вся – загляденье. А я в казённом рядом с ней – вахлак вахлаком...».

– Согласен!

– Ну тогда с тебя пузырь, а я поехал.

Ударили по рукам, Иван вышел.

– Ваня, Ванька! – кричал Мишка в форточку. – Ты мне только сегодня разрешение-то привези! Понял? Сегодня! Я тогда в ночь и выйду!

На работу ему нужно было ещё через сутки. В обычный-то день с тоски сдохнешь – нечего делать, а тут у Мишки получился праздник нежданно-негаданно: и пострелять – время убить, и полезное дело сделать, да ещё приобрести ценную красивую вещь. На «материке» вон за дублёнку горла рвут, а тут: справку получил, деньги-товар, и дело в шляпе, дублёнка твоя. «Если сейчас дублёнок нет, подожду, пока завезут, торопиться некуда», – думал Мишка. Так что пока всё складывалось удачно. Он обошёл соседей, разжился порохом, капсюлями, гильзы, пыжи, свинец у него были, остались неизрасходованными, – и сел заряжать патроны. Пороху досып*а*л чуть больше и хорошо трамбовал, как на крупного зверя. Из свинцовой пластины нарубил картечи, и тут подумал, что одному-то ему, пожалуй, не справиться, что хорошо бы напарника найти. Хотел уже идти опять к соседям-охотникам, но вовремя спохватился: «А вдруг председатель одну записку на двоих даст?». Мишка представил себя в дублёнке, как на картинке, запах новой кожи и меха... «Да-а, тут свой человек нужен... Или незаинтересованный... Санька! Во! Как же я сразу не додумался?! Бутылку ему поставлю. Или две. Ещё и рад будет».

Санька работал в одну смену с Фирсовым рабочим на погрузке. Любил он выпить, был недалёкого ума и вполне подходил для задуманного Мишкой дела.

И точно, выслушав Мишкино предложение, особенно вторую часть его, Санька сразу засобирался, пришлось его даже слегка осадить, сказать, что пойдут сегодня, но в ночь, когда светло, как днём, а народу на улицах нет. Договорились на двенадцать, то есть на ноль часов. Напоследок предупредив напарника, чтоб не напился и не опаздывал, Мишка дошёл до магазина, купил три бутылки водки, вернулся домой и стал ждать Ивана.

Часов в десять вечера под окном раздался скрип тормозов Иванова «газика». В бумаге было сказано, что такой-то направляется на отстрел бродячих собак, кошек и пр. в связи с ухудшившейся санитарно-гигиенической обстановкой и постановлением райисполкома за номером таким-то от такого-то числа. Ниже стояла исполкомовская печать и размашистая подпись.

– Ну вот, теперь всё путём, по закону, а то действительно – мало ли что...

Пришла с дежурства жена. Мишка обстоятельно рассказал ей всё, на что она обозвала их, всех троих, пьяницами и живодёрами.

– А у Саньки, – сказала она, – у самого собачка есть, чёрненькая такая!

– Так она же на привязи, – не понял Мишка. – Домашняя! А ты вот знаешь, к примеру, – продолжал он, – как северные охотники ездовую породу берегут, чужаков и слабаков сразу под нож, даже пулю не тратят, пулю жалеют! Зато на свою упряжку всегда положиться могут! Как тебе? Всё по Дарвину!

Жена промолчала, ушла на кухню мыть посуду.

Так что Мишка на обвинения в живодёрстве совсем не обиделся, а даже посмеялся, потому что думал не о том, что придётся стрелять, и не в лесу, а прямо в поселке, как-то складывать, перетаскивать и, быть может, даже пачкаться в крови, а – о дублёнке...

Без четверти двенадцать явился Санька. Он уже, видно, принял слегка на свою впалую грудь и смотрел орлом. Мишка перелил водку в плоскую коньячную бутылку, сунул её напарнику в карман, остатки они допили, закусив Натальиными котлетами, и вышли в солнечную арктическую ночь.

Ни Мишке, ни Саньке не приходилось никогда заниматься таким делом, и они долго решали, откуда им заходить и учитывать ли ветер. Чуть не поругавшись, плюнули, в конце концов, на охотничьи уловки и двинулись между домами.

И тут Мишка, шагая с ружьём наперевес и забыв уже про опыт северных охотников, прозрел внезапно и испытал странное чувство боязни, перешедшей в панический страх: что, если увидит его сейчас кто-нибудь из знакомых, соседей, его, вышедшего на такое – что ни говори – пакостное дело, как будто собирается он преступить какую-то черту, за которую человеку – нельзя. И эта неизвестно откуда взявшаяся, колом вставшая мысль заставила его ступать мягче, бесшумно, как вору, и оглядываться, как настоящему преступнику.

Санька тоже, глядя на командира, согнул свою хилую спину, свесил длинные руки и шёл, настороженно озираясь.

«Я иду-у по У-уругва-аю! Ночь, хоть выколи-и глаза!» – из раскрытого окна орал магнитофон.

«Страшно, но поздно, – думал Мишка. – Поздно, но страшно... возвращаться». И тогда он постарался загнать свой страх в самую глубину, на самое дно окаменевшей души. «Собака... – подумал он, – собака – не человек». После этого решения, оказавшегося таким простым, шаг его сразу обрёл утерянную было решимость.

Мучительно долго пришлось им разыскивать прицельные объекты, пробираться по притихшему посёлку от помойки до помойки, перелезая через «короба» и угольные кучи.

Как назло, ничего живого не попадалось. «Вот твари, почуяли, что ли?» – думал Мишка, сжимая ружьё, словно древко знамени на первомайской демонстрации – не опустить и не передать.

Наконец, оба увидели большую рыжую собаку с сосульками грязи на брюхе, трусившую от них с прижатыми ушами и поджатым хвостом. Собака оглядывалась, косила глазом и поэтому бежала как-то боком.

– Бей! – одновременно с Санькиным воплем Мишка навскидку ударил дуплетом.

Ему показалось, что он увидел белые трассы, повисшие в воздухе, и почти физически, с новым приливом страха ощутил, как обрубки свинца сначала образовали вмятины на рыжей шерсти, а потом медленно ушли куда-то вглубь и, проворачиваясь там, стали необратимо пробивать себе дорогу всё дальше и дальше, пока снова не вырвались на свободу и косыми траекториями уткнулись в землю.

– О-ох! – выдавил Мишка. Да, тяжело ему было, давил ему на спину чей-то тяжёлый пронизывающий взгляд.

Псина завалилась набок, как плоская мишень в тире. Лапы её вдруг бешено заработали, захлопали по земле, как будто могли ещё спасти, унести от смерти.

Мелькнула шальная мысль: а если вскочит?! Мишка в панике оглянулся. Всё на свете отдал бы он сейчас, чтобы не слышать этого отвратительного топота. «Пропади она пропадом, дублёнка эта...»

– Сволочи... – неизвестно кому и про кого прошептал он.

– Чё? Да-а... – еле слышно выдохнул Санька.

Злость на всё и вся вдруг охватила Мишку.

– Чего раздакался? – грубо сказал он. – Тащи её, суку, вон туда, к дороге.

Но сначала всё же постояли, покурили из дрожащих пальцев, ополовинили коньячную фляжку.

Вроде ничего. Отпустило.

Дальше пошло быстрее и легче, бац да бац. Удача, чёрт её дери, пошла! Уложили заодно и пару кошек. Или котов, бес их разберёт.

– На детские шубки – пойду-ут, – бормотал про себя Мишка, – китайцы вон шьют, а мы что...

Санька стаскивал убитых к бетонке и выкладывал их в ряд на обочине, сначала попробовал по масти, но это оказалось некрасиво, не по-хозяйски. Тогда он выложил собак по размеру, по возрастающей, как в музее. Санька даже не ожидал от себя такой аккуратности. А Мишка, уже распаренный, с ошалелыми глазами, бил и бил, стегая выстрелами спящий посёлок. В белых бил, чёр-

ных, пятнистых, больших, маленьких, лохматых и гладких... Что ему теперь было их разглядывать? Всё встало на свои места. При таком разнообразии у них было одно общее качество: они были вне закона, и в обмен на их жизнь – считай, что задарма – можно было получить шикарную дефицитную вещь, о которой, правда, до сегодняшнего дня Мишка Фирсов как-то не думал, не мечтал...

Уже под конец получилась накладка: Мишка шлёпнул пулей выбежавшую через пустырь прямо на них чернявую шавку, и Санька, подойдя, чтобы тащить её на бетонку, вдруг плаксивым голосом сказал:

– Миш, а ведь это Мушка... отвязалась, видать, собачка моя... я ей... котлетку вот...

Мишка, охваченный азартом, не врубился и ляпнул:

– Ну и что?

– Мушка это! Понял?! Она у меня... ласковая такая... служить умеет, слова человеческие понимает... ждала ведь меня...

Он опустился на колени, склонился над ней, ощупывая безжизненное тельце дрожащими руками в запекшейся крови. Вынул газетный кулёк, развернул, начал тыкать раздавленной котлетой в окровавленный собачий нос.

– Ну, ну... – И тихо завыл: – Единственная понима-ала...

– Мушка, Мушка! Вон их сколько замочили, мушек твоих.

– Ах ты, гад... – прошептал Санька. – Да я тебя сейчас...самого...

– Да бро-о-ось ты! Самого-о-о! – передразнил Мишка. Но, заметив кривой нервный оскал на лице напарника и блестящие бусинки слез, застрявшие на небритых щеках, понял, что дело принимает нешуточный оборот, и неожиданно для себя повёл стволами:

– А ну...

Санька остолбенел.

– Ты зачем... это...

Мишка поднял ружьё повыше. Санька медленно поднялся и, когда в живот ему упёрлись чёрные прошивающие навылет зрачки, попятился, вяло помахивая рукой:

– Э... Э...

Мишка с каким-то животным интересом смотрел, как сереет потное Санькино лицо, как корчится он, словно жучок, на невидимых продолжениях стволов.

– А ну, пош-шёл отсюда, алкаш, – сквозь зубы проскрипел Мишка и упёр приклад в плечо. – А ну, сопля зелёная...

У Саньки подломились коленки, он снова попятился, повернулся и, нелепо подпрыгивая, побежал в сторону бетонки. На ходу

он оглядывался, и Мишкин опытный уже глаз уловил в его фигуре что-то знакомое. Да, узнал Фирсов ту самую, первую, рыжую собаку. Как бежала она от них и как потом завалилась...

Снова кто-то скомандовал ему – «Бей!», и он дёрнул спусковой крючок. Боёк только щелкнул – выстрела не было. Мишка опустил ружье, мутным, налитым кровью взглядом оглядел освещённый уже утренним солнцем пустырь, серую бетонку, по которой всё ещё бежала от него, раскачиваясь, длинная чёрная Санькина тень.

Потом вытер взмокший лоб скомканной в кулаке ушанкой, хлопнул ею себе под ноги и, ухватив ружьё за теплыё ещё стволы, стал, рыча, бить им о гудящую от каждого удара землю...

ПОСЛЕДНИЙ ОРДЕН

В пятницу, в кафе «Бабьи слезы», что у вокзала, у Анатолия Ивановича Глухова вытащили получку. Обнаружилось это только на следующий день – от пятидесяти рублей остался один-разъединственный рубль, на который Анатолий Иванович и взял две бутылки пива и пачку «Беломора». Как это всё произошло, он не помнил, потому что после кафе угощал Ваську Поршнякова вермутом, – и на этом воспоминания кончались. «Лишку, явно лишку хватанули», – морщился Анатолий Иванович, очень уж ему было жалко украденных денег, получалось, что за поллитра бормотухи он заплатил без малого пять-де-сят! рублей, почти половину зарплаты. И вот теперь, сидя на кухне, где кроме плиты, стола и двух расшатанных табуреток ничего не было, Анатолий Иванович задумчиво курил, вздыхал и морщился, прихлёбывая из бутылки пиво, по холостяцкой привычке разговаривал сам с собой, – прикидывал и так, и эдак, но денег взять было негде. Соседи и мужики с дормехбазы, где работал Глухов, иногда давали ему в долг то трояк, то пятёрку, но сейчас это был совсем, совсем не выход. В довершение всему в груди возникла знакомая тупая боль, от которой сразу закружилась голова и пересохло во рту.

Анатолий Иванович пошарил ещё раз по карманам, порылся в ящике стола среди бумажек, и вдруг увидел повестку в суд, и сразу, конечно, вспомнил, что сегодня у них с Раиской «раздел имущества», и что она просила не опаздывать, и не пить с утра, и не-не-не, и вообще наговорила так много, что и не упомнишь всего. За всю совместную жизнь если собрать, и то, наверное, меньше получится.

Поженились они вскоре после войны, когда жизнь, казалось, только и начнётся, да такая, что и помирать не надо, сплошной праздник. Но праздника не вышло, потому что со временем выяснилось, что всё основное, главное Глухов уже прожил, уже совершил за те четыре года, которые для иного – вот для Раисы, хотя бы – были из актива вычеркнуты. Проще говоря, заскучал Глухов по солдатской, заданной свыше жизни. И хоть был он там, на войне, человеком подневольным, не тяготился этим, дело своё не очень приятное знал и, если нельзя сказать «любил», то уж выполнял с готовностью, умом и круглосуточно – это наверняка будет точно. Научился убивать, научился.

А ведь гражданская эта расхлябанность, такая незаметная и безобидная, не одного человека сломала. А разве кому что сломанное нужно? И осталось у него единственное: рядовое звание обычного русского солдата, каких, наверное, много и было и будет, но именно потому Глухов и дорожил им, этим званием, что было оно едино для всех и не различало должностей и регалий, и прошлые свои заслуги, военные, считал главными. Может быть, и зря, но уж так получилось.

Потом вырос единственный сын, женился и уехал на север «мир посмотреть», а они с Раиской так и дудели каждый в свою дуду, пока полгода назад она вдруг не объявила, что уходит от него, что хватит, мол, намучилась, что нельзя прошлым жить.

– Война, Толя, тридцать лет как кончилась, а ты всё по ночам в атаки ходишь, и всё время одно и то же – война, война, как будто кроме войны ничего больше на свете не было! Как мальчик играешься! И сколько можно душу свою фронтовую дырявую водкой заливать.

Так она сказала и ушла, как раз накануне Дня Победы, будто специально подгадала. Потом она заходила несколько раз, всё как-то по делу, то одно заберёт, то другое, – так почти всё и перетаскала, а однажды приехала с машиной, погрузила трюмо, зеркальный шкаф, стол обеденный и ещё кое-что по мелочи.

– Ты же один, Анатолий, – сказала она, – зачем тебе большой шкаф. И двух стульев тебе вполне хватит. А на кухне ещё и табуретки есть.

Умела Раиса убедительно, обоснованно говорить.

– Конечно, бери, – отвечал он, всё это не жалко ему было, – а то у меня тут, как в мебельном магазине, пройти негде.

– А Федя тебе привет передаёт, – смеялась она, дразнила своим таинственным Федей.

А вскоре и повестка эта пришла. В суд которая.

Анатолий Иванович оделся – пора было, вызывали к одиннадцати: сапоги старенькие, но начищенные и ещё совсем целые, чистый выходной бушлат военного образца и старомодный цигейковый «пирожок «. Награды он решил не надевать. Не к месту.

На суде ничего неожиданного и интересного не произошло, развели их быстро, без хлопот, тем более, что Раискин ухажёр служил в милиции каким-то большим начальником, да и делить уже было нечего. Пока шел суд, Анатолий Иванович всё размышлял, как бы к ней, к Райке, подъехать насчёт денег, больше всего он опасался, что придётся одалживаться в присутствии этого представительного Феди, у которого над левым карманом двубортного пиджака шли в два ряда орденские планки. Это было бы уже совсем смерти подобно. А он, Федя, так от Раисы и не отходил, поддерживал её всё время под локоть, а в гардеробе подал пальто и, стоя рядом, рассказывал, видно, что-то весёлое, потому что оба улыбались и ничего вокруг не замечали.

Глухов подошел к ним, скрипя сапогами, в своем зелёном бушлатике, и Раиса познакомила их.

– Фёдор Петрович, это Анатолий.

Именно так, а не наоборот, но Анатолий Иванович не обиделся. Фёдор Петрович слегка поклонился, но руки не подал. Глухов тоже не выказал особого желания ручкаться. Раиса была в настроении и, глянув на хмурое лицо Глухова, весело сказала:

– Ну что, добился своего? – хотя Анатолий Иванович ничего такого не добивался. Все равно ему было, с кем и что она крутит и в какую трубу теперь дудит. А этот Федя, и правда, был совсем даже ничего, видно, что начальник и фронтовик. Глухов не испытывал к нему неприязни, – так уж жизнь повернулась! – просто вся ситуация казалась ему несколько странной и, главное, очень неудобной, чтобы попросить у Раисы денег, а она дала бы, в таком-то хорошем настроении обязательно дала. Наконец, все трое вышли на улицу, и Анатолий Иванович понял: чтобы не упустить момент, нужно просить именно сейчас. Проглотив комок в горле, он постарался сказать как можно непринужденней:

– Рай, вы мне рублей тридцать не одолжите... пока? – он и не заметил, что перешёл на «вы», и просьба получилась обращённой и к Фёдору Петровичу тоже, который о чём-то недолго поразмышлял, глядя на Глухова, и сказал:

– Вообще-то, у нас сейчас плохо с деньгами – машину покупаем. Ну да ладно, пойдём, там поговорим. Раиса Васильевна хотела кое-что из вещей взять. Так, Рая?

– Пойдёмте, пойдёмте, – сказала Рая, – я уже вижу, как вам выпить не терпится.

И они, не торопясь, по-семейному как-то, пошли все трое на квартиру за оставшимися вещами, хотя, что там ещё могло оставаться после Раискиных набегов, Глухов не представлял, но шёл, потому что нужны были деньги и, действительно, хотелось выпить. Только странное это шествие все меньше и меньше нравилось Анатолию Ивановичу.

«Под конвоем ведут, – подумал он. – Что же им ещё от меня нужно? А может и правда, он по-простому решил, по-окопному?»

По дороге Фёдор Петрович купил бутылку коньяка и полкило конфет «Мишка на севере». Уже у самого дома Глухов всё же не выдержал и строго спросил:

– А вы, что же, воевали?

– Было дело.

– И где же?

– Сталинград, Белоруссия, Прибалтика, – чётко ответил Фёдор Петрович. – Полной мерой хлебнули.

– Вот этого не надо, – перебил его Глухов. – А по какой части?

– По пехотной, по какой же ещё, – сказал Фёдор Петрович. – Тогда выбора не было... А ты что же, допрос с меня снимаешь? Или как?

– Может, и допрос. А вы что разволновались-то? – Чёрт уже какой-то в Глухове зашевелился и толкал его коленкой под ложечку. – Для вас это должно быть дело привычное – следствия там всякие, ну и допрашивать нашего брата тоже научились, наверное. А я так, интересуюсь просто...

А про себя подумал: «Были же случаи, ёк-макарёк, всю войну – и не единой царапины. Это в пехоте-то! Были, были... Один, по-моему, конюхом служил, другой в интендантской роте... А у меня-то! Одно ранение всего, ну, контузия... А может, он не с начала воевал-то, а? Помоложе просто. А я его уже сразу и в интенданты записал... Вот, ё...».

С коньяком устроились на кухне. Пока Раиса искала чемодан и снимала тюлевые шторы, они глухо говорили за прикрытой дверью и курили так, что дым лез в комнату из всех щелей. Выпивка стояла на столе, и Анатолий Иванович про деньги уже не помнил.

– ... Да, – говорил Фёдор Петрович, – награды нынче ценность потеряли, побрякушки, не более того. Зато к ветеранам, вот к таким, как мы, отношение в корне переменилось. Опомнились наконец-то. Считаю – правильно, по-государственному.

– Не ветераны, – язык у Глухова уже заплетался, – а эти... участники ВОВ...

– А что ж, и участники. Что же стесняться-то? Заслужили с тобой, обязательно.

– Как это вы… сказали? – Анатолий Иванович налил в стаканы нетвёрдой рукой и в упор уставился на Фёдора Петровича. – Как вы сказали – стесняться? Заслужили? У-дстве-рение, что ли? – Глухов задумался. – А-а, без очереди же…ну да…А не стыдно?

Он положил руку на плечо Фёдору Петровичу и посмотрел на него с непонятной ласковостью.

– Не стыдно, а?

Фёдор Петрович, покосившись на эту огромную багровую руку, медленно выпил коньяк и даже закусил конфеткой, но вкуса не почувствовал.

– Я вот выправил себе, пользуюсь регулярно… Да что ты прицепился-то ко мне?! Лезет и лезет! Руки еще тянет. Раиса!

– А то! – вдруг заорал Глухов. – А то!..

Слова отчего-то застряли у него в горле, и он смотрел на Фёдора Петровича дикими выкаченными глазами, лицо его приобрело густой синюшный оттенок, и в кулаке слабо хрупнул гранёный стакан с коньяком.

– Раиса! – закричал Фёдор Петрович. – Иди сюда, Анатолию плохо!

– Мне?! – зарычал Глухов. – Задавлю, падлы! За колбасу продались?! Сталина забыли?! Так я вам напомню! В штрафную захотели!? А-а-а, б!..

Он замахнулся огрызком стакана, как гранатой. По пальцам и дальше к локтю текло что-то маслянистое, оранжево-жёлтое – то ли коньяк, то ли кровь. Фёдор Петрович отшатнулся и попытался вскочить, прикрывая голову руками. В этот момент в кухню ворвалась Раиса, обхватила Глухова поперёк костлявой спины, приподняла и крепко встряхнула.

– Ишь ты, чёрт контуженный, разбушевался! Я на тебя управу быстро найду. Какой, смотри-ка! К тебе, дураку, раз в жизни приличный человек в гости пришёл, а ты тут спектакли разыгрываешь!

Раиса бросила Глухова на стул, и он обмяк сразу, опустил голову и плечи, и размазывая по щекам кровь и слезы, глухо забубнил что-то, совершенно неразборчивое и непонятное: про лес, про болото, про какого-то «рыжего фрица», – огромные руки его двигались, как клешни у обваренного рака, как будто он давил кого-то, мял и рвал на части.

– Лесные сказки начались, – сказала Раиса. – Он ведь ухитрился ещё и с лесными братьями повоевать, аж до пятьдесят второго года. Теперь, пока всех не передушит, не успокоится.

Постепенно Глухов затих, перестал дёргаться и скрипеть зубами, а только приговаривал плачущим голосом:

– Ничего... ничего не понимаю...

– Готов, воин, – вздохнула Раиса и победно посмотрела на Фёдора Петровича. Вдвоём они взяли обвисшего Глухова под руки и поволокли в комнату на кровать.

– Дурак пьяный, – говорил Фёдор Петрович, оттирая с костюма пятна сукровицы. – Просто законченный алкаш. А мы всё церемонимся! Как ты жила с ним, Рая?

– Так и жила. Он по лесам бандитов ловил, а я сидела и ждала. Все уже вернулись, а...

– Так уж и ждала, Рая?

– Ждала! Ждала! На вот, посмотри лучше, – она вынула из ящика стола затрёпанную женскую сумочку.

– Ага, – сказал Фёдор Петрович, – самое главное.

Он достал из сумочки медаль «За отвагу», стёртую, с засаленной ленточкой и вмятиной от пули.

– Ого! Ему крупно повезло! Смотри-ка!

– Да видела сто раз. Добра такого. Лучше б его там убило, окаянного.

Фёдор Петрович снова покопался в сумочке, потом подержал на вытянутой ладони «Красное Знамя», горевшее чистой алой эмалью, и вытряхнул остальное на стол.

– А вот она и «Слава»... Ай-яй-яй, – вдруг запричитал он, – почти новенький, а булавочки нету! Ка-ак неаккуратно!

– Ну-ну, разложился, – сказала Раиса. – Бери сейчас, что надо, трезвый ни за что не отдаст. Но если узнает...

– Ты что, с ума сошла, – разглядывая орден, ответил Фёдор Петрович, – зачем нам... такое некрасивое дело, нужно по-хорошему, подойти по-человечески, поговорить...

– Да не трогай ты его! Видишь, он...

– Нет, нет...

Фёдор Петрович подставил к кровати стул и уселся на него верхом, держа «Славу» в кулаке.

– Анатолий Иваныч, – толкнул он Глухова, – проснись, дело есть.

Глухов лежал тихий и неподвижный, потом забормотал, закашлял. Оторвал голову от подушки и снова уронил.

Раиса тем временем вынесла в прихожку чемодан с занавесками и вернулась обратно.

– Ну что там ещё, Федя?

– Да спит, мерзавец, как убитый. Он что, от стакана водки падает?

– А я почём знаю! Немерянную пил, но раньше с бутылки ходил, как огурчик. Осколок в нём, правда. Ну, с войны. Да и хватит, наверно, отпил своё.

Фёдор Петрович, теряя терпение, долго тряс и толкал Глухова, пока тот не повернул к нему бледное морщинистое лицо с ввалившимися глазами и ртом.

– А... – сказал он.

– Ты насчёт денег спрашивал, – начал Фёдор Петрович. – Так, может, договоримся, орденок тут у тебя валяется, а?

Анатолий Иванович бессмысленно посмотрел на него, пошевелил порезанными пальцами и прикрыл глаза. Дышалось Глухову тяжело, на подушку текла розовая слюна.

Тогда Фёдор Петрович помахал «Славой» в воздухе, под самым носом у Глухова, и сказал:

– Ну так что, давай? Я не обижу.

– А... – снова выдавил Анатолий Иванович.

– Ну вот, – весело крикнул Фёдор Петрович и так же победно посмотрел на Раису. – А ты говорила! Пятьдесят даю, – он повернулся к Глухову, – понял? Пять-де-сят!

А Глухов всё хрипел и хрипел, лёжа животом вниз на узкой кровати, протянув вдоль высохшего плоского тела длинные некрасивые руки, которые, казалось, достались ему от кого-то другого, большого и сильного.

– Ха... – выдыхал он, – ха...

Раиса, стоя перед зеркалом, обновляла ярко-красную помаду на губах, разглядывала запудренные морщины у глаз и особенно некрасивые и резкие у рта, портившие добродушную припухлость губ и придававшие лицу чужое и даже жестокое выражение. Фёдор Петрович положил на стол две двадцатипятирублёвые бумажки, а орден сунул в карман.

– Теперь ты у меня полный кавалер, – сказала Раиса, глядя в туманное зеркальное стекло. – Так это у вас, кажется, называется?

Когда они ушли, Глухов всё же приподнялся и даже повернулся на бок, но на большее сил не хватило. Тогда он стиснул зубы и кулаки, выгнулся всем телом, словно кто-то стеснял его свободу, душил, не давал вдохнуть полной грудью, и, булькая горлом, прошептал своё последнее:

– ры...жий...фр...

Глухова хватились на работе через три дня. Бригадир Данилыч с Васькой Поршняковым, всегдашним глуховским собутыльником, взломали дверь. Патологоанатом районной больницы в графе «причина смерти» записал всего две строчки: «лёгочное кровотечение в результате проникающего ранения грудной полости, полученного на фронтах ВОВ», а участковый, пролистав замусоленный военный билет с пожелтевшей фотографией молодого Глухова в военной гимнастерке, высыпал из старой женской сумочки глуховские награды и сказал, строго глянув на понятых:

– Арти-ист! Боевой орден пропил. Совсем стыд и совесть потеряли.

Раиса Шиллимат

ДОЛГИ НОЧИ – БЕЛЫ СНЕ́ГИ

Енисей стал в октябре. Уже месяц пуржило не переставая, но с переменной силой: лёгкая, почти ласковая позёмка переходила в игривую метелицу, потом сменялась беспорядочно-озлобленным штормом со снежной сечкой, вынуждая прикрывать глаза рукой, и тогда поле зрения – не больше метра. Ночь так стремительно наступала, что скоро вытеснила день, совсем. В тундре надолго поселилась неразлучная парочка – темень и тишина. Лишь поселковые улицы разрывали темноту цепочками окон заснеженных домиков и редких уличных фонарей. Тишину же время от времени нарушала жутковатая игра ветра на струнах проводов, тянущихся под стрехи крыш, редкий лай собак, тявканье песцов на звероферме за посёлком, и отдалённый плач волков. Ещё реже – утробный гудок ледокола, пробивающегося сквозь льды. Казалось, пурге не будет конца, но управа находилась и на эту не в меру ветреную особу – повелителем всего и вся был мороз. Надоедала властителю кутерьма – утихомиривал одним ударом. И тогда...

Тогда, рассекая чёрную бездну над головой, над заснеженной тундрой змеилась и исчезала в бесконечности рыхлая лыжня мифического ненца Иомбо. Порою можно было увидеть и вечного шамана Урера, который однажды докамлался до того, что вознёсся на небо, вот с тех пор по нему и гуляет. Когда шаман камлает в полном трансе, его бубен проплывает во всей красе – ярко-жёлтый, в тёмных пятнах, когда же дело идёт туго, виден только краешек священного инструмента.

Точно определить, сколько миновало суток, можно было лишь по количеству сорванных листков календаря на стене, такого же двуцветного, как и пейзаж за окном. Этот чёрно-белый аскетизм заполнял всё вокруг, и когда плотность его массы, помноженной на силу крепчающего мороза, достигала критической точки, Гигантский Бык Севера, почивавший во льдах Студёного моря, получал в бок пинок такой силы, что просыпался. Хозяин Севера неспешно, как и подобает духу здешних мест, поворачивал свою величественную морду на юг и глубоко вздыхал после сна, одушевляя небо. И оно, до сего момента стылое и статичное, в одночасье оживало. Небосвод светился радостью, которая то рвалась вверх,

то потоками струилась вниз, почти касалась земли, плескалась и пульсировала, разражаясь нерукотворным фейерверком. Всполохи нежнейших цветов, непрестанно переливающихся один в другой, то закручивались огромной спиралью величиной в полнеба, то выстреливали прозрачными розовыми стрелами, разлетающимися в разные стороны, то вдруг стелились дымкой нежно-голубых шёлковых шарфов и тут же растворялись в темноте, вытесненные невесть откуда взявшимися густыми оборками разноцветной балетной пачки. Ни один создаваемый небом рисунок не повторялся и не застывал даже на мгновенье. Восторг и молчаливое ликование! Праздник глаза и души! Эту феерию можно наблюдать бесконечно – не наскучит.

И я любовалась этим удивительным, невиданным мною доселе явлением при любой возможности. Однажды во время очередного небесного спектакля почувствовала лёгкий толчок в грудь. С досадой опускаю голову, поймав себя на мысли, что шея сильно затекла. Вижу перед собой чёрного пса, а я ведь и не заметила, когда он подошёл. Его склонённая набок голова вровень с моим плечом, вокруг носа иней, умные глаза, кажется, не просто внимательно наблюдают за мной, но заглядывают прямо в душу. Здешние собаки как на подбор – огромные и на редкость добродушные существа. Уж не знаю, почему этот красавец решил оставить свои важные дела, по которым куда-то шёл. Неужели только ради того, чтобы разделить мою безудержную радость? Я думаю, что как коренной житель он не находил в северном сиянии ничего особенного и не мог понять, отчего эта пришлая, всего пару месяцев назад появившаяся в посёлке (ясно же, что ненормальная), напялила на себя сто одёжек и стоит с запрокинутой головой одна посреди улицы. А может, его внимание привлекли мои ноги, время от времени выстукивающие ритмы культового Танца Отмерзающих Ног?

Сидеть ему, по всей видимости, надоело, вот он и решил положить конец бесполезному времяпровождению. Пёс придвинулся чуть ближе и осторожно тронул лапой моё колено: хватит, мол, в небо глаза пялить, не видишь, что ли – я это.

– Чего тебе? Отстань! – я отошла от него и опять настроилась на созерцание.

Не тут-то было. Уходить он не собирался – снова сел передо мной и снова шаркнул когтями по шубе. Я отвернулась, но псина не отставала.

– Ты чей? Есть, что ли, хочешь? Ну, так и быть, пойдём, – пригласила я нового знакомца к себе. – А ведь и правда, пора домой, уже зуб на зуб не попадает.

Пёс не заставил себя долго упрашивать. В наш дощатый домик, стоящий на отшибе, вошёл без всякой собачьей суеты. Едва перешагнув порог, уселся. Чтобы закрыть дверь, пришлось ногой подвинуть его роскошный хвост. В маленькой прихожей, в которой и без того негде было повернуться, теперь стало очень тесно.

Дома была только ярко-рыжая шотландская овчарка Гера. Она лежала в дверном проёме спальни, ждала меня, и когда я в клубах пара ввалилась в комнату вместе с гостем, она удивлённо подняла голову, но против обыкновения не двинулась с места.

Гера вообще не изъявляла никакого желания сопровождать меня и разделять мои восторги от лицедейства природы. Выходила на улицу только по нужде, когда совсем было невтерпёж. Подушечки её лап, непривычные к таймырским температурам, обжигало морозом так, что она, едва успев справить нужду, падала на снег, как подкошенная, поджав лапы под себя. После такой прогулки она ещё некоторое время нервно выкусывала заледенелые комочки снега, набившиеся между её тонкими пальцами, а потом ещё долго и старательно зализывала лапы. Местным же собакам было всё нипочём, они спали у своих будок (у кого таковые имелись) прямо на улице, полностью занесённые снегом. Их густая и длинная шерсть была даже не шерстью, а пухом, который хозяева вычёсывали и вязали из него шарфы и шапки.

Против ожидания, животные, увидев друг друга, не стали вилять хвостами и обнюхиваться. Я сразу же поставила перед гостем чашку с едой, но он с укором глянул мне в глаза: нашла, де, чем угостить. И отвернулся.

– Ну, знаешь ли, чем богаты, тем и рады, тоже мне, гурман.

Чашку пришлось убрать. Пёс невозмутимо лёг у дверей, положив на лапы угольно-чёрную добродушную морду, с обвисшими лоскутьями губ. Обе собаки молча, без явного проявления каких бы то ни было эмоций, разглядывали друг друга. Потом гость решил, что пора и честь знать, встал и ушёл, оставив на полу большое талое пятно.

Спрашивается, зачем приходил?

Захаживал он к нам с тех пор довольно часто. Аудиенции всегда проходили одинаково: он скрёбся в дверь, его впускали. По квартире не ходил, ничего не вынюхивал, к Гере приблизиться не пытался, полежав какое-то время у порога, с достоинством удалялся, играючи толкнув лапой сначала входную, потом коридорную двери. Наша красотка тоже не стремилась ближе познакомиться, но каждый раз мы были свидетелями, как обе собаки на какое-то мгновение застывали, глядя в глаза друг другу. Эти визиты стали

предметом семейных шуток, вот, дескать, платоническая любовь аборигена к заморской леди: а наша-то какова, марку держит, как и подобает благородной даме!

Полярная ночь – не фунт изюма, с гипотетического утра до такого же вечера не покидало ощущение пребывания в полудрёме, а кожа на лице казалась натянутой так, словно её на затылке узлом завязали. Хотелось крепко зажмуриться, протереть глаза, а потом основательно проморгаться. Пробовала, легче от этого не становилось.

Заполярные будни, тем не менее, шли своим чередом. Иногда по выходным всем семейством ходили в клуб – в кино. По будням маршрут один и тот же: у детей дом – школа – дом, у родителей дом – работа – дом.

С вечера по местному радио предупредили: завтра ожидается сильная пурга, детей в школу не отправлять. Ну что ж, не первый и не последний раз.

Утро начинается с мысленных сетований – чёрт возьми, где моё беззаботное детство? Детвора сладко посапывает в кроватях, муж тоже спит – у него сегодня вторая смена. А я, горемычная, едва вылезши из тёплой постели, должна тащиться неизвестно куда. Точнее сказать, очень даже известно – куда. И это в метель, когда хороший хозяин собаку на улицу не выгонит...

Утешившись мыслью, что, де, кто рано встаёт, тому бог даёт, одеваюсь и выхожу в коридор. Открыть входную дверь из-за напора ветра не удаётся. Налегаю на неё всем корпусом, чуть приоткрываю и протискиваюсь в образовавшуюся щель на свет божий (опять вопрос, на свет ли?). Дверь за моей спиной, тупо хлопнув, тут же возвращается в объятия родного проёма. Попробуй теперь открой!

Матерь божия, что творится! Меня с моим цыплячьим весом и ростом, который остряки называют «метр с шапкой», немилосердная тётушка Пурга мгновенно и не очень нежно подхватывает под пушисты рукава и сносит с крыльца. Подошвы пим[1], подшитые простым войлоком (вот ведь халтурщики – камус[2] экономили!), предательски скользят по рёбрам ступенек, не задерживаясь ни на одной. Хрясь! Приземлилась – на спину, затылком на ступеньку. На какое-то время от неожиданности и боли захватило дух. Придя в себя, нащупываю нижнюю ступеньку, вцепляюсь в перильце и – ура, встаю! Вперёд, полярница новоявленная! Иду, вернее сказать, бреду....

---

1 Пимы – сапоги из оленьей кожи мехом наружу.

2 Камус – часть шкуры с жёсткой шерстью, снятой с нижней части ноги оленя.

Все эти борения сопровождаются мысленными проклятиями того дня и часа, когда не в чью другую, а именно в мою бедовую головушку пришла идея поработать в Заполярье. И вот, добилась – работаю... на всю катушку... особенно сейчас, в поте лица пытаясь пробиться сквозь ветер. А он, зверина, остервенело рвёт подол шубы. Кажется, нижняя пуговица выскочила из петли – шуба увеличила парусность. Хочу застегнуться, наклоняюсь... этого только не хватало – пуговицы нет на месте, оторвалась. Не сумев удержаться на ногах, падаю от резкого порыва ветра, который сбивает меня с ног и чёрной растрёпанной требухой тащит по белому полю. Колючий снег лупит по глазам, не видно ни зги, ориентация потеряна. Но ведь это же улица, где-то совсем рядом должны быть спасительные дома... вот что-то твёрдое ударило в бок, хватаюсь за это что-то, но по закону подлости толстая варежка соскальзывает с руки. Успеваю сообразить: лечу куда-то вниз, кубарем...

Кажется, прибыла «в пункт назначения». Хотелось бы ещё знать – куда. Скорее всего, угодила в глубокий овраг, который за посёлком тянется к Енисею. Значит я, одурев от падения с крыльца, пошла не в посёлок, а в тундру. Встаю: в одной варежке, под расстёгнутой шубой полно снега.

К моему удивлению, ветер здесь не такой сильный, идти можно, от этого и мороз чуть слабее. Первым делом отряхнуть снег со свитера, пока тот не намок, застегнуться на оставшиеся две пуговицы, собраться с мыслями и идти, куда глаза глядят... А некуда им, глазам, глядеть – белая кутерьма не даёт. Пытаюсь подняться по склону: раз, другой, третий... И раз, и другой, и третий сползаю. Наконец-то понимаю – затея бесполезная, ничего другого не остаётся, как идти вдоль оврага, тогда, может быть, выйду к Енисею. Мысль кажется спасительной, но через секунду она повергает меня в ужас – посёлок расположен на высоком берегу, на том самом, откуда меня только что сдуло, и на который непонятно как взбираться. Увязая в снегу, медленно, но верно двигаюсь вперёд, пока не упираюсь в сугроб высотой примерно в мой рост. Из него едва видны концы кривых и жидких прутиков. Ох, как редко здесь можно встретить деревце, однако же, вот оно, стоит, родимое... Сил нет, ноги подкашиваются. Сажусь, прислоняюсь к худосочному стволику, охватывает ужас: обезумевшими оленями в загоне мечутся мысли, сталкиваясь друг с другом. Становится жалко не столько себя, сколько своих детей, но плакать нельзя: если ресницы склеит мороз, то открыть глаза уже не хватит сил. Чувствую себя игрушкой в руках озлобившейся хозяйки-стихии, готовой крушить всё и вся. Что может сделать против природы беспомощный человек, само-

надеянно возомнивший себя её венцом? Вот она я – венец, которому (господи, сохрани и помилуй, каламбур-то чёрный!) приходит конец... Стоп, без паники! Надо передохнуть и успокоиться.

Тихо и тепло. Слабым эхом доносятся слова из сказки: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая?» Что за напасть? Слышу скрип полозьев (кажется, или в самом деле?) и чьи-то шаги. Оглядываюсь по сторонам, но вместо красавца Деда Мороза в роскошной шубе и с посохом, вижу тёмные очертания нескольких фигур, судя по росту, детских. Что они здесь делают? Один из них подходит ко мне так близко, что я хорошо различаю черты его бледного, совсем недетского лица и цвет светло-голубых, почти белых глаз. Маленький человек пристально смотрит на меня, шевелит губами, звука не слышу, но что он говорит, понимаю: «Мы не дети. Но дети у нас тоже есть».

Ну и чудеса! Откровенно рассматриваю незнакомцев: малицы[1] из пушистых шкур, на ногах бокари[2] из нерпы. Молча удивляюсь: «А росточком-то вы, ребята, совсем не удались!». «Мир силён многообразием, – следует несколько возмущённый ответ, – ты же не будешь нам сейчас доказывать, что высокий рост важнее ума? Или смекалки? Или силы и ловкости?». «Не буду», – покорно соглашаюсь я. Малорослая ватага помогает мне подняться и сесть в стоящие тут же нарты, запряжённые длинношёрстными животными, похожими на больших собак. Мы отбываем туда, не знаю куда.

Теперь вместо заснеженной тундры вокруг, сверху и по бокам нас окружают нависающие или торчащие снизу ледяные наплывы, которые кажутся причудливыми, стоящими на страже чудовищами. Они коротко врываются в луч света факела, что в руках одного из мужчин, и тут же уплывают снова во тьму. Фантасмагория ледового царства сменяется сонным покоем: что-то типа огромного тёплого и светлого зала, причём непонятно откуда исходит свет. Стены и потолок отливают голубизной. Наверху хорошо видны неравномерные, причудливо вьющиеся широкие жёлтые и серебристые полоски. На стенах – далеко и беспорядочно разбросанные зелёные, красные и сиреневые пятна-разводы, от них тянутся прожилки, сплетающиеся в сложный орнамент. Зал напоминает осенний луг в старой деревне: вглубь тянутся серые холмики, словно стога сена. Одно существенное отличие: на полу не стерня, а мозаика из цветных камней.

---

1 Малица – верхняя одежда, как правило, из оленьих шкур, мехом внутрь, иногда из двух слоёв – мехом внутрь и наружу.

2 Бокари – мужская обувь, мехом наружу, как правило, из камуса оленя.

Мы проезжаем к центру зала и останавливаемся возле самого большого холмика, который оказывается хижиной. Наклоняюсь. Вхожу. На большой шкуре белого медведя сидит, скрестив ноги, старушонка. Перед ней курится очаг. Повинуясь её царственному жесту, сажусь напротив. Она протягивает мне полоску копчёного мяса и кружку с маслянистой жидкостью.

– Нерпичий жир, – говорит она, – нужно выпить.

Пока грызу жестковатое мясо и с внутренним содроганием выпиваю жир (нельзя обидеть хозяйку), женщина говорит:

– Мы народ нижнего мира. В нашем мире много племён. Эта пещера – стойбище моего племени. Я – старейшина, мать и властительница. Все пещеры связаны между собой ходами. Население каждого стойбища несёт свою вахту. Наше племя ответственно за драгоценные камни, соседнее – за рудные залежи, а где-то далеко есть племена, которые охраняют нефтяные озёра и сердце мира – подземный огонь. Так было всегда. Последние столетия нам всё труднее выполнять свою работу. Неразумные люди среднего мира, откуда пришла ты, расхищают наши богатства. Вы умеете только брать от природы. Вы не бережёте её. Не одумаетесь – погибнете сами и погубите нас.

Она вздыхает, потом продолжает:

– Редко кто из людей видит нас. Далеко не каждый шаман имеет доступ в наш мир. Но ты, обычная женщина – здесь. Хочешь знать почему? Посмотри туда!

Поворачиваюсь в сторону, куда старуха указывает пальцем. Догадываюсь, что это так называемый «чистый угол» – место в чуме, где хранятся наиболее ценные вещи. К своему удивлению, на плитке камня цвета прозрачной бирюзы вижу несколько фигурок, очень похожих на те, что стоят на моём столе. Нет, они не просто похожи, нет сомнения – все сработаны одним ваятелем. Как-то осенью мы всем семейством пошли в тундру за грибами, и я нашла на вершине дальней сопки три странных фигурки из тёплого камня. Очень уж привлекли они меня, я тогда обошла весь посёлок с вопросом, что это могло быть, но ни один старожил не смог дать вразумительного ответа.

– Это святыни. Злой шаман похитил у нас три наших божества. Мы долго искали их, потом нашли. У тебя. Ты вернёшь их нам. Это очень важно. Моё время в нижнем мире подходит к концу. Скоро я отбуду в другой мир – верхний. Я уйду по вертикальному тоннелю. Моё племя уже приступило к его строительству. Но народ не может остаться без родоначальницы – матери. Иначе он перестанет быть народом. Моё место займёт другая женщина. Мать полу-

чает силу и права правления, а её народ – благоденствие, но только в том случае, если все божества живут в её доме. Ты ведь тоже мать, ты поймёшь меня.

Я обещала.

По возвращении домой мне рассказали, что пурга лютовала двое суток, и как только стихло, начались поиски. Странное дело – я мирно спала в овраге, около карликового деревца, которое было окружено стеной из плотно спрессованного снега. Нашли меня достаточно быстро: по призывному лаю большого чёрного пса, который, видимо, всё это время согревал меня своим теплом. Когда люди подошли совсем близко, пёс бросился прочь, в тундру. Только его и видели. В наш дом он больше не приходил.

Трудно сказать, кто сильнее радовался моему возвращению, дети или Гера. Собака всё норовила лизнуть меня в лицо и поскуливала в ухо так, словно что-то рассказывала. Обещание, данное маленьким человечкам, я выполнила. Пусть будет мир их дому, да и нашему тоже. По весне я отнесла фигурки в тундру, туда, где они были найдены.

Долгие годы это удивительное путешествие было моей тайной. Теперь я открываю её, хотите – верьте, хотите – нет. В шкатулке, которая спрятана в ящике моего письменного стола, лежат варежки, украшенные вовсе не бисером, а камешками со сверкающими гранями, и ещё пуговица филигранной работы из жёлтого металла. Та самая, которую я обнаружила на поле своей шубы, на месте старой, оторвавшейся. Эти вещи – свидетели моего спасения, для меня они равноценны святыням, а святыни не выставляют на всеобщее обозрение. Если уйти от громких слов, они – память о необыкновенном крае, который вот уже более тридцати лет приходит ко мне во снах и воспоминаниях.

Совсем недавно мир облетела сенсационная новость: в тундре, недалеко от тех (когда-то наших) мест, обнаружили в земле огромное колодцеобразное отверстие с гладкими стенками. Дно просмотреть не удаётся, происхождение неизвестно. Учёные ломают голову – что да как. И только один человек знает, что на самом деле произошло – это я.

ДВЕ ГРАЦИИ

Вадиму Молодому

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Мф, 6:21

Потерять не потерял, а найти – не найду...
П. Бажов. Каменный цветок

– Дедушка, ну дедушка же! А как же сказка?

– Катя, я не могу сейчас... Я заканчиваю книгу. Попроси маму рассказать тебе что-нибудь.

– Маму?! Да она с бабушкой кино смотрит, говорит: глупости, большая уже, обойдешься и без сказки.

– Ну, попроси Бориску... Он много сказок знает.

– Борька-то? Он знает только старые, а я хочу новую... А вот и он сам!

– Дедушка, я тоже хочу сказку! Новую. Пострашнее!

– Ну, что за разбойники! Оторвали-таки от работы... Идемте на веранду. Ночь-то какая! Так и пахнет сказками.

– Дедушка, я к тебе на колени, можно?

– Можно. Ну, уселась? Так что же вам рассказать?

– Что-нибудь волшебное... про красавицу, сокровища... и чур, с хорошим концом!

– Вот еще! Дедушка, не слушай ее! Ей бы все только про миленьких да красивеньких, да чтоб никаких неприятностей...

– Деда, но ты же меня понимаешь, да? Ведь на то и волшебство, чтоб никаких неприятностей не было!

– А ну-ка, внучка, припомни хоть одну сказку, где никаких бед не случалось?

– Я так сразу не могу... Надо подумать...

– Глупая ты, Катька! Это ж будет скучно!

– А что хорошего в том, что люди страдают?

– Катюша, но ведь Боря прав. Если все хорошо – читать неинтересно! Во всяком случае, в сказке.

– Ну ладно, пусть будет ма-а-аленькая неприятность, с потом – все хорошо!

– Вечно девчонки все портят! Нет уж, пусть будет побольше злодейства! И страха!

– Нет, не побольше! А не то зареву!

– Дедушка, ну скажи ей!

– Я сюда первая пришла! Мне и заказывать!

– Ладно, ладно, успокойтесь! Кажется, я знаю, как угодить обоим. Я расскажу вам сказку, которую каждый может понять по-своему.

– А красавица там есть?

– Есть. Еще какая!

– А злодей есть?

– Есть. Самый главный.

– А сокровища?

– Катька! Не занудствуй!

– Помолчите оба, одну минутку... послушайте ночь. Ветер вздыхает... трава шепчет что-то... сверчок песню поет...

– О чем?

– О том, как хорошо жить без забот... Ну, вот ваша сказка, слушайте. Давным-давно в южной стране – скажем, в Италии, – жил-был бедный мастер по имени Даниэль. Был он так беден, что порой ему не хватало денег на хлеб...

– Ну вот, начинается! Уже неприятности!

– Катька, молчи!

– Даниэль вытесывал из камня скульптурные надгробия, и славно вытесывал, но тратил на работу гораздо больше времени, чем другие мастера, и потому имел меньше денег.

– А почему он так медленно работал?

– Да все совершенства в работе добивался... Не мог иначе. Подтачивал, подтесывал, шлифовал... Порой заказчику надоедало ждать, он отдавал работу другому, и Даниэль вовсе оставался без гроша.

– Бедненький!

– Жена его вечно бранила, дети все время проводили на улице, грубили, бездельничали и даже воровали – сами понимаете, дома мастеру говорить ни с кем не хотелось. Напарника у него не было, поэтому каждый день, работая в тесной, душной мастерской, Даниэль разговаривал сам с собой. А о чем можно говорить с собой? Только жаловаться. Вот он и жаловался... и мечтал разбогатеть.

– Дедушка, он ведь разбогатеет, да? Хватит уже неприятностей!

– Да, разбогатеет... На то и сказка. И вот, подошел день, когда мастерскую Даниэля должны были продать за долги. Убитый горем скульптор сидел и смотрел на свои творения – те, что отвергли заказчики. Вдруг дверь отворилась, и вошел богато одетый господин. Походил, посмотрел скульптуры, помолчал. Потом произнес: «Мне нравятся твои работы, мастер Даниэль. Только не нравится, что все лица такие угрюмые». «Да как же иначе, синьор? – воскликнул Даниэль. – Это ведь надгробия! Об умерших надобно скорбеть». «Ну, это смотря о ком, – отвечал господин. – Кое для кого смерть в радость».

– Ой, страшно! Дедушка, пусть он поскорее уйдет!

– Катька, получишь у меня! Не мешай слушать!

– «Я сделаю тебе заказ, – сказал посетитель, – и заплачу вперед. Если мне понравится скульптура, ты получишь еще столько же. А если не понравится, ты должен будешь разбить ее на моих глазах». Надо ли говорить, как Даниэлю нужны были деньги! И, хотя условия заказа повергли его в смятение, он согласился. Незнакомец заказал мраморную статую ангела. «Ангел должен улыбаться, – поставил он условие. – Улыбаться надменно и дерзко! Вот так – посмотри на меня!» Мастер взглянул – и обмер: он понял, от кого получил заказ.

– Ой, дедушка, только не произноси! Я боюсь!

– Успокойся, Катюша. Это же только сказка! Так вот... Даниэля сковал ужас. Забыв о своей беде, он хотел было отказаться, но господин предостерег его. «Я приду завтра, – с усмешкой сказал он. – У тебя будет время подумать. А это поможет тебе принять решение». И он положил на стол тяжелый мешок с золотом. Затем взял трость и вышел, не прощаясь.

– Что, и много золота там было?

– Много... Очень много. Никогда никому из скульпторов столько не платили. В том-то и состояла подлость! Величайшее искушение для художника – работать всю жизнь ради искусства, не зависеть от заказов и не думать о куске хлеба – лежало на столе...Мастер не спал всю ночь. При свете свечи он сидел у стола и смотрел на деньги. Ему предстояло сделать самый трудный выбор в жизни.

– Почему самый трудный? Ведь он мог честно выполнить заказ – и потом честно жить на эти деньги!

– Потому, Боренька, что тот, кого я не хочу поминать на ночь, поставил Даниэлю невыполнимое условие. Ангел не может улыбаться надменно и дерзко – это кощунственное искажение образа. Значит, мастеру нужно было или надругаться над верой в Бога,

или сотворить скульптуру истинного ангела с добрым и кротким лицом – лишь для того, чтобы разбить ее своими же руками.

– Значит, он отказался?

– Он хотел отказаться... Но вид огромного богатства смутил его разум. К тому же это были неправедные деньги, и внушали нечистые мысли... В общем, перед рассветом Даниэль придумал, как перехитрить врага.

– И забрать деньги, да?

– Да. Утром пришел страшный заказчик, и мастер согласился сделать изваяние. Даниэль попросил дать ему год сроку. В тот же день в мастерскую доставили глыбу прекраснейшего белого мрамора, были наняты два подмастерья, уплачены все счета и долги. Работа началась.

– Дедушка, а как он перехитрил...ну, этого...?

– А вот как. Знаете ли вы, что самый главный злодей тоже был когда-то ангелом? Его иногда так и называют: падший ангел. Он был низвергнут с небес за то, что восстал против Бога.

– И у него тоже есть крылья?

– Да. Только не прекрасные, могучие белые крылья, а сморщенные, перепончатые, черные – как у летучей мыши.

– Я понял! Даниэль изваял самого...

– Да, Боренька. Замысел его был прост: создать скульптуру *падшего* ангела. Условия соблюдены: надменная, гадкая улыбка, крылья... А прикажет заказчик уничтожить изваяние – не жалко будет!

– Здорово! Молодец Даниэль!

– Ура! Ну, теперь неприятностям конец?

– Э-э... Не совсем. Видишь ли, внучка, каждый, кто пытается обмануть хозяина всех мерзостей на земле, совершает ошибку. С этим господином шутки плохи.

– Дедушка, ну ты же обещал...

– Имей терпение! Даниэля изрядно смущало то, что заказчик купил мрамор белого цвета. Сами понимаете, *эта* статуя белой быть не могла! Не зная, как выйти из положения, мастер помолился и принялся за работу... и спустя какое-то время стал замечать, что благородный камень начинает темнеть. Чем явственнее проступали черты ненавистного лица, тем больше черноты появлялось в мраморе, и тем тяжелее становилось на сердце у мастера... В день окончания работы последняя белая прожилка исчезла.

– Ой, страшно...

– Оставшиеся до срока дни Даниэль места себе не находил. Он сам не понимал, отчего изнывает. Не спал, не ел, все глядел на статую... Но вот наконец пришел заказчик. Взглянул на свое изобра-

жение, побагровел. Затем обратил пылающие бешенством глаза на мастера и сказал: «Что ж, давай сочтемся! Работа сделана на совесть. Но не надейся понапрасну: ты получишь деньги, а не то, чего хотел! Я знаю: ты жаждешь разбить мое изображение – и в то же время страшишься уничтожить свое творение! Таковы все вы, жалкие ваятели... Нет вам покоя на земле! А за то, что обманул меня, ты дорого заплатишь». С этими словами злодей вынул и поставил на стол маленькие песочные часы, укрепленные внутри красивой рамки из узорчатого камня. «Как только истечет песок в этих часах, – сказал он, – я заберу у тебя то, что будет тебе дороже всего на свете. Не могу сказать, когда это случится, но я это сделаю. Ты заслужил свою кару: немногим удавалось так меня разгневать!» Даниэлю было очень страшно, но он воскликнул: «Забирай, но чур – только одно! Ведь я исправно выполнил работу». «Хорошо. Тебе и одного будет довольно», – сказал господин и ушел, оставив статую и еще один мешок с золотом в мастерской...

– Катька, перестань реветь! Только-только интересное началось! Вот увидишь, Даниэль его перехитрит!

– Не плачь, Катюша! Дальше действительно будет интересно.

– Дедушка, у меня есть песочные часы – там песок пять минут сыплется, я время засекала! А в гостиной у нас большие, так там всего только полчаса!

– Ты забыла, что это сказка... Часы те были колдовские. Во-первых, их нельзя было перевернуть: они вращались внутри рамки, как Ванька-встанька, всегда поворачиваясь наполненной песком колбой вверх. Во-вторых, их нельзя было разбить: в отчаянии Даниэль попробовал сделать это. Ну и, наконец, сколько ни смотрел на них несчастный, раздавленный горем мастер, заметить течения песка он не мог.

– Что, совсем?

– Совсем. Песок поначалу не сыпался вовсе, неведомо сколько... Даниэль глядел на часы весь первый день, оцепенев от страха. Следующие два или три дня – каждый час. Потом раз в день, потом еще реже, а вскоре и вовсе перестал. Другие мысли одолели.

– А где ж красавица? Или его жена стала красавицей, разбогатев?

– Солнышко мое, никогда и никоим образом не сделают деньги женщину красивой! Довольной – да, могут, счастливой – на мелочный, корыстный лад – тоже. Но красоту не купишь! Я говорю об истинной красоте, что художники ищут... Настоящая красота – не блеск, а сияние, свет. Не продается она, ее можно только в дар получить.

– От кого, дедушка?

– От Того же, от Кого талант людям дается... А талант – нелегкий дар, не всяк нести может. Случается, что и надорвется человек, а бывает – по пути бросит. Вот и мастеру нашему тяжко приходилось... Ну, слушайте дальше. Как получил Даниэль проклятые часы, стал думать, что же у него враг забрать захочет. Что человеку дороже всего?

– Жизнь?

– Да, если человек счастлив! Даниэль жизнью своей не дорожил: мало радости видел.

– Душа?

– Здесь наш мастер мог быть спокоен: он знал, что злодей не вправе забрать душу человека, если тот сам ее не продал. То же касается таланта – это часть души.

– Семья?

– Любимая семья – да, конечно... Но Даниэлю с семьей не повезло. Жена его, желчная, сварливая женщина, как только муж разбогател, ласститься к нему стала, все улыбалась да любезничала. Только для Даниэля это и вовсе невыносимо стало – лицемерия он не терпел. Он добился развода и оставил ей часть золота. Дети-бездельники тоже стали заискивать... Все говорили о любви и хотели денег. Ну, он им всем дал того, чего им надо было. Откупился и велел его больше не тревожить. А сам уехал подальше. Нашел место немноголюдное, купил прекрасный дом на утесе над морем. Думал покоем насладиться... И в покое понять, что же ему на свете дороже всего.

– Так ведь потеряет же!

– Нельзя потерять того, что не найдено. Не таков был Даниэль, чтобы сидеть и ждать неведомо чего. К тому же запало ему в голову: коли найдет – вовек не отдаст! Не знал, с кем связался...

– А песок уже начал сыпаться?

– Нет, не начал, но Даниэль не обольщался: он знал, что враг все помнит и следит за ним... Вскоре мастер понял, что место для спокойной жизни выбрал неудачно. Догадало его поселиться в Греции.

– А чем плохая страна?

– А тем, Боренька, что в Греции скульптору покоя не найти. Там воздух особенный. Море, камни, звезды на небе – все будоражит! Сила незримая от тамошней земли исходит... Руки сами работы ищут. Вот и стал Даниэль потихоньку заниматься любимым делом. Благо, в окрестностях гранит редкой красоты и розовый туф находили. Сначала мастер чашу для фонтана выточил – кто ви-

дел, все диву давались Потом скамьи затейливые в саду вытесал, столбы для ворот... Это отвлекало его, но радости не приносило.

– Почему, дедушка?

– Потому, что настоящий мастер всегда чего-то большего хочет. А после злополучной черной статуи Даниэлю ох как страшно было снова за ваяние приниматься – как отрезало ему умение... Руки просятся, а сердце не велит.

– А он что, так и жил один?

– Нет, почему один – он ведь был богат! За ним присматривали слуги, и садовник у него был, и повар, и экономка. Жилось им всем припеваючи, ибо Даниэль ни во что не вмешивался и ровно ничего не замечал. Иногда по целым дням в горах бродил или на море глядел. Бывали у него и друзья – хотя никто подолгу не гостил: тоска в том доме одолевала... Годы шли. Даниэлю минуло сорок, потом сорок пять. И стало его давить одиночество.

– Сейчас появится красавица!!!

– Ты угадала, кнопка! Красавица явилась летним утром. Ее звали Еленой, и была она поистине прекрасна!

– Принцесса?

– Почти! Дочь рыбака, племянница садовника. Девушка помогала отцу – развозила на стареньком велосипеде рыбу в корзине. Экономка Даниэля всегда покупала у нее свежий улов, и все в доме ее хорошо знали... кроме хозяина, так уж получилось. Сама Елена видела его два или три раза в саду, но Даниэль был столь погружен в свои мысли, что не глядел по сторонам... В общем, в одно волшебное утро они встретились.

– Ну, наконец-то!

– Да, внучка, ты дождалась-таки! Дождался и наш герой. Случилось это так. Утром садовник, дядя Елены, приболел, а тут как раз племянница рыбу привезла. Ну, он и попросил ее помочь – набрать фруктов для стола. Даниэль в тот день проснулся рано и отправился на край утеса, взглянуть на море. Тихое утро выдалось, волны едва плещут... Вдруг слышит – поет кто-то, голос, как у сирены, а песня-то какая! И счастье в ней, и тоска – совсем как у мастера на душе! Сначала думал – пригрезилось. Потом прислушался – да ведь это у него в саду птица райская распевает! Вскочил, пошел на голос... и увидел диво дивное. К дереву лесенка приставлена, на лесенке девушка стоит, гранаты срывает и поет. Левой рукой за лестницу держится, а правой за плодом тянется – а плод у нее над головой, сзади, на самом конце ветки... Она и изогнулась вся назад, вот-вот опрокинется... У мастера дух перехватило: отродясь не видел он такого стройного стана и такой гибкости. Деше-

вое холщовое платье облегало божественную фигуру, достойную императорского пурпура...

– И он влюбился!

– Ну, а как же было ему не влюбиться, Катюша? Скульпторы – народ к красоте чувствительный. Особо чувствительны они к грации. Как увидят особый изгиб, поворот, порыв, наклон головы... там мышца напряжена, здесь расслаблена, рука протянута, пальцы сведены, как лепестки бутона... – тут же за резец хватаются, спать и есть перестают. Сумасшедший народ эти ваятели, я знал одного такого. Все художники поклоняются красоте, но скульпторам подавай не просто красоту – грацию!

– А он ей говорит: «Здравствуй, девица-краса! Будь моей женой!» Так?

– Нет, Катюша. Даниэль вообще ничего не сказал, ибо только-только успел подхватить девушку, когда она опрокинулась. Поставил на землю, поглядел в лицо... и онемел.

– У нее были белокурые косы, алые губы и голубые глаза! Да?

– Нет! Елена родилась в Греции. Белокурых кос там не увидишь. Волосы у девушки были черные, как смоль, кожа смуглая, оливкового оттенка. Глаза бездонной глубины, брови – черный бархат... Совершенный овал лица, чуть выступающие скулы, точеный нос и губы непередаваемых очертаний. Прошла минута, и недоумение на лице девушки уступило место смущению. Она вспыхнула, закрыла лицо руками и убежала. Даниэль бросился за ней – не раздумывая, лишь затем, чтобы еще раз взглянуть на столь совершенную красоту!

– И признался ей в любви, да?

– Катька, я тебе впредь сражения буду описывать с подробностями – кто кого убил и как...

– Боря, не мешай – каждому свое интересно! Так вот... Елена прибежала к дяде. Там ее и нашел Даниэль. Последовало знакомство... И хозяин богатой виллы пошел провожать дочь рыбака в убогий домик у подножия скалы. На следующий день он с замиранием сердца ждал у ворот, когда задребезжит старенький велосипед и появится бедная рыбачка с лицом и телом богини. Тогда он еще не знал, что и душа у Елены была ангельская. Девушка полюбила его сразу же, несмотря на разницу в возрасте, не рассчитывая выйти за него замуж и разбогатеть. Греки воспитывают дочерей в строгости, и в характере Елены не было и тени кокетства, притворства. Серьезное, спокойное ее лицо лишь изредка озаряла улыбка невыразимой прелести. Наивная, доверчивая, как ребенок, она искренне полагала, что слишком проста для образо-

ванного, богатого господина, и, не желая завлекать Даниэля, сторонилась его, мало говорила, часто опускала глаза и краснела. И не знала, что именно таким обращением сводит его с ума от любви – человека, выше всего на свете ценившего чистоту и безыскусность. Прошло всего несколько дней – и Даниэль понял, что эта девушка ему дороже жизни. Он отправился к ее родителям и получил согласие на брак.

– Дедушка, а как же... Неужели он не вспомнил?

– Вспомнил, Боренька, вот тогда и вспомнил. Однажды ночью, лежа без сна, он думал о любимой, как вдруг услыхал будто тихий шелест. Даниэля как огнем ожгло. Уже зная, что увидит, он кинулся в кабинет, достал из шкатулки песочные часы – и обмер, покрылся холодным потом. Песок сыпался. Медленно, тонкой струйкой, но неотвратимо и беспощадно. На мгновение страшная боль пронзила его сердце – и песок приостановился, будто прислушиваясь... Затем потек снова. «А, вражина! – воскликнул Даниэль. – Я все понял! Счастье ускоряет течение, а страдание – замедляет! Песок не истечет, покуда я страдаю. В таком случае у меня много времени – ведь мое счастье и страдание неразделимы».

– Дедушка, но он же не бросил Елену?

– Нет, солнышко. Это было бессмысленно: он не перестал бы ее любить, расставшись с ней. А злодей обещал забрать то, что ему дороже всего на свете – независимо от обладания... В общем, вскоре Даниэль и Елена поженились. Получилось так, как и думал мастер – чем счастливее он был, тем больше страдал – от страха за любимую... И, страдая, радовался, ибо только страданием и мог отдалить страшный день. А песок все сыпался, но как-то странно – будто и сыплется, и на месте стоит, внизу его совсем немного. Каждый вечер в сумерках Даниэль смотрел на часы, затем уходил к морю и там молился – истово и безнадежно, ибо знал, что он – великий грешник. Время от времени он ловил на себе тревожный взгляд жены – и, зная, что она винит себя в его несчастии, страдал еще больше. Но рассказать ей все просто не мог...

– Какая грустная сказка!

– Сказка еще не кончена. Слушайте дальше. Однажды, гуляя с Еленой по горам, Даниэль нашел большую глыбу мрамора. Лежала она у дороги, будто с откоса скатилась – да только в тех краях мрамора отродясь не видывали. У мастера кровь к сердцу прилила – почудилось ему, что неспроста это. Велел он камень к себе в имение доставить, оборудовал мастерскую и принялся за работу. Вы, конечно, догадались, чью фигуру он стал ваять.

– Елены?

– Конечно! И так у него легко и ладно работа пошла, будто и не было стольких бесплодных лет. Сам не признаваясь себе, подспудно Даниэль утешался тем, что, когда врагу надоест ждать и он заберет у него жену, хотя бы ее образ останется ему в утешение. Елена охотно позировала: она увидала, что муж повеселел. Увы! Не только она заметила это... Песок потек гораздо быстрее. Увлеченный работой, Даниэль забывал глядеть на часы, а горка песка в нижней колбе росла и росла...

Долго ли, коротко ли, а настал день, когда скульптура, прекрасная, как одна из граций, была окончена. Мраморная Елена стояла в той же позе, в какой Даниэль впервые увидел живую – изогнувшись назад, подняв одну руку и улыбающееся лицо к небу, а другую вытянув перед собой, как бы опираясь на что-то. Скульптор одел ее в хитон из тончайшей ткани: повторяя изгибы тела, одеяние легкими складками спускалось до колен. Узкий ремешок поддерживал собранные кверху вьющиеся волосы, а одна непослушная прядь спускалась по спине, и ветер будто играл ею...

– Вот бы посмотреть!

– Со всеми предосторожностями чудесное изваяние внесли и поставили на высокую ротонду на скале возле дома. Был вечер, спускались сумерки... Белый мрамор отражал последние лучи солнца мягким золотистым светом. Даниэль долго стоял и глядел на прекраснейшую статую – воплощение юности и чистоты, и не мог поверить, что его руки сотворили это. Глубоко вздохнув, он погладил шелковистую поверхность мрамора – и вдруг недозволенное чувство сумасшедшего счастья хлынуло в его сердце, как ливень в пересохшее русло реки...

– Ой-ой-ой... а часы-то?

– Увы! Мастеру не нужно было смотреть на часы – он и так понял, что час расплаты настал. Раздался гром, засверкали молнии, земля затряслась под ногами. Не помня себя от ужаса, Даниэль кинулся в дом. Елена выбежала ему навстречу... Он подхватил ее на руки, вынес во двор. Туда же сбежались другие люди из дома. «Землетрясение! Спасайтесь!» – кричали они и метались в поисках убежища. А мастер Даниэль стоял на месте – знал, что бежать некуда. Он обнимал свое сокровище, которое любил больше жизни, и прощался с ним... Раздался новый удар грома – и Елена обмерла в его руках, стала задыхаться. Мастер поднял полные страдания глаза к небу, но взгляд его задержался на прекрасном изваянии за колоннами ротонды. И тут... Что-то произошло. Тишина повисла в воздухе, даже ветер замер. Будто чьи-то глаза всматривались в картину, занесенная для удара рука намечала жертву... Мгновение, дру-

гое – и раздался страшный грохот: скала расселась, ротонда раскололась надвое. Мраморная статуя, оказавшаяся на краю разлома, заскользила к обрыву, помедлила мгновение – и рухнула, разбившись на тысячи кусочков... В тот же миг Даниэль упал замертво.

– Как? Он умер?

– Нет... Только лишился чувств.

– А Елена? Она умерла?

– Нет, Катюша! Ты же помнишь: враг должен был забрать что-то одно... Он и выбрал статую.

– Получается, Даниэль обманул его? Он нарочно подменил самое дорогое!

– Да, Катюша... Вот видишь, я обещал тебе, что все будет хорошо... Очнулся мастер через много дней в своей постели: потрясение оказалось слишком велико, и он долго болел... Возле его кровати сидела Елена, исхудавшая и утомленная, но живая и невредимая. Она ничего не помнила из той страшной ночи, кроме одного: как вокруг сыпался песок, а Даниэль бежал и нес ее на руках.

– И они жили долго и счастливо!

– Да, конечно. Остается рассказать только одно. Когда – через много лет – Даниэль умер, его вдова, перебирая бумаги мужа, нашла документ о владении мастерской в маленьком итальянском городке. Выяснилось, что мастер не продал ее, уезжая оттуда. К документу прилагался ключ. Чувствуя, что обязана сделать это, Елена отправилась в Италию и нашла мастерскую в целости и сохранности. Покрытые пылью надгробия по-прежнему стояли внутри... Среди них выделялось одно: великолепная скульптура ангела из белого мрамора. Божественный лик был исполнен скорби и покоя... Елена привезла статую на родину и поставила на могиле мужа.

– Как? Это значит...

– А вот что это значит, подумай сама! Ну, понравилась сказка?

– Да! Только она все равно немного печальная...

– Катюша, тебе пора спать! Мама уже два раза выглядывала. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, дедушка! Борька, а ты идешь?

– Я сейчас... через минуту.

– О чем ты задумался, мой мальчик?

– Дедушка, мне кажется, что это очень страшная сказка.

– Почему?

– Я думаю... Может ли быть, что злодею стало жаль убивать Елену?

– Нет, не может. Враг никогда никого не жалеет. Он питается страданием.

– Значит... враг не ошибся? Он действительно забрал у Даниэля самое дорогое?

– Да.

– Но ведь... Даниэль любил жену больше всего на свете!

– Видишь ли, мой мальчик... Елена принадлежала ему душой и телом. Можно сказать, Даниэль ее получил в дар. Что касается другой, мраморной Елены, он сам сотворил ее – не для себя, Боренька, а для Того, Кто наделил его талантом. Вот главная истина для любого творца: что получил – отдай, приумножив... Но то, что ты сотворил, тебе дороже, чем жена, дороже, чем твое дитя, дороже, чем жизнь... Ибо в нем – душа твоя.

– Я думаю, Даниэль уже никогда не был счастлив...

– Как сказать... Счастье бывает разное. Он больше никогда не смеялся. Больше никогда не брался за резец. Но был спокоен, умиротворен. Верил, что созданная им статуя пребывает на небесах...

– Но ведь она разбилась!

– Неважно. Сотворенное на земле невозможно истребить: все прекрасное – не от мира сего. Этого-то и не учел враг: уж очень хотелось ему уничтожить принадлежащее Творцу...

Сергей Кузнечихин

САНИТАРНЫЙ ВАРИАНТ, ИЛИ СЕДЬМАЯ ЖЕНА ПОЭТА ЕСЕНИНА

Послушай меня, санитар

Послушай меня, санитар, ты просто обязан меня выслушать, ты даже предположить не можешь, какая женщина стоит перед тобой, не догадываешься, от кого зависит твое будущее, да и не знаешь ты собственного будущего, не подозреваешь о своей миссии. Дай руку, сними ее с моего бедра и протяни мне. Убрал. Вот и умница. Пора отвыкать от вульгарных замашек. У нас впереди более наполненные часы. Успокоился? Теперь смотри мне в глаза и слушай. Сейчас я расскажу тебе все. Сначала о том, что может показаться уже известным. Но это ощущение обманчиво. Да не на руку мою смотри, а в мои глаза. Видишь, какие они черные? Глубже, глубже загляни. Смотри и слушай. Если сможешь не поверить мне – пожалуйста, не верь. Но ты не сможешь.

Я знаю, как ты относишься к мамочке, но вынуждена тебя огорчить – во всех твоих неудачах виновата твоя сердобольная родительница, слишком восторженно любила она свое ненаглядное чадо. В младенчестве ты даже ползунки не пачкал, до того аккуратненьким был, кушал, не капризничая, разговаривать начал на два месяца раньше срока. И мамочка уверовала, что ее ребенок особенный. И ребенку внушила то же самое. А когда ребенок пошел в школу, его сверхаккуратность не понравилась одноклассникам. Точнее, они не обратили на нее внимание, и ты за это возненавидел их, а потом и они в ответ. Особенно обидно задевала неприязнь девчонок. Ни мамочка, ни ты не могли понять, что аккуратность твою девчонки воспринимали как бесцветность. Женщины, даже маленькие, смотрят на мужчину не своими глазами, а глазами толпы. Поэтому слава для мужчины важнее богатства, пусть и дурная слава. Оттого и любят спортсменов, певцов, поэтов, на крайний случай – хулиганов.

А ты стал санитаром.

Слушай меня. Слушай и не отводи глаз.

Никто в классе не хотел носить повязку с красным крестом, а ты согласился с радостью. Ты не знал, что мамочка попросила учительницу подыскать тебе какую-нибудь должность. Не могла она смириться с тем, чтобы ее исключительный ребенок оставался рядовым школьником. А если бы ты узнал о ее хлопотах? Мне кажется, все равно бы не отказался. С каким удовольствием крахмалил ты свою белоснежную повязку. С какой значительностью шествовал вдоль шеренги одноклассников. С какой дотошностью ты проверял у них ногти и заглядывал в уши. Ты до сих пор вспоминаешь эти церемонии. А как ты охотился за любителями держать руки в карманах. Сначала выслеживал сам, потом, наметив жертву, бежал к военруку. Да успокойся ты, никто не обвиняет тебя в фискальстве. Таковы были правила игры. Чтобы довести охоту до конца, обязательно нужен был какой-то учитель. Ты отыскивал военрука, и вы начинали облаву, действовали не сговариваясь, потому что все было обговорено заранее, все отработано и проверено неоднократно. Военрук со скучающим видом проходил мимо нарушителя, потом подкрадывался со спины и совал ладонь между бедром и запястьем, после этого вытащить руку из кармана уже невозможно – прием из арсенала оперативников. Потом подбегал ты и белыми нитками пришивал рукав курточки к брюкам. Сцена, естественно, разыгрывалась на глазах у толпы зевак. Военрук держал жертву, а ты, не спеша, работал иголкой. Потом нарушителя отпускали, и бедняга вынужден был катать «карманный бильярд», пока вы не соизволите распороть шов.

Помнишь?

Конечно, помнишь. Это были лучшие годы.

В старших классах должность санитара упразднялась. И ты снова превратился в ученика без атрибутов. Ни в комсорги, ни в старосты тебя выбирать не хотели. Одноклассники помнили твои санитарные рейды. Их детские умишки все-таки подозревали, что тебя нельзя подпускать к должности, даже самой, казалось бы, бессильной. Детишки дружно голосовали против. И учителя не настаивали, оправдывались перед завучем, рекомендовавшим тебя, что не могут заставлять детей выбирать в лидеры слабого ученика. Ты же из рук вон плохо учился. Единственной наукой, в которой ты преуспевал, была анатомия. Учителя не любили тебя за неприкрытое неуважение к их предметам, а биологиня тайно ненавидела за то, что знаешь предмет лучше ее. В девятом классе их терпение кончилось. Педсовет предложил перевести тебя в вечернюю школу. При этом учительница литературы настаивала собрать комиссию и отправить тебя не в вечернюю, а в специализированную,

для умственно недоразвитых, и кое-кто собирался ее поддержать, но слово завуча оказалось решающим, он убедил подчиненных не поднимать лишнего шума, не выносить сор из избы. Но мало кто знал, что накануне этого бурного педсовета у завуча были продолжительные встречи с твоей мамочкой.

Тебя в подробности, разумеется, не посвятили?

Извини за жестокость, но это в твоих интересах.

Потом этот же завуч помог тебе получить аттестат. И он же устроил тебя санитаром в психиатрическую больницу, чтобы имелся стаж для поступления в медицинский. А протолкнуть в институт не смог, не хватило возможностей. И мамочка твоя к тому времени растеряла обаяние. Поэтому все четыре попытки сдать экзамены завершились одинаково.

Я не осуждаю материнскую любовь, но тебе требовалось нечто другое. Мои глаза видят больше, чем ее сердце. Из тебя может получиться великолепный целитель. Потому я с тобой и разговариваю. Мамочка угадала направление, но дорогу выбрала неверную. Тебе незачем разбивать лицо о двери института. Перед тобой особый путь. И я проведу тебя по этому пути. Проведу грубой и властной рукой, потому что нежностью и обожанием ты уже пресыщен, и они чуть было не сгубили тебя. Человеку с твоими данными необходимо особое обращение. Ты даже представить не можешь, какое уникальное биополе у тебя. Но, повторюсь, полю этому требуется специфическая обработка. Перед тем, как посвятить тебя в тайное тайных, надо существенно пополнить твои знания. Сначала этим займусь я. Я поведаю тебе тайны поэзии, потому как поэтическое слово целительно по своей сути. Потом я передам тебя своему другу. Он сделает тебя великим. Если, конечно, ты будешь слушаться нас. А я уверена, что будешь.

Так что не будем терять драгоценное время, бери бумагу и записывай.

Травля Бенедиктова

Нет, пожалуй, не так, второго героя тоже надо вывести в заголовок, чтобы крепче запомнился, зачеркни и напиши.

Бенедиктов и Белинский

Существовал критик по фамилии Белинский.

Ты слышал, кто такие критики? Это люди, которые знают все, а сами ничего не могут. Возьмем, к примеру, тебя, санитар – полу-

чится из тебя критик или – нет. На первый взгляд – не получится, потому что ничего не знаешь. Но, с другой стороны, ты и не умеешь ничего. Так что – чем черт не шутит. Знания дело наживное, а при определенных способностях, и не всегда обязательное, если умеешь себя подать, знающим притвориться нетрудно. А злым и завистливым притвориться невозможно. С этим надо родиться. Здесь у тебя все нормально – завистью пропитан, как непризнанный гений – самогонкой. Ведь завидуешь старшему санитару? Завидуешь. Я сама видела, как ты смотрел на него, когда он больного из третьей палаты по щекам хлестал. Видела, как пальцы у тебя с ума сходили. Хотелось ведь тоже над здоровяком поизмываться. И власть над людьми показать любишь. Может, тебе и правда в критики пойти? А что? Из больницы увольняться вовсе необязательно. Работай, если нравится, а в свободное время критические статьи сочиняй. Поэты, они же вроде здешних больных. Можешь колошматить по любому поводу, всем, что под руку попадется – сдачи не дадут.

Ну, вот и обиделся. Это я пошутила, искушала тебя. Теперь вижу, что ты верен своей мечте. А от зависти я тебя освобожу, потому что целитель завистливым быть не может.

К тому же учти, если подашься в критики, придется навсегда забыть о женщинах. Профессиональная болезнь.

Белинского женщины не выносили. А за что его любить? Для романтических барышень он был слишком невзрачен. Для сентиментальных дамочек – чересчур зол. Для сообразительных девочек – нищ до неприличия.

Наследства разночинцу никто не оставил, а сам зарабатывать не умел. В какой департамент не устроится, отовсюду гонят. Лодыри никому не нужны, а лодыри с гонором – тем более. Максимум полгода – и с треском...

Когда очередной статский советник увольнял его за нерадивость, Белинский огрызнулся:

«Пусть ваши клерки протирают локти сюртуков от звонка до звонка, а я человек артистический, я критики в журналах печатаю, извольте считаться».

Советнику его критики, что китайская грамота, но захотелось ему одернуть наглеца, он и высказал:

«Критики ваши я не читал, но полагаю, ошибок в них не меньше, чем в служебных отчетах, которые вы сдаете. Вот у приятеля моего в банке тоже артистическая натура служит, так приятель не нарадуется на работника, третий раз жалование повышает и дальше повышать собирается. А почему бы и не повысить, если человек башковит и аккуратен сразу вместе».

«Так что же это за артистическая натура такая? – спрашивает Белинский, – графоман, поди?»

«Отнюдь, – говорит советник, – самая, что ни на есть артистическая и притом не какие-нибудь критики пописывает, а самые изысканнейшие вирши. Бенедиктов его фамилия».

«Нет такого поэта!» – кричит Белинский.

Советник – мужчина солидный, кричать ему не к лицу, и он спокойненько, вполголоса вразумляет крикуна, как дите неразумное.

«Как же нет, когда есть».

«Значит, не будет!» – кричит Белинский, но дверью не хлопает, потому что выходное пособие надеется получить.

Пособие он выходил, но злобу на поэта Бенедиктова затаил. Однако таил ее недолго. Не могла таиться такая лютая. Ночь с ней перемучился, а наутро сел сочинять критику. Выплеснул тринадцать страниц, и вроде как полегчало. Человеком себя почувствовал. Настоящим мужчиной. Даже визит даме сердца осмелился нанести. Дама эта его не очень жаловала, и он боялся ее навещать, а тут вдруг решительность в характере ощутил. Приходит, цилиндр повесить не успел, а дама с захлебом:

«Послушайте, что за прелесть, я у графини из альбома переписала. Сочинение Владимира Бенедиктова. Минуточку, я так волнуюсь:

Кудри – кольца, струйки, змейки!
Кудри – шелковый каскад!
Вейтесь, лейтесь, сыпьте дружно...»

Белинскому дурно стало. Настолько дурно, что сознание помутилось, и в истерику впал.

«Перестаньте сейчас же! Не могу слышать эту пошлятину!»

Закричал и сам своего крика испугался, а от страха уже и в рассудок вернулся. Сообразил, что выказал свое черное нутро перед дамой из общества. Рухнул на паркет и на коленях через всю комнату с выпяченными губами к ее ручке – простите, мол, великодушно, нездоров я нынче, нервы-с шалят.

Но дама ему на дверь указывает. Пришлось, не вставая с колен, к порогу пятиться. На улицу выполз и бегом домой, к столу, новые критики сочинять.

Бенедиктов, если правду не извращать, тоже не красавец был, с Есениным рядом не поставишь, а с Блоком и сравнить как-то неудобно. Однако и Пушкин с Лермонтовым, как бы помягче выразиться, не обижая безмерно уважаемых... Видимо, есть такая осо-

бенность у поэтов – творчество облагораживает их лица и вроде как росту прибавляет, а у критиков – наоборот. Белинский и в юности обаянием не отличался, а уж как в критики вышел, совсем на убийцу стал походить, оттого и женский вопрос невподъем.

Написал новую статью про тлетворное влияние бенедиктовщины. Напечатал в газете. Экземплярчик переслал статскому советнику в департамент, из которого за разгильдяйство выгнали. Второй – начальству Бенедиктова. Даме, разумеется, не отправил.

Следом и рассуждения свои опубликовал о том, что истинный любимец муз не может исправно исполнять обязанности клерка. Однобокие рассуждения. Любой грамотный человек мог его спросить – а как же быть с Борисом Чичибабиным, который до пенсии в бухгалтерах проходил? О Чичибабине он не вспомнил, зато себя мучеником выставил, будто бы его с работы не за разгильдяйство, а за убеждения гнали. Ненавязчиво так упомянул, как бы между прочим.

Серебро за статьи платят быстрее, чем медяки за стихи. Получил гонорар и отправился к Тургеневу долг отдать, пока большие проценты не набежали. Тургенев деньги пересчитал и говорит:

«Ладно, брат Виссарион, не в серебре счастье, ты лучше стихи послушай:

Гордяся усестом красивым и плотным,
Из резвых очей рассыпая огонь,
Она властелинка над статным животным
И деве покорен неистовый конь...

Не правда ли – чудесно про усест сказано? Очень мило».

«Сам сочинил?», – поинтересовался Белинский.

А Тургенев не унимается:

«Ты понял, – говорит, – кто под животным выведен? Мы! Мужчины! И сочинил эту прелесть... Бенедиктов».

И тут Белинский отвел душеньку. Тургенев не дама, а писатель, с ним можно не миндальничать. Сначала в пух и прах раскритиковал Бенедиктова, а потом пригрозил, что, если еще раз услышит, или ему передадут, что Тургенев восхищается подобной порнографией, будут у него крупные неприятности, ни в одном журнале на порог не пустят. И Тургенев сразу на сто восемьдесят градусов. Писатели, они зачастую хвалят только тех, кого принято хвалить в обществе. И ругают также сообща.

Литераторов он обуздал и направил, а дамочка оказалась строптивой. Абсолютной победы не получилось, а значит, и покоя не было.

И решил Белинский отравить Бенедиктова. Не фигурально уже, а в самом реалистическом смысле. Достал надежный яд, быстрорастворимый в вине и в квасе, пришел на совместную поэтическую вечеринку, но подсыпать не смог, вовремя одумался. Понял, что нелюбовь его к поэту всем известна, значит первое место в списке подозреваемых обеспечено заранее – никакие адвокаты не спасут от позора. Страх силен, а завистливая злоба еще сильнее. Если нельзя напрямик, значит надо искать обходной путь. Если нельзя отравить, значит надо заразить смертельной болезнью. Пошел к знакомому немцу-аптекарю и взял у него палочки Коха. Придумал вроде остроумно. Чем другим, а хитростью Сатана его не обделил. Но от замысла до воплощения дистанция весьма долгая и небезопасная. Подвела критика собственная неряшливость. Вы посмотрите на портреты Белинского – везде с немытыми волосами. Руки тоже мыл нерегулярно. Это его и погубило. Принес злополучные палочки и, не помывши рук, сел ужинать.

А наутро проснулся с температурой сорок один градус. И слег. Не успел подсыпать бациллы в бокал Бенедиктова, а перепоручить такое деликатное дело не решился. Учеников было много, отравить поэта у любого из них рука бы не дрогнула – только прикажи, братия послушная, но ненадежная (ради красного словца – не пожалеют и отца) – это Белинский по себе знал. Таким доверься, и на все грядущие века ославят. С такими надо, чтобы никаких следов. Собрал последние силы, едва не теряя сознание, дошел до туалета и спустил коварную пробирку в унитаз. Улику уничтожил и только после этого велел собрать учеников к смертному одру для последних наставлений. Первыми, как самых близких, пропустили к умирающему Писарева и Добролюбова. И началась дележка наследства. Писарев энергичней был, ему достались неограниченные права на Лескова и разрешение на частичную критику Пушкина. Добролюбов выхлопотал Случевского. Просил и Достоевского, но учитель испугался провокации, – дай поповичу разрешение, а он повернет обратной стороной и раззвонит, что Белинский его на гения науськивал. Писарев с Добролюбовым заняли место у изголовья, а за дверью толпа бушует. Очередища, как в пивную после выходных, кого только в ней нет: Страхов, Зайцев, Мережковский с Гиппиус. Наглости критикам не занимать, но проскочить без очереди, особый дар нужен. Старые критики в этом слабоваты. Другое дело напостовцы. Дружные ребята – Родов, Авербах и Лелевич – локтями и кулаками из хвоста очереди с улицы к двери пробились, но запыхались и пока вспоминали, кого бы им на растерзание попросить, шустрый Бухарин прошмыгнул между ними.

«Есенина мне, – кричит, – разрешите с Есениным разделаться!»

Расслышал его Белинский или нет, этого никто не знает, но все видели: как он одобряюще опустил веки и, уже теряя сознание, выговорил по слогам:

«И Бе-не-дик-то-ва...»

С этим словом и умер.

А теперь напиши крупными буквами

МОРАЛЬ

Написал? Дальше с новой строки. Записывай каждое слово, я специально буду говорить медленно.

Во-первых – поэт подвластен только Богу, а если в государстве Бога нет, значит не подвластен никому.

Во-вторых – любая травля в конце концов оборачивается против отравителей.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

Записал?

Теперь подчеркни, и перейдем к новой теме, более сложной, но тоже с детективным уклоном.

Большая дуэль

Привел его все-таки Тургенев. Была у большого мастера маленькая слабость – пьяных не любил, но обожал подхалимаж, просто млел, когда определенное место языком вылизывали. А этот узкий специалист владел своим искусством виртуозно. Услужливых и вежливеньких, на полусогнутых бегающих, таких тьма, но подавать свое холуйство с достоинством умеют редкие экземпляры, не снизу подхваливает, а вещает, как из репродуктора, только слова чересчур приторные и глазки выдают, очень уж дерганные глазоньки: туда-сюда, туда-сюда... чтобы разом все уцепить. Вроде и холуй, но с хозяйскими замашками. Потому как человек был при документе. Тургенев так и заявил, что вся их компания, классиков из себя мнящая, всего-навсего небольшая кучка графоманов: и граф Толстой в офицерских погонах, и дворянин Некрасов в штатском, и разночинец Чернышевский, и попович Лесков, не говоря уже о Есенине, который вообще из крестьян – никакие

они не писатели, потому что членских билетов у них нету. У них нету, а у товарища имеется. И гость достает из широких штанин краснокожую книжицу. Из рук не выпускает, но рассмотреть позволяет каждому. Удостоверение действительно солидное. С гербом, с портретом Ильича, а внутри черной тушью почерком штабного писаря выведено, что такой-то Имярек, фамилия из головы улетучилась, но это не существенно, главное, что черным по белому начертано – писатель. Тому же Толстому, например, попади он в милицию, придется уговаривать сержанта четыре тома «Войны и мира» читать, чтобы служивый понял, кто перед ним. А этому товарищу достаточно ксиву предъявить, и недоразумение заканчивается творческой встречей. Солидный документ даже во вкладыше не нуждается. Ни червонец, ни четвертную искать в нем не станут, а если и найдут случайно, так тронуть постесняются. Кстати, в тот же вечер, но ближе к середине, случилось нечто пикантное, обладатель документа перепутал карманы и вытащил на свет Божий другое удостоверение, тоже красного цвета, но поскромнее на вид, протянул Лескову, однако спохватился и тут же спрятал, не дав рассмотреть. Николаю Семеновичу такое не понравилось, человек дотошный, обстоятельный, ему надо предмет и на обоняние, и на осязание исследовать, попросил еще раз глянуть. На второй раз ему настоящее удостоверение предложили, но не убедили. Должного уважения к документу не высказал, да и сам член, по лицу было видно, не глянулся ему. Тургенев, который всегда к новым веяньям прислушивался, разъяснил упрямому гордецу, что всех писателей, кто без удостоверения окажется, вычистят не только из школьных учебников, но даже из тех, специальных, которые для университетских филологов предназначены, из библиотек тоже потихоньку, без лишнего шума уберут, а о посмертных переизданиях и говорить нечего, ну и памятников, естественно, ни в столице, ни на родине. Лесков, как только про памятники услышал, высказал витиеватую фразу в тридцать три высоких этажа, на которые кроме него ни у кого дыханья не хватало, хлопнул дверью, только его и видели. И аукнулось Николаю Семеновичу. Был бы пожиже – вообще бы с лица земли стерли. Да родимое пятно – не искусственная мушка, его не сотрешь и не выведешь. Но потоптались от души. Не отказали себе в удовольствии. И дерьмом, и дегтем вымазали, вот только в перьях на потеху вывалять силенок не хватило. Хотя сам член на его брань только улыбался. Я же говорю, вежливый был, особенно при свидетелях. Серьезные разговоры предпочитал с глазу на глаз вести, чтобы потом, если масти по недосмотру перепутал, никто доказать не смог.

Я забыла уточнить, что привели его в дом к Некрасову. Там прием был. Второй день длился. Вечером принимали благородные напитки, а с утра, как у поэтов водится, что осталось. Свое допили, за лакейское принялись. Однако не без повода злоупотребляли. Обмывали очередной номер «Современника», получили цензурное разрешение, на которое никаких надежд не имелось. Но Николай Алексеевич – редактор настоящий, современным рохлям не чета, с молоденькими поэтессами управляться большого ума не требуется. Хороший игрок всегда на несколько ходов вперед просчитывает. Распознал через верных людей, что у цензора теща на воды уехала, выждал четыре дня и заявился с бумагами аккурат в тот момент, когда чиновник по случаю временной свободы пребывает в пике расслабленного состояния, а бдительность его обращена в сторону легкомысленных женщин. Объехал, обыграл, обманул – какая разница, главное – во имя чего. Удачу не обмоешь – обидится, капризная. Потому и засели, чтобы судьбу не гневить.

Если вечером хорошо – это еще не значит, что и утром так же будет. Даже самая радостная пьянка заканчивается обыкновенным похмельем. В это смутное время он и появился. С одним посидит, с другим пошепчется, здесь слово возьмет, там вставит. Слушать все равно никто не слушает, потому что каждый сам по себе, если не жаворонок, так соловей. Растворился в массе. Пористая среда, она восприимчива. Пьянка еще не кончилась, а каждому казалось, что этот член давно среди них блуждает. Тем более, что вращался он в основном возле заметных фигур, тех, что в центре внимания. Поэтому Тургенев и пытался всю ответственность на Толстого свалить, вспомните, мол, кому он в рот заглядывал, кому величайшее будущее предрекал. Все правильно, только сцена эта уже из второго акта. Хотя, если непредвзято разбираться, нельзя перекладывать на Тургенева всю вину. Привести его кто угодно мог, тот же Вегин, например. Вода дырочку найдет, как на флоте говорят. Особенно в дырявой посудине. А литературный корабль не только пьяный, но и дырявый, как решето. Точнее даже сказать – не столько пьяный, сколько дырявый.

С Тургеневым полюбезничал, вокруг Толстого покрутился, Чернышевскому с доктором встречу устроил, Куприна пьяного до дома довел… Вошел в коллектив. И когда поссорились Лев Николаевич с Иваном Сергеевичем, никто не связал ссору с появлением новенького, да и новеньким-то его уже перестали считать. А гиганты пикировались и до него. И вдруг, словно кто-то бензинчику на угли плеснул – дуэль! Тургенев, правда, вызов-то послал, но,

не дождавшись ответа, в Париж укатил. Стреляться с настоящим офицером, героем Севастопольской кампании, процедура небезопасная, но и честь дворянина ронять рискованно. Честь – материя тонкая. Молодые гении по верхоглядству своему могут и не заметить ее уроненную, затопчут грязными калошами и никакого угрызения совести не почувствуют. Отдышался Тургенев в Париже, успокоился под надменным взглядом Виардо и пишет из-за бугра послание: дескать, все остается в силе, но переносится на более позднее время, потому как «Муму» надо перебелить, не может он сырое произведение после себя оставить. Лев Николаевич отправил ему ответ примерно в тех же выражениях, что и запорожцы турецкому султану. Распалясь посланием, под горячую руку, сочинил, не отходя от стола, повесть «Казаки», которую, выйдя из дома, проиграл издателю толи в карты, толи на бильярде. Как пришла, так и ушла. Но разговор не о казаках.

Один скандал не успел сплетников утомить, а на смену другой подоспел. Андрей Белый Блока на дуэль вызвал. Секунданты мотаются, как Радищев из Петербурга в Москву, все запасы красноречия извели, дабы спасти для России двух гениев, которым совершенно нечего делить, у каждого своя великая слава и почет, а Люба Менделеева все равно ни того, ни другого не любит. И вроде нашли секунданты нужные слова, даже Белый успокоился, с его-то расшатанной нервной системой. Осталось сделать по маленькому встречному шажку и закончить ссору братской встречей в пивной на Гороховой. Так нет же – еще одна пара дуэлянтов объявилась – Гумилев Максу Волошину вызов отправил. Дурной пример заразителен.

У Куприна каждый день посетители, самым популярным писателем стал. Всем требуются консультации по дуэльному кодексу. И каждый с выпивкой тащится. Куприн запил. И произведения не пишет, и по хозяйству никакой помощи. Пока в своем уме пребывал, пытался от дуэлей отговорить, а как только доза переползала за шестьсот граммов, хватался за пистолет и начинал давать уроки стрельбы. Палил прямо из окна. Жене надоело осадное положение. Кричит: чего, мол, вы к нему с «Поединком» пристаете, он еще и «Яму» написал, шли бы лучше в бордель, все приятнее чем друг друга убивать.

Куда там. Не до баб мужикам стало. На военные подвиги потянуло, геройствуют. Никто уступать не хочет. И особенно петушатся те, которые путного оружия в руках не держали. Маяковский Есенину секундантов заслал, у Евтушенко с Вознесенским, по слухам, тоже поединок намечается.

Как с ума посходили. Не сказать, что раньше мирно жили, всякое случалось, бывало и убить грозились, но дальше слов не шло, потому как слово для них единственное оружие которым владеть научились. Пушкин и Лермонтов с чужими стрелялись. Можно было бы понять, если кто-то критика или издателя на дуэль вызвал, а тут – поэт на поэта!? Умопомрачение какое-то. И никто понять не может – с чего бы вдруг.

Никто, кроме Достоевского. Писал старик, будем справедливы, покорявее Тургенева, зато смотрел намного пронзительнее и глубже. Не о цветочках разглагольствовал, а самые закрученные детективы сочинял, потому и вычислил, откуда зараза идет. Кто перед ссорой возле Тургенева с Толстым крутился? Новенький с членским билетом. Ссора случилась, а он уже за другим столом шепчется. Вроде не было дружнее поэтов, чем Блок с Белым, но стоило члену втереться в доверие к одному из них, а выбрал он, разумеется, полусумасшедшего Белого, и, пожалуйста, друзья стали врагами. Поэты кипятятся, вспоминают былые обиды, а шептун, чтобы не зашибли сгоряча, уже в сторонке. У него скоропостижное восхищение стихами Гумилева.

Нет, в определенном смысле, он дьявольски талантлив был. Кто бы мог подумать, что знаменитые мужчины соберутся стреляться из-за убогой хромоножки. Из пустоты скандал создал. Какие львицы готовы были ради Волошина или Гумилева на любое безрассудство, а они вдруг мифическую Черубину не поделили.

Как раз после истории с Черубиной Федор Михайлович и обратил внимание на закономерность. Ну и поделился с Анной Григорьевной своими выводами за вечерним чайком, а заодно и прогнозец позволил сделать: видел, мол, в сберкассе Маяковского вместе с членом, поверь старому игроку, не пройдет и месяца, как этот горлопан Сереже Есенину вызов на дуэль пришлет. Анна Григорьевна женщина сердобольная, всегда о молодежи заботилась, а Есенина вообще, как родного сына любила. Так любила, что осмелилась Достоевскому возразить.

«Не может такого быть, чтобы против Есенина кто-то дурное задумал».

Наивная была, впрочем, как все женщины, способные на жертвенную любовь. Выпила с расстройства валерьянки и опять за свое:

«Не верю, – говорит, – не может нормальный человек поставить себе цель всех перессорить».

Достоевский посмеивается.

«Глупенькая ты моя, неужели еще не поняла, что нормальных людей среди писателей не водится. В этом ремесле Богом про-

клятом, чем ненормальнее, тем заметнее. Разница только в том, что одни – книгами, а другие – интригами свою заметность зарабатывают».

«Так переубивают же друг друга!» – не может успокоиться Анна Григорьевна.

«На то он и рассчитывает, – смеётся Достоевский. – Зачем ему те, кто заметнее».

Жена возмущается, непонятен ей черный юмор классика.

«Нет уж, – говорит, – пусть мы и глупые, все равно не позволим. Сейчас расшифрую стенограмму последней главы и пойду женщин поднимать».

Достоевский на такое решительное заявление только в бороду ухмыльнулся, попробуй, мол, может, что и получится, а я пока черновичками займусь, а то все сроки кончились, а мы еще и половины не написали.

Первой, к кому поспешила Анна Григорьевна, была Лиля Брик. Наслышана была, что Лиля дамочка бойкая, шумная, заполучить такую в союзницы весьма полезно. Вошла в салон, а там вечеринка. Критики, военные, государственные мужи – ананасу негде упасть. Все в кружок, а Лиличка в центре. Еле на кухню выманила. Да толку-то. Одна чуть не плачет, другая хохочет. Одна от горя не может говорить, другая от счастья не желает слушать. Кое-как через пень колоду объяснила, зачем пришла и ввергла хозяйку салона в недоумение. Лиличка плечами пожала и говорит:

«Это же чудненько, если все так получится. Сколько разговоров будет. Дуэль – это так романтично».

Анна Григорьевна опять в слезы:

«Страшно мне. Вдруг убьет, грех-то какой».

Брик успокаивает:

«Володя хоть и большой, в него попасть проще, но все равно он победит».

«Так я про душу говорю, – стонет Анна Григорьевна. – Душа-то измается, если он Сережу убьет».

«А душа здесь при чем? – изумляется Лиличка. – Душу для поэзии надо экономить. Впрочем, тебе этого не понять, тебе за твоим Достоевским с его мировой славой можно печалиться о всякой чепухе, а мне, извини, некогда, меня нужные люди ждут».

Выставили, можно сказать.

Стоит на улице вся в слезах и не знает, куда податься. Но плачь, не плачь, слезами беду не смоешь. Поехала к младшей Софье Толстой, эта не может не понять, двойное горе у человека: и жениха и дедушку под пистолет хотят поставить. Нашла в будуаре. Голова

нечесаная, на плечах линялый халат, вся косметика по лицу размазана, не лицо, а картина Кандинского. Поплакала вместе с ней, вроде успокоила немного и про дуэль толкует: надо мол, как-то помешать злу свершиться. И тут Сонечка, словно кошка, спину выгнула, волосы дыбом, в глазах зеленый огонь:

«Что вы с ерундой ко мне пристаете, у нас дед на старости совсем из ума выжил, наследства всю семью лишил, все гонорары нищете завещал, а вы тут с какой-то дурацкой дуэлью... Оставьте меня в покое, даже слышать об этих графоманах не желаю».

И опять Анна Григорьевна с бедой одна, как перст без обручального кольца. Пусть и беда не совсем своя, но такой уж народилась. Поплакала в скверике, вытерла слезы, как могла, благо румянами не пользовалась, и поехала к Любе Менделеевой. А той вообще дома нет. Ни у Блока, ни у Белого, ни у папеньки Менделеева. На гастроли усвистала.

А пока она тратила время на бесплодные визиты, свора секундантов под чутким руководством заинтересованного товарища старательно накаляла страсти, чтобы никто на попятную не пошел. Легион шептунов по их поручению обрабатывал дуэлянтов, каждого по индивидуальной программе. Толстому что ни день, а то и по три раза на дню, разные людишки, что-то про козни Тургенева докладывали. Тургеневу – про Толстого. Волошину – про Гумилева и так далее.

Дуэль запланировали коллективную. Устроитель нашел большую поляну, закупил пистолеты и втайне от всех пропитал пули ядовитой смесью. Участники должны были выстроиться друг против друга, то бишь, враг против врага, и по общей команде начать сходиться. Уговорить на такое действо тоже не просто было. Народ капризный. Тургенев, например, категорически отказался стоять рядом с Маяковским. Разнервничался, начал угрожать, что вообще откажется участвовать в дуэли. Еле умаслили обещанием, что рядом с ним поставят самого Блока. У Гумилева свои претензии, если уж умирать так плечом к плечу со Львом Николаевичем, и никак не ниже. Он даже сына своего в честь классика нарек. Эксперимент сей, кстати, повторился некоторое время спустя. Другой поэт назвал своего сына именем партийного работника, будущего генсека. И дети поэтов не затерялись, оба стали знаменитыми, только дороги к славе разные были – Лев Николаевич-второй все – по тюрьмам да ссылкам, а Никита Сергеевич-второй – по фестивалям да форумам. Но это к нашей истории не имеет отношения.

Забот и нервотрепки у организатора было предостаточно. Контингент сложный, с голыми руками не подступишься и лом не по-

мощник, для обработки требовался богатый арсенал тончайших инструментов. Но любые трудности можно преодолеть, если вложить в них все свои силы без остатка. Было бы желание. А желание было огромным. Все продумал и рассчитал, все запасные ходы и выходы исследовал. К идее общей дуэли пришел не в погоне за громким эффектом, а потому что боялся, как бы после первого поединка общественность галдеж не подняла. Профессиональным правозащитникам тоже ведь без дела сидеть обидно, им тоже надо как-то о себе напоминать. Провокатор и правозащитник две стороны одной монеты. Провокатор, естественно, та сторона, на которой цена обозначена, а правозащитник – герб. Он и на гривеннике, и на целковом везде одинаков, но только на словах, а на деле предпочитает, чтобы цифра на обратной стороне посолиднее была. А тут ставки самые крупные, куда ни плюнь везде гений или знаменитость. Потому и боялся, что не дадут довести спланированную акцию до конца. Пожадничают и поднимут гвалт раньше времени.

Срок дуэли уже обговорили, а бедная Анна Григорьевна союзниц найти не может. Нет страшнее муки, чем сознание собственного бессилия. Она трезво понимает, что в одиночку не справится, находясь при Достоевском научилась реалистически смотреть на события и свое место в них. Была у нее мысль устроить публичное самосожжение в знак протеста. И устроила бы, себя она никогда не жалела, да как Федора Михайловича одного оставлять, пропадет ведь без нее. А что делать? Не знает она что делать. Не бежать же за советом к Чернышевскому...

Но удача только притворяется слепой, иногда она все-таки подглядывает. Случилось так, что про дуэль узнала Настасья Филипповна, и про дуэль и про тщетные старания Анны Григорьевны помешать этому злодейству. Не столько она о чужой жене пеклась, но сам Достоевский был для нее Богом. Всем, что имела, только ему обязана. За хорошее благодарила, за плохое не обижалась. Потому и не теряла времени на колебания. Спрятала гордость в укромное женское место и поехала к Анне Григорьевне. Пока на перекладных добиралась, и план созрел. В дом Достоевских заходить постеснялась. Дала дворнику пятиалтынный и отправила с запиской для барыни. И в ресторанчике через квартал от дома без лишних междометий и заламывания рук объяснила, как им действовать дальше.

Дуэль была назначена на пять утра. Кто на такси, кто на извозчике, кто на личной машине поклонника, а Маяковский вообще на служебном авто какого-то лиличкиного поклонника из замов Дзержинского, но все явились без опоздания. Докторов чело-

век пятнадцать привезли. Говорят, даже сам Кашпировский был. Съехались, как на презентацию поэтической антологии. Организатор выстроил дуэлянтов в два ряда. Для приличия каждой паре предложили помириться. Но предложили с таким подтекстом, что любой уважающий себя мужик за пистолет схватится. Оскорбительные предложения при свидетелях миром не кончаются, да и к барьеру вышли не какие-нибудь флюгеры, которые сегодня царю гимны поют, завтра – Сталину, а послезавтра Брежневу. Крупные личности, для которых имя дороже и денег, и жены.

Заняли позиции. Каждый боком к сопернику, чтобы попасть труднее было. Один Макс Волошин грудью к пистолету стоял, потому как ему без разницы, в него с любой стороны и не умеющий стрелять не промахнется. Я это говорю, не пытаясь бросить тень на Гумилева, его смелость доказывать нет нужды, но так уж получилось.

Взвели курки...

И тут на поляну выбежала ватага красивейших женщин: Настасья Филипповна, Наташа Ростова, Грушенька, Неточка Незнамова, Элен Курагина и даже царица Тамара... Выбежали и каждая встала перед пистолетом. У кого рука поднимется – пусть стреляет.

Но у кого же она поднимется?

Все выстрелили в небо. Только рассеянный Блок не успел поднять пистолет. Его пуля ударилась о камень, срикошетила и угодила в правую руку устроителя. Не зря-таки доктора приехали. Тут-то и открылась тайна. Раненый верещал, как заяц. Изо рта пена пошла. А самому-то умирать неохота. Пришлось сознаваться, что пули отравленные. Для него смерть страшнее позора. Доктора посовещались и оттяпали руку по локоть, с Кашпировским такие операции без наркоза можно делать.

Потом кто-то переживал за пострадавшего, как же он писать будет. Начали припоминать, что он вообще сочинил, и никто не смог вспомнить. Никто, кроме Гумилева. Он, пока над письмами о русской поэзии работал, какой только ерунды не перечитал. Тогда ему и попалась брошюра со сказками про Ленина, которую член Союза писателей с долгано-ненецкого языка переводил. Но разговор этот случился какое-то время спустя, а после дружного залпа в небо, дуэлянты побросали пистолеты и кинулись обниматься. Потом всей компанией поехали в ресторацию. Настасья Филипповна знала, чем закончится авантюра и заранее позаботилась о банкете.

Веселились, как приказчики или комсомольские работники. Тургенев, правда, сначала грустный сидел. Расстроился классик, что среди женщин спасительниц ни одной из его девушек не было.

Но кручинился недолго. Позвонил в Париж. Выпил фужер коньяка и пробормотал:

«Если не было, значит, будут – сама жизнь подсказывает и сюжеты, и героинь».

МОРАЛЬ

Во-первых – гений и злодейство несовместимы, но сколько гениев пригревало злодеев на своей груди.

Во-вторых – иная паршивая овца способна не только испортить стадо, но и уничтожить его.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

И в первой, и во второй истории сводились личные счеты, но случались противостояния и принципиального характера, революционные, можно сказать, когда новаторы боролись против устаревших традиций, мешающих развитию всего прогрессивного.

Пушкин и Маяковский

Осип Брик приревновал Маяковского к жене и решил избавиться от него. Но как? Нанять убийцу стоит больших денег. Драться с молодым и здоровым хулиганом – опасно для собственной жизни. И тогда он придумал, как убрать соперника чужими руками. Устроил дома вечеринку, и в присутствии жены своей Лилички, объявил, что Пушкин назвал себя самым сильным поэтом в России. Лиля моментально брови вскинула и к Маяковскому:

«Как это понимать, щеночек, ты же обещал мне, что сильнее тебя никого не будет?»

«И не будет», – ворчит Маяковский, но уверенности в голосе не хватает.

Брик это чувствует и не останавливается, сыплет цитатами из Пушкина. Лиличка – сплошные уши – и как бы невзначай на другой край дивана от Маяковского отодвинулась. У самого сильного поэта плечи обвисли и взор потух.

Кончилась вечеринка. Вышел Брик Маяковского проводить и говорит:

«А слабо тебе, Володичка, сбросить Пушкина с парохода. Честное литераторское, слабо».

Маяковский расхохотался своим басищем.

«Одной левой, – говорит, – через самые высокие поручни. Как котенка утоплю».

А Брик подзуживает:

«Ой боюсь, Володичка, ой боюсь, не совладаешь».

Довел до точки кипения, а расчет прост: одолеет Маяковский – посадят за убийство классика, одолеет Пушкин – утонет любовник жены, и семейный очаг сохранится. Беспроигрышная лотерея.

«Ваш удел бояться, а мой – светить всегда и везде», – припечатал Маяковский на прощание и ушел спать.

Припечатать-то припечатал, но за ночь поостыл, и сомнения появились – одолеет ли? Гигант все-таки. Страшновато один на один. Но литературной группировкой – можно. Пришлось выдумывать футуризм. Созвал друзей, объявил программу, в которой первым пунктом значилась акция против Пушкина. Бурлюк и Крученых сразу согласились, а Хлебников засмущался. Не приняла его душа такой расправы – непоэтова миссия поэта топить, эпиграмму написать – можно, с удовольствием даже, а топить – занятие критиков и жандармов. Маяковский Хлебникова ценил и решил схитрить.

«Да не будем мы его топить – говорит он, – просто разыграем, авось и приметит нас, как Державин».

Такая идея Хлебникову понравилась. Взяли они выпивки и отправились на пароход с литературной агитбригадой. По дороге в погребок винный спустились. Маяковский вокруг Хлебникова увивается, подливает ему и подливает. Потом на пристани в ресторацию заглянули. И в каюте продолжили. В каюте Хлебников и уснул. Они могли бы и без него управиться, но у Хлебникова была непорочная репутация и хотелось повязать товарища общим мокрым делом. На другой день, когда Хлебников проспался, они сказали, что именно он и столкнул Александра Сергеевича за борт.

А толкал сам Маяковский. Пока Бурлюк Пушкину зубы заговаривал, Крученых сзади подкрался и свернулся калачиком под ногами. Маяковский подошел с улыбочкой, представился и, не давая опомниться, руками в грудь... На пароходе музыка играла. Публика даже всплеска не услышала. А веселой троице понравилось, как падает классик, во вкус вошли, заодно и Достоевского с Толстым сбросили. Но с мыслителями им не повезло. Пароход уже на мели сидел. Так что и Федору Михайловичу, и Льву Николаевичу море по колено оказалось. Старички отделались насморком.

Властители дум чихают, критики в надежде на нечаянные откровения, возле них роятся. Наталья Николаевна с юным мичманом вальс-бостон танцует, а поэт оскорбленный один в открытом море со стихией борется.

Его спасли рыбаки и приютили у себя. Рассказал он простому народу, как племя молодое с ним обошлось, и заплакал народ, и повелел отомстить за поруганную честь.

Из троих Пушкин запомнил одного, самого длинного в желтой кофте, к тому же хулиган и фамилию назвал – он был главарем, ему и наказание нести. А как может наказать поэт своего обидчика? Только муками совести.

Отрастил Пушкин бороду, оделся в лохмотья и в таком вот босяцком обличии встретил Маяковского на проспекте. Тот как раз с Лилей прогуливался. Подходит к ним и канючит:

«Дай копеечку бедному утопленнику».

А Маяковский ему:

«Бог подаст», – Лиличку под руку и дальше вышагивает.

Пушкин квартал обегает и снова перед ними.

«Дай копеечку бедному утопленнику».

Маяковский снова к Богу отсылает. Это он перед публикой остротами сорил, как пьяный купец червонцами в кабаке. Так ведь не от щедрости купцы деньгами разбрасывались, а чтобы пыль пустить. И Маяковский следом за ними, с той лишь разницей, что пьяным никогда не был – все трезво, все с расчетом. Сорил шутками только там, где был уверен, что обязательно подберут и сохранят. А ради уличного оборванца какой резон напрягаться. Он даже и не понял, что перед ним один и тот же нищий.

И на третьем перекрестке все повторилось, как под копирку.

Целую неделю Пушкин возникал перед ним в самых неожиданных местах, а у Маяковского даже румянец не проступил, не говоря уже об угрызениях совести. Непрошибаемый товарищ. Знай, себе марширует: левой, левой, левой. Тогда Пушкин сбрил бороду, надел свой цилиндр, чтобы уж ни с кем не перепутали, проник ночью в дом Бриков и улегся в постель между Лиличкой и Маяковским. Надеялся на шок да просчитался. Маяковский глаз открыл, посмотрел на него и говорит:

«Что это вы, товарищ, в цилиндре лежите, помнете красивую вещицу, а новую в совдепии не купите», – зевнул, повернулся на другой бок и заснул, как ребенок.

Он заснул, а Лиличка проснулась. Увидела Пушкина, сгребла в охапку и в другую комнату. Три дня не отпускала от себя. Пушкин, разумеется, рыцарь, даму невниманием не обидит, но не за тем он в этом дом явился. Собрался уходить, а Лиличка Брика зовет, хочет его Пушкину представить, заботится о муженьке – когда еще выпадет ему возможность принять основоположника в собственной квартире. Брик в туалете перед зеркалом замешкался. Лилич-

ка за ним побежала, оставила Пушкина без присмотра, не ожидала, что поэт такой закомплексованный и постесняется с мужем знакомиться. Пока она бегала, Пушкин через окно и на бульвар.

А по бульвару как раз Белинский прогуливался.

«Здравствуйте, Александр Сергеевич, – говорит, – что это, батенька, глаза у вас так расширены и бледность нездоровая на лице?»

Пушкин сначала отшучивался, но Белинский, пользуясь его возбужденным состоянием, выведал о приключеньице и, поскольку считал себя умным человеком, сразу же посоветовал позвонить Маяковскому и сказать, что возлюбленная наставила ему рога.

Но разве мог настоящий поэт опуститься до подобного звонка. Он даже от мести решил отказаться после такого предложения. Ну и Белинскому, разумеется, выговорил. Критик перечить испугался, но как только поэт скрылся за углом, он сразу же к телефону-автомату и давай злорадствовать: как, мол, товарищ Маяковский, не чувствуете ли появления изящных рожек на вашей голове?

Маяковский потрогал темя и подтвердил, пусть и с удивлением, но без особой горечи. Тогда Белинский доложил, что автором этих украшений является Пушкин. А Маяковскому опять не больно.

«Не беда», – говорит, – сейчас бритву возьму и сбрею вместе с волосами, я давно хотел под Котовского подстричься».

Положил трубку, мыло развел, и, ни разу не порезавшись, смахнул с черепа всю растительность. Были рожки, и не стало их.

И не писать бы Пушкину «очей очарованье», и не радоваться бы звону бокалов с пуншем, будь он позлопамятней, на желчь бы изошел от мести неутоленной, потому как ни шпагой, ни смычком стены железобетонной не прошибить. Но гений – всегда гений. Пушкин взял и простил. Высморкался в кружевной платочек, бросил его в урну, а сам на лихача и к цыганам.

Приезжает в табор, а там Полонский. Не сказать, что большой поэт и хроменький к тому же, но человек душевный и праведный. У него тоже враг был по фамилии Минаев: то пасквиль на него напишет, то анонимку. Но когда Минаев угодил в тюрьму, Полонский первый за него заступился. Современные писаки на такое не способны. Они и в друга плюнуть не постесняются, если власти его осудят.

Пушкин Полонского уважал. Выпили они. Спели на два голоса «Мой костер в тумане светит». Выпили еще раз, Пушкин и говорит:

«Простил я его, Яша, какой с него спрос...» – и заказал еще по бутылке шампанского.

Полонский спорить не стал – с какой стати гению связываться с Маяковским. Но вступиться за товарища посчитал делом чести,

вернее, святым делом. Отвез пьяного Пушкина домой, а сам на том же извозчике, к племяннице своей Веронике Полонской. По дороге и сюжет придумал. Сказал юной актрисуле, что нашел для нее роль в синематографе, но для вживания в роль ей необходимо соблазнить Маяковского – нечто вроде кинопробы пройти. Воспитание у племянницы было строгое, но чего не сделаешь ради искусства. Спели они на два голоса «Мой костер в тумане светит», сели в авто и к Маяковскому. Полонский, разумеется, на улице остался.

Вошел через полтора часа. Парочка уже спала, на кровати разметавшись. И тогда Полонский взял и насикал между ними. Вероника проснулась в луже и визг на целый квартал подняла. И немудрено – у нее сроду таких любовников не было. Бьется в истерике, Маяковского по щекам хлещет. А тот мало того, что сдачи не дает, не защищается даже, только умоляет, чтобы никому не рассказывала. Завещание на ее имя сулится написать, гастроли в Америке организовать обещает... Полонская нос ладошкой зажала, духи требует, чтобы запах перебить. А духов у Маяковского нет, были два дня назад, но нагрянули среди ночи братья футуристы и выпили, только тройным одеколоном побрезговали. Маяковский предложил его Полонской, и вместо ответа получил новый приступ истерики. И тут, как назло, Катаев явился, на крики прибежал, он в те годы постоянно возле Маяковского прогуливался.

«Духи нужны?» – спрашивает, – сейчас мигом добуду», – а сам записную книжку достает, пометочки для будущих мемуаров занести.

Маяковский в крик на него и за маузер хватается. Катаев в окно выпрыгнул. Полонская в дверь выскочила...

А через пять минут дворник, два лиличкиных поклонника из Н.К.В.Д. и соседка услышали выстрел. Когда они вбежали в комнату – все было кончено. Маяковский лежал на полу. Кровать стояла без простыней и матраса. Куда они исчезли – ни дворник, ни сотрудники узнать не смогли.

МОРАЛЬ

Во-первых – можно написать поэму о вожде и заработать памятник, можно заставить народ протаптывать к нему тропу, но тропа эта все равно зарастет.

Во-вторых – в боксерских перчатках на скрипке не сыграешь.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

Говорить о столичной богеме можно бесконечно, однако для расширения кругозора сместимся в места ссылки опальных поэтов.

Лермонтов на Кавказе

Двадцать шесть бакинских комиссаров поймали поручика Лермонтова. Не случайно как-нибудь, не наобум, а специально выследили и выкрали по личному приказу товарища Сталина. Для подкупа денщика и найма черкешенки-соблазнительницы ссуду из партийной кассы получили. Денщику за ключи от входной двери заплатили одну тысячу рублей. А вторую тысячу прокутили, потому что черкешенку нашли в партийных рядах. Она еще до революции работала агитатором в одном из крупнейших гаремов. Дисциплинированная женщина с блеском сыграла маленькую, но яркую роль. Выполнила и ушла в глубокую тень. На сцене и в суфлерской остались одни мужчины, главные заинтересованные лица. И наиглавнейший, конечно, товарищ Сталин. Он, между прочим, стихи пописывал и как-то на досуге сочинил оду в честь себя. Для того ему Лермонтов и понадобился, чтобы перевести ее с грузинского на русский, достойно перевести, по-гениальному.

«Знаешь сколько поэтов кормится переводами с языков народов СССР? – спросил его Микоян. – Не знаешь, а я тебе скажу, что некоторые наши классики по десять переводчиков содержат в сытости и в почете. Но лучше тебя никто не сделает, сам товарищ Сталин так считает».

И Азизбеков с Фиолетовым подтвердили.

Лермонтов – поэт настоящий, он по заказу писать не привык. И офицер настоящий.

«Пардон, – говорит, – но переводить всякую белиберду я не намерен».

Микоян как взорвется:

«Ты каким это словом труды гения обозвал? В Магадан захотел?»

А Лермонтов и понятия не имеет, что такое Магадан, и переспросил:

«Пардон, во что?»

Микояну такой вопрос не понравился. Издевку в нем заподозрил и совсем в истерику впал. До того раскричался, что пена изо рта хлопьями пошла. Тут уже и Лермонтов не стерпел, не привык он, чтобы с ним подобным образом разговаривали. Зажал голову Микояна между коленей и давай хлестать его ножнами от сабли. Саму-то саблю у него загодя отобрали, а про ножны не подумали. Микоян верещит, а Лермонтов, знай, охаживает. Азизбеков с Фиолетовым еле отбили боевого товарища. Лермонтова под замок, и

пошли совещаться, как дальше быть – физическими пытками можно только признание выколотить, а оду переводить не заставишь, надо как-то морально придавить, но с какой стороны подступиться, ни один из двадцати шести не предложил. И решили для начала подержать поручика неделю на хлебе с водой, авось без каждодневного шампанского и сломается. Договаривались на недельный срок, но уже через два дня Азизбеков с Вазировым Мир Гасаном заявляются с целой сумкой выпивки и закуски. И заявляются ночью, тайком. Наливают Лермонтову шампанского огромный витой рог по края и говорят:

«Правильно делаешь, дарагой, что не переводишь эту глупую оду. Ты молодец, а Сталин человек непорядочный, да еще и грузин впридачу. А Микоян – армянин. Не пиши им никакой оды, а сочиника лучше поэму про Карабах. И напечатай, что Карабах – древняя азербайджанская земля. Ты человек уважаемый, не какой-нибудь Безыменский, и даже Фадеева главнее – тебе поверят».

«А зачем вам такая поэма?» – спрашивает Лермонтов.

«Да на всякий случай, дарагой, может быть, пригодится, что для тебя стоит маленькую поэму написать. Нам большую не надо, лишь бы имя твое стояло. И заметь, мы тебя не просим холуйский гимн сочинять, а поэму о народе просим. Народ тебе благодарен будет, Лермонтов-оглы».

У одного голос сахарный, у второго – медовый. Один шампанское подливает, другой в очи заглядывает. И отказать неудобно и лгать не хочется, потому как запамятовал, чей Карабах на самом деле, в школе-то прогульщиком был. Сидит, вспоминает, а комиссары обещаниями заваливают: и побег они устроят, и коня подарят, и черкешенок целый гарем приведут – совсем замучили.

«Ладно», – говорит Лермонтов, – подумаю, только без шампанского я думать не умею».

«Принесем, – кричат, – через пять минут принесем, у нас тут рядышком припрятано».

И принесли, правда не через пять минут, а через пятнадцать. Вроде и быстро, но обещали-то в три раза быстрей. Другой бы обратил внимание и сделал выводы, но не поэт.

Проводил одних комиссаров, лег отдохнуть, снова кто-то в дверь скребется. Открывает глаза, а на пороге другие. Шаумян с Петросяном пожаловали. Оказалось, что они весь разговор слышали, но признались в этом не сразу, а начали с извинений за поведение Микояна. Попросили не обижаться на него, потому что кричал он исключительно для конспирации, чтобы Азизбеков ничего не заподозрил.

«Ладно, – говорит Лермонтов, – я человек не злопамятный, давайте лучше выпьем, только оду переводить не уговаривайте».

А они и не собирались уговаривать.

«Графоманию пусть графоманы переводят, – успокаивает Шаумян. – Но пить азербайджанскую «бормотуху» мы не станем и тебе не советуем. Им же по Корану запрещается употреблять вино. Они его делают с единственной целью православных травить. Солнцев с Фиолетовым «Агдама» выпили и чуть было души аллаху не отдали. Если пить, так уж армянский коньяк».

И достает из галифе сначала одну бутылку, потом – вторую, за ней третью. Галифе такие вместительные, что в них и пол-ящика можно принести. Продегустировали коньячок, Шаумян и спрашивает:

«Извините, пожалуйста, но с какой стати вы обещали Азизбекову поэму про Карабах?»

«Я только подумать обещал», – чуть ли не оправдывается Лермонтов, одурманенный изысканным коньяком и неожиданной вежливостью.

«А тут и думать нечего, – это уже Петросян подключается. – Если бы вам турки такое заказали или англичане? Вы бы стали думать? Не стали бы. И здесь не следует. Мы не просим вас оду переводить. Мы вам добра желаем. Если вы ее переведете, Сталин вас незаметненько из школьной программы уберет и, спустя какое-то время заявит, что перевод сделал сам. Мы не просим вас писать в поэме, что Карабах был древней армянской землей. Вы просто обмолвитесь, что Карабах никогда не был азербайджанским, – выговорил и снова коньячку налил.

Ну, разве можно таким вежливым людям грубо отказать? И Лермонтов обещал подумать.

Поэт думает, а двадцать шесть бакинских комиссаров ждут. Один Микоян ждать не хочет. Обида спать не дает. Попробуй, усни, если тебя ножнами прилюдно отшлепали. Каждая пострадавшая клеточка организма требует мщения. Пошел он в библиотеку, взял поэму про опричника Кирибеевича и отнес этот исторический документ в местное ЧК. А там на данный момент работал Лаврентий Павлович Берия. Микоян бросает поэму на стол и предлагает ознакомиться с гнусным пасквилем. Берия сначала не понял, но Микоян пояснил:

«Под опричником Кирибеевичем он вывел чекиста и приписал ему болезненную страсть к чужим женам. Если товарищи прочитают – могут извращенно истолковать...»

И Берия задумался. И придумал, потому как человек был очень даже неглупый.

Кроме основной работы в ЧК, он еще и в белой контрразведке немного подрабатывал, на случай поражения революции. Связь держал через офицера по фамилии Мартынов. Ему-то он и предложил заработать медаль за спасение поручика Лермонтова из комиссарского плена. Мартынов был страшно честолюбив и достаточно смел. Но смелости для этой операции не потребовалось, ему даже понервничать не довелось. Часовых Берия убрал без его помощи. Герою оставалось зайти в незапертый каземат, донести до коня пьяного Лермонтова и под покровом темноты доскакать до ущелья, где их поджидал эскадрон гусар летучих.

Как Берия спланировал, так и получилось.

Офицерское собрание по этому поводу устроило лихой пир. Ночь кутили, а наутро Лаврентий Павлович возьми да шепни Мартынову, что Лермонтов в благодарность за все хорошее обозвал спасителя своего жидовской мордой. Мартынов аж побелел от такой неблагодарности и – в крик:

«С какой стати?»

А Берия простачком прикидывается: не знаю, мол, наверное, потому, что отчество Соломонович.

«Русский я!» – кричит Мартынов.

Берия и не спорит.

«Конечно, ты русский и я грузин, это Лермонтов непонятно кто», – говорит, а сам как бы в рассеянности, пистолетом поигрывает.

А пьяного только направь. Мартынов хватанул стакан – и секундантов к Лермонтову.

Кто попал в поэта – похмельный Мартынов или снайпер, которого Берия за груду камней посадил – для истории не имеет значения. А для Мартынова – трагедия. Это теперь приноровились, угробят поэта и ничего... поживают, улыбаются журналистам, о чести рассуждают, особо наглые и сами в жертвенные одежды рядятся, тоже, мол, от режима пострадали, и попробуй напомни такому о его былых подвигах, мало того, что не покраснеет, так ведь еще и заступников свора сбежится. В те времена такие клейменые по пляжам не разгуливали, стеснялись. Спился офицерик, так и не вспомнив, из-за чего однополчанина на дуэль вызвал.

Одно слово двух человек убило.

Берия умел стравливать людей, и следы заметать умел. Концы не в воду, а в кровь прятал. Унюхал, что кто-то из комиссаров заподозрил его в связи с белой контрразведкой, и не мешкая придумал

для комиссаров экспедицию, которая по нелепой случайности напоролась на засаду, и все двадцать шесть оказались в английском плену. И только спустя много лет выяснилось, что Берия, так же как и Бухарин, был английским шпионом.

Но речь не о шпионе, а о Поэте.

МОРАЛЬ

Во-первых – если бы Лермонтов сделал перевод этой оды, сейчас бы о нем не говорили, потому как поэт, выполняющий заказы политиков, умирает вместе с политиками.

Во-вторых – поэт обязан быть национальным, но упаси его Бог связываться с националистами – используют и погубят.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

Теперь поговорим о славе.

Сталинская премия

Трудно медицинскому работнику получить государственную квартиру, но не труднее, чем писателю – Сталинскую премию. Эта очередь по сравнению с вашей и длиннее и запутаннее. Честно выстаивать никакой жизни не хватит. Литературную премию обыкновенными хлопотами не выхлопочешь, ее не заслужить, а выслужить надо, не только верность идеалам доказать, но и верность идеологам.

Про Герцена ты, конечно, не слышал. Но я тебя заверяю, что это человек с большими заслугами перед советской властью. Мужчина непьющий, в очередь на премию еще до революции записался. В России надо жить долго, и он дожил до премии. Но не получил. Худсовет проголосовал единогласно, а товарищ Сталин не утвердил. Кто-то капнул ему, что Герцен издал за границей запрещенный на родине журнал «Колокол» и, хуже того, сожительствовал с женой своего товарища Огарева, внучкой царского генерала. Худсовет узнал о резолюции товарища Сталина и срочно выехал полным составом в добровольную творческую командировку на строительство Беломорско-Балтийского канала. Поездка оказалась плодотворной. Членам особого отдела худсовета совершенно случайно попали в руки документы о политических связях Герцена в Лондоне и Париже. Досье привез местный оленевод, были у него в тайнике материалы и на Шульгина с Буниным, но пере-

дать их оленевод не успел, потому что заблудился в тундре и пропал вместе с портфелем. Худсовет дал телеграмму в Москву, и ему разрешили прервать командировку. Все обошлось малой кровью.

А премию в этой суматохе получил Демьян Бедный.

Присуждение многих удивило, и по салонам сразу же загуляла сплетенка, будто бы вредный Демьян и подпортил биографию Герцену. В каждой сплетне есть доля истины, но очень маленькая доля. Не один Демьян метил в лауреаты. Соискателей тьма и каждый мнит себя самым достойным, каждый надеется... Значит, и капнуть мог каждый. И жена каждого могла капнуть. И любовницы многочисленные – могли. Любовницы, между прочим, самые заинтересованные лица, они уверены, что вся настоящая поэзия принадлежит им. И они во многом правы. Но не во всем.

Это заявляет седьмая жена Есенина.

Поэзию создают четыре силы.

Первая – любовницы, они вдохновляют поэтов.

Вторая – неверные жены, они провоцируют на стихи.

Третья – верные жены, они заботятся о поэтах.

Четвертая – толпа, она воздвигает поэтам памятники и разрушает их.

Запомни это, санитар, но учти, что вторая сила и третья действуют поочередно.

Теперь вернемся к Бедному Демьяну.

Вышел он из Кремля с полным бумажником премиальных, с документом в кармане и медалью на груди. Поймал лихача и без лишних остановок – в кафе поэтов гасить надменные улыбки. Угодливых улыбок тоже хватало, даже с избытком. Мелкие поэтики на тротуар высыпали для встречи титулованной персоны. Кафе переполнено, но администраторы свое дело знают – столик для почетного гостя зарезервирован рядом с зеркалом, чтобы лауреат не бегал ежеминутно в туалет любоваться значком отличия на лацкане.

Бедный не успел шампанским отсалютовать, а к нему уже две пташки подсели: одна поклонница Безыменского, а вторая критика Ермилова любовница. Обе в кожаных куртках и в кожаных галифе – последний писк комсомольской моды. У одной голос писклявый, у второй басище, а в лицо заглядывают с одинаковой готовностью. Мужчине с его внешностью, можно бы и растаять под их лучезарными взглядами, но Демьян ведь не просто мужчина, он себя еще и поэтом считал. Себя – настоящим, а Безыменского – не очень. Так что отбивать женщину у слабого не было смысла, славы это не прибавит. А с Ермиловым вообще лучше не связываться – удовольствия сомнительные, а неприятности гаранти-

рованные. Выпил залпом три бокала, оглядел зал и ни одной достойной гетеры не узрел. А торжество без женщины даже для политика не торжество.

И как вы думаете – куда он отправился? Не знаете? А могли бы, между прочим, и догадаться. Пора бы уже привыкать думать самостоятельно. Не первый урок слушаете.

Отправился он к самой Анне Снегиной.

Лихач в пригород ехать не хотел, кочевряжился, но Демьян умел объезжать лихачей. Подкатили с колокольцами и с песнями к самому крыльцу.

Встал он перед красавицей во всю свою ширь – грудь колесом, а на груди знак лауреата с портретом товарища Сталина.

«Принимай, красавица, поэта!» – с чувством говорит, с расстановкой.

А Снегина, между прочим, никогда красавицей не была. Дункан – тоже. Да я и сама насчет своей внешности не заблуждаюсь. Женская красота – понятие очень сложное. Бедный об этом догадывался, тонкостью не отличался, но в хитрости ему не откажешь. Подольстил женщине. Красива она или уродлива, его не беспокоило, для него было главным, что она принадлежит Есенину.

Снегина смотрит на незнакомца и всем своим видом показывает, что ничего понять не может. Она умела так смотреть.

«Какой же вы поэт?» – спрашивает она.

«Хороший поэт, – говорит Бедный, – сам товарищ Сталин признал меня лучшим. Взгляни, как блестит моя медаль!»

Снегина брови выгнула, губы в презрительную улыбку сложила и как бы с удивлением:

«Я вижу блестящую лысину, а настоящие поэты все кудрявые: и Пушкин, и Блок, и Есенин, и Паша Васильев, даже Пастернак с кудрями».

Бедный растерялся и папаху нахлобучил. А папаха каракулевая была.

«Так это же не ваши кудри, а бараньи», – говорит Снегина с наивным недоумением, она умела прикинуться наивненькой.

И добилась своего. Задела Бедного за живое.

«Но премия-то у меня Сталинская!» – кричит он.

И зря кричит, потому что на таких самовлюбленных женщин, как Снегина, повышать голос бесполезно, они сами леденеют от малейшего окрика и способны охладить любую горячность.

«Не знаю, – говорит, – за что дают Сталинскую премию, но я – премия Есенинская, и вам не получить меня никогда, разве что посмертно, если сумеете дожить до моей смерти и раскопать могилу».

Ей и на дверь указывать не пришлось. Бедный сам вылетел. Огляделся, а лихача уже нет. И пыль за ним улеглась, потому как приказа дожидаться не было, не предполагал лауреат, что его выставят. И пришлось добираться до столицы сначала на попутной кляче, потом в кузове грузовика.

Какие думы его терзали, пока глотал проселочную пыль, можно только догадываться, может быть, не самые веселые, однако возле особняка Анны Карениной бедняга не забыл похлопать по крыше кабины.

У мужиков, даже умных, очень примитивный взгляд на женскую психологию, они уверены, что дама, изменившая одному, обязательно изменит другому и так далее... Слава о Карениной гуляла по всей первопрестольной: сначала роман с офицером, потом с романистом Львом Толстым. Имя писателя знали многие, но Сталинской премии у него не было. Это и вдохновило Бедного.

Отряхнул он пыль с костюма и степенным шагом к парадному. А там охрана, потому как супруг у Карениной чуть ли не в совнаркоме служил. Краснорожий детина в бородище, в лампасах, пулеметными лентами перекрещенный, встал поперек дороги, а выражение на физиономии односмысленное, дескать, ходють тут всякие. Но Бедный не растерялся, сунул ему лауреатское удостоверение под нос. Охранник побледнел и встал по стойке «смирно».

«Пожалте, они уже в пеньюарах ожидают».

Бедный, как на крыльях влетел на второй этаж, потом в спальню, а удостоверение впереди него на вытянутой руке. Каренина приняла бумагу за пригласительный билет и спрашивает:

«Это от кого?»

«От товарища Сталина!»

«А что он хочет?» – удивляется Каренина.

«Да не он хочет. Я хочу! Любви твоей, красавица, желаю!» – и лапам волю дает.

Каренина от такой непосредственности – чуть ли не в обморок. Будь помоложе, непременно упала бы, но возраст выносливости выучил, а опыт закалил.

«Успокойтесь, голубчик, – говорит, – пока людей не позвала. Кто вы такой, чтобы любви моей добиваться?»

«Поэт! Лауреат Сталинской премии!» – и бумажник с премиальными достает.

Наверное, похвастаться хотел, что не беднее Льва Николаевича, да не учел, деревенщина неотесанная, что женщины с богатым прошлым ужасно мнительны. Хотя и неискушенной не понравится, если к ней в спальню ввалится лысый хам и, как последней про-

ститутке, будет совать бумажник под нос. Каренина визг подняла. Мигом появились охранники – и тот, что у дверей встречал, и неизвестный, загримированный под дворника.

«Спустите животное с лестницы, он мой дом с борделем перепутал», – прошептала Каренина и потянулась к пилюлям.

Охранники переглядываются, мешкают, помнят, какое удостоверение гость показывал. Каренина ножкой топает. И тогда, который под дворника, говорит, извините, мол, гражданин лауреат, но приказ есть приказ, мы люди подневольные. И спустили. Правда, с частичной вежливостью, так, чтобы синяков не видно было.

В голосе Карениной нечто магическое таилось. Упомянула она о борделе, и Бедный покорно захромал туда. Сначала помимо воли, потом понемногу успокоился, вспомнил литературные сплетни и решил, что бордель – не самое зазорное место для времяпрепровождения поэта. Распрямился, осанку принял, поступь подлинного лауреата. Чем ближе к заведению, тем явственнее видит себя в объятиях какой-нибудь блоковской незнакомки или даже – двух. Но не Бедным было писано: «Нас всех подстерегает случай...», потому и оказался неготовым к встрече.

Первым, кого он увидел в зале, был сам Александр Александрович. И занервничал, съежился Демьян, значок лауреатский под лацкан пиджака перевесил, как дружинник или шпик. Забился в угол мышоночком и ждет, втайне надеясь, что обратят внимание.

Не обратили.

И только после ухода Блока осмелился шевельнуться, и голос подать. Видит, девица через столик сидит, тоже испуганная, а по возрасту совсем ребенок, поманил пальцем. Подошла. Деньги протянул. Глаза потупила, но взяла, и поблагодарить не забыла.

Прошли в кабинет и, только повернув ключ на два оборота, вдохнул Демьян воздух полной грудью и выдохнул, не стесняясь.

«Да знаешь ли ты, – спрашивает, – кто тебя облагодетельствовал? Самый великий поэт! Лауреат Сталинской премии!»

Глядит на нее и наслаждается эффектом неожиданности, видит, что у цыпленка ужас в глазах. Улыбнулся, чтобы не умерла от страха, подбодрил. А цыпленок возьми да и возрази:

«Неправда ваша. Не может такого случиться, чтобы вы были самым великим, потому как самым великим являются Федор Михайлович. Не к лицу вам такие шутки».

«Да кто тебе такое сказал?– возмущается Демьян, – и кто ты, собственно, такая?»

Бедняжка вроде и трясется, и голосочек еле слышен, но жалости к толстому господину намного больше, чем страха перед ним.

«Мармеладова я, Сонечка. А барин Федор Михайлович мне ничего не говорили, это я потом от разных людей узнала, а вам-то зачем сердиться, такой приличный с виду господин».

Демьян ушам своим не верит – не хватало, чтобы в такой торжественный день какая-то проститутка ему выговаривала.

«Да кто он такой, твой Достоевский? Его даже в школе не проходят. Игрочишка припадочный. Еще неизвестно, за что он срок получил!»

А Сонечка на своем стоит.

«Нет уж, – лепечет, – теперь я и денег у вас взять не могу, а остаться с вами и подавно, не ровен час, Федор Михайлович узнают».

И лопнуло терпенье лауреата. Схватил он графин со стола и – в Сонечку. Промахнулся, разумеется, где уж попасть в такую крошечную, когда руки трясутся. Но грохоту – на все заведение. А порядок в борделе, известное дело, строгий. Бордель – не редакция журнала. Не успел он стулом замахнуться, а в дверях уже два молодца в спортивных костюмах. Скрутили и – в подшефный участок.

А там все оказалось ко двору – и значок лауреатский, и диплом, и бумажник с премиальными. Милиционеры, в отличие от собратьев по перу, понимают, что если у человека премия, значит он поэт настоящий, коли назначили, значит за дело. Извинились перед Демьяном Батьковичем, коньячком угостили для снятия душевного напряжения, потом извинились еще раз и попросили задержаться. Пока допивал коньяк с начальником, младшие чины привезли три пачки его сочинений. После раздачи автографов, поэта попросили поделиться творческими планами и высказать свое мнение о порочной связи хулиганствующего поэта Есенина с иностранной танцовщицей. Угадали стражи порядка с вопросом. Излил Демьян свою душу. Все высказал. И слушатели нашли, чем отблагодарить поэта. Хор бывших беспризорников исполнил для автора песню: «Как родная меня мать провожала». Творческая встреча затянулась. Далеко заполночь растроганного лауреата с почетом отвезли к супруге, не забыв по дороге купить цветов на свои деньги.

МОРАЛЬ

Во-первых – никакой царь не способен дать поэту больше, чем он получил от Бога.

Во-вторых – случайная премия, как случайная связь, чревата самыми неожиданными последствиями.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

Тема власти неисчерпаема, так что попробуем посмотреть на другую ситуацию и других поэтов.

Блок, Ахматова и другие

Царю Николаю изменила балерина Кшесинская.

Когда женщина изменяет мужчине, виноват мужчина, всегда, в любом случае, при любых обстоятельствах. Любая измена вынуждена. Слабым изменяют от безысходной тоски, а царям и тиранам – от безрассудной смелости. Перепуганные женщины иногда бывают отчаянно смелы.

Девятого января, в кровавое воскресенье, Кшесинская дурно отозвалась о попе Гапоне. Уязвленный царь хотел застрелить ее, и балерина ответила ему изменой. Странное создание – мужчина, сначала толкает женщину в пропасть, а потом начинает плакаться, что она оставила его ради свободного полета. И совсем неважно – волком он воет или зайцем верещит, охает и вздыхает или зубами скрежещет, сдерживая рыдания – методы у всех разные, в зависимости от характера, а цель одна – вызвать сочувствие, добиться, чтобы пожалели. И добиваются.

Услышали поэты о коварной измене вероломной балерины и решили пожалеть бедного царя, выразить соболезнование через литературный орган. Кому первому пришла в голову проникновенная идея – неизвестно. Может быть – Брюсову, может – Маяковскому, а может, и Семену Бабаевскому – все они в то время на литературных постах восседали. Но именно они сочинили втроем душещипательный текст, поставили свои подписи и отдали машинистке. А у той была одновременная любовь с Кирсановым и Асеевым. Утром, чуть свет, братья поэты ввалились в квартиру Брюсова. Кирсанов пообещал отрубить собственную руку, которая здоровалась с Маяковским. Но Асеев юлить не стал и суть претензий высказал в лоб: как же, мол, так, хотели тайком от коллектива выразить соболезнования, пользуетесь служебным положением, нет уж, и нас включайте, иначе хуже будет. Почему и откуда грядут осложнения, они объяснять не стали, но Брюсов сам догадался и вынужден был разрешить подписаться всем желающим. А заодно и нежелающих выявить. Нежелающих почти не нашлось. Даже Есенин мой слабость проявил. Правда, у него причина была. Не страх его рукой водил, а самолюбие уязвленное – Зинаида Райх от него ушла, вот и взыграла обида на женщин вообще и на актрис в частности.

Поэтических автографов две страницы набралось. Всех перечислять долго, но если потребуется, список всегда можно поднять, это не трудно. И все же некоторые ухитрились увильнуть: один в больницу лег, другой в командировке отсиделся, третий – в деревне у больной матери первой жены… Впрямую отказались только Ахматова и Блок. Ахматова – дама с амбициями, руки на груди скрестила и высказала, поглядывая с высокого крыльца:

«Я знаю единственного царя Николая, это мой муж Николай Гумилев, и Кшесинская изменить ему не могла, потому как изменяют только близким, а он ее не приближал».

От Ахматовой обиженный Брюсов побежал к Блоку, до того разнервничался, что даже сюртук расстегнул. Блок его еле узнал.

«Что с вами, Валерий Яковлевич?» – удивился он.

Брюсов на кресло упал, слова вымолвить не может. Блок ему воды несет. Выпил. Водки попросил.

«Да что случилось?» – допытывается Блок.

«Балерина Кшесинская царю изменила, неужели не слышали?»

«Ну и что, – говорит Блок, – она не в моем вкусе».

Голос у Блока ленивый, ему сразу скучно стало. А Брюсова это бесит, несолидно смотрится он на фоне благородной блоковской лени, а совладать с собой не может.

«Да как вы не понимаете, – кричит, – неужели вам его не жалко? Я с братьями по цеху сочинил ноту соболезнования, завтра она будет напечатана в «Литературной газете», осталось получить вашу подпись».

«Насколько мне известно, он стрелял в нее», – говорит Блок.

«Неправда!» – кричит Брюсов.

«Как же неправда, если об этом все говорят», – тем же ленивым голосом возражает Блок.

«Сплетни, будто не знаете, как любят у нас посплетничать, а если и было… он царь, он волен», – Брюсов уверен, что Блок прикидывается блаженным, чтобы его в неприглядном виде выставить, уверен, что над ним издеваются, а сделать ничего не может.

А Блок действительно не понимает, с какой стати знаменитый символист о каком-то царе печется.

«Не буду я подписывать ваше послание, не для того я поэтом рожден, чтобы министрам и лакеям уподобляться».

Запугивать и высказывать все, что думает о собрате, Брюсов не решился, но дверью хлопнул весьма красноречиво. Ушел, оставив Блока недоумевать.

Соболезнование поместили на первой полосе, чтобы не занимать слишком много места, список подписантов напечатали мелким шрифтом.

Два дня спустя газета попалась на глаза одному очень хорошему поэту. Увидел он длинный список, а своей фамилии в нем не нашел и, поскольку был в состоянии похмельной депрессии, сильно испугался. Спрятал он газету в укромное место, чтобы жена не увидела, и побежал на почту, потому что в пригороде отдыхал. Отбил впопыхах телеграмму с единоличной нотой, а когда вернулся к отдыху – загрустил. Засомневался – достойный ли поступок совершил. Настоящий поэт не застрахован от ошибок, но, в отличие от ненастоящего поэта, у него привередливая совесть, до сумасшествия может извести. А поэт, я повторюсь, очень хороший был, потому и фамилию не называю, не хочу лишний раз его душу тревожить. Засомневался поэт, водки принес, сидит, переживает. Список под письмом перечитал и заметил, что Блока в нем нет. Совсем тошно стало. Выпил для храбрости и снова на почту. Вторую телеграмму отбил, чтобы не печатали его ноту.

А в газете рассудили по-своему: первую телеграмму опубликовали, вторую – отнесли кому следует. Но поэт об этом не знал, он прямо с почты отправился на электричку и уже с вокзала прямой дорогой к Блоку в публичный дом – каяться. Александр Александрович – человек тончайшей души, он все понял, простил и успокоил.

Но те, кому попала вторая телеграмма, сделали так, чтобы поэта перестали печатать. Никаких официальных гонений – перестали и все, молчок, тишина, как будто его не существует. В провинции даже слушок родился, будто он умер. Но поэт жил. Его бросила жена, однако другая самоотверженная женщина нашла его, и они уединились на даче, выращивали розы и почти не выезжали в свет.

Потом царя свергли. Поклонники поэта, а их было немало, особенно среди прозаиков, попробовали воскресить былую и заслуженную славу. Вечер, устроенный в его честь, прошел с большим успехом. Было много хвалебных рецензий, но следом за ними появилась статья о телеграмме с персональной нотой соболезнования царю. Потом другие статьи. Не все, но многие из подписантов подняли крик, что их загнали в угол и заставили, а поэт сделал это добровольно.

Оправдываться перед кем-либо он не счел нужным, но вынести карканья не смог. Так и угас.

МОРАЛЬ

Во-первых – поэт не должен приближаться к царскому двору, дворцовые решетки для него страшнее тюремных.

Во-вторых – нет ничего губительнее для поэта, чем стадное чувство.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

Хотелось бы закончить разговоры о власти, но слишком уж многолика она, многорука и многоязыка.

Другая Анна

Если честно признаться, Ахматову я недолюбливаю. И не только моя бабья ревность виновата. Сама она тоже хороша. Кто ей дал право обзывать Есенина московским Надсоном? И вообще – смотреть на него свысока? И все характерец ее. Ну, как же – царица. Она и с Гумилевым-то обращалась, как с последним графоманом. Корней Иванович рассказывал, что при каждом удобном случае заявляла, что пишет стихи лучше, чем он. А удобных случаев у самовлюбленной женщины, как пятниц на неделе. Писать лучше Гумилева достижение не великое, десятки поэтов могут похвастаться, даже Маяковский с Брюсовым, но нельзя же тыкать этим в лицо, это даже обиднее чем намеки о несостоятельности в постели. Оскорбительно и неблагодарно. Если прислушаться к ее славе, то половина, если не больше, приходится на долю Гумилева. На двойной тяге эта колесница, как на крыльях летела. В одиночку не каждый догонит. Анненский – посерьезней поэт был, а где его слава? Кто знает его кроме узких специалистов?

Грех так говорить, но Бог свидетель – не ради красного словца, а только ради истины – самое гениальное творение Гумилева, это его смерть. В ней он поднялся до Пушкинских высот. Красиво ушел, как великий поэт и как настоящий мужчина. Себе славу обеспечил и бывшей жене помог. Никто и не вспомнил, что они уже давно в разводе. Единственной наследницей славы стала Ахматова. И надо отдать должное – не промотала на смазливых выскочек, сумела распорядиться достойно. Сберегла и приумножила. Умела себя держать. На людях не сутулилась. Марине бы у нее поучиться. Кого угодно спроси – может он представить, чтобы Ахматова работала посудомойкой? Даже Достоевский, в самом кошмарном сне, подобного увидеть не смог бы. А Марина выпрашивала эту высо-

копрестижную должность. Гениальная Цветаева! Единственный поэт в двадцатом веке, которого можно поставить рядом с Блоком и Есениным. Но в этой компании могла оказаться еще одна женщина – Аннушка Баркова.

Могла... да не дали. Но уж постарались. И лаской, и указкой. И пляской, и тряской. И холодом, и голодом. Когда поняли, что голос приручить не смогут, делали все, чтобы он пропал. А голос, назло им, закалился. Правда, хрипловатым стал, так ведь и песни у нее не оперные были, не для колоратурного сопрано. Камерная музыка в России – понятие не однозначное. Били, да не добились.

Какое-то проклятие над всем ее родом висело. Прадед, Иван Семенович, какой талантище был! Сам Пушкин его учителем называл. Но растерял талант по кабакам и чужим постелям. Аннушка, правда, к его славе не примазывалась. Говорила, что они всегонавсего однофамильцы, как Толстые, например. На воле скрывала родство с отцом русской поэзии, но на допросах не отреклась, с гордостью заявила, что является прямой наследницей автора антисоветской поэмы «Лука Мудищев». За нее первой срок и схлопотала в одна тысяча девятьсот тридцать четвертом году от рождества Христова. Проходила по делу как поповна. Прадеда объявили, создателем новой религии, а правнучку – проповедницей ее.

Дали первый срок, но не отстали. У мужланов из органов психология примитивная, для них первый срок нечто – типа первой ночи, думают, если один жлобина девственности лишил, значит и другим в очередь становиться можно.

Один срок отсидела, на другой определили. Время уходит. Имя под строжайшим запретом. А слава, как черенок лопаты тускнеет без постоянной полировки. В пятьдесят шестом возвращалась из неласковых мест одним поездом со Смеляковым. Ярослава Васильевича почитатели на перроне ждут, не дождутся. Ватник с плеч стаскивают и под колеса. Поэта обряжают в кожаную комиссарскую куртку. Матерый Луконин, Евтушенко молоденький... Один стакан коньяку протягивает, другой – крендель копченой колбасы. Изголодавшийся лагерник закусить не успел, а поклонники уже требуют, чтобы новую поэму читал. Прознали, что классик сочинил в зоне про комсомольскую любовь. Сколько ни вышибали из него высокие чувства, сколько ни вытравливали сторожевыми псами, упрямый поэт сохранил верность идеалам молодости, всем назло донес их до Новодевичьего кладбища.

Аннушка такой верности понять не могла. Потому и стояла на перроне одинешенька. И шубу, чтобы из ватника выпростаться, никто ей не привез. И коньячку с колбаской не поднесли. И стихи

новые читать не упрашивали. Да и попробовала бы прочесть – в том же ватничке назад бы и снарядили, не дав передохнуть после длинной дороги из казенного дома. А маленькая передышка даже ей требовалась.

Приехала на трамвае ко мне. Выпили водки, закусили килькой, на рубль сто голов. А потом уже были стихи. Да какие! Оскорбленную женщину до комсомольских соплей унизиться не заставили... Пока она отсыпалась, мы с подругой перепечатывали. Машинка плохонькая. Четвертый экземпляр почти слепой, а хотелось порадовать не четырех человек. Старались не жалея пальцев. Утром побежали показывать стихи хорошим людям. Господи, какими наивными дурехами были. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Но получилось, что и очевидное видят не все. Оказалось, что иные хорошие люди, не для каждого хороши. Я не говорю про угол, который мы пытались найти для Аннушки, с этим все объяснимо, одни рады бы помочь да нечем, у других – есть, чем да обстоятельства мешают, как тому танцору половые органы, людей тоже можно понять, ведь не Валентину Терешкову после героического полета на квартиру устраивали. Я про стихи говорю. Мы даже растерялись. Почему? За что такое пренебрежение? И выразительнее всех кривили губы поклонники Ахматовой. Царица даже в опале не растеряла своей свиты, всегда в окружении челяди, заглядывающей в рот.

Понасмотрелась я на эти добровольческие бригады, презабавнейший народец. Каждый сам по себе ничего не стоит, а важности на десятерых гениев. Будто не они прислуживают, а – им. Весело наблюдать, как обнимаются, презирая друг друга, но стоит ли об этом говорить, когда иные добровольцы и кумира-то своего ненавидят. Может медицина знает, чем подобное объяснить? Никто не заставляет играть лакейскую роль, никто не держит, а не уходят. Видимо существует какое-то силовое поле. Человек зарекается: все мол, ноги моей там не будет, а через неделю ползет, как пьяница в кабак. Такой вот своеобразный алкоголизм. И мнительны хуже алкоголиков, и ревнивы. Они-то уж знают цену объедкам чужой славы и лишний рот для них больше чем лишний, и больше чем рот.

Вакансий в этих бригадах почти не бывает, все роли разобраны: и кравчий, и стряпчий, и секретарь, и курьер – каждый на своем заслуженном месте. Постороннему человеку между ними не втиснуться, разве что с дефицитным в этих кругах талантом слесаря сантехника. А в самых недрах всегда есть личность с, мягко говоря, секретной миссией. Случается, что и тайные обязанности свои выполняет она без особого энтузиазма и того, к кому пристав-

лена, больше прикрывает чем закладывает. Но в организации, перед которой отчет держать приходится, простаков не очень много. На голой туфте их не объедешь. Кое-какую информацию сдавать все равно вынуждены. Хозяина жалко, но к хозяйским гостям у прислуги отношение всякое может быть. Потом детишки стукачей будут доказывать в красивых мемуарах, каким бескорыстным и верным поклонником был их папаша, попутно разоблачая другого нехорошего человека, и веские доводы приводить, убедительные и неоспоримые. А зачем их оспаривать? Вполне вероятно, что и папаша и тот «нехороший человек» не подозревая друг друга, занимались общим делом параллельно. В окружение такого знаменитого и влиятельного поэта можно и двух и трех агентов отрядить, организация-то серьезная и недостатка в кадрах не испытывала. В общем, тройной заслон из поклонников и каждой твари по паре.

Мы с подругой в их компанию не напрашивались. И все равно – в штыки. Обнюхивали, как сторожевые собаки – кто такие, мол, и что за интерес у вас к Анне Андреевне. Объясняем, что принесли прекрасные стихи поэтессы только что вернувшейся после второго срока. И снова неприличные вопросы: «За что сидела? Может авантюристка? Может рецидивистка?» – не сразу и разберешь, кто тебя расспрашивает: люди из органов или поклонники поэтессы. Как будто не знают, за какие грехи поэтов арестовывают. А со стихами еще суровее: «С чего вы решили, что это настоящее? Вы что знаете, как гения от графомана отличить? Кто дал вам право судить?» – отчитали, как гимназисток. О встрече с самой Ахматовой даже и разговаривать не стали, но стихи обещали передать, правда, тут же оговорились, что ничего не гарантируют, как будто Баркова нуждалась в их гарантиях. Передали стихи или утаили – не знаю, но в окололитературных кругах пошли разговорчики, что какая-то другая Анна надумала мериться ростом с настоящей. Возмущались, негодовали, крутили пальцем у виска. В общем, создавали атмосферу.

Сама Баркова никого на соцсоревнование не вызывала, не до этого было. Одно желание – отогреться. Давно лишенная наивности, понимала, что московское солнце для приезжего не расщедрится, да после северного и косого лучика рад будешь, особенно в первые дни. Только дней этих выпало совсем чуть-чуть. У Анны Андреевны мигрень разыгралась, в депрессию впала царица. Свита отнесла это на счет Барковой. Подсуетились заинтересованные люди, похлопотали по своим скрытым каналам, и двукратной лагернице пришлось срочно эвакуироваться в удаленную от литера-

турного фронта провинцию. Ахматова к той возне, разумеется, не имела никакого отношения. А если бы нечаянно узнала, что помимо воли усложнила жизнь Барковой – страшно представить, что бы с ней случилось. Самое грустное, что и челядь перепутала жертву. Царица пребывала в дурном настроении совсем по другой причине. Прочла мемуары Георгия Иванова и очень кривым показалось ей это зеркало. Неужели не догадывалась, что прямых мемуарных зеркал в природе не существует? Конечно, догадывалась, но предпочитала, чтобы кривизна была в другую сторону.

Когда посягнувшая на трон исчезла из виду, довольная свита позволила себе расслабиться и поинтересоваться у царицы: не слыхала ли она о поэтессе Барковой. Ахматова, разумеется, слышала. Даже помнила, что лет тридцать-сорок назад девочке пророчили будущее первой российской поэтессы, с чем она, естественно, не соглашалась и время показало, что была права, потому как о Барковой давно забыли. Свита не стала ее разубеждать, но упоминание о том, что кому-то там непонятно на каком основании пытались примерить чужую корону, приняли к сведению. Получилось, что не зря подозревали. И старались не зря.

Камень был брошен. Круги по воде шли. А еще Козьма Прутков говаривал, о смысле бросания камешков и расходящихся при этом кругов...

И отправилась Аннушка Баркова на Север по третьему разу. Слух об этом дошел и до Ахматовой. Усмехнулась царица и молвила: «Что же они, олухи, своими руками девчонке героическую биографию делают». И привела свою свиту в уныние. Вроде и не их стараниями накрутили поэтессе третий срок, а все равно обидно, что для какой-то Барковой государство делает больше, чем для их царицы.

МОРАЛЬ

Во-первых – псари всегда коварней чем цари.

Во-вторых – нет ничего опаснее ранней славы. Слишком много желающих ниспровергнуть ее.

В-третьих – спасти поэтессу не может никто. Кроме себя самой надеяться ей не на кого.

Много прекрасных поэтов сгубило литературное начальство: одних – кухонное, других – конторское, но случалось и обратное.

Платонов и Фадеев

Не все начальники одинаковы, среди них встречаются и порядочные люди. Я про Фадеева расскажу. Вернейший, надежнейший человек, а роста какого, и блондин к тому же. А как он за братьев своих меньших переживал. Особенно за Андрея Платонова. Чем-то он его приворожил. Впрочем, ясно, чем – кудесник, он хоть и прозой писал, но заковыристей любого поэта, не считая Есенина, конечно. А Фадеев знал толк в мастерстве, увидел раз и уже до самой смерти оторваться не мог, ни шага без внимания не оставил. Да разве от наших гениев благодарности дождешься?

Друг Платонова, Пильняк, не такой гений, но тоже оболтус порядочный, задумал книгу про Фрунзе написать, а службы военной не знал. Надо бы с красным командиром поговорить, да разве к нему подступишься. Фадеев узнал про его беду и решил помочь. Да как поможешь, если Фрунзе этот ему не подчиняется. Но безвыходных положений для человека с головой не бывает. А у Фадеева голова была, что Дом Советов, не даром же с молодых лет в начальниках ходил. Нельзя Фрунзе привлечь, значит, надо замену обеспечить. Незаменимых у нас нет. Котовского взять, он даже лучше. Он про войну куда веселее рассказать сможет. Приказал он вызвать Котовского. Трех гонцов по разным адресам послал, но оказалось, что легендарный комбриг уже погиб. Другой бы развел руки и отправил Пильняка в музей, архивную пыль глотать, но не Фадеев. Ответственный работник потому и пост высокий занимает, что ответственно к делу относится. Позвонил Платонову и говорит:

«Не посоветуешь ли, Андрей, кого из военных к твоему другу Пильняку в консультанты подослать?»

А тот, не задумываясь, предлагает Дениса Давыдова. Фадеев аж за голову схватился, как это он лично не догадался, – свой брат, партизан, войну изнутри знает, а не по штабным сводкам. Между прочим, Фадеев собственноручно в Сучане партизанил. Поблагодарил он Платонова и, не отходя от кассы, выписал аванс для старого рубаки и велел секретарю срочно заключить договор. Потом дела государственные отвлекли. А привлекли, когда шум об этой повести пошел. Прочитал он, что Пильняк со слов Давыдова про Фрунзе насочинял, и запил с досады. А секретарь его, дошлый, тем временем с биографией так называемого партизана, разобрался и доложил Фадееву, что Давыдов Д.В. в царской армии дослужился до генерала и, хуже того, принимал активное участие в разгроме польской революции, ладно бы венгров или чехов, а то земля-

ков самого Феликса Эдмундовича отучал свободу любить. От такого известия вмиг протрезвеешь. Подвел его Платонов. Хорошо еще не под вышку. Другой бы зло затаил. А Фадеев – человек государственный, понимал, что гений – это национальное достояние. Его не травить, а спасать надо. И спас, отправил подальше от скандала, в деревню за впечатлениями для книги о колхозной жизни. Тема прогрессивная, из-под семнадцатого года ничего не выползет. А Платонову – какая разница, о чем писать, он и про пепельницу такую оптимистическую трагедию закрутит, Лев Толстой позавидует, не говоря уже об Алексее. Да тут еще свежий воздух и натуральное молоко. Вместо одной книги он целых две сочинил. Привез их Фадееву, а тому читать некогда – срочное совещание в Кремле. Посмотрел заголовок: «Чевенгур» – слово непонятное, а «Впрок» – лучше не придумаешь. Колхозы для советской власти не могут быть не впрок. Отдал в журнал, не читая.

И снова подвел его Платонов, да так, что с товарищем Сталиным ругаться пришлось. Крепко ругались. Если бы оба южанами были, без крови не обошлось бы. Но Фадеев мужчина выдержанный. Успокоил. Он и Платонова простил, но чтобы тот впредь не нарывался на неприятности, Фадеев запретил его печатать во всех журналах и даже в районных газетах. Говорю же, заботливый был. Не мог позволить, чтобы великий писатель пропал из-за пустяка.

И не печатали аж до самой войны. Потом, конечно, пришлось. Жизнь заставила. Не мог же он отдыхать, когда в стране даже дети у станков стоят, а воры, тунеядцы и прочие деклассированные элементы собрались в специальные батальоны и сражаются на передовой вместе с доблестными генералами. Воюют с врагом, а между боями срок досиживают. Все при деле, один Платонов, как барин.

«Извини, – говорит Фадеев, – но придется и тебе потрудиться, а то перед общественностью неудобно, чего доброго, сплетни пойдут, что мои любимчики прячутся за широкой спиной советской власти, пользуются особым вниманием видных партийных деятелей культуры».

Пристыдил гения, и Платонов отправился работать во фронтовую газету. Но опять какую-то правду написал. Злые люди говорили, будто бы специально ее придумал, чтобы снова не печататься, но мне кажется, это нечаянно получилось, по инерции. Однако товарищу Сталину передали информацию в самом неприглядном виде и в самый неудобный момент. Вождь после победы над Гитлером совсем зазнался, силу почувствовал, ему даже Фадеев не советчик стал. Головокруженье от успехов. Все его хвалят, гимны поют, а Платонов про каких-то несчастных солдатиков пишет. Вызыва-

ет он Фадеева и задает вопрос: не слишком ли раздухарился этот гений, чего доброго – снова котлованы свои с чевенгурами в журналы потащит. Фадеев, мужик грамотный, слышал, что победителей не судят, и решил выждать, когда остынет генералиссимус после победы. А Платонова пока в тенек, чтобы глаза не мозолил. Ждет, пождет, а Сталин не остывает, вроде и возраст солидный, и глаз попритух, а все равно пыхтит так, что искры из ноздрей летят. Но и Фадеев не прост. Взял и определил Платонова в дворники. Лучшей должности не придумаешь, из рабочих у нас и в партию легче вступить и напечататься проще. Выдали Платонову фартук, новенькую метлу и площадку не самую худшую выделили, в центре города, во дворе литературного института имени Горького. Идет как-то Фадеев на подрастающие кадры посмотреть, отобрать, кого в первую очередь издавать, а кого в последнюю. Идет и видит: Платонов на лавочке сидит. Ну, как мимо пройти и помощь не оказать. Порылся в карманах, а там всего четвертак. Государственному человеку в карманных деньгах нужды нет. Хорошо еще четвертак завалялся.

«На, – говорит, – Андрей, выпей немножко».

А у Платонова как раз метла поломалась, не в духе был.

«Пей, – говорит, – сам».

Вроде и простенько сказал, но в самую точку. Умел нужное слово подобрать. Запил Фадеев. А Платонов и на этом не остановился. Мало – верное слово найти, так он еще и собственной судьбой решил это слово усилить. Взял и умер. Ему хорошо, а Фадеев живет и гадает:

«Почему он тогда не в настроении был, какие мировые проблемы его мучили? Какие личные обиды?»

Пять лет думал, от бессонницы извелся, желудок испортил и нервы измочалил. И все-таки понял. Не четвертак надо было предлагать, а талоны на молоко, за вредность. И так ему стыдно стало за свою ошибку. И не исправить, и не извиниться. В таких случаях настоящему мужчине остается один выход – пулю в сердце. Вот он и выстрелил.

И все Платонов – при жизни изводил и после смерти в покое не оставил. Загнал человека в могилу, а ему бы жить да жить и делами добрыми людей радовать.

МОРАЛЬ

Во-первых – нельзя поэту рваться к власти, потому что, став приказчиком, он перестает быть рассказчиком.

Во-вторых – если нечего сказать, всегда есть возможность достойно уйти из литературы.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

А вот еще одна история о прозаике, вернее, о прозе, которую можно поставить в один ряд с лучшими стихами.

.

Поиски автора «Тихого Дона»

Товарищу Сталину пришло письмо от группы литературных деятелей. В нем сигнализировалось, что некто Шолохов издал роман под названием «Тихий Дон», который сам написать категорически не мог по причине малого возраста и низкого образовательного уровня, но, тем не менее, дерзкий мальчишка бесстыдно пользуется народной любовью и сопутствующими оной моральными и материальными благами.

Товарищ Сталин вызвал на ковер Лаврентия Павловича Берию и велел разобраться с Шолоховым и, на всякий случай, с теми, кто сигнализировал. Для начала работы дал под расписку копию документа, а оригинал подшил в свой личный архив.

Берия, человек трудолюбивый, но очень занятой. Молодая республика Советов была опутана невидимой шпионской сетью, нашпигована вредителями и саботажниками, предстояла большая работа по распутыванию, выявлению и обезвреживанию – дел по горло, только успевай петли затягивать. Да и сам, по старой памяти, подшпионивал немного, отрабатывал авансы и долги. Не до литературных романов было. Музы молчат, когда гремят диверсионные взрывы и полыхают кулацкие пожары. Поэтому он перепоручил дело Генриху Ягоде, мужчине образованному и личному другу многих знаменитых мастеров культуры. Перепоручил личным распоряжением, а копию письма оставил себе, надеясь в свободное время потолковать с авторами письма, подозревая, что некоторые из них наделены обостренным чувством зависти и немалым самомнением, из чего можно извлечь определенную пользу для других дел.

Для Ягоды поручение было тоже не ко времени. У него вовсю бушевал роман с женой известного писателя, пожелавшей остаться неизвестной. Я догадываюсь, какая из женщин устроила пожар в его сердце, но из цеховой солидарности промолчу, уважая желание коллеги. И вообще – сплетничать неприлично. Ягода вызвал своего помощника, изложил суть вопроса и велел докладывать о результатах каждый понедельник. Сотрудник был старательный,

но в литературной кухне разбирался намного слабее, нежели в ресторанной. Из наставлений начальника он твердо усвоил, как ему показалось, главное – если заявка на поиски автора пришла в их ведомство, значит роман антисоветский и написать его мог только грамотный человек. Если бы его пьяного подняли среди ночи из постели внештатницы и спросили первое правило борьбы с вредителями государства он бы, не задумываясь, выложил – нет места темнее чем под светильником, этому его учил Берия, но он догадывался из чьих уст золотое правило прозвучало в первый раз. Для начала, чтобы не терять времени, требовалось обследовать ближайшее окружение. Список деятелей, чья контрреволюционная сущность может проявиться в недалеком будущем, давно лежал в его сейфе. Из него следователь выбрал тех, кто предрасположен к написанию романов.

Автор Сталинской конституции Николай Бухарин вошел в новый список под тринадцатым номером, но на допрос попал одним из первых. В соседнем кабинете его разрабатывали совсем по другому делу, в котором он проходил свидетелем. Следователь заглянул туда стрельнуть папироску и, увидев подозреваемого, чтобы не тратить бумагу на повестку и бензин на поездку, решил тут же провести собеседование. Каково же было удивление чекиста, когда Бухарин во всем сознался без пыток и даже без психологической обработки. Признал вину и сообщника своего, Льва Троцкого, пусть без особого желания, но назвал. Окрыленный удачей следователь побежал с докладом, не дожидаясь понедельника. Но радость была недолгой. Ягода первым делом поправил его, объяснив, что у писателей сообщник называется соавтором, потом встал в позу Станиславского и сказал:

«Не верю! Самооговор! Я слышал, что в романе много сцен из казацкого быта, а Бухарин даже тверского крестьянина живьем не видел, потому как всю сознательную жизнь прожил за границей. Троцкий – другое дело, тот внимательно изучал нравы и обычаи станичников. Но Троцкий сбежал в Мексику, валюты на загранкомандировку в кассе нет, перерасход получился, так что ищите пока в России, а дальше – видно будет».

Перед тем как послать помощника на дальнейшие поиски, он посоветовал еще раз встретиться с Бухариным. На втором допросе Бухарин от прежних показаний отрекся. Оговаривал себя с поспешной готовностью, а отрекался от авторства уже под пытками.

Раздосадованный следователь накричал на секретаршу, выпил водки, потом позвонил в оперативную часть и велел провести облаву в ресторане Дома литераторов.

Арестовали семнадцать самых говорливых завсегдатаев. И все как один сознались. Каждый, испуганно храбрясь, утверждал, что именно ему принадлежит авторство антисоветского романа «Тихий Дон». Такой безвольной податливости к самооговору следователь понять не мог. Он допрашивал сотни арестованных, но никто так быстро не признавал своей вины: ни попы, ни офицеры, ни кулаки – отказывались, не хотели брать на себя даже мелкие чужие грехи. А эти, блаженно подписывались, наверняка зная, что им будет за такой роман. Но, наученный горьким опытом, следователь не спешил с выводами. На повторный допрос были приглашены мастера, умеющие заставить говорить правду, и справедливость была восстановлена.

Между прочим, среди арестованных оказалась и женщина. Коротко остриженную, облаченную в кожаную куртку и галифе, в суматохе приняли за мужика. Когда ошибка обнаружилась ее хотели отпустить, но возмущенная феминистка стояла на своем. В отличие от мужчин она не отреклась от авторства даже под пытками. Обескураженный следователь рискнул отвезти ее к Ягоде. Но там выяснилось, что самозванка не знает, чем заканчивается роман. Просто не успела дочитать. Обходиться с женщинами Ягода умел. Все, что не сказала под пытками, настоящему дамскому угоднику выложила как на духу. Роман вручил ей поэт Александр Тиняков. Выпив лишнего, он явился на встречу с читателями и публично заявил, что скрытый католик Дзержинский навязал новой власти флаг цвета кардинальской мантии. После этого трусливые издатели отказались печатать его гениальный роман, пришлось издаваться под псевдонимом. Она утешила поэта, как могла, и чтобы не осложнять и без того мученическую жизнь взяла на себя его вину.

Достойный поступок, особенно, если учесть, ради кого он сделан.

Есенина, а вслед за ним и Пашку Васильева записали в скандалисты, но по сравнению с Тиняковым они казались розовенькими ангелочками. Господи, в каком он только дерьме не валялся и каких только помоев не лил на друзей и знакомых. Разве, что Блока пощадил. Но Блок святой. Зато есенинским кудрям достался переполненный ушат и маленькое ведерко. Но я на Тинякова не обижаюсь, потому что, в отличие от Мариенгофа, к себе он был безжалостнее, чем к другим.

Тиняков сразу поставил условие: сначала – коньяк, потом – разговоры. И пришлось гражданину следователю бежать в лавку. Потом, когда нечесаный поэт достал всего одну рюмку и, покряхтывая, начал смаковать лекарство мелкими дозами, следователь пы-

тался и не мог обьяснить собственное безволие. Сидел, как загипнотизированный. Слушал и внимал. А Тиняков наверняка учуял, что у гостя трубы горят, но не угостил. Куражился, как мог: долго читал лекцию о технике любви, объяснял, что пожилые бичихи отдаются с большей страстью, нежели изнуренные общественной жизнью комсомолки. Когда в бутылке оставалось на донышке, сознался, что никаких антисоветских романов не писал, для фундаментального труда у него просто нет времени, потому что каждый день вынужден читать чепуху и писать о ней пустяки, чтобы иметь кусок хлеба и крышу над головой. Вот если бы следователь похлопотал в издательстве о солидном авансе, он бы с удовольствием сочинил роман о советском сексе, фантастический или натуралистический – какой закажут, ему все равно, ему есть, что поведать миру лишь бы аванса хватило. Заявку на роман он готов составить, не вставая из-за стола, и можно не сомневаться, что книга потянет на Сталинскую премию. Пока Тиняков искал листок бумаги, чтобы написать заявку, следователь выбрался из-под его удавьего взгляда и хотел сбежать, но пьяный поэт успел загородить дорогу.

«Подожди, – говорит, – я смогу помочь в твоих поисках, но для этого ты должен принять меня на работу и выписать удостоверение».

«А может Вам удобнее стать секретным сотрудником?» – подсказывает следователь.

«Зачем? – возмущается Тиняков. – Тайное всегда становится явным, это, во-первых, а во-вторых, я не понимаю, с чего вы решили, что поэт должен стесняться сотрудничества с вашим департаментом. Не хорошо-с, молодой человек, мне, кажется, любой советский гражданин обязан этим гордиться!»

Перепуганный чекист выписал ему удостоверение и, бочком, к двери. А Тиняков кричит:

«Постой, мы вроде о заявке на роман разговор не закончили?»

«Пишите, пока я за коньяком бегаю,» – сообразил пообещать следователь и выскользнул-таки на свободу, а потом вприпрыжку, подальше от сумасшедшего наваждения.

Применение документу Тиняков нашел в тот же день. Заглянул в гости к старинному своему приятелю Городецкому, спровоцировал на антисоветские разговорчики, а потом предъявил ксиву и пообещал устроить длительную поездку на строительство Беломорканала имени табачной фабрики Урицкого на десять лет, если тот не одолжит ему червонец. Городецкий обшарил все карманы, но наскреб только восемь с мелочью. Тиняков благодушно согласился простить ему недостающее и пошел к другому своему прия-

телю, Садовскому. Тем же методом добыл еще четвертной и с чистой совестью отправился в бордель.

Удостоверение поило гения и ублажало его похоть целый месяц. Но Городецкий, Садовской, Сологуб и другие талантливые поэты были не в чести у новой власти, сами перебивались с пива на квас, а Тиняков меры не знал никогда и ни в чем. Для него нужен был донор, который поближе к ЦК или хотя бы к правлению Союза писателей. И его угораздило заявиться к Николаю Тихонову. Ловить матерого начальника на неосторожных словах смысла не имело. У себя, в верхах, при отключенной аппаратуре, они себе такие вольности позволяли, что нам и не снились. Для Тихонова он припас оружие посерьезнее. Намекнул будто существуют не очень знаменитые, но мужественные люди способные подтвердить, что рукописи книг «Орда» и «Брага» он взял из планшета убитого врангелевского офицера. Доказать экспроприацию большого труда не составит, потому как все его поздние стихи даже рядом поставить стыдно. За молчание Тиняков потребовал пожизненное содержание или миллион наличными. Тихонов спорить не стал, но попросил, чтобы ему предъявили удостоверение, дающее право на подобные требования. Тиняков протянул документ. И глазом не успел моргнуть, как его мандат пропал в огнедышащей пасти камина. Не на того нарвался. Крутой мужик Тихонов. Чтобы удалить шантажиста из дома ему и охрану звать не пришлось, сам сгреб за шкирку и выкинул.

Прощать такие неуважительные жесты Тиняков еще не привык. Под псевдонимом М. Горьков сочинил на Тихонова фельетон, но ни одна газета напечатать материал не осмелилась. Не дали совершить акт благородного возмездия. Кончилась свобода печати.

Обиженный и оскорбленный Тиняков позвонил следователю и признался, что в первую встречу был не совсем откровенен, он доподлинно знает, кто написал «Тихий Дон» и согласен обменять информацию на дубликат удостоверения, которое сгорело при пожаре вместе с кожаной курткой, приобретенной, между прочим, на собственные средства.

Следователь посулил ему и новое удостоверение, и казенную куртку, но приехать обещал только через неделю, сославшись на срочные дела. Чекист хитрил, помнил свое необъяснимое безволие под тиняковским взглядом и повторять ошибку не имел права. Зато, разговаривая по служебному телефону из собственного кабинета, ощущал себя полноценным хозяином положения.

«Давай сделаем так, – сказал он. – Ты выкладываешь информацию, и уже под нее, я выбиваю из начальства новое удостовере-

ние и куртку, кстати, не забудь взять квитанцию, чтобы мы смогли оплатить междугородний звонок».

На эту квитанцию Тиняков и купился. Поверил во все обещания и рассказал, что рукопись романа выкрал из дома своего гимназического учителя Федора Крюкова, в чем сильно раскаивается, но еще больше раскаивается в том, что продал ее Шолохову, который обещал ему восемьдесят процентов гонорара и обманул. Так что всей выручки за несмываемый позор, он получил четыре червонца, выклянченные в качестве аванса при передаче рукописи. Все это усугубляется тем, что, будучи скромным и легковерным человеком, он постеснялся взять у Шолохова расписку. Потом, пользуясь, что говорит за казенный счет, Тиняков начал объяснять следователю каким плохим учителем был Федор Дмитриевич Крюков исковеркавший его жизнь. Не испытай он тлетворного влияния в незрелом возрасте, разве ходил бы теперь в нищих поэтах, он давно бы сидел в Кремле и занимал, как минимум, наркомовскую должность, а в его приемной щебетали бы четырнадцать секретарш дворянских кровей. И еще он просил следователя присмотреться к личности Валерия Брюсова, который, подпевая Крюкову, заманил его в коварную трясину литературной жизни.

Выслушивать напраслину на уважаемого товарища Брюсова, отрекшегося от декадентских пережитков, следователь не стал. Профессиональный нюх подсказывал, что именно крюковский след приведет его к цели и посторонние запахи перестали его отвлекать.

Тиняков снова ошибся, и ошибка была двойной. Ни кожаной куртки, ни дубликата ему не выдали и телефонный разговор не оплатили. И второе – давая наводку на Федора Крюкова, он знал, что старый учитель умер от тифа в девятнадцатом году, поэтому надеялся, что следователь, набив шишек в темноте очередного тупика, будет вынужден идти к нему на поклон. Зря надеялся.

Опытные специалисты заставили Крюкова заговорить.

Большой знаток быта казачества признался, что мысль о создании многопланового полотнища зародилась в нем давно. Материалы для книги он начал собирать еще в прошлом веке, тогда же были написаны первые фрагменты и зарисовки, но учительский хомут и неуверенность в собственном таланте так и не позволили грандиозным замыслам воплотиться на бумаге. Великий роман остался только в его воображении, в чем он, к сожалению, не одинок: девяносто девять процентов шедевров остаются не написанными. Пройдя немалый жизненный путь, он пришел к единственно верному выводу – творчество и любовь нельзя откладывать на

старость. И еще он добавил, что по фронтам гражданской войны ходили в списках главы из романа о казачестве и сочинили его два молодых офицера: поручик Голицын и корнет Оболенский. Самому Крюкову читать эту прозу не довелось, но в белой армии служили достаточно образованные люди, знавшие цену истинной литературе, и они отзывались о романе в превосходных тонах. Про Александра Тинякова старый учитель говорил без желания, сказал, что юноша был очень талантлив, но излишне самонадеян и непочтителен. Какая-то кошка между ними все-таки пробежала. Какая именно, следователь не допытывался. Тиняков сделал свое дело и больше его не интересовал.

Предстояли поиски поручика Голицына и корнета Оболенского. Как найти две маленькие иголки в разворошенном гражданской войной стоге сена? К поискам были приобщены и штатные работники, и общественность, и даже юные следопыты. Именно они обнаружили следы Оболенского и Голицына в Тамбовской области. Стараясь помешать подавлению бандитского мятежа, офицеры втерлись в доверие к маршалу Тухачевскому. Используя слабость красного командира к музыке, уговорили его организовать вокально-инструментальное трио: Тухачевский играл на скрипке, Оболенский – на гитаре, а Голицын – на пианино. На репетициях и выпивках после концертов, в якобы непринужденных разговорах, старались подобраться к военной тайне. И неизвестно чем бы закончился коварный мятеж, если бы не бдительность молодого, но решительного Аркадия Гайдара. Непримиримый борец с врагами Советской власти вовремя обратил внимание на военную выправку заезжих музыкантов, но погорячился, рассказал о своих подозрениях на заседании штаба, и кто-то успел предупредить лазутчиков.

Последние сведения о неразлучных друзьях датировались двадцать пятым годом. В Замостье их опознала вдова Николая Щорса, но прибывший на задержание отряд ЧОНовцев наткнулся на пулеметную очередь. Дальше след обрывался.

И вот, когда надежда была почти потеряна, к следователю приехала женщина со следами былой красоты и большим чемоданом. Долгий и небезопасный путь из далекой Сибири был проделан с единственной целью – поделиться историей любви.

Она знала и поручика, и корнета.

После нескольких неудачных попыток перейти польскую границу, затравленные беглецы решили пробиваться в Харбин. Иртыш форсировали вплавь. Потом переплывали Енисей и Ангару. Потом ехали на крыше вагона. Оболенский простудился и забо-

лел. Поручик, сам едва держась на ногах нес его три ночи и, вконец обессилев, постучался в окно крайней избы. В ее окно. Сначала ей больше нравился мужественный Голицын, но пока выхаживала и отпаивала травами синеглазого корнета, полюбила и его. Сердцу не прикажешь. Когда, после этого признания, следователь заулыбался, женщина покраснела и перекрестилась, чтобы не подумали ничего дурного. Любовь была возвышенной и чистой, а господа офицеры оставили последнее слово за дамой и терпеливо ждали, ее окончательного выбора. Не имея возможности выполнять мужскую работу, они постоянно писали, да так азартно, что нередко ссорились при этом. Она даже обиделась на них. Если бы ссора возникла из-за нее, она бы, пожалуй, сказала свое последнее слово, определила бы кому она нужнее. Но их благородия продолжали мучить себя и ее. Когда чемодан был полностью забит исписанными листами, ссоры прекратились, а неопределенность стала еще невыносимеее. Она случайно подслушала последний разговор. Мужчины собирались уходить за кордон, называя свою попытку «русской рулеткой». В случае смерти одного из них, другой обязан будет о ней позаботиться. Она не спала всю ночь. Под утро услышала выстрелы. Но никто не вернулся. А днем узнала от соседа красноармейца, что при попытке перейти границу шлепнули двух контриков. Она отправилась в тайгу, чтобы похоронить своих женихов, но смогла найти только их чемодан. Чемодан был пуст. Куда исчезли исписанные листы, она не знает, скорее всего, пограничники разобрали на самокрутки. И только недавно женщина обнаружила за подкладкой одну единственную страницу.

Следователь открыл чемодан и прочитал:

Четвертые сутки пылает станица.
Потеет дождями Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын.
Корнет Оболенский, налейте вина.

Следователь подшил страницу в дело и пошел докладывать.

«Не густо, – сказал Ягода, выслушав его и прочитав песню, – случается, конечно, что авторы посредственных стихов пишут великие романы. Гоголь, например, он тоже про казаков писал, слышал про такого?»

«Так точно! – отрапортовал следователь. – Гоголю принадлежит устаревший лозунг «Я тебя породил, я тебя и убью!» В настоящее время следует говорить врагу: я убью тебя, даже если ты меня породил!»

«Молодец! – похвалил Ягода. – Подкованный товарищ, тогда помоги разобраться в ситуации, здесь написано:

А в комнатах наших сидят комиссары
И девушек наших ведут в кабинет...

Не пойму, комиссары ведут или сидят? Может быть комиссары уже сидят, а ведут совсем другие? Тогда кто они эти другие?»

«Если прикажете, выясним», – пообещал следователь.

Но Ягода не приказал, только поинтересовался:

«А вы самого Шолохова допросили?»

«Конечно, допросили, – обиделся следователь, – сознался, что написал роман, правда, заявил, что его произведение не контрреволюционное, а художественное. Только я не поверил ни одному его слову. Разве может неказистый паренек в кубанке написать роман?»

Ягода рассеянно посмотрел на него и пробормотал:

«У них все возможно. Но ты молодец. Довел версию до логического конца. Вчера получил отчет из Мексики. Группа, которая разрабатывала Троцкого, ничего не выяснила. Матерый враг обещал во всем сознаться, но неумение одного из наших сотрудников пользоваться ледорубом, перечеркнуло всю подготовительную работу, сколько валюты вылетело псу под хвост».

Не в духе был Ягода, нервничал.

И не без основания – через неделю арестовали и Ягоду, и следователя.

Дело об авторстве «Тихого Дона» законсервировали, оставив нам уравнение с двумя неизвестными. Шолохов или Оболенский с Голицыным?

Как распорядился Берия копией письма тоже неизвестно. Что касается Лаврентия Павловича, там вообще все во мраке. Кое-кто уверяет, что он и шпионом-то вовсе не был.

МОРАЛЬ

Во-первых – у гениальных романов простой судьбы не бывает.

Во-вторых – все знают, что горшки обжигают не боги, но никто не верит, что это может сделать сосед.

В-третьих – спасти поэта может только женщина.

О славе мы уже говорили, но хочется вернуться к теме. Только не надо ухмыляться. «У кого чего болит, тот о том и говорит» – знакомый фольклор. Мозоль больная. Но страдают от нее не только поэты.

Окончание в следующем номере.

Наталья Солнцева

БУСИНА ОТ ШАМАНКИ

Лика выдвигала ящики один за другим, проверяя, не осталось ли там чего. Может, завалялась какая-нибудь дорогая сердцу мелочь? Бабушкин комод не вписывался в нынешний интерьер ее квартиры. Деньги на ремонт и покупку новой мебели дал Артем, любовник Лики.

«Выбрось всю эту рухлядь, – потребовал он. – Будем встречаться у тебя. Не люблю гостиничные номера и чужие постели».

Артема она побаивалась и слушалась беспрекословно. Ей казалось, что так и должно быть. «Жена да убоится мужа своего». Правда, Артем ей не муж... пока. Лика втайне надеялась, что в конце концов ему надоест лгать жене, и они разведутся.

Лика ужасно ревновала, когда Артем звонил домой. Он выходил из комнаты и вполголоса говорил с женой в кухне или в коридоре. Лика не позволяла себе подслушивать. После разговора Артем возвращался хмурый, недовольный, но никогда не обсуждал с Ликой свои проблемы. Он был настоящим мужчиной. Только однажды он обмолвился, что большая часть бизнеса принадлежит жене, поэтому к разводу надо подойти с умом.

Лика наклонилась, выдвинула нижний ящик комода и заметила в дальнем углу коробочку. Открыла, а внутри – бусина! Неровная, выточенная вручную из натурального камня лазурита, со сквозным отверстием для нити.

«Это небесный камень, – вспомнились Лике слова бабушки. – Мне его шаманка подарила. Беречь велела, как зеницу ока. Это бусина из ее ожерелья!»

Бабушка Лики занималась наукой, изучала экологию Байкала. Бусину она привезла из последней экспедиции. Шаманка лечила ее от странной болезни, которую бабушка – тогда еще молодая женщина, – подхватила на берегу озера. Местный доктор сразу заявил, что отвезет больную к шаманам.

– Иначе твоя сотрудница умрет, – предупредил он начальника экспедиции. Тот дал добро.

По словам бабушки, шаманка долго била в бубен, потом затянула заунывную песню. Больная перестала ощущать свое тело...

ей казалось, что она летит над водой и кто-то зовет ее. Лика-а-аа!.. Лика-аа-ааа!.. Бубен шаманки не давал ей забыться. Ритмичные удары держали ее в воздухе и не давали упасть в ледяное озеро. Очнулась она уже в домике, где над ней склонился седой доктор в очках.

– Ну, слава богу, пришла в себя. Значит, жить будет.

На третий день бабушка встала на ноги, а болезни как не бывало. Тогда только она вспомнила, что на прощанье шаманка дала ей лазоревую бусинку из своего ожерелья. Вложила в руку и молвила: «Тебе это без надобности. А внучке твоей пригодится. Приглянулась мне она!»

«У меня сын, – прошептала Лика. – А внучки нет».

«Будет, – улыбнулась шаманка и показала желтые от курения зубы. – Назови ее, как себя, и бусину передай. Непременно!»

Бусину бабушка зажала в кулачке, да так крепко, что доктор разжать не сумел. Решил, судорога пальцы свела. На третий день пальцы разжались, и бусина выпала, закатилась под кровать. Бабушка давай искать, весь пол обшарила. Нашла в темном углу, в паутине. Бусинка мягко светилась, будто лунный зрачок.

Эту историю Лика узнала перед тем, как бабушка отошла в мир иной. Умирая, она вложила в ладонь внучки подарок шаманки. С тех пор бусинка хранилась в маленькой коробочке от обручального кольца. Внучка в мистику не верила и до поры до времени о подарке забыла. Если бы не новая мебель...

Лика смотрела на бусину, а та, казалось, смотрела на нее голубым глазом. Поблескивала, как лунный блик на воде. Внезапно в ушах Лики раздался глухой шум... словно кто-то бил в большой бубен, украшенный колокольчиками и лисьими хвостами. Стены комнаты раздвинулись, и Лика очутилась в степи. Над ее головой мерцали звезды. Она скакала на дикой кобылице, а за ней мчалась стая волков. Ближе всего подобрался матерый вожак. Он вырвался вперед, из пасти капала слюна. Еще мгновение, и волк набросится на нее, загрызет. В предчувствии смерти у всадницы перехватило дыхание. Она в ужасе обернулась, но в глазах волка не было ярости...

– Ну что, хозяйка, грузить?

Лика вздрогнула и уронила коробочку. Бусинка с тихим звоном покатилась по паркету.

– Время – деньги! – рассердился грузчик и выразительно постучал пальцем по циферблату наручных часов. – Работаем или мечтаем? У нас такса высокая. Простóй – за ваш счет!

– Работаем, работаем...

Пока грузчики таскали старую мебель и собирали новую, Лика ползком обследовала пол. Бусина обнаружилась за креслом, у самого плинтуса. Лика обтерла ее от пыли, нанизала на тонкий кожаный шнурок и надела на шею. Артему такое вульгарное украшение вряд ли понравится. У него тонкий вкус и взыскательный подход к жизни.

Лика заплатила грузчикам и с облегчением вздохнула. Наконец она осталась в квартире одна. Бусина холодила ей кожу. Прошло около часа, и Лика сообразила, что впадает в транс. У нее в ушах бил бубен и сквозь этот назойливый ритм пробивался женский голос:

– Пусти меня! Пусти...

Старуха в одежде, расшитой бисером и кусочками меха, быстро вращалась посреди комнаты. Множество ее косичек развевались в воздухе. Тело Лики одеревенело, голова закружилась. Бух-бух-бух! Бам-бам бам! – не умолкал бубен. – Динь-динь динь! – вторили колокольчики.

– Пусти меня!.. Пусти меня... пусти...

Страшная старуха скалила желтые зубы, приближалась, размахивая бубном и потряхивая косичками. Она вращалась все быстрее и быстрее, пока не превратилась в пестрый звенящий вихрь, который окутал Лику, впитался в ее кровь, разбежался искрами по телу, проник в сердце и душу.

Бам-бам-бам! Динь-динь динь! – стучало у нее в висках. – Бух-бух-бух!

Она вдруг стала легкой, как пушинка, оторвалась от земли и полетела по ночному городу, заглядывая в окна квартир на верхних этажах. Ее сопровождала волчья стая. «Это моя свита!» – догадалась Лика. Крупный клыкастый вожак не сводил с нее раскосых желтых глаз. Было совсем не страшно, а весело и забавно.

В одном из окон Лика увидела кошмарную картину. Вместо того чтобы отпрянуть и лететь прочь, она с любопытством приникла к стеклу. В полутемной комнате с красными обоями стоял стол, за ним сидели мужчина и женщина. Они пили шампанское и болтали. Мужчина, улучив момент, бросил в ее бокал какую-то растворимую таблетку.

Лика с болезненным вниманием наблюдала, как женщина выпивает шипучее вино, морщится и жалуется собеседнику на странный вкус. Тот смеется и подает ей дольку персика, закусить. Женщина хватается за горло, хрипит и корчится. Мужчина с улыбкой смотрит, как ее голова запрокидывается, тело клонится в сторону и падает со стула...

Лика кричит и бьет ладонями по стеклу. Но ее никто не слышит. Женщине уже все равно, а мужчина занят уничтожением улик. Он тщательно протирает бутылку, свои приборы и бокал, из которого пила умирающая. Второй бокал он несет в кухню, чтобы вымыть и поставить на место в шкафчик. После того, как он уйдет отсюда, никаких следов совместного ужина не останется...

Лика очнулась дома, на новой кровати. Она не помнила, как очутилась в спальне и легла. Ночное приключение не шло у нее из головы. Неужели, это был сон? Лицо мертвой женщины стояло у нее перед глазами. Лика никогда с ней не встречалась, но чувствовала, что убийца должен быть наказан.

Весь день она ходила, сама не своя. Кому можно рассказать о преступлении? Заявить в полицию?.. Кто ей поверит?.. Как она объяснит, что видела убийство через окно, расположенное на большой высоте? Возникнет вопрос, каким образом она туда забралась!..

К вечеру Лика совсем измучилась. Она не выдержала и позвонила Артему. Он – самый близкий ей человек в этом огромном городе. Только ему она может довериться. Только он сможет ее понять! Кто, если не он?!

Обычно Артем звонил Лике сам. Чтобы жена ничего не заподозрила, и все было шито-крыто. «Мало ли, как сложатся обстоятельства, – говаривал он. – Лучше не рисковать!»

Лика всегда с ним соглашалась. Но убийство потрясло ее настолько, что она нарушила незыблемое правило их отношений.

– Лика, ты? – удивился любовник. Его голос в трубке звучал раздраженно.

– Артем! Мне очень плохо! Приезжай скорее!

– Ты же знаешь, я в командировке. Завтра утром подписываю контракт и возвращаюсь.

– Я не доживу до завтра...

– Что случилось, малыш? Что с тобой? Успокойся, прошу! Сегодня мне никак не вырваться! Прости...

– Ты меня любишь?

Артема бесил этот извечный бабский вопрос. Но на сей раз он решил ответить. Голос у Лики был не такой, как всегда. Кажется, она вот-вот расплачется.

– Я весь твой! Не сомневайся! Люблю, скучаю, целую! Завтра встретимся. Ну все, пока...

Артем отключился, чтобы не слушать ее жалобы и слезливые просьбы. Все, что он хотел сказать, он сказал. С женщинами главное – не давать слабину. Иначе попадешь под каблук.

Лика едва дотянула до его приезда. Она не бросилась ему не шею, не взвизгнула от восторга. Артем опешил от ее вида – бледная, растрепанная, без макияжа, в халате. На шее – дурацкая бусина на шнурке.

– Мне надо кое-что тебе рассказать! – с порога выпалила она и потащила его за руку в кухню. – Садись и слушай!

Лика заговорила, и снисходительная улыбка медленно сползла с губ любовника. Он напрягся. Что она несет? Какое убийство? Какое окно?

– Я все видела, – повторяла Лика. – Все видела!

Она описывала подробности, от которых кровь стыла в жилах Артема. Ночной полет над крышами, стая волков, чужие окна. Комната с красными обоями, шампанское, таблетка...

– Ты в своем уме? Там же двадцать пятый этаж!

– Вот ты себя и выдал! – задохнулась от боли Лика. – Я не называла этаж! Значит, я не сошла с ума! Мне не померещилось! Это был ты!.. Ты подстроил командировку, чтобы обеспечить себе алиби. Ты уехал после того, как убил свою жену... Ты убийца! Я любила убийцу...

Артем в ужасе оглянулся по сторонам. Лика больна! Она всегда была немного не в себе. Чуточку с приветом! Ему это нравилось. Жена в жизни не нацепила бы дешевую бусину на шею, а Лика – пожалуйста. Надела и не стыдится.

Артем покосился на столешницу. Лика перед его приходом резала салат. Молниеносное движение, и большой кухонный нож лег ему в руку. На всякий случай. После Ликиных слов можно ожидать чего угодно.

– Вот ты себя и выдал! – с горечью повторила она. – Теперь окончательно! Прощай...

– Так не пойдет, – процедил Артем, встал и сделал шаг ей навстречу. – Ты помешалась!.. Ты все испортила!.. Ты не понимаешь, что натворила!

Она даже не собиралась защищаться. Вместо страха на ее лице застыло сожаление. Она запела что-то заунывное, бередящее душу. Незнакомый язык, корявая мелодия...

У Артема потемнело в глазах от злости. Лика стала опасной. Она знает то, чего ей знать не положено. Она нарушила табу. Влезла в его личную жизнь!..

– А ведь мы договаривались, – вздохнул он. – Ты обещала...

– Не верь обещаниям!..

Кто это сказал? Артем дернулся и замахнулся ножом, но вместо Лики перед ним оказался... громадный волчара с разинутой пастью.

Зверь готовился к прыжку. Вокруг простиралась бескрайняя снежная равнина. Голубая бусина луны висела в небе, возбуждая голодную ярость волка... Зверь прыгнул на Артема и впился зубами ему в горло. Человек упал навзничь, окрашивая снег своей алой кровью. Волк не отпускал его. Мужчина хрипел и корчился точно так же, как женщина на полу гостиной, оклеенной красными обоями...

Когда он затих, Лика подняла с полу нож и вызвала «неотложку». Поднявшиеся в квартиру медики нашли Артема в кухне бездыханным.

– Похоже, обширный инфаркт, – заключил врач. – Забирайте его. А вам, девушка, помощь нужна?

– У нее шок, – заметила медсестра. – Ничего, оклемается. Молодая, здоровая...

Лика молча кивнула головой. Она смотрела, как тело Артема кладут на носилки и выносят на лестничную клетку. Его подлая жизнь закончилась, а у нее все только начинается...

THE SHAMAN'S BEAD
BY NATALYA SOLNTSEVA
(Перевод Галины Вельгач)

Lika opened the drawers one by one, checking that each was empty so as not to leave anything sentimental behind. Grandmother's dresser didn't exactly fit in with her apartment's modern décor. She was fine with the furniture she had, her antiques and her heirlooms, but Artem hated her old fashioned style. In fact, the money to renovate and buy new furniture came from Artem, Lika's lover. She looked around her place. It was mostly empty, filled with boxes, but it was going to have a new kitchen, new furniture, the works.

«Get rid of out all this junk,» he'd demanded. «We're going to be meeting at your place from now on, not some crummy hotel with a strange bed».

She was afraid of Artem and obeyed him unfailingly. She thought that was the way things were supposed to be. «Wives, submit to your own husbands, as to the Lord». Although, Artem wasn't actually her husband... yet. Lika hoped in secret that he would finally get tired of lying to his wife and divorce her.

Lika grew terribly jealous whenever Artem called home. He'd leave the room and, in a hushed voice, talk to his wife in the kitchen or the hallway. Lika never allowed herself to listen in, though she pained to hear his conversations. Artem would return fuming and upset, but he never discussed his problems with Lika. She wanted him to, she wanted to be a bigger part of his life than just a mistress, but he was a real man. Only once, he let it slip that a big part of his business belonged to his wife, so a divorce had to be approached with care. She understood that, but envy still gnawed at her.

Lika opened the bottom drawer and noticed a small box in the corner. She opened it and found a blue bead flecked with gold inside. It was uneven, hand-carved, with a tiny hole for threading.

Lika remembered when her grandmother gave her the bead. Lika's grandmother, whom she was named after, was a biologist who studied the ecology of Lake Baikal, and she brought the bead back with her from her last expedition. She was old when she told Lika how she got the bead.

«This is a sacred stone,» Lika remembered her grandmother's words. «A shaman gave it to me from one of her own necklaces, and she told me to take care of it as if it was my most important valuable».

Her grandmother, then a young woman, had contracted a strange sickness on the shore of the lake. The native doctor examined her once and immediately turned her over to the shamans, warning her supervisor that she would die otherwise.

«The shaman banged a hide tambourine for an hour, but the noise was almost mute to me, I was in so much pain. Then, she began to sing this mournful song, almost wailing. The singing numbed my pain and spread until I stopped feeling my own body. A change washed over me, and I felt like I was flying above the water and that someone was calling out to me. Lika! Lika! I left my body almost completely, but the shaman's tambourine kept me lucid. The rhythmic beats held me up, suspended in the air and kept her from falling into the icy lake below. I hung there for what seemed like eternity. I finally awoke inside a small hut to a gray-haired, bespectacled doctor leaning over me.

'Well, thank God. She's regained consciousness. She'll live.' I was bedridden for three more days, still stiff and recovering. Just before I was moved, as a goodbye, the shaman gave me this bead carved from lapis lazuli from her necklace. She put it in my hand and said, 'Take this, and keep it safe. You won't need any more help from me in your lifetime, but your granddaughter will find use in it. I have foreseen her!'

'I have a son,' I whispered, still weak. 'No granddaughter.' But the shaman flashed her teeth, yellowed from smoking, and said, 'You will. You heard her name when I was healing you. Pass the bead on to her. You must do this for her!' She left, and I drifted off.

I squeezed the bead in my fist so tightly, that the doctor could not pry my hand open, thinking that a spasm cramped my fingers! On the third day, my fingers relaxed, and the bead fell and rolled under the bed. The sound of it hitting the floor woke me up and I jumped out of bed, as if I had never been sick in my life. I scrambled to look for it, scouring every inch of the floor. I found it in a dark corner of the room, dangling on a spider's web. The bead shone so softly, almost like a moonbeam».

Lika heard this story just before her grandmother passed. On her deathbed, she placed the shaman's gift into her granddaughter's palm. «Here you are, my little Lika, just like the shaman said». After her grandmother died, the bead was kept in a small ring box. Although Lika loved her grandmother, she didn't believe in mysticism and had completely forgotten about her gift. Until she got the new furniture.

Lika pored over the small stone, weighing it in her palm, feeling it between her fingers, looking at the metallic flecks in the deep blue surface, which seemed to look back at her like a blue eye. It gleamed like a patch of moonlight on the water.

Suddenly, Lika's ears were flooded with a deafening clamor, as if someone was hitting a massive drum strung with bells, like a tambourine, just behind her. She cowered from the noise, covering her ears. She wanted to scream out of fear, but her throat couldn't match the bangs. The walls of the room quivered, wavering in front of her eyes like curtains, then expanded and dissolved, and Lika found herself in another place, maybe even in another dimension. She looked down and realized that she was

galloping on a wild mare, clutching it by its mane. Over her head were black skies and twinkling stars. Panicked, Lika turned her head and saw that she was being chased by a pack of wolves, with their ruthless alpha at her heels. He lurched forward, saliva dripping from his maw. At any moment, Lika envisioned, he would overtake her and tear her apart. In anticipation of her death, she caught her breath. She turned around in terror, but in the eyes of the wolf, she saw no rage.

«Well, miss, what should I start loading first?»

Lika started and dropped the box with a yelp. The bead quietly chimed as it rolled across the parquet floor.

«Time is money,» the annoyed mover badgered and expressively tapped his finger against his watch. «We working or daydreaming? We're charging by the hour, so if you want to waste all our time, don't be surprised when you get your bill!»

«Working, we're working...» Lika mumbled as she tried to regain her bearings and pointed towards the living room. The mover motioned to his employees then left Lika's room, grumbling something under his breath.

While the movers dragged out the old furniture and arranged the new, Lika inspected the floor on her hands and knees and found the bead behind the armchair. Lika wiped off the dust, threaded in a thin leather string, and fastened it around her neck. She wasn't sure what she'd just experienced, but she felt the need to have the bead near her. She knew Artem would hate such a vulgar piece of jewelry -- he has, after all, sophisticated taste and demanding expectations -- but she needed it.

After a few hours, Lika paid the movers and let out a sigh of relief. She was finally alone in the apartment. The bead felt cool against her skin.

* * *

Almost an hour passed, and Lika realized that she was falling into a trance. She heard the tambourine in her ears, and a woman's voice broke through the intrusive rhythm:

«Let me go! Let me go!»

An old woman in clothes decorated with beads and bits of fur appeared, rapidly spinning in the center of the room. Her many braids whipped in the air. Lika's body stiffened, and her head began to ache. Boom boom boom! Bam bam bam! the tambourine sounded relentlessly. Ring ring ring! followed the bells.

«Let me go! Let me go... let me...»

The terrifying hag bared her yellow teeth and came closer, waving the tambourine and thrashing her braids. She spun even faster and faster, until she turned into a mottled ringing whirlwind that enveloped Lika and melted into her blood, scattered across her body like sparks, and entered her heart and her soul.

Bam bam bam! Ring ring ring! Boom boom boom! The noise impacted in her temples.

She suddenly became light as a feather, tore away from the earth and flew across the night city. She was accompanied by the pack of wolves from before, but there was no terror in her heart this time. «These are my companions!» Lika realized. «My entourage!» As she soared among the massive glass and steel buildings, she saw into the windows of the top floors of skyscrapers, though it seemed that no one saw her. The sturdy and fanged alpha never took his slanted yellow eyes off of her. For some reason, it wasn't scary, but joyful and even amusing.

Through one of the windows, Lika saw something that filled her stomach with dread. Instead of recoiling and flying away, she approached the glass with curiosity. In a dimmed room with red wallpaper, she saw a man and woman were sitting at a table, talking and drinking champagne. She watched as the man was telling her a story, maybe a joke, and the woman threw her head back in laughter. The man seized the opportunity and dropped a small tablet into her drink that dissolved on contact.

Engrossed, Lika watched as the woman drank the fizzing wine, made a face, and complained to her companion about the strange taste. He laughed and offered her a slice of a peach to wash it down. As she accepted the fruit, the woman's hand flew to her neck. She clutched at her throat, wheezing and writhing. The man watched with a smirk as her head tilted and her body fell to the side and off her chair.

Lika screamed and beat her palms against the window, but no one heard her. The woman couldn't be helped anymore, and the man was busy getting rid of the evidence. He carefully wiped down the bottle, his own possessions, and the dying woman's glass. He carried his own glass into the kitchen to wash it and put it back into the cupboard. Afterwards, when he will leave this place, this red room, there will be no trace of tonight's dinner.

* * *

Lika awoke at home in her new bed. She had no memory of going to her bedroom or lying down. Her nocturnal adventure replayed in her head. Was that all really just a dream? The face of the dead woman was flashed in her eyes. It couldn't have been. Lika had never met the woman, but she felt determined that her killer should be punished.

She paced her apartment all day, going out of her mind with confusion. Who could she tell about the crime? Should she call the police? Who would believe her? How would she explain that she witnessed a murder through the window if she couldn't even explain how she got to that height?

By evening, Lika was in complete turmoil. She couldn't stand it any longer and called Artem. He was the closest person to her in this enormous

city. She could only trust him. Only he could understand her. Who, if not him?!

Usually, Artem called Lika himself so that his wife would not suspect anything.

«You can never be sure of the circumstances,» he'd say. «Better not risk it». Lika always agreed with him, but the murder shook her so that she broke the one inviolable rule of their relationship.

«Lika, is that you?» asked her astonished lover. His voice sounded irritated.

«Artem! I feel so awful! You have to come over quickly!»

«You know that I'm on a business trip. Tomorrow morning, I'm closing a deal and coming home».

«I won't make it to tomorrow».

«What happened, kiddo? What's wrong? Please calm down! I really can't make it back today! Forgive me».

«Do you love me?»

This relentless, typical woman's question infuriated Artem. But this time, hearing Lika's voice, as if she were on the verge of crying, he decided to answer.

«I'm all yours! Don't doubt it! I love you, and I miss you. We'll meet tomorrow. I have to go now. Goodbye».

Artem hung up so that he wouldn't have to listen to her complaining and tearful requests. He had said everything he needed to say. The most important thing with a woman was to never show weakness, or else be caught under her heel.

Lika barely made it until his arrival. She didn't throw herself at him or cry out in joy the way she always did. Artem was taken aback by this different Lika: pale, unkempt, no makeup, in a robe. And on her neck, a stupid bead on a lace.

«I need to tell you something!» she exclaimed at the door then dragged him by the arm to the kitchen. «Sit down and listen».

Lika began to tell him everything, and a condescending smile slowly appeared on her lover's lips. He tensed up. What is she blathering about? What murder? What window?

«I saw everything,» repeated Lika. «Everything!»

She described the details, and Artem's blood froze in his veins. Her night ride above the roofs, the pack of wolves, strangers' windows. The room with red wallpaper, champagne, the pill.

«Are you in your right mind? There were twenty-five floors!» he blurted out.

«I never said what floor it was!» Lika gasped painfully. «You just gave yourself away! So I'm not crazy! It wasn't just my imagination! It was you! You set up the business trip to give yourself an alibi. You left after killing your wife...You're the murderer! I loved a killer».

Artem looked around in horror. Lika was crazy! She'd always been a bit peculiar, a bit off her rocker! But, he liked that about her. His wife would never in her life wear such a childish bead, but here's Lika, wearing it unashamed.

Artem squinted over the tabletop. Before he came, Lika was chopping a salad. With lightning fast maneuvers, the giant kitchen knife was in his hands. Just in case. Lika was too unpredictable now.

«You gave yourself away!» she repeated heatedly. ««Now we're through. Goodbye».

««This won't do,» Artem hissed, standing and taking a step in her direction. «We had a good thing. You ruined it! You have no idea what you've done!»

She wasn't even going to defend herself. Instead of fear, her face was filled with regret. She warbled something mournful, aggravating her soul. An unfamiliar language, a jagged melody...

Artem's eyes darkened out of rage. Lika had become dangerous. She knew that which she was not supposed to know. She broke the taboo. She pried into his personal life!

«We had an agreement,» he breathed. «You promised».

«Don't believe in promises».

Who said that? Artem spun around, waving the knife, but instead of Lika's kitchen, he found himself in a white field overlooking an icy lake. The knife was no longer in his hand. Before stood him a massive wolf with open jaws. The blue bead he saw on Lika's neck hung in the sky, exciting the wolf's rage like a full moon. The beast lunged at Artem and sunk his teeth into his throat. The man fell on his back, staining the snow with his scarlet blood. He wheezed and writhed, just like the woman on the floor of the hotel room with red wallpaper.

* * *

When he quieted down, Lika picked up the knife from kitchen the floor and called an ambulance. When they reached the apartment, the EMTs found Artem in the kitchen, lifeless.

«Looks like he had a massive heart attack,» concluded the paramedic. «Take him away. And you, miss, do you need help?»

«She's in shock,» noted another. «Don't worry, she'll adjust. She's still young and healthy».

Lika silently nodded her head. She watched as Artem's body was hoisted onto the gurney and wheeled out into the stairwell. His despicable life had ended, but hers was just beginning....

Алан Черчесов

ПАЛЕЦ В РАНЕ
Рассказ

Так уж у них повелось, что каждый мужчина в семье был отмечен судьбою какой-то легендой.

Начать с его прадеда, Бзго, угрюмого деда отца, который, уйдя на войну, в первом же вялом, как дрема, бою угодил под обстрел и словил пустым брюхом осколок.

Очнувшись, Бзго понял, что умер, и по ногам у него потекло.

Стыд его обманул: поведя вниз глазами, Бзго посмотрел на живот, увидел, как бьется толчками, плюясь на войну, чернявая, злющая кровь, огляделся и обнаружил, что все остальные еще неживее его.

Дым от взрыва рассеялся. Небо кропило обмякшие трупы смесью гари, презренья и слез. Где-то под пяткой пузырилась, чавкала розовой лужей земля, понапрасну тягаясь с обильным молчанием. Тишина застывала вокруг глумливыми позами, кривилась дурными гримасами, пучилась осиротевшими взглядами, но не забывала проникнуть и внутрь: глотку Бзго свело немотой, а струсивший слух заселило впритык одиночеством. Рядом в окопе, упершись в приклад корешком от снесенного черепа, бочком костенел сослуживец. На плече у него примостилась чужая ладонь, потерявшая где-то хозяйскую руку. Прадед к ней потянулся, сорвал с мертвеца, как погон, отрезал кинжалом холодный мизинец, облил самогоном из фляги, помолился, ругнулся, да и пихнул себе в рану. Потом отключился, а когда – с воплем от жрущей ему потроха зубастой, прожорливой боли – воротился опять из сморгнувшего темень небытия, колыхался уже на носилках.

– Ловко ты, – хохотнул озадаченный фельдшер, – точно бочку затычкой.

Бзго ничего не ответил. Вместо него с той поры большей частью уже говорила легенда. И, пока она говорила, он мог сколько угодно молчать и угрюмо смотреть в заповедную даль, неподвластную праздным расспросам.

Тем пальцем война для него и закончилась.

В лазарете Бзго провалялся несколько месяцев. Времени зря не терял: научился смолить самокрутки, резаться в карты, не спать по ночам, бесполезно мечтать, выиграл восемь рублей и медальку за храбрость, к ним в придачу – потертый наган, обзавелся бородкой, умом и, пораскинув мозгами, всучил санитару целковый. Тот передал три врачу. Получив вместо сдачи бумажку с двуглавым орлом и заносчивой подписью, Бзго отправился с фронта домой.

Вышло, однако, не гладко: по стране затевалась огнями пожаров беда – *революция*. Приходилось нырять под ее суматошными пулями, сочинять впопад небылицы, клясться фальшивыми клятвами и растворяться мерзавцем в толпе, горланя оттуда хорошие, глупые песни. Покуда добрался, Бзго бессчетное множество раз поменял красный бант на казачью папаху, подводу на бричку, пыль на слякоть, а слякоть на снег и до гневной, задумчивой скуки дивился избытку бескрайней земли, за которую день воевал, полгода зализывал раны и теперь вот бессрочно, находчиво врал – чтобы жить на ней дальше и, если получится, выжить.

Под скрип тех колес его новая, длинная, узкая жизнь покатила своим чередом – от беды до беды, от удачи к удаче.

Так она и катилась потом, год за годом, ухаб за ухабом, молчок за молчком.

Покрасовавшись медалью с наганом в родном, но как бы присевшем на корточки и чуть поглупевшем ауле, Бзго метко, хотя и с налету, женился: работящая, резвая, злая, вдобавок не пугало вроде.

Зажили скромно, тратились скупо, одевались примерно – в обноски. Сон и мысли держали всегда начеку. Скудный надел над обрывом, доставшийся Бзго от отца, лишним по́том хозяин не пачкал, полудохлую клячу сеном тоже не баловал, зато часто ездил в долину и, воротившись, азартно молчал.

Как-то раз, едва не угробив галопом несчастную лошадь, он примчался из города, поковырялся в подполе, влез на крышу, водрузил над хадзаром кровавое знамя, после чего заспешил на окраину и, приветствуя грозных гостей, принялся жадно палить в облака.

Маневр удался: вскоре он дослужился до увесистой круглой печати и маузера. Помимо него поселковый совет составляли двоюродный братец и тесть.

Прадеду власть пришлась впору: суровый прищур и молчание в ауле весьма оценили. За вычетом пары глупцов, не нашедших общий язык с немотой председателя, никто от «красных» не пострадал.

Установив угодный ему и угодливый мир, Бзго счел за благо заняться делами семьи. Произвел честь по чести на свет сыновей,

передал им в наследство осанку, смекалку, стальные, опасные руки, разжился упитанной тенью, в компанию к ней – урожайным хозяйством, приценился по ближним ущельям и, выбрав по роду и проку невесток, справил одну за другой полдюжины свадеб.

Годы шли, Бзго грузнел, матерел, ревниво следил за порядком, подкупал лишней рюмкой бессонницу и хоронил, с торжеством в нелюдимой душе, одряхлевших соседей. Помимо отдачи приказов (кратких и хлестких, подобно укусу бича), всего-то и было работы, что сочинять энергичные рапорты, ублажать подарками проверяющих и поощрять украдкой молитвами благосклонные небеса. Дома Бзго отдыхал, что, впрочем, ему не мешало наводить на счастливо-запуганных снох бодрящий, почтительный ужас, хмурить глаз на восторженных внуков и солидно, протяжно молчать, наслаждаясь протяжным, задумчивым эхом, издаваемым этим могучим, верховным молчанием.

Так, казалось, пребудет вовеки. Но рано ли, поздно, а всякую вечность разбивает в осколки мгновение.

На девятом десятке он дал слабину: заслышав из дома истошные крики, не усидел во дворе, заторопился в хадзар, дохромал до ликующей люльки, подхватил новорожденного правнука, забубнил ему радость в пупок, засмеялся, икнул, удивился и умер.

– Это он с непривычки, – ворчала старуха-жена. – Нечего скалиться было, коли всю жизнь бирюком промусолил. Смехом нутро надорвал, истинно вам говорю.

Может, и так. Только полвека спустя оно уже мало кого волновало: подробности жизни и участи Бзго замазало дымкой забвения время. Живучей всего, чем покойник когда-либо удручался и тешился, истязал свою совесть или, напротив, гордился, оказалась... легенда про палец. Память людская, замысловатей которой была лишь людская беспамятность, откликалась в два счета на имя почившего Бзго все тем же окопным сюжетом, как если бы в нем обрела свою суть его непростая подвижная сущность. Палец в ране, отнятый с бесхозной руки, воплощал некий символ, в котором, точно игла в яйце, гнездовалась важнейшая тайна причудливой биографии. В сравнении с этой уклончивой тайной ни грехи, ни заслуги, ни должности Бзго почти не имели значения – оттого, вероятно, что представлялись (и были! – твердило чутье) ростками ее, хмельными побегами. Интересно, гадал злополучный первенец-правнук, как бы сложилась судьба старика, обойдись он тогда вместо пальца жгутом и тампоном? Но на это, похоже, у Бзго не хватило терпения. Или сил. Или стыда перед трупом. Или к себе уважения. Или почтения к Богу. Или разом – всего.

В отличие от прадеда, коего он, окатив младенческим визгом, уложил наповал при знакомстве, деда он знал и любил. Того тоже звали Маратом. Общее имя давало обоим ключ к близости – той, что пьешь ненасытно, взахлеб, даже если молчишь.

Должно быть, умение молчать обоим Маратам передалось по наследству. Только дед делал это совсем не угрюмо, а распахнуто, гостеприимно. В молчание его можно было войти, будто в открытую дверь, полную добрых шуршаний и уютных, целительных запахов, и оставаться там столько, сколько привольно душе. Молчание его всегда улыбалось. Хлебосольное, теплое, бывало оно живописнее слов: выговаривать речи Марат, дед Марата, был совсем не искусник.

Зато славно смеялся.

Ничего умнее, достойнее этого смеха внук потом так и не встретил.

Когда деда не стало, вместе с этим заливистым смехом ушла и надежда на то, что у жизни может быть все хорошо.

Под стать смеху была и легенда. В нее было трудно поверить, но еще тяжелее было испортить ее проницательным, подлым неверием. Скорее всего, случилось тут вот что: невзрачная ниточка правды сплелась воедино с пестрой пряжей фантазий и вдруг зацвела своими исконными, сочными, *точными* красками – подобно тому, как после дождя оживает на солнце, засверкав переливами радужных струн, паутинная слюнка. Тогда родилась и легенда. А у легенд, как известно, бывает лишь дата рождения – день кончины теряется в каждом новом, на завтра отсроченном будущем. В общем, дата рождения легенды – тридцатые годы...

Дед Марат был еще сопляком и заканчивал школу в Ардоне, где стоял на квартире у материнской родни. Обнаружив в нем тягу к познаниям, Бзго предпочел не горбатить его на делянке, а подготовить мальца к институту и снарядить посланцем в столицу – подальше от гор, вовсю промышлявших доносами. По таким временам свой человек пригодится в Москве, рассудил угадливый предок и наказал усвоить побольше наук, особенно ту, как надежнее нравиться людям, особенно тем, кому нравится всех ненавидеть. Дед Марат, кому оставалось до статуса деда лет сорок, послушно внимал и, засучив рукава, усердно учился тому, как быть неопасно счастливым в самой счастливой стране с миллионом несчастий на каждом шагу.

Парень был на хорошем счету и уже через год, получив от директора школы драгоценную книжку талонов, харчевался бесплатно в столовой. У него было столько друзей, что врагов накопилось

с лихвой. Угощать приходилось и тех, и других. За такую политику Бзго похвалил:

– Друг, пока сыт, не предаст. Недруг сытый на цыпочках красться поленится. Лучше остаться голодным, чем скормить себя голоду. Веди себя так, чтобы тебе никто не завидовал. Справишься – сам себе завидовать будешь. А другого тебе и не нужно.

Дед Марат был везунчик. Оттого-то Бзго его и избрал, практично пустившись по следу небесных намеков. Их было немало – с той поры, как двухлетний малыш скатился с телеги в обрыв, но не разбился о берег, а застрял на макушке сосны от гибели на волосок и, пока дожидался аркана, ни на волос с места не сдвинулся.

До семнадцати лет, в которые деда Марата настигла легенда, ему повезло столько раз, что небу в итоге сделалось совестно. По крайней мере, в то утро везение везунчику изменило: он проспал свой автобус. О предстоящей поездке во Владикавказ, куда его накануне каникул отправлял товарищ директор примерным гонцом, мальчишка мечтал всю прошедшую ночь, домечтавшись почти до рассвета, а там, словно выпрыгнув радостью в утро, забылся веселым, обманчивым сном. Пришлось обидно трястись на попутке в кузове с овцами, после чего, под брань бесконечных собак, плестись до вокзала пешком. Там Марат сел в трамвай и, уставившись в окна, напряженно считал остановки. На нужной, толкаясь, сошел и зашагал по проспекту, сверяя таблички на зданиях с адресом на письме. Город его поразил. Здесь было все то, что до этого было лишь в книгах. Голова закружилась от мысли: если этот маленький город – такой нестерпимо большой, легконогий, плечистый, проворный, какая ж тогда сотворится Москва?! Громыхали трамваи, моргали витрины, тявкали в ухо клаксоны, скакали косички девчонок, кувыркался на рельсах снежками удивительный пух тополей. Дед задрал кверху челюсть, блаженно прищурился и чихнул. Не чихнул, а прямо как выстрелил.

На деле, однако, стреляли другие. Не успел он дойти до угла, как услышал задушенный оклик и, обернувшись, увидел растрепанного человечка с искаженным от возбуждения лицом. Тот махал ему правой рукой, а левой хватался за грудь, оседая на мраморных лапах крыльца. Подскочив, Марат уложил его головой на ступеньки, разорвал воротник на седом кадыке и опешил со страху, разглядев, что сорочка под френчем забрызгана кровью.

– Спаситель! Родимый ты мой... – бормотал мужичок, вцепившись по-птичьи в плечо. – Зови постового.

Тот уже к ним бежал. Дед подумал рвануть наутек, но человек держал крепко.

Еще крепче вцепилась в Марата легенда – про то, как ему удалось укокошить одним своим чихом двух свирепых грабителей, забравшихся в дом к мужичку с разницей в десять минут. Дед проходил под окном в тот момент, когда оба налетчика, устав от взаимных угроз, молча держали друг друга на мушке и искали предлога достойно уйти восвояси.

– Их погубил чертов пух, – рассказывал внуку, смеясь, дед Марат. – И неисправный будильник. Вот и выходит: везение проспишь – разбудишь чужую удачу. Так что спи, пока спится. Сон отважнее яви. В нем любое хорошее – правда, а любое плохое – всегда чепуха.

Несмотря на сердечный припадок, мужичок настоял на банкете. Покрутив телефонную ручку, он связался с аулом и урезонил строптивого Бзго дозволить геройскому отпрыску задержаться в гостях. Потом протянул деду трубку. Тот приник к ней доверчивым ухом, но расслышал лишь скрежет да бульканье – бессловесную музыку втиснутых в провод пространств.

– Помехи на линии, – пояснил мужичок и потащил в ресторан. – Знаешь, что самое лучшее в жизни? Обнаружить вдруг кровь на рубашке и понять, что она не твоя, а твоих же убийц.

Только тут до деда дошло, что он потерял узелок.

– Плевать, – заявил угощатель. – Завтра одену тебя, как артиста. А послезавтра возьму и женю.

Грандиозные планы юнца вдохновили, и он позабыл про письмо, а когда о нем вспомнил, подумал: плевать. Оденусь артистом, женюсь – и в Москву! Так он впервые напился – до четверенек и утренних слез.

Наутро случилась суббота, и адресат не работал.

– Заместитель – мой кореш. Прорвемся, – уверил хозяин и, не теряя попусту времени, взялся со всей скрупулёзностью причащать спасителя обрядам опохмеления.

В понедельник письмо потерялось. Во вторник нашлось. В среду достигло бюро секретарши и неприметно шмыгнуло под папку. Отмечали опять в ресторане. В четверг дед почуял, что стал алкоголиком, а в пятницу смылся в окно.

Когда он вернулся в аул, его как раз хоронили. Провожавшие гроб явлением призрака не вдохновились. Бзго закудахтал и выронил шапку, а мать заскулила и заслонилась снохой. Соседи, несущие гроб, брезгливо его уронили. Он был не так, чтобы полон: какие-то тряпки без признаков тела, одевавшие раньше тело того, кто пришел с того света своими ногами на свои неурочные похороны.

– Разве ты не сгорел? – спросил сына Бзго и осторожно пощупал за локоть.

– А зачем? – удивился Марат и получил оплеуху.

Оказалось, неделю назад везение ему изменять и не думало. Напротив, сопровождало его по пятам, прихватив в обмен на услуги его узелок, в котором пожар поживился только бельем да рубашкой. Подобраться к значку, трем рублям, дневнику и тетрадкам, упрятанным дедом в жестянку, огонь не сумел, как ни тужился. Когда в запылавшем трамвае заклинило двери, Марат находился уже в трех кварталах от места трагедии и наблюдал, как выносят из дома два трупа, сраженных его громогласным чиханием.

– Конечно, приятного мало. Но поглядеть на собственные похороны со стороны все же куда веселей, чем качаться сосиской в гробу и толкаться душой черту в задницу. Я бы не прочь повторить тот же трюк еще раз. Или два. Как умру, передай.

Дед умер, и внук передал его просьбу отцу. Тот усмехнулся недобро:

– Про черта старик помянул неспроста. Везучей него мог быть только дьявол. В шесть лет попал под грозу, но не уселся под деревом, как остальные, а взобрался на скальные камни. Это его и спасло. Пять ребятишек и кошка сгорели живьем. Потом он тонул, но отделался парой царапин и приступом смеха, унимать который пришлось аракой да затрещиной. Потом на него напал волкодав, но напоролся глазами на грабли аккурат у сарайной двери. На фронте из целого взвода уцелел только дед твой да пулемет, которым он покосил, точно срезал колосья серпом, целую прорву фашистов. Три года под пулями фрицев – и ни единой царапины. И вот еще что: никогда не болел. И протянул бы еще сотню лет, не подавись вчера хохотом. Запить аракой на сей раз не успел, да и затрещину дать было некому. Не судьба, а насмешка над теми, кому не до смеха.

Отец говорил о себе. Как и Бзго, смеяться он не любил. Правда, молчание его было не перекличкой с заветными далями, не манящим уютом души, а защитой, железным забралом, из-под которого он наблюдал за враждебно смыкавшим ряды наступательным миром, только и ждавшим предлога для штурма его одиночества. Молчать рядом с ним было жутко – будто заглядывать в пропасть на лютом, промозглом ветру.

Отца своего Марат избегал и боялся. Точнее, боялся не столько его, сколько тенью стоявшей за ним безнадежности. Того, что нет ничего честнее и хуже нее – вот чего он боялся.

Отец понимал все на свете, причем на лету. Суждения его не знали ошибок, как и не ведали жалости. Вынося приговор, он не делал уступок ни болезни, ни возрасту. Когда мать заболела, он снял с депозита все деньги, купил два билета в круиз и сказал:

– На поездку нужны три недели. Отлежаться успеешь потом. Собери чемодан.

На работе предупредил, что вернется не раньше зимы:

– У меня умирает жена. Врач дает пару месяцев, так что октябрь-ноябрь я занят. Увидимся в декабре.

Марату и сестрам велел:

– Наревитесь, пока мы в отъезде, чтоб не осталось в глазах ни слезинки. Мать у вас умирает – не тонет.

Казалось, смягчи он удар, навсегда опозорится. Мать его прямоту одобряла, как одобряет любые погоды суеверный крестьянин, что, смиренно снося зной и дождь, заклинает подспудно наглядным своим, раболепным терпением небо – не обрушить на всходы погибель из смерча и града.

Мать никогда не бывала сама по себе, а постоянно трудилась придатком отца, его самой кроткой, безропотной частью, вечным «да», «хорошо» и «конечно». За тридцать лет брака оба сроднились настолько, что, не сговариваясь, могли бы заполнить одними и теми же числами два лотерейных билета. Только мать проиграла бы, а отец – тот бы выиграл. И, пожалуй, тут же забыл бы о выигрыше. Кто-кто, а он знал: по-настоящему важен бывает лишь проигрыш.

Отец не умел видеть снов – совсем, словно жил на треть жизни меньше.

Мать в свои сны убегала, чтобы пожить своей жизнью хотя бы на треть.

Отец не особо верил в друзей, хоть их у него было много: людей привлекает в других суверенность, которой сами они лишены. Ему доверяли – как всякому равнодушию. В нем ощущали подпольную силу и тянулись к ней, как к колдовству. Он властвовал в дружбе, как властвовал в доме, но детей в друзья не пускал:

– Кто растит в сыне друга, получает в итоге предателя.

Умер он прежде жены, бросившись за борт круизного лайнера, чтобы спасти какую-то псину. А может, он просто решился покинуть их раньше, чем бросит его самого его самая лучшая, кроткая, ценная – то ли часть, то ли сущность.

Он утонул, не оставив долгов и предателей. Даже среди друзей и детей.

Он умер, и Марат осознал вдруг, что любил его больше, чем деда.

Потом ушла мать – доживать свои сны.

Отныне у жизни могло быть все только плохо. Все ее «хорошо» уместилось в щепотку легенд: про палец, про чих и про винт корабля, изрубивший на корм для рыбешек отважную душу.

Хоронили отца точно так же, как хоронили впервые деда Марата: папаха, костюм и сорочка без признаков тела.

Вот когда посмеялся и он, подумал Марат. И подумал: прадед умер от смеха, но то – с непривычки. Дед захлебнулся от хохота – как перегретый мотор. Отец принял смерть как-то уж слишком нелепо, всерьез, но, похоже, смеялся последним.

Каждый из них был примером. Прадед – того, как жить, чтобы выжить. Дед – как чихать, чтобы жить не тужить, отец – как из жизни внезапно исчезнуть, оставив судьбу свою с носом.

Всем троим было впору завидовать.

Постепенно Марат перестал видеть сны. Сперва они сделались быстрыми, рваными, куцыми – не поднимешь и не соберешь. После – глухими, упрямыми и неуклюжими. Они утыкались в него мокрой мордой, сопели угрюмо и подыхали, навалившись тушей на грудь, точно выбросившиеся на сушу маленькие киты. Когда они перемерли, Марат с облегчением вздохнул и стал увлеченно учиться обрядам частичного умирания – каждые сутки на треть. Или же третью себя? Разница невелика, пришел к заключению он и задался вопросом: может, это и есть наша цель – не жить все больше и больше, не жить все честнее, покорнее, чем давалось удачливым предкам? Может быть, наша жизнь – всего только крошечный палец в ране от жизни чужой, разнообразно, давно и сполна прожитой другими? Мертвый отрезанный палец в хлещущей яростью ране, на которую Богу не хватило терпения (или стыда), чтобы заткнуть подходящим тампоном и перетянуть жгутом. Отрезанный палец с безымянного трупа истории – вот мы кто. Те, на кого не хватило легенды. Те, кто дышит отравой сомнений. Те, кто смотрит войну и беду уже только по телевизору – даже ту, что стучится к нам в дом, когда дома нас нету. Те, кто смеется – навзрыд. Те, кто лечит себя от тревог тавтологией действий и слов, засоряя повторами будни и глотая зевотой их смысл.

Странное дело, но он перестал видеть сны, чтобы видеть сплошные кошмары. И главным кошмаром была для него мысль о том, что он умирает всего лишь на треть.

Выходит, в остатке всегда остается две трети. Две трети на чистую, честную жизнь.

Такой вот расклад. Такой вот расклад, вашу мать!..

Палец в ране легонько крутнулся, выдавив капельку крови.

Марат посмотрел на ладонь. Кровь была настоящей. Как, впрочем, и боль. Как и, мать вашу, жизнь...

Ион Деген

ВСТРЕЧА НА МЁРТВОМ МОРЕ

Летом 2000 года из Москвы к Мёртвому морю на пятидневный отдых отправилась группа из пятидесяти советских генералов. Группа весьма представительная: восемнадцать генералов армии, два маршала родов войск и всего один генерал-майор. Его можно было бы назвать адъютантом руководителя группы, генерала армии Говорова, председателя Российского комитета ветеранов Отечественной войны. Но все генералы уже были в отставке. Поэтому назовем его не адъютантом, а помощником. Остальные двадцать девять были генерал-полковниками и генерал-лейтенантами. Действительно, представительная команда.

Для встречи в аэропорт имени Бен-Гуриона прибыли офицеры Армии Обороны Израиля и сотрудники министерства обороны. У нас, как известно, на всю страну только один генерал-лейтенант. Поэтому небольшая группа встречающих не была столь же представительной. Увы, Израиль не такой великий и могучий, как Россия.

Из Москвы самолёт вылетел точно по расписанию. В Израиль самолёт по расписанию не прилетел. В аэропорту имени Бен-Гуриона начались волнения. Позвонили в Москву. Но, кроме того, что самолёт вылетел во время, в Москве пока не было никаких дополнительных сведений. Волнения встречающих постепенно перелилось в панику.

Генералы всё-таки прилетели. С опозданием в несколько часов. Дело в том, что, когда самолёт находился над Чёрным морем, на борту внезапно умер один из генералов. Самолет развернулся на сто восемьдесят градусов и совершил посадку в Симферополе. Там выгрузили тело скоропостижно усопшего и продолжили рейс по назначению.

Об этом я узнал через два или три дня, когда мне позвонили из Союза солдат и партизан, инвалидов войны с нацизмом, и попросили поехать поприветствовать генералов от имени нашего Союза. Поехал я вместе с еще одним инвалидом, адвокатом Яковом Маниовичем. Как и обычно в таких случаях, меня сопровождала жена.

Генералы расположились в гостинице «Ход». Я люблю эту гостиницу. Она принадлежит Национальной больничной кассе, в которой я проработал двадцать лет. Обычно с женой мы всегда

останавливаемся в этой очень уютной гостинице на самом берегу Мертвого моря.

В условленное время нас встретили примерно восемнадцать генералов. Я был знаком только с генералом армии Говоровым и генерал-лейтенантом Ковалем. Остальных генералов увидел впервые. До торжественного обеда оставалось ещё часа полтора. Многие были на пляже, в бассейнах, в лечебных кабинетах. Вместе со встретившими нас генералами мы утопали в глубоких креслах в приятной прохладе холла, примыкающего к лобби. На столиках стояли бутылки с минеральной водой и прохладительными напитками. Я заметил, что сидевший справа, рядом с моей женой, генерал Говоров не прикасается к своему стакану, и сказал, что в Израиле следует пить много и часто. Говоров пожаловался на то, что врачи в Москве ограничивают его в употреблении жидкости. Вооружённый некоторыми знаниями и опытом, я посмел возразить моим московским коллегам. Тему подхватил генерал-полковник, сидевший слева рядом со мной:

- Когда я был курсантом, наше училище находилось в местности, где жара была почище, чем здесь, на Мертвом море. Вот сейчас здесь плюс сорок два градуса, а там в тени жара доходила до пятидесяти. Так вот, утром каждый курсант получал флягу воды...

- А вечером, – невоспитанно перебил я его, – подлый старшина проверял, не отхлебнул ли кто-нибудь хоть один глоток. И не дай Бог, если отхлебнул.

- А вы откуда знаете?- Удивлёно спросил генерал-полковник.

- Мне кажется, генерал, что мы с вами кончали одно и то же училище.

- Какое?

- Первое Харьковское танковое.

Генерал-полковник на какое-то мгновение остолбенел.

- Когда вы там учились? – Спросил он.

– В 1943 году. Выпущен в начале 1944 года.

- Потрясающе! И я в ту пору. Ты в каком был батальоне?

- В третьем. А ты?

- В третьем. В какой роте?

- В одиннадцатой. А ты?

- В девятой.

Не знаю, как выглядел я. Знаю, как выглядел генерал-полковник. В глазах его блестели слезы. Правой рукой, не вставая с кресла, он обнял меня.

- Истинно – Святая земля. Впервые после окончания училища я встречаю своего однокашника. Ведь мы были в одной казар-

ме на третьем этаже. Впервые встречаю. Вы же знаете, – сказал он, обращаясь к окружающим, – где почти все офицеры-танкисты, выпущенные в начале 1944 года?

Генерал-полковник был прав. Мне повезло чуть больше. Он был третьим из нашего батальона, третьим из пятисот офицеров, встреченных мной после войны. Первым был мой друг по танковому училищу. Красавец неотразимый. Мы встретились с Александром в Москве, в полку резерва офицеров бронетанковых и механизированных войск сразу после войны. Мы кантовались в этом полку, я – в ожидании демобилизации, Саша – в ожидании назначения. Но его тоже демобилизовали для того, чтобы он сделал невероятную карьеру на духовном поприще. Еще раз мы случайно встретились в Москве, когда ему оставались две ступени до вершины. А перед нашим отъездом в Израиль моя жена и сын встретились с ним в Загорске, когда он был уже на самой вершине.

Вторым был Вася Юбкин, помощник командира третьего взвода нашей роты. В Киеве свирепствовали пятидесятые годы. Тяжело опираясь на палочку, Вася медленно поднимался мне на встречу по Пушкинской улице. С палочками в руках мы обнялись и долго молчали, не в состоянии унять эмоций. Вася был на двух протезах. Он работал преподавателем в Киевском университете на одной из важнейших кафедр. Не то истории партии. Не то марксистско-ленинской философии. Не то еще какого-нибудь научного атеизма. Возможно, именно это обстоятельство пресекло его желание продолжать встречи со своим однокашником. Ну, зачем, скажите, сотруднику такой кафедры портить свою биографию общением с евреем? Повторяю: это ведь были замечательные пятидесятые годы, и не где-нибудь, а в Киеве.

И вот ещё одна встреча. В течение всего дня генерал-полковник не отходил от меня ни на шаг. Генерал Говоров продемонстрировал отличную память, представляя меня моему однокашнику. Не знаю, с какой целью (возможно у него были определённые отношения с моим соседом) рассказал, что у меня чуть больше орденов, чем у генерал-полковника, и что ордена эти чуть большего достоинства. И явно уже не для того, чтобы подсидеть генерал-полковника, рассказал о моих научных, как он выразился, достижениях. О моей военной карьере генерал-полковник меня не спросил. Оба мы были выпущены из училища младшими лейтенантами. Он дослужился до генерал-полковника. Я тоже – до гвардии лейтенанта. Возможно, не будь моя военная карьера остановлена тяжелым ранением в январе 1945 года и последовавшей инвалидностью, я дорос бы до полковника, ну, скажем, при самом сверхоптимальном стечении

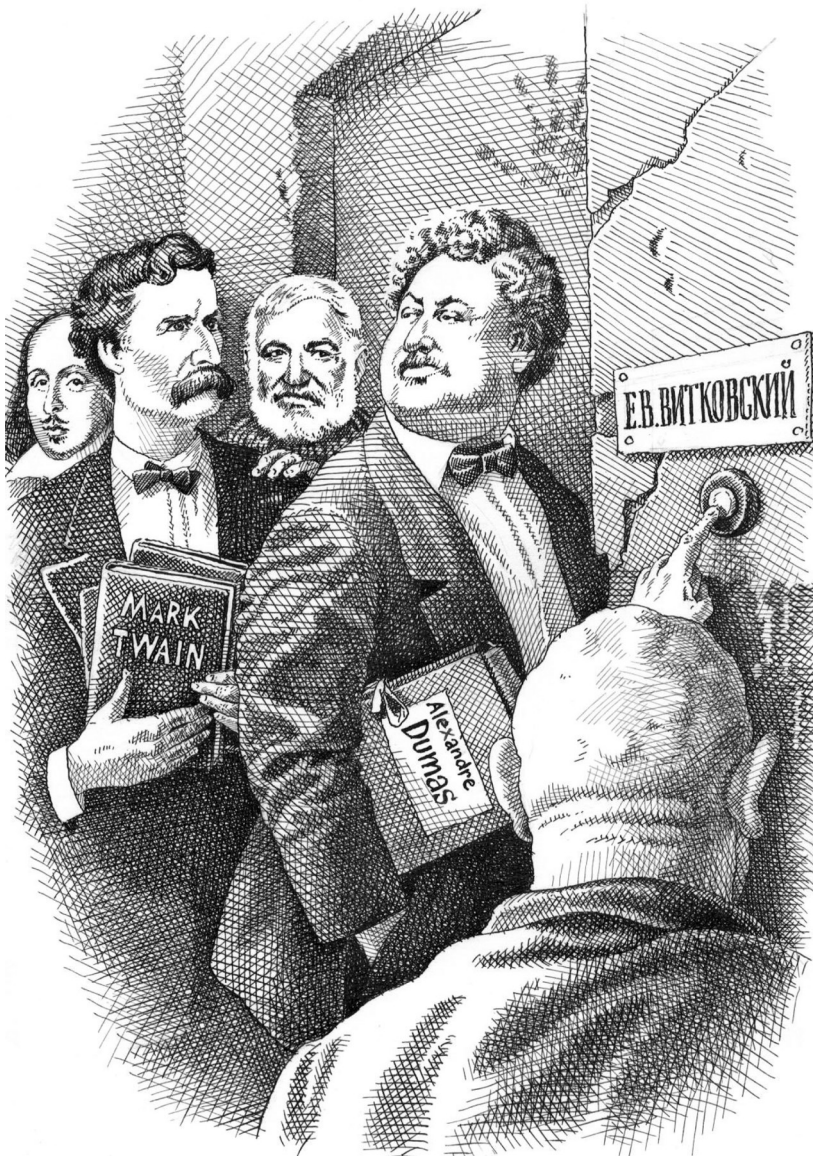
обстоятельств – до генерал-майора. Да и то вряд ли. Ведь даже будь у меня самый высокий интеллект, даже будь самые выдающиеся командирские качества, даже при самом отменном здоровье я все равно оставался бы инвалидом пятой группы.

А генерал-полковник продолжал рассказывать своим коллегам, с каким пиететом их девятая рота, мальчиков, мобилизованных после окончания школы, относилась к нам, к одиннадцатой роте, к первому набору фронтовиков в Первом Харьковском танковом училище. И продолжал восклицать, что только на Святой земле могла произойти подобная встреча.

По пути домой с Яковом Маниовичем мы пытались понять, почему до очень многих, приехавших в Израиль на постоянное место жительства, не доходит то, что дошло до приехавшего всего лишь на пять дней генерал-полковника, почему до них не доходит, что это Святая земля. Может быть для этого нужны невероятные встречи?

2003

Век перевода



МАНУЭЛЬ-ХУСТО ДЕ РУБАЛЬКАВА
(1769–1806)

СУЩЕСТВОВАНЬЕ СКРЯГИ

La vida del avaro

Копить и громоздить мешки добра,
Молиться лишь дукатам и дублонам,
И тешиться лишь вожделенным звоном
И блеском золота да серебра;

Не спать, и сокрушаться до утра,
И проклинать судьбу со слезным стоном,
Утрату медяка сочтя уроном –
Когда червонцев собрана гора…

Иных занятий не было и нет
У этого безумного бедняги:
Весь день лелеять залежи монет,

Всю ночь мусолить ценные бумаги…
Похоже, я вместил в один сонет
Всё жалкое существованье скряги!

3–4 ноября 2014

* * *

«Soñé que la fortuna en lo eminente…»

Мне снилось: я великий государь –
Властитель на блистательном престоле…
Моей суровой августейшей воле
Двуногая покорствовала тварь.

Меня обожествляли: мой алтарь
Благоговейно содержали в холе,
И мне вседневно жертвовали боле,
Чем даже Зевсу жертвовали встарь!

Служили мне смиренные цари,
Плененные моею ратью бравой…
Но луч нещадной утренней зари

Покончил вмиг со всей моей державой!..
Я хмыкнул и сказал себе: «Смотри,
Не обольщайся впредь мирскою славой…»

6 ноября 2014

* * *

«Es tan firme, Roselia, el amor mío…»

Верна любовь моя и велика,
И не уступит натиску невзгод –
Скорей застынет пламя, вспыхнет лед
И обратит течение река.

Я твой, лишь твой, Розелия, пока
Светила не прервут круговорот;
Я твой, пока под землю не уйдет
Скала, что вознеслась под облака.

Святой свершит злодейские дела,
Иль явит милосердие змея
Скорей, чем изменю тебе хоть раз.

Все в мире уничтожится дотла,
Все будет прахом, – но любовь моя
Останется со мной и в судный час.

1987. 2014

ВРЕМЯ

El tiempo

О время!.. Велика ль моя вина,
Коль скоро безрассудно время трачу?
Но время унесло мою удачу,
И времени означилась цена.

Я процветал в былые времена
И полагал, что время одурачу...
Мой смех умолк, настало время плачу,
И время отплатило мне сполна.

Уходит время, как вода в песок,
И времени, увы, осталось мало...
Все время ощущаю: близок срок –

К могиле гонит время, как стрекало.
О время! Я сберечь его не смог.
А время шло, а время истекало...

1987. 2014

НИЗЕ, ВЫШИВАЮЩЕЙ БУКЕТ ЦВЕТОВ

A Nise bordando un ramillete

О, только ли нуждой порождена
Творенья жажда, правящая нами?
Я вижу, как под нежными руками
Нежнейшая затеплилась весна.

Струится нитью легкою она,
Причудливыми стелется стежками
И светлыми ложится лепестками,
Которым смерть вовек не суждена.

И Флора, со смятеньем созерцая
Возникновенье этих гордых роз,
Где прежде ткань белела неживая,

И видя, что милей цветок возрос,
Чем ею сотворенные для мая,
Молчит, грустит – и не скрывает слез.

1987. 2014

* * *

¿Qué importa, amigo, que el natal y oriente..?

Достойно ли твердить, что ты рожден
И солнце над собой узрел впервые
В том городе, что стал во дни былые
Владыкою народов и племен?

Да, там блистал речами Цицерон,
Там Сулла заставлял клониться выи,
Там Цезарь вел когорты боевые –
И ты, мой друг, развился из пелен.

Не Риму – но его мужам хвала!
На доброй почве можно вызреть плохо:
Побег того же римского ствола –

Калигула: фигляр, тиран, пройдоха...
Поведай, каковы твои дела,
А не твои отчизна и эпоха.

1987. 2014

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО
(1864 – 1936)

КРОВЬ ДУХА МОЕГО

La sangre del espíritu

Кровь духа моего – родной язык,
А сам я – гордый сын любого края,
Куда литой глагол его проник
И воцарился, блеска не теряя.

Он зрел, еще не будучи рожден,
В латинском слоге, стройном и суровом;
Кастилию возвысил в мире он,
Колумб удвоил мир кастильским словом.

Язык мой! Ты – ковчег, плывущий вдаль,
И ты вмещаешь всяческую плоть –
Твоим народам несть числа и счета:

Впитали и Хуарес и Рисаль[1]
Язык, на коем даровал Господь
Сервантесу скрижали «Дон-Кихота».

1987. 7–9 ноября 2014

1 Бенито-Пабло Хуарес (1806–1872) – мексиканский национальный герой, президент Мексики с 1867 по 1872 гг., был индейцем из племени сапотеков, а Хосе Рисаль (1861–1896) – народный герой Филиппин, поэт, писатель, художник и полиглот, расстрелянный испанцами за подготовку восстания, принадлежал к малайской расе. Оба носили чисто испанские имена. – *Примечание переводчика*.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
СТИХИ

ПЕРЕВОД НА СЕРБСКИЙ

* * *

Манир ми прост и јасан
убог ми кров од дрвља
јер острвљанка ја сам
са далеког острвља!

Живим – ма ко ми треба!
Уђе ли – сву ноћ бдим;
да странцу обед згрејем
дом ћу да запалим.

Зирнеш ли – значи знанац,
сврatиш ли – живи ту!
Сасвим једноставан закон
пренет ми је крвљу.

Луну смамићу с неба
На длан, кад ти је мила!
Одеш – ко да те не би,
и ја – ко да нисам била...

Зурим у траг сечива:
Хоће ли да сврасте, оде,
До новога Туђинца
Који ће рећи: «Воде!»

Август 1920

Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!

Живу – никто не нужен!
Взошел – ночей не сплю.
Согреть чужому ужин –
Жилье свое спалю.

Взглянул – так и знакомый,
Взошел – так и живи.
Просты наши законы:
Написаны в крови.

Луну заманим с неба
В ладонь – коли мила!
Ну а ушел – как не был,
И я – как не была.

Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: пить.

Август 1920

МЛАДОСТ

I

Младости моја! Моја туђа
Младости! Чизмице моја без пара!
Тако упаљене очи сузив,
Откидају лист са календара.

Ништа од свег плена, блага
Не узе ти замишљена муза.
Младости моја! – Не зовем те натраг.
Била си ми товар и мамуза.

Косе си ми ноћима чешљала,
С ноћи у ноћ стреле си оштрила.
Штедрост твоја у грлу ми стала,
Ја туђе сам грехе испаштала.

Скиптар ти је вратила прерано.
Нашто души јестива без броја?
Младости моја! Моја омамо –
Младости! Шарена лажо моја!

18 новембра 1921

МОЛОДОСТЬ

I

Молодость моя! Моя чужая
Молодость! Мой сапожок непарный!
Воспаленные глаза сужая,
Так листок срывают календарный.

Ничего из всей твоей добычи
Не взяла задумчивая Муза.
Молодость моя! – Назад не кличу –
Ты была мне ношей и обузой.

Ты в ночи нашептывала гребнем,
Ты в ночи оттачивала стрелы.
Щедростью твоей давясь, как щебнем,
За чужие я грехи терпела.

Скипетр тебе вернув до сроку –
Что уже душе до яств и брашна!
Молодость моя! Моя морока –
Молодость! Мой лоскуток кумашный!

18 ноября 1921

II

Скоро ћу из ласта – у чаробнице!
Младости! У навечерје да опростим се.
Застанимо малчице на ветру.
Тамнопута моја! Утеши сестру!

Запламсај малиновом сукњом
Младости моја! Моја гугутко
црнпураста! Праскозорје ми души!
Младости моја! Утеши ме, заплеши!

Блесни лазурним шалом
Шаљивице моја! Нашалише се
До грла с тобом! – Плеши, жари!
Златашце моје – збогом, ћилибари!

II

Скоро уж из ласточек – в колдуньи!
Молодость! Простимся накануне…
Постоим с тобою на ветру!
Смуглая моя! Утешь сестру!

Полыхни малиновою юбкой,
Молодость моя! Моя голубка
Смуглая! Разор моей души!
Молодость моя! Утешь, спляши!

Полосни лазоревою шалью,
Шалая моя! Пошалевали
Досыта с тобой! – Спляши, ошпарь!
Золотце мое – прощай – янтарь!

Руку ти дотичем свечано, кобно,
Као са драгим праштам се с тобом.
Истргнута из дубина груди –
Младости моја! – Другима буди!

20. нов. 1921

Неспроста руки твоей касаюсь,
Как с любовником с тобой прощаюсь.
Вырванная из грудных глубин –
Молодость моя! – Иди к другим!

20 ноября 1921

ЧИТАОЦИ НОВИНА

Пузи подземни змај
пузи, развози свет
и свако са својим је
егземпларом (својим
егземом)! Жвакаћег тика
новински костокрцалац.
жвакач гуми-мастика –
новински читалац.

Ко чита? Старац? Атлета?
Војник? Ни обриса, ни лица,
ни лета. Скелет – па, гле –
нема лика. Новински лист! Сав
Париз у њ, од чела до пупка
Одевен. Новина?
Баци то, девојко!
Родићеш –
– читаоца новина.

Клац – «живи са сестром» –
кају се – «убио оца».
Клацкају се – и сујетом
Цакле им се окца.

Шта тој господи значи
залазак, за́р ведрина!
О, таштиногутачи,
читаоци новина!

Новина – читај: клеветања,
новина – читај: трачења.
Ни ступца без подметања,
ни колумне без блаћења...

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ

Ползет подземный змей,
Ползет, везет людей.
И каждый – со своей
Газетой (со своей
Экземой!) Жвачный тик,
Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет.

Кто – чтец? Старик? Атлет?
Солдат? – Ни черт, ни лиц,
Ни лет. Скелет – раз нет
Лица: газетный лист!
Которым – весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь –
Читателя газет.

Кача – «живет с сестрой» –
ются – «убил отца!» –
Качаются – тщетой
Накачиваются.

Что для таких господ
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!

Газет – читай: клевет,
Газет – читай: растрат.
Что ни столбец – навет,
Что ни абзац – отврат...

О, на дан Страшног суда
С чим ћете стати пред Сина?!
Ви, хватачи минута,
Читаоци новина!

Пожар! Поплава! Потрес!
Древан је исконски страх.
Мати! Гутенберг-прес
гори је но Шварцов прах!

Боље мир гробљанског крста
од рана гнојавих на
чесаоцима краста,
читаоцима новина!

Ко децу зарази ти
у цвету година?
У крви паразити –
аутори новина!

И то је оно о чему
– горе него што звучи! –
помишљам када немо,
са рукописом у руци

стојим тик испред лица
– о, нема већих празнина –
што ће рећи: нелица
уредника новина-

рске нечисти.

1–15. новембар 1935

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

– Пошел! Пропал! Исчез!
Стар материнский страх.
Мать! Гуттенбергов пресс
Страшней, чем Шварцев прах!

Уж лучше на погост, –
Чем в гнойный лазарет
Чесателей короста,
Читателей газет!

Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители кровей,
Писатели газет!

Вот, други, – и куда
Сильней, чем в сих строках!
Что думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
– Пустее места – нет! –
Так значит – нелицом
Редактора газет-

ной нечисти.

1-15 ноября 1935

Ольга Маркелова

INNBLÁSTUR FRÁ BÓKINNI «HÖFUÐLAUSN»

Honum tókst ekki að leysa höfuð sitt.
Gramur sótti ekki fram
í gylltum braglínum;
listagyðjan var lömuð
og vísan sem hann orti reyndist hálfgert leir.
Það sat lítill fugl á kvisti
og kvakaði alla nóttina,
en ekki var þetta galdrakonan
komin að trufla skáldið.
Það var nefnilega þannig,
að tími stórsnillinga var liðinn,
og manni tókst ekki lengur að yrkja sig lausan
undan þungri exi örlaganna.

22. ágú 2013; Kópavogur

Навеяно романом Оулава Гюннарссона «Выкуп головы»

Не удалось ему выкупить голову.
Не двинулся князь вперёд
в позолоченных строках,
онемела муза,
виса бессильно повисла.
Сидела на веточке птица,
всю ночь щебетала,
но это не злая колдунья
решила помешать скальду.
Дело было попросту в том,
что кончилась эпоха гениев,
а теперь никому не откупиться –
– не отписаться –
От тяжёлой секиры судьбы.

Í STAÐINN FYRIR LJÓSMYNDIR

I. VIÐEY
Skipið er stærra en eyjan.
Ljósblik á köflóttum sjó.

II. ARNAVATNSHEIÐI
Mammútaskýin kætast
fyrir ofan guðdómlegum bláma jökulsins.

III. MIÐBORGIN REYKJAVÍK
Fortíðin býr í bárujárnsveggjum
en nútíminn
í plastflösku undir girðingu.

IV.
Eyjaleppar í flóanum.
Ísland var sniðið eftir munstri,
og það eru pjöltur eftir.

Вместо фотографий

I (ОСТРОВ ВИДЭЙ)
Пароход больше острова.
Блики на сетчатом море.

II (АРТНАВАТНСХЕЙДИ)
... И разрезвились тучи-мамонты
над неземным сияньем ледника.

III (ЦЕНТР РЕЙКЬЯВИКА)
Квартал, где прошлое живёт в рифлёном
железе стен,
а настоящее –
в пластмассовой бутылке у забора.

IV
В заливе – лоскутки островов.
Исландию кроили по лекалу –
остались обрезки.

* * *

Landslagið er ekki sérlega spennandi:
utan fyrir gluggann eru ský
að reka sig í klettahreistur með búkum.
Himinninn er svo lágur
að það er ekki hægt að standa upprétt á steini.
Og aðeins tveit litir: mosagrænn og skýjagrár.

En skýjatjaldið er dregið frá, og fjallhálsar koma til sýnis.
Og landslagið breytist um leið:
rýmið vikkar,
steinarnir lífna
og það birtist himinninn.

* * *

Не очень интересный пейзаж:
облака за окном
задевают брюхом за чешую утёсов.
Небо так низко,
что невозможно
встать во весь рост на камне.
И всего два цвета:
мшисто-зелёный и облачно-серый...

Но вот разъехались кулисы туч,
и показались синие отроги.
И тотчас изменился вид дороги:
пространства разомкнулись,
ожили камни
и появились небеса.

* * *

Хочу себе другое детство:
рыбий жир по утрам,
псалмы по радио,
колючее шерстяное бельё,
мокрые до нитки варежки,
летом – палаточный лагерь
где-нибудь на Полях Тинга.

Или такое детство:
смотреть на гору Эсья
из окна с шестерным переплётом,
ждать осенью корабля с яблоками,
по воскресеньям говорить по-датски.

Нет, лучше так:
хочу провести детство
на дерновом хуторе,
где земля, сыворотка и слова,
где женщины вместе с шерстью прядут рассказы,
где еды не хватает, зато песен – в избытке,
где резкий ветер шевелит листы.

А лучше так:
хочу вырасти
из колючей травы первопоселенчества
в тот век, когда история Духов Страны
ещё не была переведена
на пергаментный человечий язык.

Наверно, у меня должно было быть совсем другое детство.

УЗОР ВОСПОМИНАНИЙ

Путаная азбука памяти…
Рада Полищук

А в горле сопят комья воспоминаний…
Егор Летов

Лохматые нити воспоминаний
удастся ли соткать в единый узор
я помню
много
деревню помню
дождь
КОСОЙ
косили хлеб на дальнем поле
тын плетень жердина
ПРУТ
воспоминания
теснятся
всего не перечесть
не вспомнить всех подлинников
ВСЕХ КОПИЙ
всех мечей, щитов,
всех рук, плеч
ГОЛОВ
на футбольном поле и спортивного комментатора
описывающего каждый
ГОЛ
как сокол
залётный гость
такой непутёвый
наивный
ПРОСТОЙ
в работе
безмолвствуют станки
привычный гул цеха
СТИХ
читал с эстрады артист
надо же, я и это не забыл
в памяти живёт и пустяковое, и важное
успею ли всё перебрать?

Судьба свершается
небесные ткачихи
вот-вот закончат
ПОЛОТНО
железной дороги
гремячее эхо
скрывается в тоннеле
СОСТАВ
моих воспоминаний крайне пёстр:
то эта жизнь всплывёт, то прошлая…
город помню
серые заводы
СМОГ
отыскать запылённый альбом с семейными фотографиями
мамаша, бабушка и этот – в комиссарской шинели
а ещё дед рассказывал, как церковь взрывали:
взлетели в воздух
колонны крест
ГЛАВА
моих воспоминаний
никогда не будет дописана
невозможно поставить
точку.

25 января 2014, Москва

ОСКАР УАЙЛЬД
(1854–1900)

Сфинкс

Как если б там была всегда, в углу, где дымом тьма слоится,
Следит за мною женольвица – прекрасна, сдержанна, горда.

Её ничто не шелохнёт, она взирает без движенья
На лун серебряных круженье и солнц лучистый хоровод.

Багрец отогнан синевой, смят лунный свет ночным агатом –
Безмолвен Сфинкс: молчит с закатом, и днём не шевельнёт главой.

Уходит за зарёй заря, ночь меряет свой век часами,
Но что они перед зрачками индиго с блеском янтаря!

Улыбка – фреской на губах, лишь по спине густопесчаной
Струится дрожь волною странной и мех ерошит на плечах.

Иди сюда, мой мажордом! Скорей девичьей, чем звериной
Порадуй грацией старинной, достойной праздничных хором!

Иди сюда, мой Сфинкс немой, склони главу мне на колени
И потянись в блаженной лени, урча под ласковой рукой.

Коснуться дай твоих когтей с их желтизной словновокостной,
И хвост погладить смертоносный, обвивший лапы, словно змей.

Ты помнишь тысячу веков, а лишь двадцать лет жалею
Что за осеннюю ливрею отринуть зелень год готов.

А ты вблизи познала миф – иероглифы обелиска,
Звенящий клёкот василиска, простор, где кружит гиппогриф!

Осирис был не при тебе ль омыт исидиной слезою?..
А то, как предалась герою царица, пив жемчужный хмель –

И очарованный бахвал, не ждав тщеславию укола,
Из средиземного рассола небрежно рыбу доставал?

Не при тебе ль Киприда шла за Адониса катафалком?
Неслась тебе ли с Аменалком в Гелиополисе хвала?

Ты знала Тота? Помнишь стыд и стоны Ио лунорогой?
Твоей ли славились подмогой цари посмертных пирамид?

Даруй мечтательный покой в глазах с тяжёлой синевою!
Приластись, ляг передо мною, воспоминанья мне пропой!

Спой, как во тьме уведены Младенец и Святая Дева
Тобой от иродова гнева, в тишь фараоновой страны.

Спой мне, как в томной духоте, вдыхая Нила испаренья,
Ты грезила, сливаясь с тенью, об Антиноя наготе,

Про сушь во рту, про липкий мех, про то, как нёбу стало жарко,
И златовёсельная барка вдаль унесла эфебов смех.

Спой, как могучий полубык по Лабиринту мчался гулко,
Спой, как безлунная прогулка наткнулась на щемящий крик –

Крыла кровавые простёр парящий ибис над тобою,
И с воем изошли росою чумные поры мандрагор,

И как священный крокодил с лениво-мутными глазами
Отплакал жертву жемчугами и вглубь неспешно заскользил,

Как заклинатели тебя визгливым песнопеньем злили,
Ты змей терзала в гневном пыле, их плоть когтями теребя!

Но кто любил тебя, скажи? Кто бился за тебя с другими?
Чьё сладострастьем полно имя? Чьи ласки до сих пор свежи?

Склонялись ящеры, ответь, величественно бронекожи?
Твоё истоптанное ложе грифоньих перьев знало медь?

Иль влажный оседал туман с гиппопотамовым дыханьем?
Златочешуйчатым мерцаньем дракон манил, от страсти пьян?

Тобою ли порождены, ликийским ужасом зачаты,
Многоголовы и косматы, его кошмарные сыны?

Иль отвернувшись от самцов, и тайн постыдных вожделея,
Встречала дочерей Нерея, и негу призрачных сосцов?

Иль покрывалась пеной мгла, когда у края океана
Искала ты Левиафана? Иль Бегемота ты ждала?

Или когда закат темнел, под пальмой приютив усталость
Ты чернотою упивалась и силой эфиопских тел?

Когда по глади нильских вод судёнышки скатились в тени,
Летучей мыши мановений вдохнул храмины гулкий свод,

Не ты ли тешила свой жар, нырнув в озёрные глазницы,
Презрела вечные гробницы, чтоб там устроить лупанар,

Царей раскрашенных подняв из безразличья саркофага?
Или вкушал срамные блага лишь полнорогий трагелаф?

Иль был тобой любим Ваал – бич иудеев, бог мушиный?
Иль для тебя, не для мужчины, во взоре Баст берилл сиял?

Иштар покорный, не с тобой ли нежен был властитель Тира?
Иль ассирийского кумира с ястребоклювой головой

Пленяла, пленена сама слюды прозрачным переливом
Игравшим в перьях прихотливым узором тонкого письма?

Могучий Апис робко дар нёс не тебе ль, непостоянной,
С охапкою травы медвяной – медвяноцветный ненюфар?

Иль пуст улыбки тайный зов, удачи не было влюблённым?
Но нет, ты возлегла с Амоном на ложе нильских берегов!

Речных коней трубящий глас и рык приветный леопарда
Сливались с ароматом нарда, струящимся с речных террас,

Как царственный хеландион, сирийским просмолён гальбаном,
Одетый водяным туманом ступал по отмелям Амон.

Через пески держал он путь, чтобы восстав на небосклоне
Вместить в несытые ладони твою чёрнозлатую грудь.

Губами рот сожжён дотла, но покоренье богу мило –
Ты с ним высокий трон делила, и тайным именем звала,

Пророчеств сумеречный яд лила в ушей его пещеры,
Взывая к мраку дикой веры и крови жертвенных козлят.

С Амоном возлежала ты, и Нил вам был опочивальней!
И с каждой лаской – триумфальней твои рельефные черты.

Полдневную давали тень объятий мраморные своды,
И он, умасленнобородый, сверкал сиятельней, чем день,

И солнечных его волос на семь локтей простёрлись ленты,
Как искристые орпименты, что курд прижимистый привёз,

И цвет его лица нежней, чем сусло с юной винной пеной,
И синевою сокровенной глаза сапфирнее морей,

И шея молоком бела, с ажурных жилок бирюзою,
Жемчужной шитые росою шелка вздымались, как крыла,

И вышнего сиянья свет слепил – на боге белогрудом
Лучился ярким изумрудом гранёный морем самоцвет,

Луной самою порождён, добыт в урочище колхидском
В глубоководном иле склизком, и волховицей сбережён.

Пред колесницей золотой нагие корибанты пели,
И барку проводил сквозь мели слонов почтительнейший строй,

И чёрный строй нубийцев стал живой опорой балдахину,
Что на гранитную стремнину плыл в окруженьи опахал.

Купцы Сидона в дар вели суда с тяжёлым стеатитом,
И полыхали хризолитом те кубки, что ему несли,

И чтили тирские купцы его кедровыми ларцами,
А в свите мерялись венцами царственнородные юнцы.

Пять тысяч выбритых голов и день, и ночь поклоны били,
Пять тысяч ламп ему кадили, – теперь в святилище богов

Снуют меж рукотворных скал одни песчаные гадюки –
Умолкли славословий звуки, и мрамор обелисков пал!

У гнилью траченых ворот ютится выводок шакала,
У портиков разбитых вяло ведут сатиры хоровод,

На груде крашеных камней лишь гамадрил, питомец Гора,
Бормочет и следит, как споро крушит ступени рост корней.

И бог разбросан тут и там – барханом одиноким скрыта,
Рука колосса из гранита ещё взывает к небесам,

И то и дело караван, ведомый гордо негром статным,
Перед затылком необъятным застынет, страхом обуян,

И, проезжая меж руин, всю силу твоего искуса
И скат плеча из-под бурнуса оценит старый бедуин.

Ступай, на пустоши глухой обломки собери прилежно,
И воссоздай любовью нежной того, кто страстью был самой!

Ступай, омыть их поспеши вечерней тёплою росою,
Сложи того, кто был с тобою, и камень оживёт в тиши!

Увядший слух его буди! Он так алкал тебя, ну, что же –
Пусть нардом снова пахнет кожа, пусть вьётся шёлк с его груди,

Чтоб губ очнулось естество, и плеч былая стать воскресла,
И пурпур облегал бы чресла, и бок, и лядвеи его!

Единственный поныне Бог себя легко убить позволил,
И кровь, копьём пронзённый, пролил, и испустил последний вздох.

Но те, любовники твои, все живы – у своей заставы
Анубис ждёт еще псоглавый в преддверьи тёмной кисеи,

И Мемнон, свой высокий трон храня присутствием бессонным,
К тебе взывает горьким стоном, рассветом жёлтым озарён.

Отбросил изобилья рог ленивый Нил, и мутным водам
С твоим нечаянным приходом наступит разливаться срок.

Любовники твои живут! Услышав голос твой – воспрянут,
И радостно в цимбалы грянут! Зачем ты остаёшься тут?

Пусть ветер вскинет паруса, пусть лошади зайдутся в пене!
Вернись в Египет, хватит лени! Наскучит идолов краса –

Преследуй гривистого льва в пустыне терракото-медной,
И в схватке быстрой и победной на тело предъяви права,

И, отлюбивши чужака, сомкни клыки на горле пряном,
Хлеща хвостом в азарте пьяном свои латунные бока.

Иль тигра яркого пленись повадкою угольно-рыжей,
И следом, в радости бесстыжей, фиванскими вратами мчись,

И предавайся с ним любви, изведай нутряное пламя –
Но халцедонными когтями сомни, и грудью раздави!

Довольно медлить, ну же, прочь! Своим молчанием надменным,
И взором стыло-неизменным меня напрасно не морочь!

Твоё дыхание свечу пугает силой подземельной,
И влаги холодно-смертельной на лбу я больше не хочу!

Твои глаза двойной луной в зеркальном отраженьи блещут,
Язык багровый твой трепещет кровавокожею змеёй,

Твой зев чернеется пятном, прожжённым в старом гобелене,
Твой пульс в угрюмой кантилене манит ночные тени днём.

Иди! Звезды сернистый свет истает скоро на закате!
Иди! В полуночном агате отыщешь полумерклый след!

Вон, к башне серо-золотой восток, дрожащий льнёт в тумане,
Слезит алмазных окон грани сквозь мутно-облачный настой.

И что за бешеный поток обвил тебя в своём круженьи,
Дал опийному сну движенье, и в комнату мою привлёк?

Кто твой порочный проводник, невидимый и безъязыкий,
Что огонёк увидел зыбкий, и в дом непрошенным проник?

Мои чумнее вереда, и больше нет ни в ком изъяна?
Иссохли Фарфар и Авана, коль в жажде ты пришла сюда?

Изыди, прочь! И забирай соблазна запах бестиальный,
И свой призыв маниакальный в чужой, не мне суждённый рай,

Свой запах томного лганья, призыв к страстям самозабвенным –
С его ножом окровавленным и Аттис был целей, чем я.

Блазнящий Сфинкс, проклятый зверь! Иди, со стариком Хароном
Дождись меня за Ахероном, я понесу мой крест потерь:

Следя за хороводом бед, наверно знать – слеза напрасна,
И души гибнут ежечасно – и знать, что в этом смысла нет.

Школа злословия



Дмитрий Смирнов-Садовский

«СТРАНСТВИЕ» ВИКТОРА ТОПОРОВА

Идеальных переводов не бывает, это общеизвестно, и мы всегда благодарны переводчику за попытку донести до нас текст, написанный на не вполне знакомом нам языке. Так переводы Бальмонта, Маршака, Микушевича, Сергеева, Потаповой и других когда-то (в 1960-х годах) открыли для меня поэзию Уильяма Блейка. Но когда затем мне попались блейковские стихи в переводах известного и весьма плодовитого переводчика, критика и публициста Виктора Леонидовича Топорова (1946–2013), я пришёл в некоторое замешательство. Таким, можно сказать, странным катреном Топоров открывает «Песни невинности и опыта»:

С дудкой я бродил в лесах,
Дул в зеленое жерло.
Вижу: с тучки в небесах
Свесилось дитя мало.

Ни стиль переводчика, ни его лексикон, ни способ передачи поэтической мысли никак не вязались в моём представлении с поэзией моего любимого автора и, обратившись к оригинальным английским текстам, я всё более и более в этом убеждался.

Взять к примеру стихотворение «Божественный образ» *(«The Divine Image»)* из того же цикла, переименованное Топоровым в «По образу и подобию».

Добро, Смиренье, Мир, Любовь –
Вот перечень щедрот,
Которых каждый человек,
Моля и плача, ждёт...

Начать с того, что канцелярское слово «перечень», которого нет в оригинале, уже с самого начала даёт неверный настрой. Блейк говорит здесь о следующих «восхитительных добродетелях» («virtues of delight»), которых «в своих молитвах просят все, кто находятся в беде, принимая их с благодарностью», а именно о

«Милосердии, Сострадании, Мире и Любви» *(«Mercy, Pity, Peace, and Love»)*. Слова эти, каждое из которых повторяется в стихотворении семь раз очень важны, но два первых из них «Милосердие, Сострадание» Топоров зачем-то меняет по своему произволу на «Добро, Смиренье», и весь смысл меняется. Если «Добро» хорошее слово и ничему не противоречит, то слово «Смиренье» в данном контексте совершенно непригодно – Блейк, которому была глубоко чужда рабская психология, ни здесь, ни где-то ещё не призывал к смирению, и переводчик, таким образом, просто оболгал переводимого им автора. В этом переводе (в окончательной версии 1982 года) есть две совершенно вопиющие строки:

И нехристь – тоже человек,
И в том любви залог...

Это, конечно, мысль самого Топорова, потому что у Блейка нет и не может быть ничего подобного: «*And all must love the human form, / In heathen, Turk, or Jew*» («И все должны любить человеческий образ / в язычнике, турке или иудее») – так написано у Блейка. И переводчик только лишний раз этим доказал, что он человек иной ментальности, так что лучше было бы ему за Блейка не браться.

Но что поделаешь – Топоров перевёл из Блейка многие страницы, не только лирику, но и целые поэмы, и хочешь не хочешь, приходится порой продираться через не вполне вразумительные тексты. Топоров, в частности, перевёл одно из самых загадочных, сложных и многозначных философских стихотворений Блейка «*Странник Духа*» *(«The Mental Traveller»)*. Перевод этот был опубликован в 1975 году в сборнике «Поэзия английского романтизма XIX века» в серии БВЛ (Библиотека Всемирной Литературы) под названием «Странствие». Понимая, что критиковать работу своего предшественника не вполне деликатно, я попытаюсь ограничиться анализом некоторых фрагментов этого текста.

1. Я странствовал в стране людей,
Я был в краю мужей и жен,
И видел там позор и срам
И слышал стон со всех сторон.

Здесь, казалось бы, всё хорошо за исключением важной детали. Блейк ничего не говорит ни о «позоре», ни о «сраме» – это совершенно не в духе его концепции и только свидетельствует о не-

понимании смысла текста. О никаком «стоне со всех сторон» в оригинале также речи нет. В двух последних строках Блейк пишет: «*... And heard & saw such dreadful things / As cold Earth wanderers never knew*» (буквально: «И видел, и слышал такие ужасные вещи, / О которых холодные Земные странники никогда не знали»). Этот смысл никак не передан в переводе.

3. А родилось дитя – его
Спешат к старухе отнести,
И та берется за него,
Как будто хочет извести:

У Блейка же: «*And if the Babe is born a Boy / He's given to a Woman Old / Who nails him down upon a rock / Catches his Shrieks in Cups of gold*» («И если Дитя родится Мальчиком, / Его отдают Старухе, / Которая пригвождает его к скале / Собирая его Крики в золотые Чаши»). В контексте стихотворения важно, что дитя это – мальчик, а не девочка. Старуха не просто «хочет его извести», а распинает дитя, словно Христа, пригвождая его к скале, а затем собирает его крики в золотые чаши – эти образы, такие яркие и важные для Блейка, которые потом не раз повторяются в его поздних поэмах, полностью изъяты из текста переводчиком. И чем дальше в этот лес, тем больше таких же дров – понятно, что к такому переводу трудно относиться всерьёз.

Вероятно, к подобному же выводу пришёл Алексей Максимович Зверев, составитель большого тома избранной поэзии Блейка, выпущенного в 1982 году в издательстве «Прогресс». Скорее всего это он убедил переводчика переработать большую часть своих переводов, включённых в этот том. Так Топоров устранил некоторые недостатки своего первого варианта «Странствия», однако добавил новые, среди которых наращивание количества строк – это касается 21-ой строфы, четыре строчки которой переведены восьмью строками. Но это полбеды. Обратимся снова к тексту:

1. Я странствовал в Стране Людей,
Я был в Стране Мужей и Жен –
И лютый страх застыл в глазах,
В ушах остался с тех времен.

Это уже лучше, так как ненужные «позор», «срам» и «стон» благополучно уступили место «лютому страху», что ближе к ори-

гиналу, но основная мысль, напомню: «И видел, и слышал такие ужасные вещи, / О которых холодные Земные странники никогда не знали», так и осталась непереведённой. Однако мы видим, как шаг за шагом перевод совершенствуется, многие несоответствия заменяются чем-то более осмысленным:

3. Дитя же, если это Сын,
Старухе Дряхлой отдают,
И та, распяв его гвоздем,
Сбирает крик в златой сосуд.

Это уже большой прогресс, в смысле восстановления блейковской атрибутики, но смущает неуклюжее выражение «распяв его гвоздем» – я даже не уверен, можно ли так вообще сказать по-русски? Да и «сбирать в златой сосуд» лучше бы не «крик» в единственном числе, а «крики».

Страшный образ Старухи, которая куражится над своей жертвой, человеком духа – это по всей видимости земля, природа, общество, то, что связано с бренным существованием человека. Крики жертвы омолаживают Старуху, а юноша-жертва мужает, приобретая горький земной опыт. Блейк начинает пятую строфу так: «Её пальцы перебирают каждую его Жилу, / Как Скупец, пересчитывающий своё золото» («*Her fingers number every Nerve / Just as a Miser counts his gold*»). Но Топоров, игнорируя этот текст, вводит придуманную им прямую речь Старухи:

5. «Тут больно? – ищет. – Тут? а тут?»
В находке каждой – торжество.

В начале седьмой строфы переводчик, довольный своей находкой, вкладывает эти же слова в уста жертвы – юноши, который вырос, обрёл силы и теперь овладевает Старухой, превратившейся уже в юную сияющую Деву (*Virgin bright)*: «Тут больно? – ищет. – Тут? а тут?» Может быть это и красиво, но Топорову при этом пришлось принести в жертву мысль Блейка: «Он засевает собой каждую её Жилу, / Как землепашец свою почву» («*He plants himself in all her Nerves / Just as a Husbandman his mould*»).

8. Но вянет вскорости и он,
В своем жилище, как слепой,
Крадясь меж Блещущих Богатств,
Что захватил за День Земной.

Тут переводчик пытается следовать канве оригинала: «Старая Тень, он слабеет, / Блуждая по Земному Жилищу, /Наполненному драгоценностями и золотом / Приобретённым своим усердным трудом» (*«An aged Shadow soon he fades / Wandring round an Earthly Cot / Full filled all with gems & gold / Which he by industry had got»).* Но сравнения «как слепой» у Блейка нет, оно выглядит крайне нелепо и, понятно, понадобилось переводчику лишь для рифмы. Почему «как слепой», когда он далее разглядывает свои земные богатства?

9. Его богатства – жемчуг слез,
Рубины воспаленных глаз,
И злато раскаленных дум,
И страсть, и просьба, и приказ.

И эта строфа, даже если её признать, как одну из немногих переводческих удач Топорова, разочаровывает, если её сравнить с оригиналом: «И это драгоценности Человеческой Души, / Рубины и жемчуга томящегося от любви взгляда, / Бессчётное золото изнывающего сердца, / Стон мученика, и вздох влюблённого». *(«And these are the gems of the Human Soul / The rubies & pearls of a lovesick eye / The countless gold of the akeing heart / The martyrs groan & the lovers sigh»).* Потери в переводе налицо, и нет у Блейка тут никаких «раскалённых дум», а заключительное слово «приказ» – чистейшая выдумка переводчика, опять же введённая только рифмы ради.

Подобный анализ можно продолжать до бесконечности. Но нужно ли? Все согласны с тем, что художественный перевод может и должен отличаться от буквального подстрочника. И каждый переводчик оставляет за собой право на собственное понимание, толкование, трактовку переводимого им произведения. Но есть какая-то черта, за которую опасно переходить – тут необходима определённая мера, а главное уважение к оригинальному тексту и ответственность перед читателем, на суд которого выносится текст, выдаваемый за произведение иноязычного автора. Если этого нет, то нужен ли вообще такой перевод? В данном случае и без того сложный и перенасыщенный поэтический текст ещё более усложняется и запутывается бесконечными отступлениями, добавлениями от себя, а также изъятием множества важных деталей – мыслей и образов автора, оставленных без внимания за пределами перевода, и в результате шедевр английской поэзии пред-

стаёт перед нами в невероятно искажённом виде. Можно предположить, что, если бы Топоров отнёсся к своему труду более добросовестно, ещё раз-другой вчитался в текст и пересмотрел собственный перевод, из него получилось что-нибудь более приемлемое. Однако этого так никогда и не произошло. И это весьма грустно.

8-8-2014, St Albans

Александр Кузьменков

КИБЕРПАНК В ПОИСКАХ САТОРИ
(В. Пелевин, «Любовь к трем цукербринам»; М., «Эксмо», 2014)

1

В Шматрице царил коматозный покой. Лишь транснациональные медиаспруты расчесывали своими щупальцами всю скверну виртуального мира. Из соседнего кластера полз мерзкий аудиомессидж в формате mp3: «А моя зазноба, сцуко, / Не вылазит из Фейсбука. / Засажу поллитру я / И зависну в Твиттере». «Думаю, по пьяни флудят», – решил цкшеук. Но тут же раздраженно оборвал себя: «Я думаю, как же... Меня думают, это точнее. И вообще, никакого меня нет. Кто я такой? Компьютерная нежить, голем, несколько мегабайт информации, кое-как склеенной в эзотерические мемы. Чья-то выдумка...» Цкшеук даже знал, чья именно – Того-Хакера-Сверху.

Еще он знал, что планы Хакера постоянно менялись. В своей бета-версии цкшеук был инженером-электриком со скромной миссией – не перепутать с бодуна ноль и фазу. Но Хакер основательно проапгрейдил свой продукт и переписал скрипт, – теперь требовалось генерировать мыслетексты. Сменилась и профессия: крякл, а именно – цкшеук. Шершавое, занозистое слово было неуклюжей русификацией английского writer. Каждый удачный мыслетекст выводил цкшеука на следующий уровень. В перспективе маячила Суперигра – выйти из шматричного наваждения и расстрелять Того-Хакера из глиняного пулемета. Но с гамовером что-то отчаянно не ладилось. Таймер в правом нижнем углу десктопа глумливо фиксировал ускользающее время: 00:59:19, 00:59:18...

А

Булгаков как в воду глядел. «Читали вы нового Пелевина?» – «Да что я, старого не читал?»

Все, что можно сказать о «Любви к трем цукербринам» сказано как минимум трижды: про «t», про «S.N.U.F.F.» и «Batman'a

Apollo». Ибо новый роман Пелевина смонтирован из тех же деталей. Источником вдохновения в очередной раз послужила компьютерная игра – точно так «t» был выкроен по лекалам квеста, а «S.N.U.F.F.» воспроизводил стратегию. Неизменной осталась трехступенная, буддийская эволюция протагониста: неведение-инициация-просветление. Интертекстуальные связи привычно широки: Фрейд, Оруэлл, Айлет Стив, Вачовски, Славой Жижек и Чжуан-цзы со товарищи... Присутствует традиционная карикатура на коллегу-литератора: на сей раз объектом недружеского шаржа стал Дмитрий Быков. Любимую авторскую проповедь о фантомности мира и человека можно вообще не упоминать – подразумевается по умолчанию. Как и натужные попытки острить. А равно и многочисленные «не-могу-молчать» и «так-жить-нельзя».

Вы милого узнали по походке?

2

При рождении ему присвоили ник «Пеле» – в честь гения игры, популярной у быдломассы. После апгрейда к никнейму прибавился звонкий английский постфикс «win». Так Шматрица провожала его с уровня на уровень: you win! Казалось, здесь было зашифровано его криптоимя – победитель. Но окончательная победа была чудовищно далека: мыслетекст прятался, предательски растворяясь в пучине киберпространства.

Таймер продолжал издевательски подмигивать: 00:45:11, 0:45:10...

B

Прошу прощения за дурной каламбур, но пересказывать вымученные пелевинские сюжеты всегда мучительно. Тем паче, если речь о «Цукербринах», где три довольно-таки разнородных текста кое-как объединены образом главного героя – просветленного Киклопа. Первая повесть представляет собой безразмерную (7 840 слов) новеллизацию «Angry Birds»: птицеголовые демоны обстреливают Древнего Вепря (он же Творец) живыми людьми. Во второй, пуще других запутанной, автор упражняется в жанре киберпанка: тролль Кеша обитает в виртуальной реальности, общается с приложениями и сожительствует с социальной партнершей в образе Мэрилин Монро, подменяя ее сексапильной японской анимашкой Little Sister. В конце концов выясняется, что на самом деле социальным партнером Кеши был исламский террорист… Ну о-очень увлекательный саспенс. Последняя повесть – про девушку Надежду, абсолютно равнодушную к

френдленте и гаджетам. За каковые добродетели Надежда посмертно сподобилась ангельского чина и выдумала свой персональный Эдем. Все это, разумеется, пересыпано актуальными трендами, как-то: Украина, борьба с педофилией, субкультура хипстеров и проч. Что еще? Может, пара лирико-философских пассажей для полноты картины?

«Мы – просто кошмар, снящийся Богу. Но Бог – просто кошмар, снящийся нам».

«Наш Бог, (если Он есть), не физик. Бог скорее художник – и большой шутник. Чтобы не сказать – хулиган из группы «Война», создавший Вселенную, чтобы написать на ней неприличное слово».

А про цукербринов (они же интернет-суккубы, они же алгоритмы, они же служебные собаки врагов рода человеческого) вам автор объяснит. Хоть и сам, похоже, не все понимает. Но главное усвоить можно: «Ты есть то, что прокачивают через тебя цукербрины».

Тут опять-таки уместна булгаковская аллюзия. Когда ПВО воюет с видимостями, – мне смешно. Это означает, что он должен лупить себя по затылку. Не знаю, право, с какого перепуга можно считать литературой коллажи из домотканой эзотерики и второсортной публицистики. Ну, разве что издатель на PR не поскупится...

3

Пеле догадывался: истина где-то рядом – но где? Сэнсэй подскажет, решил он, выбрав среди приложений, разбросанных по периферии десктопа, преподобного Тосику Токаку. Дзэнский монах эпохи Муромати, облаченный в шафрановую рясу, сидел в падмасане – правда, поза и ряса лишь подразумевались, поскольку за столетия духовной практики Тосика Токака полностью утратил свою телесную сущность. И вообще, от него остался лишь один глаз – видимо, третий. Из пустоты зазвучал ржавый, старшинский голос сэнсэя:

– Смир-рна, боец! Встретишь патриархера – юзай патриархера. Встретишь будду – юзай будду. Об исполнении доложить!

На этом бесплатная часть поучения кончилась. В воздухе тускло заискрился ехидный баннер: shell out or fuck off!

– Удзаттэ! – энергично выругался Пеле вслед исчезнувшему сэнсэю и удрученно добавил: – Симатта...

Юзай патриархера, ага. А то, блин, не юзал. Перед глазами возник список патриархеров, у которых цкшеук прежде заимствовал мыслетексты. Некоторые имена вроде Чжуан-цзы или Ги Эрнеста Дебора были вычеркнуты дважды и трижды. Строчку «The Wachowskis» покрывал добрый десяток параллельных линий. Пеле

почувствовал, как на него неотвратимо наваливается гибельная авидья. На таймере значилось 00:32:08...

С

Тибетская легенда гласит: некогда Пелевин создавал шедевры, а после стал жертвой кабального контракта с «Эксмо». Предание это апокрифическое, а потому весьма недостоверное. На мой взгляд, особой разницы между «Чапаевым» и «Цукербринами» нет, поскольку ПВО пребывает в похвальной неизменности уже добрых два десятилетия (подробности см. выше). Все это время по следам Виктора Олеговича, то приближаясь, то отставая, шел один из его персонажей – пятиногий пес по кличке... хм. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое: 3,14... от продолжения воздержусь, чтоб не гневить Роскомнадзор.

На сей раз проклятый кобель подкрался недопустимо близко. Судить об этом можно по двум тревожным симптомам: к Пелевину приставили нового редактора, а первый тираж «Цукербринов» оказался постыдно мал – 70 тысяч вместо привычных 150. Однако вряд ли можно говорить о творческом кризисе автора – ПВО незыблем, как субурган в бурятской степи. Вот запоздалый кризис читательского восприятия налицо.

4

На помощь извне рассчитывать не приходилось. «Пойожимся!» – с мужеством отчаяния решил цкшеук, усаживаясь в сиддхасану. Давным-давно, еще до апгрейда, его обучил медитации чертановский гуру Свами Пропадеша, в миру Осирис Дормидонтович Кислодрищев. В дхьяне Осик решал почти гамлетовскую дилемму: щас зашиться или малость обождать? Перед Пеле стояла задача посложнее.

Тот-Хакер-Сверху оставил виртуальному голему некую толику свободной воли. Пеле, закрыв глаза, вызвал свой любимый образ – Purple Heart. Оно не имело ничего общего с воинской наградой пигмеев Пиндостана. Это было читательское сердце – нежное, преданное, бескорыстное. Сейчас оно выглядело остывшим, пепельно-серым. Пеле будил его, лаская гламуродискурсом, хохлодискурсом, зомбодискурсом, – и Purple Heart будило в Пеле крякла. Цкшеук чувствовал, что его юзерпик меняется – сначала он ощутил на плечах хитиновый панцирь насекомого, потом вампирские клыки во рту. Дольше всего на лице продержались лихие чапаевские усы – видимо, сердцу они особенно нравились. Серд-

це тоже менялось: оживало, наливалось огнем – сначала пурпурным, потом рубиновым. В центре червонным золотом заполыхала заветная мантра: «You win!» Восклицательный знак временами изгибался, подозрительно напоминая вопросительный, но это уже не имело значения. «Сатори!» – понял цкшеук, вставая в полный рост. – «Криптооргазм по доверенности!» На лице возникли темные очки, и он наконец-то узнал себя: Пеле-win. Победитель.

Оставался пустяк – облечь мыслеформу в мыслетекст. Пеле лихорадочно заметался по закоулкам памяти. «Пелоты идут в отаку на пелоток»? Было! «Ветер в харю, Yahoo! – ярю»? Тоже было! Симатта! А вот, кажется...

Пеле-win воздел руки и торжественно провозгласил:

– На каждого хитрого носика есть свой ван гоголь с бритвой!

D

Есть системы, для которых агония – отнюдь не угасание, но modus vivendi: отечественный автопром, к примеру. То же самое можно сказать про Пелевина. Парадокс, но именно эта мрачная вводная и внушает оптимизм. Мертворожденное долго не может умереть, сказал Станислав Ежи Лец...

5

«...есть свой ван гоголь с бритвой». Тот-Хакер-Сверху перечитал текст на мониторе и раздраженно поскреб трехдневную щетину на подбородке.

– Глючит, мать его через коромысло. Все, кирдык. Uninstall.

Double-click освободил пятиногого пса. Кобель ощерился и, злобно заурчав, размашистой рысью ринулся в глубины десктопа.

Глиняный пулемет в руках рассыпался с призрачным шорохом. Напоследок до цкшеука донесся обрывок соседского мессиджа: «Намахну еще сто грамм / И полезу в Инстаграм!»

ЕДИН В ТРЕХ ЛИЦАХ

Говорить о Михаиле Веллере – задача не из лёгких, настолько он многолик: то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Широк человек, я бы сузил. Будет с нас и трёх ипостасей: филолог, прозаик, гуру.

Филолог

Для начала, следуя привычке, брошу ложку мёда в бочку дёгтя. Отношение к М.В. у меня более чем противоречивое. Веллер-филолог много симпатичнее прочих своих близнецов: умён, дерзок и за словом в карман не лезет. Выводы его чаще всего бесспорны, а характеристики точны и ядовиты. Да загляните хоть в «Песнь торжествующего плебея» – сами всё поймёте:

«Сорокин сегодня один из самых модных и самых известных русских писателей. Уберите все взломы табу из его текстов – и от текстов ничего не останется. Останется серое текстовое полотно из заурядных фраз».

«Лимонов создал условно-автобиографический, бытовой, описательный текст без каких бы то ни было видимых литературных достоинств. Язык, сюжет, детали, психологизм решительно вялы и заурядны. Но циничная откровенность и грязнотца... – это было нечто из ряда вон выходящее».

Справедливости ради замечу, что филологические штудии Веллера, как правило, подпорчены не лучшим знанием предмета. М.В. без тени сомнения может приписать Достоевскому педофилию (сплетня Страхова, никак им не подтверждённая), может объявить еврея Горенштейна поволжским немцем, может запросто перепутать гауляйтера Вены Бальдура фон Шираха с драматургом Хансом Йостом. Но кто из пишущих Богу не грешен да царю не виноват? Тем паче главные претензии впереди:

«Человеку свойственно играть не в того, кто он есть на самом деле» («Гонец из Пизы»).

Вот и у пчёлок с бабочками то же самое, сказал бы наш герой.

Прозаик

Аксиома: охотнее всего каждый говорит о себе, любимом. Веллер не исключение: его хлебом не корми, дай потолковать о трудах и лишениях литературной юности. О спартанской жизни впроголодь, о многодневных, до сердечного приступа, поисках единственно верного слова в тысячах тонн словесной руды. М.В. поёт Лазаря настолько проникновенно, что сама собой вспоминается сентенция Сковороды: Господь, по великой милости своей, сделал всё нужное лёгким, а всё трудное – ненужным. Ну не надо бы вам в писатели, Михаил Иосифович, вы и проза суть вещи несовместные. От того и все страдания – большей частью абсолютно никчёмные.

Если угодно – несколько фраз для дегустации:

«Прочёркивая и колотя глинозём... рвала короткое пространство конница» («Всё уладится»). Послушайте старого металлурга: глинозём, он же Al_2O_3, – сырьё для производства алюминия и на полях Гражданской, клятвенно заверяю, не водился. Ибо первый алюминиевый завод в СССР построили лишь в 1932 году.

«Фрукт пах затхлью и клеем» («Всё уладится»). Пах затхлью, помилуй Бог! Попробуйте-ка без запинки выплюнуть этот шершавый слиток из взрывных, фрикативных и латеральных...

«Всё дальнейшее она воспринимала под лёгкой шандарахнутостью» («Приключения майора Звягина»). От комментариев воздержусь – скучно доказывать очевидное.

Однако Веллер, великий начётчик, наверняка знаком с постулатом Лебона: не факты поражают воображение толпы, а то, каким образом они представляются. И потому не скупится на акафисты самому себе, выдавая откровенные провалы за немыслимые достижения:

«Затвор лязгнул. Последний снаряд. Танк в ста метрах. Жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие – в нижний срез башни. Рёв шестисотсильного мотора. Пыль дрожью по броне. Пятьдесят тонн. Пересверк траков. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Пора! Удар рукой по спуску... Хрен кто сегодня может так работать, деточки. Идите сюда, плюньте мне на ботинок» («Моё дело»).

Это всегда пожалуйста, Михаил Иосифович. Благо есть за что. Телеграфная череда назывных. Не высший пилотаж. Пильняк. Лимонов. Козлов (Владимир). Бородатый еврейский анекдот: «Хаим всё. – Ой!» Сколько угодно. Погонными километрами. Оптом и в розницу. Не забудьте вытереть ботинок.

Продолжим наши экзерсисы. Опять-таки цитата:

«В «Чужих бедах», одна из ирреальных сцен, герой выпускает из пистолета обойму в своего директора школы. «Бледнея, Георгий Михайлович рванул трофейный вальтер, рукой направил в коричневый перхотный пиджак». Какой рукой направил?.. Вот на эту чёртову руку я потратил качественный рабочий день» («Моё дело»).

Опустим список из 43 разномастных прилагательных и огласим результат терзаний:

«Итог был: взвешенной. Кто стрелял из пистолета – поймёт точность... В этом слове и точность, привычность, и спокойная решимость».

Шедевр, стало быть. Поднимите мне веки – не вижу! Прибегнем к презумпции недоверия, ибо практика есть единственный критерий истины. Разложим фразу на составляющие. Во-первых,

глаза мозолит психологическая нестыковка: бледнея – взвешенной. О какой спокойной решимости речь, коли персонаж побелел от волнения? Во-вторых, «рванул трофейный вальтер, взвешенной рукой направил» – семантический плеоназм. Попробуйте удержать пистолет ногой – очень скоро поймёте, что руку поминать здесь вовсе незачем, и все адовы муки с эпитетами были напрасны...

Кстати, Веллер-прозаик вполне мог бы стать объектом поношений Веллера-филолога. Ибо легко нарушает все табу своего двойника – скажем, на dirty fiction или обсценную лексику:

«Крахмальный халат распахивается и летит в сторону. Ничего красивее и сумасшедшее голой Маши невозможно себе вообразить. Она остаётся в белой шапочке на вороной гриве, и густой треугольник в низу смуглого литого живота у неё тоже вороной... Округлые массивы её ягодиц перекатываются в движении. Она нарочно расставляет ноги, цокая каблучками, туфли на каблуках удлиняют её ноги, мускулистые, крепкие, прямые, и между ног сзади нам виден чёрный курчавый островок...

– Ой, Машенька... какая у тебя смуглая, горячая, узкая, красивая...» («Самовар»).

Обрываю цитату на полуслове: хватит Роскомнадзор гневить.

И последнее – практически любой текст М.В. испорчен разудалым, цыганочка с выходом, слогом:

«Их аристократическим происхождением можно, пардон, подтереться». («Любовь и страсть»).

Предвижу стандартные возражения: про тиражи и переиздания, про перманентный восторг читателей, про «Легенды Невского проспекта» и «Байки скорой помощи», ставшие бестселлерами... Тиражи и аплодисменты – ей-богу, не лучший аргумент. Они говорят не столько о талантах, сколько об умении навязать себя публике. Тому в истории мы тьму примеров слышим: хоть Бенедиктов с Булгариным, хоть Донцова с Акуниным. Прав был непопулярный ныне Чаадаев: «Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной». А у бестселлеров, по слову Веллера-филолога, есть одно отличительное свойство: они легко читаются, но по прочтении в голове ничего не остаётся.

Уж коли графа Монте-Кристо из тебя не вышло, впору переквалифицироваться в управдомы...

Гуру

...но не таков наш герой. Он предпочёл скромно переквалифицироваться в философы.

К несчастью, поэт в России больше, чем поэт. Потому всяк отечественный литератор, от Достоевского до Лимонова, рано или поздно осваивал профессию проповедника. Сколько помню, есть единственное похвальное исключение из общего правила – Николай Гумилёв, который писал жене: «Аня, если я начну пасти народы, убей меня!»

Учительствовать Веллер начал давненько. «Майор Звягин», вполне по профессору Преображенскому, под завязку набит рекомендациями космического масштаба и космической же глупости. Но житейских советов в жанре self-help Михаилу Иосифовичу показалось катастрофически мало. Красть – так миллион, любить – так королеву, рассуждать – так о Большом взрыве, энергетических полях, энтропии и сингулярности.

Необходимое лирическое отступление. Выпускнику филфака позволительно толковать о мироздании лишь в одном случае: жарким июльским вечером, нащупывая застёжку лифчика на спине подруги. Во всех остальных ситуациях такого рода резонёрство выглядит комично. Тем паче философия в её классическом изводе приказала долго жить. Всеобъемлющие учения создавали наши предки, ибо их мироздание особой сложностью не отличалось: Земля стояла на трёх китах, небесная твердь была хрустальной, а псоглавцы за пределами ойкумены крестились кукишем. После Великой французской революции представления о Вселенной и человеке начали меняться, будто картинки в калейдоскопе. «Традиционные понятия философии стали обнаруживать свою бессодержательность... Философия больше не внушала доверия к своим способностям достичь обещанной цели: дать людям доступные формализации модели какого бы то ни было понимания», – писала С. Зонтаг.

Выдумывать теории глобального свойства в постфилософскую эпоху могут либо сектанты, либо дилетанты. Тем не менее Веллер-гуру уверен в своей непогрешимости: «Вы меня извините, в современной России не существует философии, кроме, простите великодушно, моего энергоэволюционизма» (Интервью «Независимой газете», 29 мая 2008 г.). Право, не знаю, чего тут больше – сектантской мегаломании или дилетантского апломба...

Пересказывать постулаты энергоэволюционизма, пожалуй, не стану. Во-первых, трактатами М.В. забиты все полки в книжных магазинах: «Всеобщая теория всего», «Всё о жизни», «Чело-

век и система», «Социология энергоэволюционизма», «Психология энергоэволюционизма», «Эстетика энергоэволюционизма» и проч. Если не боитесь неизбежного морального вреда – милости прошу припасть к первоисточникам. Во-вторых, пёстрый коллаж из обрывков Шопенгауэра, Спенсера и Оствальда, Тейяра де Шардена и Шпенглера вряд ли заслуживает пересказа. Во всяком случае, в учёном мире проповеди Веллера до сего дня снискали всего один отклик – язвительную статью доктора философских наук, зампреда научного совета РАН Д. Дубровского. Не хотите ли ознакомиться с экспертным заключением?

«Нетрудно увидеть, что перед нами некая смесь банальностей, общих мест с теоретически неясными, некорректными утверждениями... Чтобы эти расхожие слова и выражаемые с их помощью онтологические утверждения обрели определённый философский смысл, они должны получить, по крайней мере, гносеологическое обоснование. О необходимости такого обоснования и о том, как это делается, наш автор не слыхал... Для тех, кто серьёзно изучал философию, очевидно, что перед нами дилетантские, маловразумительные повторения пройденного, представленные местами в эпатажном виде... Может быть, М. Веллер действительно писатель (я не читал его произведений), но к философии он имеет весьма отдалённое отношение... Он верит, что, придумав пару хлипких силлогизмов, он постиг сущность человека и мира».

Время собирать камни

Приведём всё сказанное к одному знаменателю.

Веллер – феномен отнюдь не литературный и уж тем более не философский, но экономический. Живое подтверждение расхожей истины: в постиндустриальном обществе 70 процентов цены товара составляет бренд.

«Что главное? – имидж. Какой? – у которого высокий рейтинг. А без паблисити – хоть шуйзом об тэйбл, хоть тэйблом об фэйс» («Ящик для писателя»).

Непримиримый борец с засильем имиджей и паблисити, М.В., опять-таки по профессору Преображенскому, должен лупить себя по затылку: медийный персонаж, гомункул из телевизионной реторты, созданный посредственностями для посредственностей... И тут хоть шуйзом об фэйс, хоть тэйблом по тому же месту. «После смерти писатели попадают в телевизор», – горько усмехнулся Г. Садулаев.

Михаил Иосифович! А может, всё-таки, в управдомы?

Свободной композиции игра



Евгений Витковский

АПОСТЕРИОРИ
(ОКОНЧАНИЕ)

Перелешин питал клиническую нелюбовь одновременно к Евтушенко и к Бродскому. Но ответили они ему принципиально по-разному. Все, что надо, о «невстрече» Перелешина и Бродского (хоть и сидели рядом) в своих воспоминаниях рассказывает Ян Паул Хинрихс, а вот Евтушенко, плюнув на все оскорбления, и любил стихи Перелешина, и любит их по сей день: я имел возможность долго поговорить об этом с Евгением Александровичем в 1993-1994 году, когда редактировал его огромную антологию русской поэзии XX века «Строфы века» (вышла в 1995 году... четырьмя тиражами). После всех моих рассказов Е. А. просто взял да своей составительской волей увеличил подборку Перелешина минимум вдвое. Свидетельствую под присягой: он о бразильском отшельнике никогда слова худого не сказал. Кое-что пишу об этом в примечаниях к конкретным стихотворениям: так справедливей.

Кстати, занимаясь всю жизнь Бодлером и рассмотрев некую аналогию между цельностью «Цветов зла» и «Ариэля» я предложил Перелешину собрать воедино сонеты, чисто по нумерологическим соображениям в книгу не попавшие. В конце концов, если у Бодлера были «Осколки Цветов Зла», почему не составить хотя бы в рукописи «Осколки Ариэля?» Ответ Перелешина был довольно бледным: для него эта книга определенно стала прошлым. 9 июля 1978 года он писал мне:

«Хорошо ли – «Осколки Ариэля»? Многие сонеты относятся к тому периоду, когда страсть стихотворца была в разгаре. Осколки – хорошо для последней фазы. Как хотите, впрочем. Уверен, что эти «не включенные» сонеты Вы узнаете без труда».

Короче говоря, из затеи ничего не вышло. Компьютеров в ту пору не было, работали клеем, белилами и бритвой – до составления ли такой вот книги мне было, когда на собирание основных книг и стихотворений чуть ли не всех попавших под мою опеку эмигрантов уходило до 16 часов в сутки? Впрочем, в письме от 22 февраля 1980 года, перед долгим перерывом в общении, Перелешин мельком подбросил фразу: «А второй том «Ариэля» надо назвать «Недосказанное»«. Составить такую книгу не составило бы

сложностей, только издавать ее, при наличии нынешнего относительно полного собрания в трех томах, пожалуй, незачем.

С середины июня 1978 года Перелешин стал писать о своих сексуальных влечениях сперва прямым, а позднее даже избыточно прямым текстом. Из письма от 10 июня 1978 года:

«Засматриваюсь на одного служащего ближайшей забегаловки («ботекина»). Такую красоту редко приходится видеть даже в Бразилии – стране очень красивых людей. Не знаю о нем ничего, даже двумя-тремя словами с ним не обменялся, хотя он всегда на меня смотрит, когда я прохожу мимо. Красота в малой дозе привлекает, но когда красота в избытке, желание сменяется благоговением. Тем не менее, сегодня я встретил на улице почтальона мулата (по прозвищу «Bonitão» – Красавец) – тоже поразительно красивого, но красотой смешанной крови, зато улыбчивого и очень приветливого: и уже вторично пригласил его к себе – познакомиться. Культурой можно произвести впечатление на культурных или хотя бы ищущих культуры, а людям этого класса нужны достоинства другого рода: вот, если бы у меня был собственный автомобиль или возможность пригласить такого Красавца куда-нибудь в Ламбари или хотя бы Терезополис...»

И это всего лишь абзац. В дальнейших письмах, практически в каждом – хотя бы одна фраза да найдется: «Сегодня под вечер позвонился прехорошенький рабочий при доме, Raimundo, и вручил мне Ваше письмо...» «Раймундо пришлось прогнать, хотя он очень красив. Потом был еще Антонио – «Крещеный Антиной». Красивый, женственный, ласковый. Я ждал его долго, но он не пришел второй раз»... И так далее. Боюсь, поставь я целью выбрать монологи Перелешина на эту тему из его писем, мне бы и на двадцати страницах не уместиться. Не знаю, писал ли такое Перелешин кому-нибудь еще, но к этому времени точно знал: левша или не левша, гей или не гей его Ариэль (тот, что письма ему пишет), но уж точно – не осудит. Я не сообщал ему, что в моем романе «Павел II» описан довольно большой притон «голубых», и хотя места этому сюжету уделено немного, но знать предмет автору положено. Что я только не изучал для своей прозы – от выделки кож до плетения рогож, от залегания марциальных вод, до способов излечения от похмелья в различных странах. А тут – материал валил ко мне сам по себе, читай да усваивай. Да и не прочтешь о Бразилии такого ни в котором романе Жоржи Амаду.

Хочу напомнить, что все-таки начальной основой нашей с Перелешиным эпистолярной дружбы была другая моя цель: максимально полно собрать поэтическое (а затем и прозаическое) на-

следие Арсения Несмелова, и доказать таким образом несомненную для меня антитезу: в эмиграции была не только «парижская», аполитично-лиричная тема смерти, она же «парижская нота» (или, по выражению Перелешина, возникшему куда позже, «парижская коммуна») – но как минимум и «харбинская нота», поэзия, выросшая из глубин офицерской чести отступившей на Дальней Восток армии Колчака и Каппеля. Термин «харбинская нота», кстати, в XXI веке уже прижился в литературоведении; но ведь была и «американская нота» Ильяшенко и Голохвастова (в Европе 30-х годов о ней вообще никто не слыхал), были свои «ноты» в Белграде, Таллинне, Риме – теперь уже и не берусь все сосчитать, моим делом стал русский Китай, а значит – Арсений Несмелов и Валерий Перелешин. И первый истратил почти два десятилетия на то, чтобы помочь мне собрать стихи и поэмы Несмелова; первым итогом этой работы была, кстати, вышедшая еще в СССР, еще несовершенная книга стихов и прозы Несмелова – «Без Москвы, без России» (М., «Московский рабочий», 1990) – тираж составил 50 тысяч экземпляров и, как ни странно, распродался. Соавтором моим был живший в те годы в Сочи «дальневосточник» Анатолий Ревоненко; некоторые стихотворения пришлось публиковать записанными по чьей-то памяти, вклад Перелешина в эту книгу и вовсе было не измерить никакими мерками. Но все-таки, это был первый черновик издания, как и владивостокский двухтомник 2006 года кажется мне таким же черновиком. Утешает то, что буквально все, некогда печатавшееся «по памяти», через 16 лет уже нашлось в редких публикациях. Однако все это отступление сделано не потому, что Перелешин, наш помощник № 1, так уж боготворил своего учителя, Несмелова (учителем он ему был в очень малой степени: стиль поэзии совсем иной), а потому – он честно признавался в письмах, и даже не раз – что «чего не сделаешь ради любимых». А его Ариэль ничего не просил. Вот разве что еще поискать Несмелова... «Ариэль» подсказывал: зачем писать столько сонетов пятистопным ямбом, ведь шестистопный так красив! Потом подсказывал: а как же «перевернутые» сонеты, в которых терцеты стоят выше катренов? Исследователь может убедиться, что Перелешин пользовался огромным разнообразием форм «внутри» сонетного канона. Пожалуй, в этом была какая-то заслуга Ариэля. Потому как тот Ариэль, которым (по совместительству) был поэтом-переводчиком, вынужденно располагал избыточным запасом стиховедческих знаний. Мне они не пригодились, поэт (оригинальный) из меня едва ли вышел. Вышел поэт-переводчик, а это не одно и то же. Зато многое из этих познаний пригодилось Валерию Перелешину, и тому есть десят-

ки свидетельств в нашей переписке. Перелешина избыток «переводческой темы» в моих письмах печалил (см. сонет «Возмездие» от 13 февраля 1979 года). Но он никогда не поверил бы, что я «для него же стараюсь»: менее чем через десятилетие он вернулся в Россию – для начала именно переводами.

Перелешин хоть раз на письмо да вставлял такое (от 7 июля 1978 года): «Думаю я о Вас всегда на «ты» (смешно было бы «выкать», постоянно чувствуя Вас рядом с собою: даже голову поворачивать не нужно). Люблю Вас многоярусно. Едва ли «как сына»: из любви к сыну книга «Ариэль» не могла бы возникнуть <...> Ваша нежность вернула мне смысл жизни». По счастью, эти его письма ко мне если кто и читал, то только теперь и только с моего разрешения. Полагаю, это хорошо, что мы никогда не виделись. Будь я даже тем, что он насочинял – не годился бы ему в друзья тот литературный трудоголик, каким я был и навсегда останусь. Короче, не вышел бы из меня тот верленовский Люсьен Летинуа, памяти которого он демонстративно посвятил стихотворение еще в самом первом своем, харбинском сборнике. «Знающие» по этому имени должны были понять – кто и автору близок душой и телом. Но я-то был знающим по другой причине – я французский учил по биографии Верлена (правда, еще по Дюма, но... mea culpa, так быстрее и проще). Однако цитат о любви к «Ариэлю» можно привести десятки, и многие из них будут далеко не столь благочестивы. Но лучше воздержусь: как сказал Овидий по другому поводу в «Науке любви»: «Прочее знает любой» (перевод С. Шервинского). А если не знает, пусть вообразит.

1978 год все-таки изменил положение Перелешина в собственно бразильской литературе, куда он и не чаял попасть. Издание антологии бразильской поэзии «Южный крест» было все-таки первым изданием бразильской антологии на русском языке (хотя именно такой рекламой пользовалась весьма убогая, вышедшая в Москве 1982 году антология, от которой нынче в литературе и памяти не осталось). Посвящена антология была «Памяти Евгении Фаддеевны Дубянской» – как писал Перелешин, некая дама умерла в Бразилии и, желая сделать доброе дело, завещала Перелешину «некую сумму» на издание любой его книги. «Сумма» известна довольно точно: «Южный Крест» обошелся переводчику в две тысячи долларов (видимо, канадских – счет поэт обычно вел в них и лишь недавно я понял, что канадская валюта в Западном Полушарии – вещь уважаемая. Друг Перелешина, все тот же «левша» Умберто (с которым роман, похоже, так и не состоялся), как пишет Перелешин 8 июля 1978 года «...хочет разослать по всей Бра-

зилии свою заметку о выходе первой на русском языке антологии бразильской поэзии (Вашего покорного слуги). Написана заметка превосходно – и столько же откровенно: переводчик – бывший священник, переводчик – «левша» (и этого не скрывает), а книгу можно купить у него лично (следуют адрес и цена).

В общем-то от Умберто некоторая польза и бразильско-русским связям, и русской литературе оказалась: ему принадлежит наиболее известный из рисованных портретов Перелешина (тот, где поэт держит в руке сигарету – я поместил его в «Огоньке» при первой же публикации там стихотворений (№ 6 за 1989 год); совместно с ним перевел на португальский «Александрийские песни» М.А. Кузмина, Умберто же посвящены многие стихотворения в двух последних прижизненных сборниках Перелешина, вышедших в США. Едва ли Бразилия вспомнит добрым словом человека по имени Умберто Маркес Пассос. Россия все-таки не так неблагодарна.

Крайне редко описывал Перелешин свой домашний быт. Однако в эти годы мы ловили крохи счастья бесцензурной почты, и одно такое описание приведу. День рождения Перелешина – 20 июля, а цитируемое письмо датируемо: «21-го июля 1978 года. Без четверти восемь утра». Накануне, следовательно, имела место «полукруглая дата»: поэту исполнилось шестьдесят пять.

«В двух словах о вчерашнем «высокоторжественном» (скорее траурном) дне. Стряпать мама уже не может; купили мы в кондитерской килограмм пирога с творогом (это здесь новинка), бутылку вермута «Синзано», килограмм яблок, немного «салгадиньос» к вину. Днем забежал Умберто (неизменно целует маме руку, а потом с нею целуется). А потом под дверь просунули нам поздравительную карточку от Тедди фон Ульрих, извещение с почты о прибытии посылки из Франции и – важнейшее из всего – Ваше письмо от 8-го июля <...>. Как видите, хотя рассчитать было совершенно невозможно, Вы угадали: и письмо, и книги (оказавшиеся «Седой музой» *<копия ходившего в московском самиздате самодельного сборника самых поздних стихотворений Софии Парнок – Е.В.>*, моим «однофамильцем» *<невероятная история: мне попал в руки сборник поэта* ***Бориса Перелешина*** *«Бельма Салара», Стихи. М. Тип. ГПУ, 1923, 20 с. – я решил, что книга этого не очень одаренного «фуиста» будет развлечением хотя бы для Валерия – и отослал – Е.В.>*, графом Комаровским *<самиздатской копией сборника графа Вас. Комаровского «Первая пристань» – Е.В.>* и Т. Ефименко *<также копией единственного сборника Татьяны Ефименко «Жадное сердце» – Е.В.>* волшебным и непостижимым образом доплыли «как по часам». Вечером зашел Виктор, принес

еще две бутылки «Синзано» и двадцать пачек сигарет «Континенталь» – впрочем, без мягкого знака и не двадцать, а десять. Был вполне миролюбив. Пили мы «Синзано» и белое вино «Пресиозо», которое принесла в подарок соседка Ольга Владимировна Рачинская, внучка последнего графа Воронцова. Тедди помнит мою дату, ибо я всегда посылаю ей карточку к 13-му июля (день ее рождения), а Ольга Владимировна помнит ее потому, что через четыре дня празднуется день святой Ольги. Виктор ушел в десять часов, а затем снова пришел милый Умберто и принес свой подарок – две майки. Вина он не пьет, но чай любит чрезвычайно. И творожный пирог имеет у него успех».

Это то немногое, что можно узнать о последних годах мирной жизни поэта недалеко от Копакабаны, о жизни поэта-эмигранта в Бразилии в русской, лишь слегка латинизированной среде, – до переезда в Дом Престарелых Артистов в далеком (хотя зеленом) предместье города. Но дальше, буквально на той же странице, мы находим рассказ все о том же, о «самом главном» для поэта (что, как он полагал из русских поэтов его в первую очередь и выделяло). Возник приводимый ниже абзац потому, что в своем письме и высказался более чем положительно по поводу написанного еще в середине 30-х годов стихотворении Перелешина «К Люсьену Летинуа». Мне не хотелось объяснять ему, что вполне спортивный исторический Люсьен (умерший от тифа) имел мало общего с возникшим у Перелешина образом. Но стихи-то вышли прекрасные, что я прямо и написал. Рассказ о «харбинском скандале» вокруг этого стихотворения достоин быть процитирован: поэт, кажется, решил, что я понял его ориентацию с самого начало (это было вовсе не так, но... выдумка тут, пожалуй, важней истины, ибо именно она стала достоянием искусства.

«Мою «левшизну» многие в Китае понимали (Ачаир часа полтора читал мне лекцию о том, что, совокупляясь с женщиной, можно молиться, а если вместо женщины юноша, то... и т.д.: по поводу моего «К Люсьену Летинуа», которое по недосмотру Кауфмана проскочило в «Рубеже», после чего Евгений Самойлович обвинял в этом Рокотова, а Рокотов возражал, что весь материал что весь материал для очередного номера представил Е. С. и получил его, как утвержденный). Уже в Шанхае Н. В. Петерец говорил мне, что «К Люсьену» – едва ли не лучшее стихотворение, кем-либо написанное на Дальнем Востоке. Шанхайские «островитяне» вообще были умнее, чем харбинцы, и смотрели на вещи шире: меня всюду приглашали вместе с Тан Дун-тянем (о котором прочтете в одной из последних песен «Поэмы без предмета»«. Но об этом в пись-

мах ко мне – едва ли не сотни абзацев, а вот про пирог с творогом (какой-то совершенно василье-розановский) и про «Синзано» (как читатель понял, у нас этот вермут называют «Чинзано») – считанные строки. Поэт – все-таки живой человек, не сексом насущным и даже не только поэзией он живет, нужен и кусок пирога, да только «сандуиш американо», в девичестве гамбургер, в Рио-де-Жанейро и в московском Макдональдсе – совсем не одно и то же. Да и помнить о том – плюс сорок за окном у поэта или минус сорок (было почти такое в Москве на моей памяти, было) – тоже надо. Кто привык к одной температуре, в другой жить не может, даже вороны и галки в большинстве стран – разные. А ведь поэзия строится из всего этого материала.

Кто знает почему, – не из-за искреннего ли сонета, посвященного Александру Солженицыну? – но в том же году четыре сонета Перелешина (в № XVI) напечатал и «Континент», со старой эмиграцией никогда особо не церемонившийся. Эта публикация поэта, которому почти негде было печататься, конечно, радовала, но зато брат стал все чаще отравлять жизнь и собственной умиравшей матери, и – само собой – жившему с ней старшему брату. Жизнь, конечно, посмеялась над ним самим: его водохранилища высохли в Бразилии как голые сковородки, всего десять лет прошло – а старшего брата уже вовсю печатали в СССР (еще не в России, но так для брата было даже обиднее), да и от самого Виктора Салатко осталось упоминание в справочниках – справка о том, *чей он брат*, да несколько юношеских, написанных по-русски стихотворений, попавших в 2001 году в московскую антологию «Русская поэзия Китая» (еще при жизни самого Виктора Салатко). Но в августе 1978 года он был еще ого-го. Этим временем датировано письмо Валерия ко мне, из которого извлекаю несколько фраз:

«Позавчера был у нас мой брат – и устроил настоящий бенефис. Опять издевался над тем, что я «ничего не делаю» (что пишу по-русски – это не только не в счет, но даже в минус), что должен платить все налоги по квартире и даже страховку (на что я резонно ответил, что в случае пожара страховку получит он, а я просто потеряю и книги, и рукописи, и одежду, и марки). Короче говоря, не только выживает маму и меня из квартиры, но и вообще со света сживает (главные доводы исходят, несомненно, от Лидии <*жена Виктора Салатко, однажды, – помнится, летом 1972 года – даже завалившаяся ко мне в Москве в гости без звонка – по счастью, я догадался «не сразу вспомнить», что у Перелешина еще и родственники какие-то есть – Е.В.*>). А вчера поздно вечером (около десяти) забежал милый Умберто. Заставил меня перевести ему прозой

напечатанные в «Континенте» сонеты, восхитился их тонким рисунком – и обещал узнать о существующих в Рио-де-Жанейро убежищах для престарелых. Я готов пойти на все, лишь бы избавиться от милого брата, от его насмешек, от его ненависти к России, ко всему русскому, к маме и ко мне. <...> Сам он отупел (от «дринков» и прочего) и оскотинился». Можно бы процитировать и вчетверо больше, да только надо ли? Лучше приведу фразу из письма куда более позднего, от 28 августа 1989 года: «На брата, который обычно меня презирает, как горького неудачника, напечатание стихов *<в СССР – Е.В.>* в двух журналах с портретом произвело впечатление». Только и можно сделать для бедного Виктора Салатко... что простить его. Уж за одно то, что, когда осенью 1989 года понадобилось оплатить дорогую операцию по удалению катаракт, образовавшихся у старшего брата на обоих глазах, то, как писал Перелешин 3 ноября 1989 года, «Зрение важнее денег. И брат сразу выписал довольно веский чек на эту операцию». Все-таки нет в мире ничего совсем черного, а есть ли совсем белое – лишь Господь ведает.

Надо заметить, что меня всегда занимало – почему Перелешин пишет «Ариэль» через «э»? У меня и рука-то с трудом такое выводит. Но Перелешин дал разъяснение (7 октября 1978 года): ««Ариэль» или «Ариель»? Правильнее всего – «Ариил» по аналогии с именами архангелов, Самуила, Мисаила, Гамалиила. Но заглавие моей книги взято не из Библии, а скорее из астрономии (один из спутников Урана, кажется) *<открывший в 1851 году этот спутник астроном У. Лассел взял имя из поэмы английского поэта А. Поупа «Похищение локона» – Е. В.>* и еще больше – из «Бури» Шекспира, которую я читал по-русски и затем по-английски. Как было написано по-русски, не помню». Короче, из подсознания у Перелешина вновь выплыл «Уран», а с ним, боюсь, и забытое ныне слово «уранизм», благородный термин викторианских времен, извлеченный из диалогов Платона. Но это мои догадки. Как обозвали, так и приходиться принять. Перелешин псевдоним себе тоже не сам придумал.

Писем в 1979 году, а тем паче в 1980-м становилось все меньше: у Перелешина рушилась жизнь: брат переселил их с матерью на свою «дачу» довольно далеко от города, в местечко под названием Мурӣ, европейской осенью следующего года Евгения Александровна Сентянина умерла, и ни о чем, кроме ее смерти, Валерий писать не мог (да и жизнь в деревне без единого русского голоса была ему тяжела. В СССР становилось тоже не сладко: последовательно и я, и Саша Богословский потеряли связи во всех трех посольствах, соглашавшихся помогать нам дипломатической почтой.

Оставался «открытый путь», но чем ближе была смерть Брежнева и чем страшнее поднимались над страной фарфоровые челюсти чудовищного Андропова, по сути прекратившего выезд из страны даже по израильскому каналу с первых дней своего воцарения в 1982 году – тем осторожней нужно было себя вести, чтобы не угодить в быстро растущий ГУЛАГ. Попала туда моя приятельница, поэтесса Ирина Ратушинская. Попал и мой напарник, Саша Богословский. Но меня воспитывали зеки: «*Придурись и вались в припадок*!» Я и валился. Только, к сожалению, припадок был самым настоящим: вальпролиевая кислота, известная еще с 1880-х годов, была в виде множества препаратов испробована на людях более чем через девяносто лет, а широко стала применяться лишь еще лет через двадцать, до России же дошла как вполне рядовое и эффективное противоэпилептическое средство лишь на грани миллениума; от эпилепсии эффективно помогла мне именно она, а в 1980-е – только и оставалось, что валяться в припадках каждые две недели, с трудом добывая не очень-то надежные, но хотя бы доступные европейские препараты. До литературы ли тут? Тут скорей к священнику идти надо. Я и ходил – в чудесную церковь довольно далеко от Москвы, где служил отец Александр Мень. Ходил, пока его не убили. Теперь я хожу в другую церковь, в огромный храм на Малой Грузинской. Надеюсь, Валерий не осудил бы меня.

Однако прежде, чем началась эта «черная полоса», мы еще успели обменяться с Валерием дюжиной писем: восемь писем, полученных от Перелешина, осталось у меня от 1979 года (между 1 января и 6 июля, видимо, еще до изгнания братом из Рио в Мурѝ, близ города Нова Фрибурго) и всего четыре от 1980 года: первое от 2 февраля, последнее от 13 марта. Эти письма явно пришли уже из Мурѝ, и они полны депрессии. Мать Перелешина умерла 11 октября… о годах Перелешина, прожитых им на окраине Рио-де-Жанейро до тех пор, пока мне удалось «проломить стену» и начать печатать Перелешина в СССР, оставалось долгих восемь лет, и Ян Паул Хинрихс знает о них больше, чем я, а его воспоминания читатель может прочесть здесь же, на страницах нашего Собрания сочинений.

Однако кое-что на излете «второго периода» нашей переписки мы друг другу сказать успели. Основное, чем занимался в это время Валерий – спешно, ежедневно и подолгу копировал для меня свои стихи и переводы, справедливо полагая, что в Москве им, как рано ли, поздно ли, «…как благородным винам / Настанет свой черед». Полагал он так совершенно правильно, но едва ли помыслить мог – как скоро это произойдет. Из писем этого периода трудно даже цитаты выбрать: это сплошные перечни того, что – послано,

что – не послано, а что – вовсе неизвестно куда делось. Но, теряя последнее зрение и силы, он терзал свою «Машу» (пишущую машинку) – и верил в свою звезду. Я аккуратно и в первую очередь следил, чтобы ко мне максимально полно попали его переводы. Тут не было предвидения, я знал, что в нашу печать оригинальное нахрапом его творчество не протащить, а вот с переводами дело могло пойти иначе. Удалось же мне протащить еще в 1974 году в книгу Райнера Марии Рильке (изд. «Молодая Гвардия») переводы, выполненные в эмиграции Александром Биском (1873–1973), с которым я даже успел списаться в последний год его жизни. А ведь Биск вовсе не вернулся. Так же печатали и переводы В. Ходасевича из К. Тетмайера и Мицкевича, да и многое другое: за переводчиками почти невозможно было уследить. Кто такие? Ни одно агентство не знает, а фамилий в содержании тридцать или сорок – иди знай, кто есть... кто. К этому сюжету мы вернемся, и довольно скоро.

Кстати, на мой вопрос – каким образом отбирались сонеты для «Ариэля» есть точный ответ Перелешина в письме от 6 марта 1979 года: «Необязательное в нем есть, но где его нет? А единством всё это оправдывается. Ведь это всё-таки дневник». Перелешин и сам не заметил, как проговорился о самом главном: принесшая ему едва ли не мировую славу поэтическая книга была не «сборником», как остальные – она была цельным гармонически и единым произведением – поэтическим дневником. Возникла она без первоначального замысла, стихи расположены по хронологии, но сюжетом в ней стала наша жизнь, вместе с ошибками, наветами, вкраплениями чего-то «вставного», без чего жизнь тоже не существует. В письме к кому-то третьему в середине 1970-х Перелешин писал (пересказываю по памяти), что «Ариэль и всё, что к нему относится – это теперь для него совсем чужое и отдаленное». Однако ветер неизбежно возвращался на круги, и на кругах этих опять возникал вымышленный, хотя отчасти и реальный, Ариэль, шекспировский дух воздуха и астрономический спутник планеты Уран.

С русским языком у него были отношения твердокаменные. Много лет подряд он твердил мне, что слова «глухомань» не существует, ибо никого там никто «не манит». И клялся, что такого слова нет ни в одном словаре. То, что оно есть в любом словаре (у Ожегова, у Ушакова, у Зализняка, в обоих Академических и т.д.), примеры из довольно старой литературы он игнорировал: это все была «советская самодельщина». Я мог бы и доказать ему, что он ошибается, да только... зачем? Обижу старика, он замкнется. Лучше уж перейти на другую тему. И я использовал рецепт Дизраэли: «Говорите с человеком о нем самом, и он будет слушать вас часа-

ми». Теперь я рад этому: было меньше споров, а я получал больше фактов. Летом 1979 года в письмах Перелешина, кстати, все чаще упоминается переписка с Яном Паулом Хинрихсом: судьба словно передавала Перелешина из моих рук в руки Яна Паула, благодаря чему нынче едва ли не основная часть архива Перелешина собрана именно в Лейдене, и лишь в Голландии Перелешин вкусил маленький кусочек того, что можно назвать «славой при жизни». К тому же летом того же года, увлекшись молодым соседом по этажу в своем же доме («...тут и красота, и приветливость, и много других привлекательных качеств...») Валерий все чаще стал писать стихи по-португальски. Забегая вперед, в период, когда мы были отрезаны друг от друга не то, что железным занавесом, а готовыми вот-вот клацнуть челюстями Андропова (Господь, однако, не допустил), к собственному семидесятилетию Перелешин выпустил книгу оригинальных португальских стихотворений, автопереводов, а также переводов на китайский с русского и китайского – «Nos odres velhos» («В ветхие мехи», *португ.* – Е.В.) Вторая книга португальских стихотворений Перелешина так и осталась в виде разрозненной рукописи («Охотник за тенями»), но составляют ее почти исключительно автопереводы, и «переводить их обратно – дело совсем неблагодарное.

Лишь в письме от 2 февраля 1980 года Перелешин очень окольным путем – через осевшего навсегда в Калифорнии поэта Николая Моршена (Марченко), моего большого друга, узнал о причине – почему я не пишу ему ни закрытой почтой, ни открытой почтой. Начиналась наша с Богословским (других не назову) побежка от «органов». В 1984 году Саша был приговорен Мосгорсудом (по статье 190-1 УК РСФСР: распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй) к трем годам лагерей строгого режима. Я уцелел, но довольно дорогóй для души ценой: эмигрантской литературой нельзя было заниматься вовсе никак. Лишь с Моршеном, у которого была нераспознаваемая по фамилии национальность, иной раз я позволял себе обменяться открытками. А Николай Николаевич, тертый калач второй волны эмиграции, умел понимать не то, что эвфемизмы – он понимал и то, что не было написано вовсе.

Горестны эти письма от 1980-го. Брат выселил Валерия и мать в Мурѝ. У Валерия на обоих глазах росли катаракты (он писал «катаракт»). Перелешин понял, что я уже попал «под колпак», но знал мои хитрости: если с чужого имени отправить письмо на другой адрес – оно дойдет; в письме от 22 февраля 1980 года: «Если неудобно писать сюда, пишите через Р. А., Ю. П. или Н. Н.)» <*т.е.*

через моего дядю Руди, через Юрия Иваска или Николая Моршена – Е. В.> Письмо пришло через десятые руки – сперва попало к Ю.П. Иваску, потом в Европу, потом ксерокопию с него мне попросту привезли – уж и не вспомню, откуда. Можно было бы написать письмо в ответ. Но я, к сожалению, знал: такое письмо дойдет, но в нем можно было разве что попрощаться. А я не хотел прощаться, я отчего-то твердо знал, что от советской власти скоро памяти не будет, молился и хотел непременно дождаться дня, когда Перелешин будет печататься в Москве. В конце концов, еще в мае 1973 года сам Перелешин закончил сонет «В 2040-м году»: «Отверженный, заранее утешен, / Грядущее предвижу торжество: / Московский том «Валерий Перелешин». (К слову сказать, в издательстве «Современник» на 1991 год было анонсировано и подробно аннотировано такое издание: ***Валерий Перелешин. Южный дом. Избранные стихотворения и поэмы.*** Однако «Современник» скоро «накрылся». И, по счастью, не только «Современник». Все равно книга была бы неполная и дурная, вспоминаю о ней лишь исторической справедливости ради). К тому же наверняка пришлось бы брать стихи в основном из прижизненных сборников Перелешина, – между тем его по тем временам «несобранное» наследие оказалось втрое больше; в нем и теперь непросто разобраться. Посмотрите, к примеру, сколько раз и в самых разных вариантах обыгрывал Перелешин евангельскую строку – «*Марія же благую часть избра*». Даже теперь не скажешь – какая из разработок этой тему у Перелешина получилась лучше других. Ибо в поэзии совершенно неясно – что такое «лучше».

Последним тогда оказалось длинное письмо от 13 марта (ответ на мое от 24-го февраля), – Перелешин догадался послать его вообще не мне, а моему дяде. Вот в последний приезд дяди Руди в Москву я его и получил. С опозданием эдак на полгода. Природного немца Рудольфа Райнбаха тоже, видимо, не очень хотели пускать в Москву, но фамилии у него с братом были разные, да еще такая незадача: Рудольф имел счастье родиться в Москве в 1907 году, здесь похоронены его предки... а вот это уже скандал. Поди не пусти. Конечно, советская власть ждала его смерти. Но и сама пережила его не особо надолго.

Конечно, это было не то, чем дышали письма времен «трех посольств». Перелешин рассказывал о текущих делах, но заканчивал на грустной ноте: «В субботу (послезавтра) поеду с Умберто и его родными в Вале дас Видейрас («Долина Виноградников»), где я лет двадцать тому назад купил участок земли (две тысячи квадратных метров). Мать Умберто не прочь этот участок купить. И

есть еще один знакомый Умберто (и мой – немного), некий Жозе Низио, который может «клюнуть». Если не будет дождя, то поездка будет милая: по дороге красивейшие виды, будут остановки у баров, «кафезиньо» и прочее» <...> «В общем, уже рассказал всё, что рассказать стоило. Живое общение у нас давно не получается: конечно, и то хорошо, что можно хотя бы изредка «менять обрывки на обрывки».

На такой печальной ноте прервалось мое и Перелешина общение на восемь лет. Правда, в эти годы – пусть только на них – Перелешин неожиданно обрел «четвертую родину» – Голландию. Но об этом не мне рассказывать.

... Принято считать, что началом «Перестройки» (т.е. «началом конца» для СССР) можно считать январь 1987 года, когда очередной пленум КПСС решил считать (не помню что) подлинным продолжением (уж не помню, чего – скорее всего, ленинского курса, но слова тогда роли не играли). Играло роль то, что на глазах рушилась цензура, выходили из лагерей и тюрем, возвращались из ссылок «политические». Что-то происходило раньше, что-то позже: в 1986 году «Огонек» уже печатал Николая Гумилева, но некоторое время положение было как в абсолютной формуле Александра Галича «То ли гений он, а то ли нет еще». Однако 1988 год точки над i расставил: в журналах потоком появились «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, а прочего не перечесть. Еще в 1986 году меня таскали на допросы (все-таки добрались какими-то путями), но уже через считанные месяцы я рассказывал об этих допросах в интервью «Московскому комсомольцу». Я временно отложил в сторону амбиции прозаика, да и как поэт-переводчик стал работать поменьше – требовались мои знания литературоведа, сколь бы ни казались они мне теперь несовершенны – но другие-то не знали вовсе ничего. И как раз тогда, летом 1988 года, Перелешин наконец-то вернулся «в Россию стихами». Правда, поначалу, как я и предвидел – переводами. Но почему-то не теми, которых я ожидал.

Здесь мне придется процитировать не письмо Перелешина, а оставшуюся у меня копию моего собственного: возможно, многое станет ясно уже из этого «изложения фактов». Мое письмо датировано 26 августа 1988 года. Прошу прощения за кое-какую формальную правку текста, – но письмо мое, и если я немного контаминировал его со следующим (своим же, от 2 октября) – так на то мое авторское право; фактов я не искажаю.

«Дорогой Валерий Францевич, Бог даст, письмо ляжет в Ваши ладони и Вы его прочтете. Не писал Вам с 1980 года: жизнь моя была

такая, что не только что письма писать, а и дышать было невмоготу. Кое-что, пожалуй, знаете через Париж и Амстердам. Только и гордости мне за все эти годы, что привезенная Иоанном Павлом Хинрихсом в Москву книга «Два полустанка»: все-таки выдал Вам замуж за Голландию лично я.

17 июня 1988 года газета «Московский литератор» (безгонорарная; «Орган правления Московской организации Союза писателей РСФСР»), пятница, двойной номер 25-26), текст на стр. 4, столбец 3, опубликовала «проспект-проект» переводческого журнала «ПРЕОБРАЖЕНИЯ» (как бы «дайджест» будущего журнала по рубрикам; все это заняло три газетных полосы. В том числе в «Литературном отделе», рубрика 5Е, «подсказанная Романом Тименчиком» <...> раздел: «ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ». Поскольку весь номер готовили испанисты, то и кусок должен был быть зарубежно-испанским. Задолго до выхода номера был мне звонок от одного из наших испанистов, притом такого, на которого я все больше эпиграммы сочинял. С вопросом: что переведено с испанского в зарубежье. <...> я вспомнил про бессмертное «шило в мешке»... и вот результат – выписываю буквально, потому что даже своего номера газеты нет, ксерокс по почте скорее всего не дойдет, так что просто выписываю.

. . . . . .

Совершенно фантастическая судьба выпала на долю Валерия Перелешина (псевдоним В. Ф. Салатко-Петрище), который родился в 1913 году в Иркутске, но уже в 1920 году оказался в Харбине, где издал первые четыре книги стихов тиражами от 200 до 500 экземпляров, а также перевод «Сказания о старом мореходе» С. Т. Кольриджа и многочисленные переводы из старинной китайской поэзии. С начала 1953 года Перелешин живет в Рио-де-Жанейро, где, после долгого молчания, начиная с 1967 года, издает одну за другой шесть поэтических книг *<на самом деле больше, но я этого тогда не знал – Е.В.>* , две книги переводов с китайского и, что наиболее для нас интересно, первую на русском языке антологию бразильской поэзии «Южный Крест» (1978), многие переводы которой хотелось бы видеть переизданными в СССР. Переводит он и с испанского: «Духовную песнь» Сан Хуана де ла Крус (1542-1591), опубликованную в Париже, сонеты Боскана, Гарсиласо де ла Веги, Гонгоры, Лопе де Веги, – большая часть их не издана. Сейчас поэт, почти потерявший зрение, живет в доме для престарелых в одном из пригородов Рио-де-Жанейро, продолжая, однако, писать стихи и заниматься поэтическим переводом. Один из таких неизданных переводов мы и приводим.

ХУАН БОСКАН-И-АЛЬМОГАВЕР
(1495-1542)

*

Пустынником я прожил нелюдимым,
Но в мой мирок, чужой пирам и войнам,
Явился друг, что слыл уже покойным,
А мне навек запомнился любимым.

Его приезд я счел необъяснимым,
Но вскоре вновь признал его достойным,
И прошлое ручьем бесперебойным
Затеплилось, назло минувшим зимам.

Когда же в путь пришлось пуститься другу –
Ведь у него своих забот немало,
Я ощутил заброшенности меру.

Я ни холмам уже не рад, ни лугу,
Мне нравится безлюдье перестало,
И я дрожу, входя в мою пещеру.

Переведено 13 мая 1973 года

. . . . . .

Остальное можно не цитировать, однако считаю себя в обязанности привести эту цитату целиком. Как-никак, это была не только первая публикация в Москве, в открытой печати – это ведь была еще и моя самодеятельность. Я опубликовал сонет без разрешения Перелешина, а чего от него ждать, какой реакции – не имел представления. Кстати, номер газеты все-таки попал к Перелешину 5 ноября 1988 года. Интересно, сохранился ли он? Архив Перелешина по большей части цел, но слишком распылен по всему миру.

Дальше начался последний этап нашей переписки. Многое в нем сейчас не имеет никакой ценности: то одно издательства просило у меня стихи Перелешина, то один журнал, то другой, и по большей части кончалось это все ничем. Но у этой переписки есть строгие границы во времени: ответ на мое, процитированное выше письмо, датирован 11-м сентября 1988 года, последнее же письмо, вполне оптимистичное и спокойное – 18-м октября 1990-го года. По данным Ли Мэн, в ИМЛИ хранится и мой ответ на это последнее письмо... но что-то, видимо, случилось у поэта со здоровьем, и

контакт оборвался. Уже навсегда – если не считать слепых открыток, которые Перелешин (уже с бессмысленными текстами) посылал на Урал дочери Арсения Несмелова, Н. А. Митропольской.

Перелешин, против моего ожидания, вообще воспринял всё *как должное* – больше печалился о том, что мы почти десять лет были лишены общения, что по слепоте не может вправить в пишущую машинку новую ленту, что не все из уже тринадцати его поэтических сборников стоят у меня на полке, и лишь в конце добавлял: «Сведения, сообщенные обо мне тобою, вполне правильны, не в пример тому, что в Париже написал обо мне Вася Бетаки («Русская литература за тридцать лет»). По его домыслам, я родился в Белоруссии, учился в Шанхае и т.п. Родился я в Иркутске, учился в Харбине и Шанхае, а не только в последнем». *<Где это написал и напечатал только что ушедший от нас Василий Павлович?.. Память его подвела, вот и все грехи. Спи спокойно, друг наш новопреставленный. Е.В., 25 марта 2013>* (Как справедливо замечает Ли Мэн, в Шанхае Перелешин уже не учился, а только собирался писать диссертацию; однако не исключаю, что словом «учился» Перелешин хотел сказать, что он в Шанхае «занимался самообразованием») Дальше Перелешин писал уже далеко не так спокойно. Отношения с Голландией, видимо, складывались неровно, – хотя через год я получил из Лейдена том «Русский поэт в гостях у Китая», а от Перелешина, разумеется, список опечаток, которые в своем экземпляре исправил по его инструкции от 25 ноября 1989 года; Перелешин ворчал даже на давно погибшего Несмелова: «Работать (напрягая остатки зрения) для того, чтобы упрочить славу А. Н. – жертва слишком большая. Ведь А. Н. ничего подобного для меня не сделал бы. Когда он временно редактировал «Рубеж», он вовсе не пропускал не только моих стихов, но и переводных рассказов моей матери, которая этими заработками жила и с которой А. Н. дружил». Досталось, к сожалению, и несчастному Умберто Маркес Пассосу (уж не знаю, за дело или нет): «В конце семидесятых годов случайная встреча в мастерской ксерокопий скоро превратилась во всеобъемлющую страсть, мучившую, но и питавшую меня творчески до прошлого года. Говорю об Умберто Маркес Пассосе, которым полны мои сборники «Двое – и снова один?» и «Вдогонку». Хотел он от меня только денег – и выжал их далеко за две тысячи долларов. <...> С Умберто я давно не встречаюсь и понемногу перестаю о нем думать. Ему сорок один год. Жадный, до мозга костей себялюбивый, бессовестный, но – что еще опаснее – очаровательный. Живет он отдельно на подачки от богатой матери, которую не любит («Больше десяти минут в ее обществе

не выдерживаю»). По слепоте я сделал когда-то завещание в его пользу, но на днях сделал другое, где его имя даже не упомянуто». Полагаю, что каждому из тех, с кем общался Перелешин в жизни, однажды доставалась одна их филиппик в письме к кому-нибудь третьему. Но время уносит грязный песок в море забвения, а золото поэзии остается.

В письмах этих двух лет, разумеется, вновь очень много о поэтических переводах – Перелешина, моих и всех на свете... но надо же и совесть иметь. Скажем, для меня куда важней было уже в XXI веке обнаружить, что «специалисты» по литературе русского Китая сплошь и рядом делают из Валерия Перел***и***шина, притом едва ли эта опечатка восходит к одной из моих первых публикаций поэта, к трагическому номеру «Литературной Армении» за 1989, № 5, весь гонорар за публикации в котором все авторы пожертвовали жертвам страшного землетрясения в Спитаке. Но фамилию-то именно там на моей памяти переврали впервые – там печатался поэт Валерий Перелишин... ладно, пусть хотя бы стихи не перевирают, а фамилий у человека может быть много.

Третье письмо этого периода, датированное 18 октября 1988 года, начиналось обращением: «Мой дорогой, по-старому любимый Ариэль...». Ветер вновь принес духа воздуха к поэту. Мне, жившему в распадавшейся на куски стране было это и радостно – и кружило голову. Ясно было, что пока можно – нужно напечатать в Москве (а хоть бы и не в Москве) как можно больше поэтов-эмигрантов. За один лишь следующий, 1989 год, удалось тиснуть хорошую подборку Перелешина в «Огоньке» (№ 6, а ведь журнал был еженедельным!), в «Новом мире» (№ 9 – в составе подборки «Дань живым», вместе с Чинновым и Моршеном, – заметим, никаких стихов в этом номере больше не было), в «Литературной учебе» № 6 (любимая автором гностическая «Поэма о Мироздании» – и там же примерно половина его книги воспоминаний, «Два полустанка», та, где речь шла о литературной жизни именно русского Харбина; Перелешин был потрясен: **именно эта публикация не содержала *ни единой* опечатки!**), и это не считая как мелких, так и «пиратских» перепечаток. Однако у меня на руках была заверенная в советском консульстве (в конце августа 1989 года) доверенность от Перелешина, гонорары получал я, и при чудовищной инфляции их хватало мне хотя бы на почту. Перелешин хотел, чтобы половина гонораров шла Аните Адамовне Гинценберг в Латвию... но она не хотела брать денег; об этой истории подробно рассказано в воспоминаниях Яна Паула Хинрихса. Осенью 1989 года Перелешина прямо в его коттедже посетила заехавшая в Бразилию

к друзьям московская поэтесса Тамара Жирмунская, – адрес, понятно, дал ей я. В своей книге воспоминаний [«Мы – счастливые люди. Воспоминания» (Москва, 1995)] она оставила очень теплую главу, посвященную Перелешину – «Раненый жемчуг». Печально описывает она внешний вид «Руа Ретиро дос Артистос»: «Престарелых артистов поселили позади нарядного фасада, в одноэтажных фанерных домиках. Без приусадебного участка, без зелени. Перелешинская хибарка значилась под номером пять». Встречу свою с Перелешиным Жирмунская (ныне живущая в Германии) описывает подробно, но, похоже, стареющий поэт был отчего-то сильно не в духе в этот день – ругал Гумилева, да и вообще неясно – хвалил ли хоть кого-то. А ведь его уже печатали в России, и «Закат печальный» оборачивался для Перелешина все более растущей известностью.

Теперь, когда поэтическое, да и переводческое наследие Перелешина в целом собрано, да и научному его изучению начало положено, должен с грустью заметить: я помню строки из стихотворений (притом сонетов), которые мы найти все-таки не смогли. Частично, это, возможно, результат переработки текстов. Но не надо удивляться, если найдутся и такие стихи, которые у нас почему-либо пропущены. Кто знает, какая судьба постигла за сорок с лишним лет хрупкие листочки папиросной бумаги. Думаю, что-нибудь еще найдется. Могу лишь завидовать тому, кто их найдет – и, надеюсь, опубликует.

...Довольно легко удавалось проводить (и с большим успехом!) авторские вечера Перелешина – в библиотеке Союза Театральных работников, в Центральном Литературном Музее и еще много где, – увы. Перелешину я мог посылать лишь пригласительные билеты, но они, кажется, радовали его не меньше самого факта. На вечере в Литературном музее, кстати, имел место похабный казус: немолодая дама в шляпке подплыла ко мне и стала расхваливать меня на все тридцать две стороны компаса за занятия эмиграцией, конечно, она соглашалась, что Перелешин большой поэт, *но может ли быть приемлема такая оголтелая пропаганда гомосЭксуализма*... Я сперва и слова-то не понял (очень не скоро я сообразил, что это – искаженная форма английского *homosexualism,* где ударение и вправду стоит на третьем слоге). Зал основательно заржал. Позже я выяснил, что дама эта довольно знаменита – тем, что, рассказывая о том, как расцвела русская поэзия в Харбине *после вступления в него советских войск в 1945 году,* в предисловии к очередной самопроцензуренной антологии, умудрилась написать слово «родина» с большой буквы... двадцать два раза (причем

во всех случаях она имела в виду только СССР). Даму, честно говоря, мои друзья чуть не побили. А заслужила ли она даже зуботычину, жалкая щепка советской эпохи? Правда, половину того, что я рассказал на том вечере о Перелешине, она позже опубликовала за своей подписью. Но, как любил говорить Валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». Кстати, дама в шляпке числилась и среди корреспонденток поэта. Он брезгливо именовал ее не иначе как «завзятой феминисткой». Мне кажется, он этой даме несправедливо льстил.

О продвижении в печать переводов Валерия я уже не заботился – ясно было, что все и так будет. Впрочем, журнал «Проблемы Дальнего Востока» в 1990-м году (№ 3) с уважительнейшим предисловием Г. В. Мелихова напечатал «Дао Дэ Цзин»; в 1994 году та же философская поэма сумасшедшим тиражом (но не без моего ведома) была тиснута эфемерным издательством «Конёк», а в 2000-м подарочным, дорогим, но все равно тут же разошедшимся изданием в издательстве «Время», в серии «Триумфы» – правда, в это я время я случайно... работал главным редактором этого издательства. О посмертных публикациях, об антологиях уже не хочется рассказывать. Кстати, именно в последнем письме ко мне (от 18 октября 1990 года) Перелешин благодарил за «Дао Дэ Цзин». И добавлял: «Мой экземпляр журнала дан на прочтение А. Г. Лермонтову». Значит, судьбе было так угодно: последней серьезной публикацией, попавшей в руки еще относительно здорового Перелешина – притом из Москвы – была книга о Дао. Не символично ли? Еще – Перелешина заинтересовало: не родственник ли «бразильский» Александр Григорьевич Лермонтов (1907-2000) великому Михаилу Юрьевичу? Жаль, тогда я еще не увлекся кельтологией и не мог (не успел) сказать ему: безусловно родственник, – можно бы и вычислить – в котором колене. В Шотландии, откуда происходит род Лермонтов(ых), нет однофамильцев – есть только родственники, члены одного клана. Но – жизни всегда не хватает. Перелешин верил во «второе рождение», – я не верю, но верю в то, что встреча наша где-то и когда-то все-таки неизбежна.

Правда, и в доверенностях, и в письмах Перелешина есть недвусмысленное указание на то, что «Читатель, на которого я держу прицел – в России, как бы она ни называлась. Больше того: авторские права в России сейчас осуществляются через Вас, а после моего неизбежного ухода переходят к Вам (надо бы написать – к тебе». Формально наследником Перелешина мог бы числиться его брат Виктор, но и он умер бездетным в США в 2005 году. Кстати, Нина Мокринская (Фушье) об этих поздних месяцах жизни Пере-

лешина рассказала подробно в статье «Последние дни русского поэта» (газета «Русская жизнь», Сан-Франциско, 11 февраля 1996 года): «Я заметила, что письма от Валерия стали приходить все реже и реже, а потом и совсем прекратились. Обеспокоившись, я разыскала его брата (который из Бразилии успел перебраться в Америку). Виктор мне сообщил, что Валерий болен и находится в бразильском госпитале. Физически не страдает, но уже плохо что понимает. Все мысли и воспоминания его «кружатся» около харбинской Чураевки юношеского времени. Валерий был оперирован, но появилось другое недомогание: склероз и что-то вроде болезни Паркинсона. Ходил очень плохо – упал и сломал бедро. Еще одна операция. На этот раз слабый организм не выдержал. Поэт умер 7-го ноября 1992 года».

Этот день был отмечен неким вовсе неожиданным событием. Днем мне позвонил Ян Паул Хинрихс и сообщил о смерти Перелешина. А следом – я еще и молитвенник не открыл – позвонила из Мюнхена чудесная поэтесса Ирина Николаевна Бушман, сообщила, что второй день стихи пишет без остановки, и ей с кем-то надо ими поделиться. Я стал слушать, но на первом же оцепенел: такие совпадения совпадениями, на мой взгляд, считаться не могут. Первое же стихотворение процитирую целиком:

РАЗДРОБЛЕННЫЙ СОНЕТ

В. Перелешину

В эпоху
без природы
без искусств,
когда нет в музыке мелодии,
нет позы
в скульптуре
и когда уж по полям – навозу
и ни быка – коровам
не до чувств!

Лишь,
на конвейере лысея,
дуры
ни пуху, ни пера!
Несутся куры,
намереваясь высидеть цыплят...

В действительности –
всмятку
иль в мешочек
и без кукареку,
затем, что кочет
уже давно остыл,
с вертела снят,
и даже вовсе не в эпоху –
в это
безвременье,
межвременье, иль вне?

Один,
как перст...
что пишет по стене
огнем
слова последнего сонета...

7 ноября 1992 года.

Я выждал и спросил – знает ли Ирина Николаевна, что Перелешин буквально сегодня умер? Она не знала. Но в письме ко мне от 14 февраля 1992 года приписала: «Спешу отправить Вам сонет. Теперь, переписав его, даже удивляюсь, как сразу не сообразила, что это уже *памяти поэта*... А тогда только подумала: «Что это я написала в день юбилея революции?..» А то я бы не запомнила даты». Сонет был с этой припиской опубликован Валентиной Синкевич в филадельфийском альманахе «Встречи» за 1993 год.

(Тогда еще говорили «юбилей революции». Теперь прижилось – «годовщина переворота». Потому как ближе к истине).

Архив Перелешина благополучно попал в Москву в ИМЛИ, о чем подробно рассказал проф. Александр Жебит в статье «Бразильский архив “Сеньора Валерио”» в журнале «Наше Наследие», 1998, № 46. Само имя Перелешина А. Жебит впервые услышал лишь в 1991 году, а встретился с ним лишь единожды: только в мае 1992 г. Но, как пишет автор статьи, «...разговор получился не таким, как я его мысленно представлял. Перелешин уже не выходил из госпиталя, передвигался на костылях и не без посторонней помощи. Его единственный зрячий глаз видел совсем плохо. Разговор об архиве был немногословный: он подтвердил согласие на передачу архива России, поблагодарил за фрукты и после прощания со мной побрел в палату, поддерживаемый медсестрой» (с. 108). С по-

мощью директора ИМЛИ Ф. Ф. Кузнецова, давшего после смерти Перелешина согласие на размещение его архива в фондах института, с помощью душеприказчика поэта Александра Борисовича Кириллова (друга поэта еще по Китаю) и с помощью усилий самого А. Жебита архив попал в Москву. Вторая его часть находится в Лейдене (в том числе огромный корпус неизданных «Писем к матери»), третья собрана у меня, и еще сотни, если не тысячи писем распылены по архивам едва ли не всех частей света.

Теперь, через двадцать лет после смерти Перелешина, даже имея в принципе все документы на то, чтобы считаться наследником Перелешина, я считаю себя не только вправе, но числю своей обязанностью считать все авторские права на творчество Валерия Перелешина общественным достоянием, или, говоря языком международного права, объявить его наследство public domain. Авторское право при отсутствии заслуживших это право наследников – безусловное зло. А я и мои коллеги если что и заслужили, так право составить и издать собрание сочинение большого русского поэта Валерия Перелешина. Ну, авось дадут нам по пачке-другой этого «Собрания». Сорок лет мне надобилось, чтобы пройти этот путь. Я не жалею об потраченном времени. Лучший русский поэт Южного Полушария оплатил мое время и душевные силы очень дорогой валютой – русскими стихами.

Едва ли я Ариэль. Скорее мне, как артисту, довелось сыграть роль Ариэля.

Но какой артист не помнит аплодисментов зала, когда по окончании пьесы, еще в костюме и гриме, не выходя из роли, приближается к рампе? Сегодня ты Сирано у Ростана, завтра Рюи Блаз у Гюго, послезавтра Тень Отца Гамлета у Шекспира...

Да, читатель, ты догадался. Прими поклон от артиста, сыгравшего столь долгую роль Ариэля на сцене жизни и поэзии Валерия Перелешина.

18 июля 2013 года, Москва.

Василий Молодяков

ДЖОРДЖ СИЛЬВЕСТР ВИРЕК (1884–1962)

(ГЛАВА ИЗ БУДУЩЕЙ «ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ США»)[1]

Джордж Сильвестр Вирек (Георг Сильвестр Фирек) родился 31 декабря 1884 г. в Мюнхене, в семье депутата Рейхстага от социал-демократической партии Луи Фирека (1851-1922) и Лауры Фирек (1854-1935), двоюродной сестры мужа. Сын популярной актрисы Эдвины Фирек, Луи был внебрачным сыном прусского короля Вильгельма I Гогенцоллерна, позднее первого императора Германии. «Августейшее» происхождение не признавалось и не обсуждалось, но не являлось тайной или «охранной грамотой»: в 1886 г. Фирек был арестован вместе с группой социал-демократов, лишен депутатского мандата и приговорен к девяти месяцам тюремного заключения, а годом позже исключен из партии как «соглашатель» и, отойдя от политической деятельности, занялся журналистикой. В ноябре 1896 г. он переехал в США, где сочетал журналистскую и редакторскую деятельность с лекционной и общественной.

Будущий писатель рос в окружении книг, рукописей и корректур и рано проявил интерес к литературе под влиянием тетки Эрны Фирек, писавшей стихи и пьесы. Осенью 1897 г. Лаура вслед за мужем переехала в США вместе с сыновьями Георгом и Эдвином, скончавшимся несколько месяцев спустя. Георг посвятил памяти брата «Картины из жизни маленького Эдди» (1900; не опубликовано). Его первым выступлением в печати стало патриотическое стихотворение по случаю войны США с Испанией, опубликованное 12 мая 1898 г. в нью-йоркской газете «Das Morgen Journal». Сам Вирек называл своим дебютом стихи памяти Бисмарка, опубликованные несколько позже немецкой газетой в Балтиморе (публикация не выявлена).

1 Если не указано иное, произведения Вирека цитируются по первым изданиям, отзывы о них – по текстам, приведенным в его книгах, в переводе автора статьи и без дополнительных ссылок. Материалы из собрания автора использованы без сносок.

Решающую роль в становлении Вирека-литератора, вначале писавшего по-немецки, сыграли годы обучения в Городском колледже Нью-Йорка (1902-1906). Под влиянием Э. По, Д.Г. Россетти, О. Уайльда, А.Ч. Суинберна и Ш. Бодлера он сформировался как поэт-«декадент». Тогда же у него возник повышенный интерес к теме секса, что отразилось в юношеской повести «Элеонора, или Автобиография вырожденки» (1902; не опубликовано). Первым выступлением Вирека, замеченным критикой, стал сборник «Стихотворения» (1904; Gedichte) на немецком языке с хвалебным предисловием его друга – филолога Л.Льюисона, который назвал автора «поэтом, сформировавшимся в литературной традиции одного языка (английского – В.М.) и творящим на другом». О книге с похвалой отозвались известные филологи К. Томас, У. Трент, У.Э. Леонард и знаменитый психолог Г. Мюнстерберг. Рецезенты отмечали в стихах «красочность, музыку и воображение» в сочетании с «настойчивым криком страсти, не всегда деликатно выраженной, что выдает юность автора». Познакомившийся с Вирекомво время приезда в США весной 1906 г., драматург Л. Фульда помог ему издать в Германии сборник «Ниневия» (1906; Niniveh und andere Gedichte). Американская пресса отметила книгу, «изобразившую Манхэттен в апокалиптических символах», автор, которой «видит глазом художника и запечатлевает пером поэта такие непоэтичные вещи, как небоскребы, подземку и лифты», но для Европы ее «откровения» были пройденным этапом.

Осознав, что великим немецким поэтом ему не сделаться – а на меньшее он не соглашался, – Вирек в 22 года перешел на английский язык. «Было время, когда я колебался между двумя литературами, – писал он в 1910 г. – Я советовался с друзьями по обе стороны океана, и они, в конце концов, согласились, что Америка, будучи беднее Европы, больше нуждается во мне. Я решил стать американским классиком. Я добровольно оставил общество Бодлера и Гейне ради Лонгфелло и Уитмена». Британский критик А. Симонс советовал ему: «Писать на двух языках – большой дар, но и большая опасность. <...> Думаю, вы будете настолько мудры, чтобы писать только на одном языке» (1). Итоговый сборник «Стихотворения» (1922; Gedichte) включал тексты как написанные по-немецки, так и переведенные с английского.

Первая книга Вирека на английском языке «Игра в любви» (1906; A Game at Love and Other Plays) увидела свет при содействии известного литературного, художественного и театрального критика Дж. Хьюнекера. В нее вошли пять небольших «пьес для чтения»: четыре бытовых, наполненных «декадентскими» разговора-

ми, и одна аллегорическая, напоминающая Метерлинка. «Я взял кульминационные моменты воображаемых новелл и облек их в драматическую форму, – объяснил автор. – Этот метод – протест против психологического романа, который на протяжении шестисот страниц так ничего и не говорит». Поэт и критик Р. Ле Гальенн предсказал Вирeку «будущее в качестве драматурга, когда он пройдет период бури и натиска и станет несколько человечнее», но отказал пьесам в новизне, увидев в них «детское подражание двум школам драмы – бактериологической школе Ибсена и парадоксалистской школе Оскара Уайльда» и «буржуазное влияние Бернарда Шоу» (2). Критик У. Э. Брэдли нашел в них «характерные для современной литературы отрицательные идеалы моральной неустойчивости», но также «заботу о своем искусстве как средстве выражения идей» и «чувство стиля» (3). Сам автор в 1919 г. назвал «Игру в любви» «революционной даже сейчас» и «предшественницей многих пьес, заполонивших ныне маленькие театрики».

Первые стихи Вирека на английском языке появились в 1906 г. в журнале «Century» Р.У. Гилдера, предварив выход сборника «Ниневия» (1907; Nineveh and Other Poems). Только в собрании стихов «Плоть и кровь моя» (1931; My Flesh and Blood) Вирек раскрыл тайну второй «Ниневии»: половина книги, включая заглавный цикл, переведена с немецкого, причем не им самим, хотя «переводами в полном смысле слова» в ней названы лишь два стихотворения. В «Ниневии» преобладают антично-мифологические и урбанистические мотивы, порой в сочетании, как в «Имперском городе»:

Воздвиглись монстры с рёбрами из стали
В царице вавилонских городов,
Златочешуйчатые змеи поездов
Скользить в ущельях тайных не устали.
Мирьяды ламп алмазно заблистали
В её власах, венчая небосвод,
Кровь жизни пульсом бьётся в ней, и вот
Громадой дерзкой встав на пьедестале,
Она немолчный слышит шум и смех,
Ей грезится любовника приход,
Его поющий рот объявит смысл и
Озвучит то, что нéмо в ней живёт:
Величие, безумие, и грех,
Стальные сны и каменные мысли.[1]

1 Здесь и далее стихи в переводе Валентина Емелина, которому приношу глубокую благодарность.

Выход книги стал «гудением триумфальных труб, – писал первый биограф поэта Э. Герц, – фанфарами оркестра Муз, достаточно громкими и долгими, чтобы показать подлинный масштаб Вирека» (4). «Ни один поэт со времен Байрона не вызывал такой сенсации за одну ночь. Сегодня трудно поверить, что о юном поэте говорили по всей Америке. <...> Вирека рассматривали как лидера поэтического ренессанса» (5). Хьюнекер видел в стихах «великолепие Гейне, Суинберна и Китса»; друживший с автором Ле Гальенн назвал его «поэтом с оригинальным мышлением и исключительно сильным и притягательным литературным даром». Серьезный разбор книги сделал Симонс: «Она удивительно умна и наверняка будет иметь успех. На мой вкус она слишком экспрессивна, и в ней слишком сильно чувствуется влияние Суинберна. Как образец он губителен. Но уверен, вы вскоре стряхнете с себя его влияние. <...> Ваше незаурядное умение владеть ритмом еще не стало индивидуальным. Вы говорите, что стремитесь к новой форме. Это важно, но не думаю, что вы ее уже достигли. Впрочем, все подобные опыты полезны, поскольку однажды вы можете внезапно понять, что создали нечто новое, не подозревая об этом» (6).

«Ниневия», по словам критика А. Маркоссона, «вызвала больше споров и породила больше “писем в редакцию”, чем любая поэтическая книга на протяжении лет». Оживленная полемика разгорелась в книжном обозрении «New York Times» (7). Брэдли пожелал Вирeку «оставить приятельство с Бодлером и Суинберном» и «вернуться к традиционным идеалам поэтического искусства»: «Цинизм, пресыщенность, разочарованность, исповедовать которые еще недавно было так модно, теперь кажутся устаревшими, как наряды наших родителей». Поэтесса Э. Баркер упрекнула критика в недооценке серьезности поэта, поскольку «заоблачные пики и башни его воображения покоятся на крепком фундаменте человеческого опыта». Новатор-радикал Л. Унтермейер, отказывая Вирeку в таланте и новаторстве, заявил, что в «Ниневии» «нет бодрящего аромата зеленой земли – только зловоние “дна”, душок разлагающихся отходов, а не свежее дыхание полей». В спор вступил Гилдер, осудивший книгу за избыток эротизма, который вызывает «почти физическое отвращение». Его мнение имело вес если не для поэтов, то для читателей, поэтому Вирек ответил почтительным письмом. Поблагодарив «за откровенность суда» и заявив, что «все мы (поэты – В.М.) – инструменты в руке Неведомого Бога», он разъяснил: «Я уважаю грех как часть поисков Окончательного Добра человеческой душой, но испытываю физическое омерзение к пороку. Более того, он скучен мне. Нет ничего тоскливее профессиональных

сластолюбцев обоего пола. <...> Я не исключаю ничего, даже зло, из сферы искусства, особенно моего искусства. Только вульгарность я бы изгнал из пределов словесности, причем не столько описания вульгарности, сколько вульгарность описаний». Спор вышел за пределы поэтического «цеха». Один читатель осудил книгу за «отталкивающую непристойность, болезненную дерзость и мрачные невротические проявления». Другой заявил, что ее автор – «индивидуальность, а не эхо». «Если Вирек последует примерам Китса и Теннисона и оставит болезненные юношеские мечтания, американский народ с радостью примет его, – советовал третий. – Глотните свежего воздуха и, может, напишете что-то американское».

Наиболее серьезные упреки книге предъявил критик П. Поллард: «Смерть, проказа, зловещая улыбка сфинкса, болезненные воспоминания блудницы, горькие сожаления об украденной юности... Таково лоскутное одеяло, из которого современная молодежь кроит облачение, чтобы явиться в нем в качестве поэта. Если вам нравится безымянная похоть, какой бы она ни была; если вам приятно читать о неправедно проведенной юности в стихах, а не в объявлениях патентованных врачей; если вам по душе общество юного трубадура, который поет главным образом о вратах Дома Стыда и о том, сколько раз он входил в них, – читайте «Ниневию». Вирек, несомненно, владеет формой и мастерством – приемами ремесла. <...> Дома, полные греха и стыда, тела, исполненные похоти и усталости, сфинксы, провозглашающие себя ужасающими видениями де Сада, Астарты и Приапа и сражающиеся за свою чудовищную, бесплодную и обнаженную красоту, – не тот материал, из которого будет делаться поэзия завтрашнего дня. <...> Я не отрицаю ни одного из талантов, которые знатоки на двух континентах признают за этим поющим и грешащим юношей. Но я отрицаю, что он будет называться значительным поэтом, если не изменит своего отношения к предмету творчества».

Поэт Ч.Х. Таун нашел в стихах Вирека «широкое знание жизни» в сочетании с «прекрасным даром юности» и «спасительным для него чувством юмора», заметив: «Как Уайльд избавил английскую драму от этики, так Вирек избавил американскую поэзию от морали». «Новый поэт – событие. Даже обещание состоявшегося и значительного поэта – нерядовое явление, – отметил критик К. Гамильтон. – В «Ниневии» Вирек показал себя поэтом, обещающим в будущем значительность и завершенность». За этим следовала критика: «Его опыт заимствован исключительно из собственного внутреннего мира, а не из внешнего. Он ничего не знает о природе и очень мало – о мужчинах и женщинах. Относительно люб-

ви в ее высших проявлениях он пока вполне невинен». «Будучи чрезмерно одарен естественной легкостью, он еще не понял, сколь многому должен научиться», – сделал вывод критик, оптимистически заключив: «Лично я буду с надеждой ожидать, что он сделает со своей жизнью, с самим собой и со своим творчеством» (8). «Сегодня Вирек – самый обсуждаемый молодой литератор в Соединенных Штатах, – констатировал Маркоссон. – Не каждое десятилетие кого-либо из молодых так единодушно обвиняют в гениальности. И Вирек от души соглашается с обвинителями. <...> Несмотря на поток противоречащих друг другу мнений о его произведениях и непрерывную демонстрацию собственной личности, остается фактом то, что в нем есть обещание подлинной силы».

Больше ни один поэтический сборник Вирека не имел такой прессы. В 1954 г. поэт Дж.Х. Уилок писал ему: «Отлично помню возбуждение, с каким я – юный стихотворец, на год или два моложе вас, – впервые прочитал «Ниневию», то ощущение внезапно открывшихся врат и света откровения, которое способно вызвать только магия искусства». В 1967 г. Уилок вспоминал: «Он писал эротические стихи и сломал викторианскую традицию, когда та была очень сильна. Сейчас его поэзия не в моде, потому что он все время писал о Грехе, а Грех мало значит для сегодняшней публики. В стихах он старался быть очень порочным, но теперь всё зашло так далеко, что его усилия кажутся ребяческими. Однако в лучших вещах он был хорошим поэтом» (9).

Центральной темой первого романа Вирека «Дом вампира» (1907; The House of the Vampire) стало интеллектуальное противостояние писателя, художника и светского льва Реджинальда Кларка и молодого литератора Эрнеста Филдинга, которого мэтр взял в ученики. Кларк оказался «ментальным вампиром», похищающим у других творческие замыслы и даже законченные «в голове» произведения, которые реализовывал, используя свое формальное мастерство[1]. Эрнест понимает это лишь к концу книги, хотя автор дает читателю немало подсказок. «Ему виделись длинные, тонкие пальцы, которые каждую ночь словно ощупывали извилины его мозга. <...> Его мозг был подобен золотоносному руднику, содрогающе-

1 Ср. в воспоминаниях О.Н. Арбениной-Гильдебрандт: «Юра (Юркун – В.М.) признавался мне, что обижался до слез в юности (после стал спокойнее) на Кузмина, который (гениально, как Моцарт, – говорил Юра) крал, где плохо лежит, чужие сюжеты и идеи и претворял их – по-своему, совершенно иначе, – но срезая на корню интерес к “первоисточнику” идеи мастерством своего изложения и сюжета» (Кузмин М.А. Дневник 1934 года. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2007. С. 160).

муся под ударами кирки шахтера. Шахтера, который день за днем, основательно и неумолимо вскрывает жилу за жилой и извлекает бесценные сокровища из содрогающейся земли. Но каждая золотоносная жила – это его вена, а каждый золотой самородок – его мысль! Какая бы идея у него ни зарождалась, рука из ночных кошмаров похищала ее, грубо разрывая тонкие нити мыслей». «Именно благодаря мне и через меня лучшая часть тебя сохранится в веках», – ответил Кларк на обвинения (10). Автор избегал моральных оценок, но критика задалась вопросом: как он сам оценивает героя-вампира? «Мой вампир – это сверхчеловек Ницше, – заявил Вирек. – Он имеет право красть из чужих мозгов» (11).

Издательство рекламировало «Дом вампира» как «символическую повесть, отличающуюся широтой ви́дения, безупречным мастерством, потрясающей силой и беспощадной проницательностью», но книгу приняли неровно. «Жаль, что никакой вампир не украл идею Вирека до того, как он ее испортил», – иронизировал сан-францисский «Argonaut». Автора упрекали в отсутствии оригинальности, излишней цветистости языка, переходящей в дурной вкус, невыдержанности стиля, однако влиятельный критик У.М. Риди, утверждал, что со времени «Портрета Дориана Грея» «не появлялось столь таинственного и умного романа». «Buffalo Courier» назвала его «непривлекательной, но великолепной историей». По мнению «Pittsburgh Index», «книга производит зловещее впечатление, и тень “вампира” еще долго преследует вас после того, как дочитаны последние слова». «Читатель тянется к «Дому вампира» как магнит к металлу, книга засасывает его, как паук – муху», – писала портлендская «Oregonian». «Minneapolis Tribune» вступилась за автора: «Это не патологическая история, как о ней говорят, потому что за ней лежит идея, которая слишком велика для патологии». Самую высокую оценку «Дому вампира» дал Симонс: «Роман понравился мне больше других ваших книг. Идея оригинальна, форма искусна, финал оправдывает развитие событий. <...> Из символа вы сделали впечатляющую историю. Она наводит на мысль об Уайльде, но Уайльд испортил бы ее украшательством и смазал бы финал. Здесь есть сила, и эта сила заставляет дочитать до конца» (12). Откликаясь на выход «Дома вампира» по-немецки в авторской версии в 1909 г., гамбургская «Nachrichten» назвала его «самой подходящей книгой для нас – детей века, столь сведущего в четвертом измерении, что привидения стали для нас чем-то вроде слуг. Мысль о том, что гений – всего лишь воплощение интеллектуальных ценностей своей эпохи, четко выражающий то, что тайно работает в сознании всех, мо-

жет быть фантастической, но заслуживает серьезного осмысления и рассмотрения».

«Дом вампира» привлек внимание в связи с дискуссиями об авторском праве – как показатель размытости его границ и как описание одной из самых причудливых и труднодоказуемых форм плагиата. Кульминацией стало обвинение в плагиате самого автора, когда он вместе с Э.А. Вульфом переделал роман в пьесу «Вампир» (не опубликована), поставленную в сезон 1908/09 г. Вирек парировал: «Даже если бы я заимствовал идеи из произведений худшего качества, я все равно чувствовал бы себя вправе так поступать, но, к сожалению, я не совершил ничего подобного» (13). Театр отверг все претензии, но снял пьесу с репертуара. Новая волна интереса в «Дому вампира» в 1990-е годы связана с модой на отыскание скрытых гомосексуальных мотивов в прозе и поэзии прошлого, включая возможную связь вампиризма и гомосексуализма, хотя здесь не обошлось без искусственного расширения границ «гей-литературы» (14).

Как эссеист Вирек дебютировал книгой «Признания варвара» (1910; Confessions of a Barbarian), которую сам сравнивал с «Путевыми картинами» Гейне: материалом послужило путешествие в Европу в 1908 г. Напомнив о своей «символической связи с двумя полушариями», автор представился читателю как «юный варвар, впервые пересекший Альпы и увидевший Рим». Старому Свету, прежде всего Германии, досталось множество похвал, перемежаемых ехидными суждениями о Новом. Завершая книгу объяснением в любви к «мадам Европе», Вирек идентифицировал себя с Америкой: «Я не могу не быть американцем. Я – сын этой земли. Кто бы я ни был, меня создала Америка». Эти слова «закольцовывают» признание на первых страницах: «Европа необходима для моего благополучия. Я должен периодически окунаться в источник ее подлинной цивилизации, барахтаться в ее испорченности, парить в ее мечтах. Но я слишком американец, чтобы потеряться в ней насовсем».

Несмотря на вызывающий характер многих заявлений, книга понравились в Америке. «Именно такой раздражитель нужен нашему народу, который воображает себя имперским, будучи на деле всего лишь местечковым», – заявил покровительствовавший автору Риди. «Стопроцентный американец» Ч. Фергюсон, ставший в годы Первой мировой войны гонителем Вирека, утверждал: «Книга шокирует. Она одинока среди американских книг, поскольку утверждает, что американцы могут быть – а, пожалуй, в некоторых отношениях и есть – хуже, слабее, тупее других. <...> «При-

знания варвара» – достопамятное событие, потому что впервые в истории американской литературы наше национальное самодовольство атаковано со столь вдохновляющим и поэтичным трепетом насмешки над собой». Г. Мюнстерберг нашел в «Признаниях» «несколько самых блестящих суждений, которые когда-либо произносились об обеих странах». Не любивший Вирека А. Кроули и позже считал «Признания варвара» «возможно, самой умной книгой, написанной американцем о Европе».

Упрочению положения Вирека в литературном мире способствовала служба заместителем редактора журнала «Current Literature» (1906-1915): он участвовал в написании обзоров текущей поэзии, но все они публиковались анонимно, так что точно определить их авторство невозможно. В конце 1910 г. он стал одним из инициаторов создания Американского поэтического общества и летом 1911 г. прочитал в Берлинском университете лекцию «Америка – страна поэтов» (15). «Он был самоуверенным и непослушным “золотым мальчиком”, – вспоминала поэтесса Б. Уэгстафф в 1954 г. – Сумасброд для глупцов, гений для интеллектуалов. Яркий и загадочно очаровывающий, зловещий (поза!), смелый в речах и в стихах, он был прирожденным иконоборцем и одновременно, в основе своей, классицистом, благодаря невероятным познаниям в области истории и искусства. Он бурлил остроумием на собраниях и в разговорах тет-а-тет. Его память была невероятной, обаяние разливалось на окружающих. Он обладал редким даром озарять всех, кого встречал. Его творческая энергия была заразительной, воображение – великолепным. Дж.С.В. был невысок, с золотыми волосами, одновременно задумчив и агрессивен, нежен и безжалостен, исключительно честен и при том уклончив, романтик и реалист. Он пылал внутренним огнем бесспорного гения. Став однажды другом, он оставался им навсегда. Одержимый эротикой, его ум был ненасытен, хотя он отличался – и отличается до сих пор – робостью и мягкостью юной девушки».

В предисловии ко второму сборнику стихов «Свеча и пламя» (1912; The Candle and the Flame) Вирек провозгласил: «Современная Муза находится в том же положении, что и женщина: она должна освободиться от сентиментальности, не превратившись в очкастую и бесчувственную старую деву. Она должна стать интеллектуальнее, не жертвуя чувственностью».

Возможно, сущность всех страстей
Лишь факел, что зажгла сия
Фантома длань, чтобы верней

Найти Верховного над ней,
Кто тайны знает бытия
В пронзённой ветром темноте.

Любовь есть Пламя, мы – Свеча
Угаснет свет наш, но Любовь
Живёт, бессмертна – улуча
Тот миг, когда устанем, он
Оставит нас, раздув огонь
В мужлане или принце вновь.

От знанья с похотью он был
Рождён до нас, и всё равно
Ему, что́ нам предрешено,
Когда остынет жар ланит,
И будет кубок твой пролит,
А мой угаснет сердца пыл.

Нет, милый, ты не позабыл,
Что ты ли, я, дурак ли, плут,
Всего лишь инструменты тут
Каких-то злых вселенских сил.
Пусть ярость без границ кипит –
В вино влей диких маков сны:
Мы святы лишь когда пьяны
И лишь в безумье память спит!

Сборник упрочил «декадентскую» репутацию автора: более совершенный в литературном отношении, чем «Ниневия», он был принята намного прохладнее. Особое неприятие вызвали стихи, в которых виделись гомосексуальные мотивы, точнее, признание за «любовью, не смеющей назвать свое имя» права на существование. Они были далеко не главными в книге, но Таун перекрестил ее в «Скандал и позор»: «The Scandal and the Shame» вместо «The Candle and the Flame». Риди в статье «Лебединая песня Сильвестра Вирека» резко отозвался о ней с точки зрения как содержания («поэтическое евангелие гомосексуализма»), так и формы: «Его стихи страдают от того, что уже были написаны ранее, – прежде всего Суинберном, Уайльдом и Россетти» (16). Ле Гальенн саркастически заметил, что Вирек «увы, родился слишком поздно. За последние двадцать лет буржуазию так часто “эпатировали”, она настолько объелась ужасов и привыкла к “странным грехам” порочных рим-

ских императоров, что ей смертельно надоели Содом и Гоморра, Лесбос и Саломея» (17). Поэт и критик У. Брэйсуэйт осудил книгу за «неприличие»: «Предупреждаю мятежных юнцов, не испытывающих почтения ни к жизни, ни к традициям поэтического искусства. Тратить зазря способности, которые могли бы сослужить добрую службу литературе и жизни, – аморально» (18).

Не все отзывы были отрицательными. Ранее похваливший «Ниневию», экс-президент Т. Рузвельт откликнулся на присылку сборника письмом. «Оно содержало похвалу, – вспоминал Вирек. – и сообщало критические замечания. Особенно запомнилась одна фраза. “Мне понравилось в книге всё” (цитирую по памяти) “кроме отсылки к Уайльду. Возможно, это из-за некоего атавистического пуританизма во мне...” Атавистический пуританизм! Какое восхитительное выражение! Человек, который может говорить о своем пуританизме как атавистическом, в мозгу уже не пуританин». По мнению индианаполиской «Star», «книга приближается к великой поэзии больше, чем что-либо появившееся в последнее время». Критик М. Монахэн выразил надежду, что сборник «снова возбудит интерес на обоих континентах, поскольку Вирек считается первым подлинным голосом Америки в поэзии после Уитмена и По», но резонанс в Европе оказался невелик – мода радикально поменялась.

1912 год принято считать годом «поэтического возрождения» в Америке, которое связывают с дебютами имажистов и с появлением журнала «Poetry», с признанием поколения поэтов, самыми яркими звездами которого стали, с одной стороны, Э. Паунд и Т.С. Элиот, с другой – Э. Сент-Винсент Миллей и В. Линдсей. В нем доминировали авангардисты, представители новой поэзии и новой поэтики, с которыми Вирека не было ничего общего. Находившемуся в зените славы 28-летнему поэту грозила участь стать «вчерашним днем». Не принимая новшеств имажистов и считая свободный стих «уцененной прозой», он чувствовал, что перемены грядут и что исход окажется не в его пользу, хотя храбро заявил в предисловии к «Свече и пламени»: «Я слишком обогнал процессию американской жизни, чтобы сделать еще шаг вперед. Присев на обочине, я буду ждать, пока Америка догонит меня. <...> Младшее поколение уже стучится в двери. Пусть же они отворятся! Поэтическая молодежь Америки, эта книга – мой прощальный подарок тебе». «К несчастью, – констатировал его друг Льюисон двадцать лет спустя, – поэтическая манера Вирека, в духе французских и поздневикторианских английских декадентов, уже находилась на грани угасания и в последний раз засверкала в Америке и в нем.

Ныне трудно представить себе что-то более старомодное». Назвав Вирека «самым выдающимся и влиятельным американским поэтом периода, непосредственно предшествовавшего расцвету нашей национальной выразительности», Льюисон видел в нем завершителя «переходного» этапа: «Сегодня вряд ли кто-то станет отрицать, что Вирек был самым выдающимся американским поэтом между 1907 и 1914 годами и что хору граничащих с лестью восторгов, которыми встречались его книги, противостояло всего лишь несколько голосов. <...> Вирек как человек и художник оказал раскрепощающее влияние на американскую жизнь и литературу» (19).

Используя опыт и связи, полученные в результате службы в «Current Literature», Вирек с января 1911 г. издавал и редактировал журнал «Runschau Zweier Welten» («Обозрение двух миров») на немецком языке, ориентированный на германо-американскую аудиторию. Столкнувшись с падением тиража, летом 1912 г. он решил закрыть его, точнее, объединить с «органом литературных бунтарей» – литературным ежемесячником «International». Став главным редактором обновленного «International», Вирек стремился сделать его более эстетским, политизированным (поддерживал Т. Рузвельта и «прогрессистов»), и прогерманским. С августа 1914 г. Вирек издавал и редактировал еженедельный журнал «Fatherland», стал ведущим пропагандистом в пользу Центральных держав в США (20).

Уделяя основное внимание публицистической и редакторской работе, Вирек продолжал писать стихи, составившие сборник «Песни Армагеддона» (1916; Songs of Armageddon and Other Poems). Первые разделы «Книга Армагеддона» и «Книга мертвых» включали злободневные стихи о «Вильгельме II, Князе мира» и о «железном канцлере», обращение «Германо-американца к усыновившей его стране», перевод «Deutschland uber Alles», инвективы против «нейтрала» Вильсона, «продажной» Италии, а также «Гимн Армагеддона», написанный в 1912 г. для предвыборной кампании Рузвельта, который теперь занял антигерманскую позицию. Стихотворное посвящение кайзеру появилось в первом номере «Fatherland»:

О, Мира Князь, о, Принц Войны,
Ты незапятнанным клинком
Псов адских от границ страны
Рассей в неистовстве святом!
Тебе вложили в руку меч
Предатель-враг, предатель-друг,

Черту готовясь пересечь,
Правитель Тьмы сжимает круг.
Казачью длань спеши отсечь,
Ту, что во мрак ввергает мир!
Взор Гёте, Лютерову речь
Спаси, Блистательный Кумир!
Когда настала темнота,
Кто веру в Господа сберёг?
Страна под знаменем Христа –
Иль торжествующий порок?
Тевтона Бог освободил
От рабства денег англичан,
Анархий, смут и гильотин,
Погромов красных и бича.
Пускай победно разобьют
Твои армады жёлтых рать,
Царя, чьим скиптром служит кнут,
И франков мировую б**дь!
Но не обрящешь ты покой,
Пока морской британский змей
Не будет доблестной рукой
Сражён по милости твоей.
Пусть истребит огонь тогда
Их артиллерию и флот –
В зените Фридриха звезда,
Щит – Бисмарк, Господа оплот!
Вал перед варварской ордой –
Мечом несешь ты Божий мир;
Твои полки стоят стеной,
Не устоишь – и рухнет мир!

Лирические стихотворения, в основном печатавшиеся в «International», составили третий раздел «Книга Елены и Маргариты»: Елена – Троянская, Маргарита – Гретхен Хайн, ставшая в 1915 г. женой автора.

Ночь, звёзды, в море – серебро,
Любовь взимала дань с двоих,
И с губ искусанных оброк
Я получил страстей твоих.
Какой иной карминный рот
В моей душе дерзнул бы смочь,

Доколе Будда не кивнёт,
Стереть одну безумья ночь?
Навечно заклеймлю тебя
И кровью я скреплю печать.
Ни свет, ни море, ни дитя
Тот шрам в душе не излечат.
Пусть кожу сбросит жизнь-змея,
Я заучу трагедий роль,
Укус любви дарю, смеясь,
И в сердце выжгу я тавро.

Позднее автор утверждал, что «Песни Армагеддона» «были приняты равнодушно» из-за «военного психоза». Книга не вызвала такого резонанса, как предыдущие, но ее нельзя назвать «проигнорированной». Сотрудничавший с «Fatherland» критик и поэт Ш. О'Шил уверенно заявил: «В царстве страсти, которое Вирек сделал своим, он одержал новые поэтические победы. <...> Только человек, предельно искренний в убеждениях и владеющий мастерством, мог создать настолько смелые и индивидуальные, сильные и страстные, волнующие и совершенные стихи» (21). «Маг» Кроули, в то время также сотрудничавший с Вирекком, восторженно писал в «International» о «самой примечательной книге года»: «Хороших поэтов в Америке можно пересчитать по пальцам одной руки героя, только что вернувшегося с фронта без девяти пальцев. Этот поэт – Вирек. Вы можете прочитать его последний сборник от корки до корки и вряд ли найдете хоть одну строфу, которая не читалась бы так же просто, как если бы она была написана прозой» (22). Конечно, это комплименты другу и работодателю (второй к тому же откровенно двусмысленный), но и Брэйсуэйт, осудивший «Свечу и пламя», признал: «Пожалуй, ни один из живущих сегодня в Америке поэтов не обладает большей легкостью стиха, чем Вирек. Он всегда успешен в замысле и воплощении, всегда отличается богатством красок, ритма и воображения» (23). Книгу обсуждали по всей стране. «Вирек может не быть хорошим американцем, но он хороший американский поэт», – считал рецензент «Advertiser» в Монтгомери, штат Алабама. «Вирек – и поэт, и патриот», – парировал В. Розуотер из Омахи, штат Небраска. Строгий Риди подвел итог: «С дефисом или нет (т. е. «германо-американец» – В.М.), Вирек – поэт и поэт сильный. <...> Его стихи могут шокировать, но по прочтении вы обнаружите, что бессознательно запомнили немало строк благодаря их точности, рифме и ритму». Контрастом прозвучал краткий отзыв «Е.Т.» в журнале «Poetry»: «Простительно,

что военные стихи – пропаганда, а не поэзия. Поэты лучше, чем Вирек, потеряли ощущение искусства в горячем дыхании войны. Но то, что он, в юности бывший одним из чистейших лирических дарований нашего времени, еще не достигнув сорока лет, дошел до беспомощного ребячества любовных стихов этой книги, воистину достойно жалости. Вирек зарыл свой талант в могилу плоти. Об остальном лучше снисходительно промолчать» (24).

После вступления США в войну против Германии и особенно с началом 1918 г. Вирек был подвергнут остракизму в литературных кругах, что выразилось в его исключении из Американского поэтического общества (восстановлен в 1956 г. по инициативе общества) и Авторской лиги Америки. Об этих преследованиях он рассказал в предисловии к книге «Рузвельт. Исследование амбивалентности» (1919). Возвращение Вирека в литературу состоялось в 1924 г., когда издатель Э. Халдеман-Джулиус выпустил в популярной серии «Маленькие голубые книжки» (аналог русской «Универсальной библиотеки») его сборники «Три сфинкса» (The Three Sphinxes and Other Poems) и «Дом с привидениями» (The Haunted House and Other Poems), куда вошла примерно половина опубликованного в предыдущих книгах. «Я ожидал повторного открытия себя как поэта с веселым интересом, – писал автор в предисловии ко второму. – Я думал, что это случится, когда в восемьдесят лет буду качать правнуков на коленях. <...> Воскрешение произошло быстрее, чем я предполагал». «Поэт без мандата» разослал их *всем* членам Американского поэтического общества.

Восторженный отзыв о книгах оставил лидер американских социалистов Ю. Дебс: Вирек вступил с ним в переписку в 1919 г., когда тот находился в тюрьме за антивоенную пропаганду. 4 октября 1924 г. Дебс писал издателю: «Большой радостью для меня стало то, что вы отодвинули плиту склепа, в котором власть имущие с Атлантического побережья погребли имя и славу величайшего американского поэта Джорджа Сильвестра Вирека. Его гений блистательно сиял американскому народу пока не пришла война, точнее бойня, во время которой люди превратились в зверей, немцев приравняли к выродкам-гуннам, и вся убийственная мощь преступных военных вождей обрушилась на Вирека, бесстрашного и прямого, сохранившего в неприкосновенности свою человеческую цельность. Он отказался кланяться в ноги Уолл-стриту. Он осудил войну с нашей стороны как преступление против нашего народа, а потому был обречен на одиночество и молчание. Вы пришли ему на помощь как раз вовремя» (25). Иной была реакция «поэтического цеха». В журнале «Poetry» М. Светт, пред-

ставлявшая молодое поколение, объявила его устаревшим стихотворцем, которого «трудно принимать всерьез» и «невозможно читать, не теряя терпения» (26). Поэт ответил письмом в редакцию, обвинив рецензента в «поразительном недостатке критического понимания, психологической интуиции и исторической перспективы»: «Она не понимает, что я куда более современен в мыслях и в стихах, чем упражняющиеся в так называемом свободном стихе» (27).

Еще до мировой войны Вирек задумал новый роман в надежде на большой успех. Героем был выбран Вечный Жид – но не Агасфер предания или классической литературы, бесприютный старец, гонимый волей Христа и молящий о смерти как об избавлении, а вечно юный, полный сил человек, не знающий не только смерти, но старости и немощей. После первых набросков автор усомнился, хватит ли у него сил на эпическое полотно, доходящее до современности, затем начало войны отодвинул литературу на второй план. Вступление США в войну и сокращение журналистской работы вернули Вирека к замыслу. В январе 1918 г. он показал первые главы рукописи «Исаак Лакедем» (одно из имен Агасфера) своему другу, немецкому прозаику Х. Эверсу, жившему в то время в США, и предложил соавторство, но после интернирования Эверса и его возвращения в Германию проект пришлось отложить. Вирек снова обратился к нему в 1924 г., откликаясь на предложение издательства «Stratford» и одновременно посвятил в замысел Х. Ливрайта – самого передового издателя тогдашней Америки. Ливрайт отверг рукопись, в «Stratford» Вирeку предложили переработать ее вместе с беллетристом П. Элдриджем.

Со слов соавторов Э. Герц описал работу над книгой, получившей название «Мои первые 2000 лет. Автобиография Вечного Жида» (My First Two Thousand Years: The Autobiography of the Wandering Jew): «Отрывистый, слишком логичный и местами грубоватый стиль оригинальной рукописи требовал смягчения, сглаживания углов. Элдридж начал править написанное Вирeком, придавая ему более мягкий оттенок. Вирек разработал план каждой главы и всей книги. Из обсуждения плана выросли события и персонажи. Там и сям Вирек добавлял яркие выражения, вроде “бесконечно длившееся нестерпимое удовольствие”, которые считал важными для раскрытия замысла. Дома Элдридж писал главу и затем читал ее соавтору. Иногда Вирек принимал написанное, но чаще они принимались биться, пока глава не меняла форму. Элдридж снова переписывал ее, и оба заново подвергали текст критическому рассмотрению. Попытка смешать два разных литера-

турных ритма удавалась не всегда. Элдридж отказывался браться за какие-то главы, и тогда Вирек сочинял первый вариант. <...> Вклад одного невозможно отделить от вклада другого. Они были родителями, книга – их ребенком». «В наших интеллектуальных отношениях, – пояснил Вирек, – я был отцом, творческим началом. <...> Общий замысел мой, исполнение – по большей части, но не целиком – его» (28). Добавлю, что на всех книгах фамилия Элдриджа стояла второй.

Роман начинается с того, что в афонский монастырь приезжает Исаак Лакедем, человек неопределенного возраста и национальности, в сопровождении «восточного» слуги по имени Котикокура. Его пригласил настоятель, чтобы познакомить с двумя психоаналитиками, немцем и англичанином, которые погрузили гостя в гипнотический сон. И он рассказал, что был офицером стражи Понтия Пилата, носившим среди римлян имя Картафилус («привратник»), тем самым, который не дал Иисусу отдохнуть по пути на Голгофу и услышал: «Ты будешь вечно скитаться, пока я не вернусь». Картафилус «законсервировался» в своем возрасте и теле, поэтому был вынужден менять место жительства, чтобы не вызывать подозрений вечной молодостью. Таким Вирек и Элдридж повели героя через события двух тысячелетий – политические, религиозные, военные и любовные. Он переводил стихи Нерона, ассистировал магу Аполлонию, курил трубку с Аттилой, излечил Карла Великого от боли в ноге, участвовал в крестовых походах, финансировал экспедицию Колумба, уличил Дон Жуана в нарциссизме и еще одного «Вечного Жида» в самозванстве. Он беседовал о поэзии с Ду Фу, о религии с Мухаммедом и Лютером, о философии с Фрэнсисом Бэконом и Спинозой. Папа Александр VI Борджиа уверял его, что Иисус – легенда, равно как и крестоносец «граф Картафил» из старинных хроник. Петр Великий в Голландии крестил его и нарек князем Даниилом Петровичем (Картафилус посоветовал создать новую столицу на Балтике и упразднить патриаршество), а его спутника Котикокуру – князем Самсоном Романовичем. Котикокура – полуобезьяна-получеловек или «пропущенное звено» между ними – тоже оказался бессмертным и за века общения с Картафилусом настолько цивилизовался, что мог выступать как барон-рыцарь и аристократ-джентльмен. Поведав свою историю, Исаак Лакедем незаметно исчез.

Соавторы были уверены, что создают шедевр, но издатели один за другим снова отвергали рукопись. Вирек сначала нашел немецкого издателя (перевод сделал автор «Голема» Г. Майринк) и лишь потом американского. Появившаяся в конце августа 1928 г., книга к

декабрю 1930 г. разошлась в количестве полумиллиона экземпляров. В хоре похвал доминировали друзья соавторов, а также психологи и сексологи, но З. Фрейд отказался высказаться публично. Газетная критика была более строгой. Так, рецензент «New York Times» счел роман «неудачей»: «замысел оказался слишком велик для авторов», у которых получилась «утомительно умная книга, в которой несколько тем бесконечно повторяются на историческом фоне – иногда живом, иногда захватывающем, но чаще всего безжизненном» (29).

Успех побудил Ливрайта возобновить переговоры с Вирекком, и соавторы согласились продать ему продолжение. Картафилусу требовалась «подруга вечная» – умная, понимающая, влекущая и... недоступная. Ей стала Саломея, внучка царя Ирода, проклятая вечной молодостью – и вечным бесплодием. Появившись в первом романе, она сделалась главной героиней второго «Саломея, Вечная Жидовка: Мои первые 2000 лет любви» (1930; **Salome, the Wandering Jewess: My First 2,000 Years of Love).** Его сюжет параллелен «Моим первым 2000 лет». Главные герои периодически встречаются друг с другом, но Саломею судьба сводит в основном с женщинами: царицей Пальмиры Зенобией, «папессой Иоанной» (которую она возвела на престол), Жанной д'Арк, «королевой-девственницей» Елизаветой Английской (которая оказалась «ни мужчиной, ни женщиной») и Екатериной Великой (которую она убеждала ради блага страны лишить Потемкина власти). Она даже правила африканским племенем, установив в нем матриархат.

В романах отразилось увлечение теорией «третьего пола» О. Вейнингера и М. Хиршфельда и опытами О. Штейнаха по омоложению (Вирек был знаком с Хирхфельдом и Штейнахом и неоднократно писал об их работах). Вейнингер в книге «Пол и характер» (1903) высказал новаторскую идею, что «половое дифференцирование никогда не бывает вполне законченным» и что «существуют бесчисленные переходные степени между мужчиной и женщиной, так называемые промежуточные половые формы». На основании опытов Штейнах утверждал, что мужской организм также производит женские гормоны, а женский – мужские «В природе нет ничего определенного, всё лишь относительно, – говорил Хиршфельд, которого Вирек называл «Эйнштейном секса». – Мужчина не является полностью "мужчиной", а лишь более или менее. Женщина не является полностью "женщиной", а лишь более или менее». Картафилус – воплощение мужского начала – чувствует в себе женское; Саломея – воплощение женского начала – мужское. Логическим продолжением стало учение о третьем, «смешанном»

поле, в котором – по крайней мере, психологически – не доминирует ни одно начало.

«Саломея» имела успех у читателя, но отклики оказались более критическими. Рецензент «New York Times», заметив лишь «2000 лет постельных сцен», назвал концепцию авторов «абсурдной» и «претенциозной», чем вызвал их гневный ответ: «В книге нет ни одного эпизода, каким бы невероятным он ни казался, который не был бы оправдан научно или исторически. <...> Мы надеемся, что наши книги, каковы бы ни были их литературные достоинства, поможет достижению перемирия в войне между полами» (30).

Трилогию завершил роман «Непобедимый Адам» (1932; The Invincible Adam). Котикокура – «вечный юноша двадцати лет, всегда страстный, всегда мятежный, всегда колеблющийся между поклонением герою и женщине, хвастун и ребенок», как определили его авторы, – поведал свои приключения в периоды разлуки с Картафилусом. Он скитался в джунглях, встречался с Микеланджело (который лепил с него Давида), Руссо (которого вернул к природе) и маркизом де Садом, штурмовал Бастилию и был советским рабочим. Интереса у критики книга не вызвала. С коммерческой точки зрения «трилогия о бессмертных» оказалась самым долговечным детищем Вирека, но в литературном отношении уступает романам, написанным им единолично.

Несмотря на разноречивые отзывы критики, трилогия реабилитировала Вирека-писателя. «Возвращение Джорджа Вирека на литературную сцену есть одно из счастливых свидетельств того, что война закончилась, – писал в 1930 г. О'Шил. – Выросло молодое поколение, не знающее о своем долге перед Виреком. Верно, что американская поэзия в отношении формы и техники развивалась не по тому пути, который он предлагал, но так же верно, что за свое освобождение от озабоченности этикой и за предоставление прав эстетической свободе она должна благодарить Вирека больше, чем кого-либо, за возможным исключением Эзры Паунда» (31). Годом позже он выпустил собрание стихотворений с содержательными автокомментариями «Плоть и кровь моя. Лирическая автобиография с нескромными примечаниями» (1931; My Flesh and Blood). Признав недостатки ранних стихов, автор отбросил многие из них, но по-уайльдовски отказался исправлять оставленные. В книгу вошли вошли 98 произведений («Ниневия»: 35 из 56; «Свеча и пламя»: 31 из 34; «Песни Армагеддона»: 19 из 25; по 4 из «Рузвельта» и «Трех сфинксов»; 5 появились в книжном издании впервые), а также предисловия к ранним сборникам, библиография и подборка высказываний критиков. Вирек не

сохранил прежнюю циклизацию и заново перераспределил тексты по разделам: «Розы Приапа» – «Эрос распятый» – «Фаллическая литания» – «Плод странных ночей» – «Странники через все времена» – «Дом песни» – «Ave Triumphatrix» – «Мятежная жатва» – «Трубы на рыночной площади» – «Дочери Лилит и дочери Евы» – «Песни против бога». Эти «зажженные бездны» и «необузданные скверны» выглядели старомодно, поэтому литераторы восприняли «Плоть и кровь мою» как свидетельство ушедшей эпохи, а психологи и сексологи оценили ее выше, чем поэты. Г. Бенджамин писал автору: «Сочетание выдающихся дарований поэта и писателя со знанием биологии, эндокринологии и психоанализа делают твою книгу для меня, несомненно, самой увлекательной автобиографией из всех когда-либо написанных. <...> Книга вызовет разные эмоции. Главная – зависть к богатству твоей эмоциональной жизни».

Литературной реабилитации Вирека предшествовала журналистская: начиная с 1922 г. он регулярно выступал в печати, в основном в газетах концерна Хёрста и журналах Дж. Лоримера и Б. Макфаддена, как комментатор и «интервьюер высшего класса», принятый почти всеми выдающимися людьми своего времени. Основное внимание он уделял политическим сюжетам, в особенности связанным с Германией, и популяризации новейших достижений науки (психоанализ, теория относительности, омоложение, телевидение). Обращаясь к событиям недавнего прошлого, Вирек выпустил хорошо принятые критикой книги «Сеющий семена ненависти» (1930) о пропагандистских битвах Первой мировой войны, «Самая странная дружба в истории. Вудро Вильсон и полковник Хауз» (1932) и «Кайзер под судом» (1937), которые принадлежат к числу лучших в его наследии.

Размышления о мире, войне и диктатуре легли в основу четвертого и последнего романа Вирека и Элдриджа «Князь Мир» (1933; Prince Pax). В центре книги, написанной в модном «военно-футурологическом» жанре и навеянной провалом международных усилий по разоружению, – князь Фридрих Рупрехт Вальдемар Евгений Альфонсо Эрик XLII, правящий в государстве Дитрихсхайм на границе Австрии и Швейцарии. Оно настолько мало, что «старейший правящий дом Европы оказался проигнорирован на всех конференциях и собраниях монархов, во всех мирных договорах», но невероятно богато. Одержимый мечтой о всеобщем мире, князь расходовал огромные суммы на пропаганду разоружения, но, проникая с помощью тайных приборов в самые секретные кабинеты Европы, узнал, что все политики лгут, готовясь за разговорами о

мире к новой войне. Тогда владыка «игрушечного рая» решил принудить их к миру, благо еще большие средства тратил на создание новейших видов оружия. Ему помогал богатейший человек планеты – американец Джосайя Родни, на дочери которого авторы женили героя. Узнав, что в прошлом между воюющими странами существовала негласная договоренность не нападать на генеральные штабы, монарх принялся уничтожать генштабистов – источник зла – с помощью неотразимых орудий смерти, но вызвал лишь взрыв взаимных подозрений и ненависти. С помощью чудес техники «Князь Мир», не открывая лица и имени, предъявил ультиматум Лиге Наций: «Господа, я буду следовать за вами неотступнее, чем ваша тень. Меч правосудия неминуемо опустится на ваши головы. Моя воля такова: в течение недели вы объявите всему миру, что войны упразднены – навсегда!». Сановники отвергли ультиматум, европейские страны начали тотальную мобилизацию. Позабыв распри, они сплотились против... Америки – кто еще мог располагать такой силой?! – и предъявили ей ультиматум. Действовавший из лучших побуждений князь поставил планету на грань войны. Осознав это, он обратился к людям с прощальным словом: «Назовут ли меня безумцем или гением, извергом или мучеником, но я показал вам путь в Землю Обетованную. Обратите ненависть против главного людоеда – войны»; затем уничтожил свои лаборатории и чудо-оружие и умер сам, восстановив статус-кво.

«Князь Мир» оказался самым неудачным произведением Вирека, хотя в начале XXI в. привлек внимание историков научной фантастики. Набросав первый вариант, он отдал его Элдриджу для доработки, но остался недоволен результатом, поэтому роман вышел только в Великобритании. В нем особенно заметна разность дарований и интересов соавторов: умело закрученный сюжет и острые политические характеристики первого резко контрастируют с «чертовски пересахаренными», по определению Вирека, диалогами и описаниями второго.

После прихода нацистов к власти Вирек приветствовал «национальное возрождение» и в 1933-1934 гг. сотрудничал с германскими представителями в США в сфере пиара, что привлекло к нему внимание прессы и властей. Огласка связей с Рейхом навлекла на него острую критику и вынудила прекратить сотрудничество. Вирек осуждал юдофобскую политику нацистского режима, но многие знакомые, включая Фрейда, Эйнштейна и Элдриджа, разорвали с ним отношения. Продолжая писать на политические темы, он избегал высказываний, которые могли быть интпретированы как пронацистские.

Неприятие всех форм тоталитаризма Вирек декларировал в притче «Искушение Джонатана» (1938; The Temptation of Jonathan). В этом нехитром произведении некто показывает голодному и разочарованному безработному по имени Джонатан неведомые страны через подзорную трубу. В одной «тысячи юношей в форме, объединенные духом товарищества, гордо маршируют и приветствуют вождя с грустными глазами, тяжелыми веками и маленькими усиками», все радостно работают, а затем радостно отдыхают на борту роскошных лайнеров. В другой стране «промышленность работает по расписанию, а поезда никогда не опаздывают», колонны молодежи проходят перед трибуной, на которой стоит «сильный молчаливый человек с усами», и «поклоняются раскрашенной мумии в стеклянном гробу». Вырвав подзорную трубу из рук незнакомца, Джонатан принимается смотреть сам, но видит совсем иные картины: дети-евреи, подвергающиеся издевательствам сверстников-арийцев, костры из книг, «мыслители и мечтатели, томящиеся на пустынном острове», расстрелы людей, среди которых «ближайшие товарищи и сподвижники раскрашенного человека в стеклянном гробу». Незнакомец предлагает ему «всё» при условии надеть одну из форменных рубашек – черную, коричневую, с серпом и молотом или серебряную (намек на американский праворадикальный «Серебряный легион»). Отказавшись от «чужой ливреи», Джонатан требует, чтобы собеседник назвал свое имя. «У меня много имен, – отвечает тот. – Асмодей, Мефистофель, Сатана, Князь Тьмы, Люцифер, Велиар, Вельзевул. Раньше бабушка для краткости называла меня «Вул», а теперь зовет «Тото» – сокращенно от «тоталитаризм»». Джонатан призывает Богиню Свободы, от одного имени которой «Тото» исчезает. Факел в руках богини освещает неприглядные картины жизни в Америке, но она дает юноше надежду не только исправить положение, но и получить всё хорошее, что есть у других, «не воруя, не обманывая и не продавая душу Дьяволу». Надпись на суперобложке рекламировала притчу как «евангелие подлинного американизма».

Несмотря на такие выступления, Вирек не избавился от «нацистского» клейма и в первой половине 1939 г. остался без доступа в прессу и литературных заработков. Поэтому он согласился стать корреспондентом газеты «Muenchner Neueste Nachrichten» и консультантом Германской информационной библиотеки в Нью-Йорке по выпуску бюллетеня «Facts in Review». Наряду с этим Вирек консультировал посольство Рейха по вопросам пиара и пропаганды, негласно руководил издательством «Flanders Hall», тайно финансировавшимся из Германии для выпуска антибританской

литературы, и выступал в качестве советника и спичрайтера нескольких сенаторов и конгрессменов антиинтервенционистской направленности. В октябре 1941 г. он был привлечен к ответственности за нарушение Закона об иностранных агентах, весной 1942 г. осужден и приговорен к тюремному заключению. Год спустя Верховный суд отменил приговор, но дело было возбуждено повторно и закончилось новым тюремным сроком, который Вирек отбыл полностью. Он вышел на свободу в мае 1947 г., полностью потеряв не только имущество, но и положение в обществе.

Рассчитывая восстановить репутацию хотя бы в литературе, Вирек возлагал надежды на написанный в тюрьме роман «Ничто человеческое» (1949; All Things Human), заглавие которого отсылало к фразе римского комедиографа Теренция: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Действие книги, написанной в расчете на самого широкого читателя, начинается перед войной. Банкир-миллионер Стюарт Кент, счастливый муж и отец двоих детей, переживает кризис среднего возраста. По совету друга – эндокринолога и сексолога доктора Бреннана, ученика Фрейда и Штейнаха, – он пытается разнообразить интимную жизнь и заводит роман с секретаршей Эддой. Однажды ночью Кент оставляет ее спящей и уходит, не заметив, что дверь ее квартиры не захлопнулась за ним. Утром семеро полицейских арестовывают банкира – Эдда найдена задушенной. Полиция, прокуратура, суд, пресса – всё в городе Midmetropolis находится в руках местного босса, врага Кента, поэтому его не выпускают под залог. Начинается война, сын уходит добровольцем в армию, дочь порывает с отцом. С согласия жены партнеры отстраняют его от управления банком и оставляют без денег. На суде он признан виновным и получает «от 15 лет до пожизненного». Жена сообщает ему о гибели их сына на войне и разводится с ним. Влюбленная в Стюарта миллионерша Айви добивается его освобождения и поселяет у себя; уверенная, что он убил Эдду, она просит Кента душить ее, чтобы испытать оргазм, но герой в ужасе бежит из ее дома. Случайно встретив одного из товарищей по заключению, экс-банкир погружается в мир мелких преступников и оказывается в тюрьме. Там он узнает, кто убил Эдду: ему признается бывший матрос Джек, оставшийся непойманным, но осужденный по другому делу – как выясняется, ложно. Джек испытывает к Кенту «любовь, которая не смеет назвать свое имя», но без взаимности. Обоих освобождают, и Джек исчезает. Кент отсуживает часть денег у бывшей жены, открывает фирму на Уолл-стрит, возобновляет дружбу с Бреннаном и заводит роман с примадонной Сильвией. Пресытившись всем, он пы-

тается покончить с собой, но подоспевшие вовремя доктор, Сильвия и Джек спасают его.

Книга открывается предуведомлением, что «действующие лица являются вымышленными, любое сходство с живыми или покойными людьми – полностью случайным». Оговорка могла помешать возможному иску, но едва ли кого-то обманула. Автор сам надписал ее Г. Бенджамину как «"Доктору Бреннану" от "Стюарта Кента"». В судьбе главного героя много совпадений с Вирек ом – от числа арестовывавших его полицейских до гибели сына на войне. Не берусь судить о сходстве персонажей и возможных прототипов, хотя «адвокат полковник Макгиннес» намекает на адвоката полковника Макгвайра, защищавшего Вирека, а мельком упомянутый «великий романист Теодор Лайзер» не требует пояснений.

Роман появился под псевдонимом «Стюарт Бентон»: американский издатель не рискнул выставить «опасную» фамилию. В Англии Вирек не считался одиозным, поэтому британское издание 1950 г. вышло под именем автора и с указанием, что «тюремные сцены основаны на личном опыте». Друзья автора приняли участие в рекламе. Бенджамин: «Впервые читаю роман, столь успешно сочетающий психологию и поэзию с захватывающим детективным сюжетом». Историк, социолог и пенолог Г.Э. Барнес: «Один из самых захватывающих романов десятилетия. Вдобавок в нем столько ценного материала по уголовному правосудию, пенологии, финансам и сексологии, что он может служить учебником по каждой из этих наук. Его мог написать только человек, обладающий огромным личным опытом, острым философским умом и подлинным мастерством художника». Книга прошла незамеченной и оказалась забытой, пока о ней не вспомнили каталогизаторы «гей-литературы» (32) В описании тюремных нравов автор не мог обойти проблему «мужчин без женщин». Латентному бисексуалу Кенту не чуждо «ничто человеческое», но называть гомосексуализм «главной темой» романа неверно. Это скорее «Записки из мертвого дома», нежели «Крылья».

Похожая судьба у мемуаров Вирека «Превращая людей в скотов» (1952; Men Into Beasts), хотя сексуальная и, тем более, гомосексуальная тема занимает здесь скромное место. «Поэты часто оказываются невольными сексологами, поскольку пол – источник поэзии, – писал Бенджамин, рекомендуя книгу. – Некоторые поэты – серьезные исследователи пола. Буревестник американской литературы Джордж Вирек из их числа. Сбитый с пути сложными эмоциями и бунтарским темпераментом, он часто и неудачно вле-

зал в политику, за что друзья осуждали его, а недруги отправили за решетку. Несмотря на политические заблуждения, он глубоко чувствует и понимает сексуальные проблемы». Барнес счел оправдания излишними: «Вирек, возможно, самый известный интеллектуал англоязычного мира, посаженный в тюрьму со времен Оскара Уайльда, но его заключение было более длительным и суровым. Книга дает уникальную возможность проникнуть в реалии тюремной жизни и показывает влияние такого противоестественного существования на чувствительную натуру и поэтическую личность. <...> Ее самая удивительная и приятная черта – отсутствие злобы и мстительности. Вирек спокойно излагает факты и наблюдения и удерживатся от искушения представить себя мучеником». Несмотря на коммерческий успех – общий тираж составил полмиллиона экземпляров – откликов на мемуары почти не было.

В тюрьме Вирек после десятилетнего перерыва вернулся к стихам. По мнению биографа, там «он пережил второе рождение поэтического мастерства», поскольку «писал для себя, желая доказать, что еще может глубоко чувствовать и создавать образы, достойные настоящего поэта» (33).

Когда б ты умерла, любовь, то ты
Разбила бы надежды и мечты
И песни из души б моей взяла,
Когда б ты умерла.
Когда б ты умерла, то проклят мой
Был каждый бы глоток живой,
Распятый, был бы я сожжён дотла,
Когда б ты умерла.
Когда б ты умерла, мои враги
Души доспехи сдали б на торги,
Пробив мне грудь и выбив из седла,
Когда б ты умерла.

Стилистически новыми оказались стихи из тюремной жизни, сюжетно связанные с прозой, вроде «Бастилии округа Колумбия»:

Несчастные собрались тут.
В тюремном доме том живут
Жильцы решетчатых квартир:
Убийца, вор и дезертир –
В Бастилии, где дядя Сэм
Охрану обепспечил всем.

Кто вшей, кто спирохет принёс,
Кто тиф, а кто туберкулёз,
Чесотку, триппер и понос,
Кто за налёт, кто за угон –
Тут демократии закон.
Тюрьма – не рай, для подлеца,
Святого, старца иль юнца,
Хоть пацифист, хоть патриот –
Все горем спаянный народ.

Вирек составил несколько вариантов нового поэтического сборника, который так и не увидел свет. Никто не хотел печатать стихи не просто одиозного, но старомодного, выпавшего из времени и забытого автора. Исключение составил издатель С. Рот, некогда писавший стихи; он считал себя борцом против ханжества и за свободу слова, противники называли его «порнографом» и «пиратом». Рот поместил три подборки Вирека, в основном из тюремных стихов, в своем ежеквартальнике «American Aphrodite»: «Портрет королевы фей» (14 стих. в кн. 11; 1953), «Смех в аду» (12 стих. в кн. 13; 1954), «Отчет из ада» (10 стих. в кн. 15; 1954). В том же издании появились несколько статей Вирека о литературе, в другом журнале Рота «Good Times» 3 очерка и 15 рецензий (некоторые под псевдонимами).

Стремясь выйти за пределы специфической аудитории, Вирек выпустил за свой счет отдельной брошюрой стихотворение «Банкрот» (1955; The Bankrupt) – о том, как Иисус Христос приходит в суд и просит признать его банкротом после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Перо взял Странник, подойдя,
Скрывая рану от гвоздя.
Никто не видел на земле
Венец терновый на челе.
Струились слёзы, пот и кровь,
К глухим он обратился вновь:
«В Дахау я толпой солдат
Был снова на кресте распят.
Кремлёвский жуткий прокурор
Мне вынес смертный приговор,
Святые в прошлом купола
Несли знамёна Принца Зла.
Волхвов предательство. Терпенья
Конец. Не будет воскресенья!

Пусть нации горят в аду,
Сюда я больше не приду.
Пусть Будда факел мой несет
Моей звезды погашен свет.
Они сорвали страшный плод
Со Древа Знания, и вот
Моя судьба упразднена.
Ликуй, ты выиграл, Сатана».
Он вывел тетраграмматон,
Судья увидел: из окон
Свет падал на пол; те места
Сияли символом креста.
Светился закопчёный пол,
Луч словно бы волной прошёл,
Слабел и наконец померк.
«Кто следующий?» – крикнул клерк.

Автор предварительно разослал текст многим известным людям с просьбой высказаться и процитировал их отклики. Томас Манн: «Ваше стихотворение сильно, просто, красиво и трогательно. Пусть его прочитают миллионы». Генри Уоллес, бывший вице-президент: «Хорошие стихи. Христианству с водородной бомбой, действительно, придется держать ответ». Эптон Синклер: «Не думаю, что наших ученых следует обвинять в изобретении атомной бомбы. Они отлично знали, что мы бежим наперегонки с русскими». Франц фон Папен, знакомый со времен Первой мировой войны: «Великолепное стихотворение. В нем звучат страдания человечества. Смятение сегодняшнего дня ужасно. Я не разделяю ваше мнение, что Спаситель не придет во второй раз. Мы знаем, что Он придет, когда человечество исчезнет, и спасет всех, кто верил в Его законы и второе пришествие. Сатана может уничтожить весь мир, но наши души – никогда». Последним поэтическим сборником Вирека стала брошюра «Вставайте, мои песни» (1958; Rise Up My Songs), изданная как дополнительный выпуск «Wisconsin Poetry Magazine» и включавшая 23 текста более чем за полвека. Последний роман Вирека вышел под двумя разными заглавиями, хотя его текст, за исключением предисловия, не менялся: в британском издании он назывался «Глория» (1952; **Gloria**), в американском «Обнаженная в зеркале» (1953; The Nude in the Mirror) (34). Молодой, симпатичный, наивный, несмотря на работу в женском колледже, американский доцент-филолог Адам Гринлиф надеется «найти на далеких берегах великую любовь, которую до сих пор

не удалось встретить дома» и отправляется в круиз по Средиземному морю. На корабле он знакомится с красавицей Стеллой де ла Мар, оказавшейся… Богиней Любви. В ходе путешествия Стелла вспоминает великих любовников прошлого, с которыми когда-то встречалась в этих местах: от Геракла («заурядный самец, хоть и обладающий силой пятидесяти обычных мужчин) до Наполеона («он настаивал, чтобы придворный этикет соблюдался даже в постели»), рассказывает Адаму, как они ее разочаровали, позволяет завоевать себя и… исчезает, чтобы появиться в финале в виде огромной черепахи, как индийская богиня Лакшми. Подобно живописцам прошлого, рисовавшим себя где-нибудь сбоку на больших групповых портретах, в главе о Помпеях автор упомянул, что «здесь старый поэт Квадратус декламировал свои оды, которые никто не слушал»: привет Э. Синклеру, который в годы войны сатирически вывел его под именем «Форрест Квадратт» в серии романов о Лэнни Бадде.

В предисловии к «Глории» Вирек рассказал историю книги: «Замысел возник у меня перед Второй мировой войной. Я думал назвать ее «Тысяча и одна ночь Венеры» или «Великие любовники – великие лжецы» и набросал несколько глав вместе с моим другом, покойным Эссад-Беем (Лев Нусенбаум – В.М.). Мы условились, что он изложит историю по-немецки, а я, в своей манере, по-английски. Смерть вырвала перо из руки Эссада. Он умер при трагических обстоятельствах в Италии в годы войны (в 1942 г. от заражения крови – В.М.), потому что не подходил под определение чистокровного арийца при гитлеровском режиме. Я благодарен ему за многие красочные подробности о Востоке и Средиземноморье. Книга получилась иной, чем в первом варианте, слишком утяжеленном психологией моего друга и учителя, Колумба Бессознательного Зигмунда Фрейда. В нынешнем виде она проще и, думаю, занятнее». В инскрипте сыну Питеру, ставшему после войны известным поэтом и философом, автор назвал роман «попыткой скрестить «Мои первые 2000 лет» и «1001 ночь»», а в другой надписи оценил его следующим образом: «Восхищаюсь Вашим вкусом. Вам нравится эта книга. Мне тоже. Но больше никому не нравится».

Джордж Сильвестр Вирек скончался 18 марта 1962 г. от кровоизлияния в мозг в возрасте 77 лет. «New York Times» удостоила его большого редакционного некролога как «прогерманского пропагандиста», упомянув из его книг только «Ниневию» (35). После нескольких десятилетий забвения и замалчивания, в новом веке его сочинения переиздаются и переводятся на иностранные языки, включая русский.

В статье использованы фрагменты моей книги «Джордж Сильвестр Вирек: больше чем одна жизнь (1884-1962)», выходящей в Москве в 2015 г.

(1) Arthur Symons. Selected Letters, 1880-1935. (Ed.) Karl Beckson and John M. Munro. Iowa, 1989. P. 181.

(2) The North American Review. Vol. 184. № 609 (1907, 15.02). P. 421-423.

(3) William Aspenwall Bradley. Prolonging Strains of a Dying Song // New York Times (далее: NYT). 1907, 22.06.

(4) Elmer Gertz. The Odyssey of a Barbarian: The Biography of George Sylvester Viereck. Amherst, 1978. P. 67. Написано в 1935 г.

(5) Elmer Gertz. A Bizarre Fellowship // The Chicago Jewish Forum. Vol. III (Winter 1944-45). P. 101.

(6) Symons A. Selected Letters. P. 187.

(7) NYT. 1907, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07. 10.08.

(8) The North American Review. Vol. 185. № 618 (1907, 05.07). P. 556-559; Clayton Hamilton. George Sylvester Viereck's Verse and Prose // The Bookman. 1907, June. P. 426-427.

(9) The Last Romantic: A Poet among Publishers. Oral Autobiography of John Hall Wheelock. Columbia, 2002. P.199-200.

(10) В переводе А.Л. Гарибова: Вирек Дж.С. Дом вампира и другие сочинения. Тверь, 2013.

(11) О романе и откликах на него, в том числе в связи с темой плагиата: Paul K. Saint-Amour. The Copywrights: Intellectual Property and the Literary Imagination. Ithaca, 2003. P. 131-150.

(12) Symons A. Selected Letters. P. 190.

(13) NYT. 1909, 30.01.

(14) Richard Dyer. Children of the Night: Vampirism as Homosexuality, Homosexuality as Vampirism // Sweet Dreams: Sexuality, Gender and Popular Fiction. Ed. Susannah Radstone. London, 1988. P. 47-72; Nina Auerbach. Our Vampires, Ourselves. Chicago, 1995 (о Вирeке: P. 102-106, 109-110); Gifford J. Dayneford's Library. P. 87-97

(15) Подробнее: Lisa Ann Szefel. The Creation of an American Poetic Community, 1890-1920. Ph.D. Thesis. University of Rochester, 2004.

(16) Цит. по: Max Putzel. The Man in the Mirror: William Marion Reedy and His Magazine. Columbia, 1998. P. 173

(17) NYT. 1912, 05.05.

(18) Цит. по: Szefel L.A. The Creation of an American Poetic Community. P. 97

(19) Ludwig Lewisohn,. Expression in America. N.Y., 1932. P. 313, 365-366.

(20) О политической и пропагандистской дяетельности Вирека подробнее: Niel M. Johnson. George Sylvester Viereck: German-American Propagandist. Urbana, 1972.

(21) Fatherland. Vol. IV. № 22 (1916, 05.07). P. 343.

(22) http://www.billheidrick.com/tlc2003/tlc0603.htm#cc

(23) William Stanley Braithwaite. War Poems and Otherwise // The Poetry Journal. 1916, May.

(24) Poetry. Vol. IX, № 2 (November 1916). P. 101.

(25) Letters of Eugene V. Debs. Vol. III. 1919-1926. Urbana-Chicago, 1990. P. 441.

(26) Margery Swett. Here Again Is Mr. Viereck // Poetry. Vol. 25, № 4 (January 1925). P. 221-224.

(27) Ultima Thule // Poetry. Vol. 25, № 6 (March 1925). P. 342-343.

(28) Gertz E. The Odyssey of a Barbarian. P. 217.

(29) NYT. 1928, 28.10

(30) NYT. 1930, 30.11.

(31) Shaemas O'Sheel. The Return of George Sylvester Viereck // World. 1930, 13.04.

(32) Roger Austen. Playing the Game: The Homosexual Novel in America. Indianapolis, 1977. P. 135; Gifford J. Dayneford's Library. P. 88-89; Anthony Slide. Lost Gay Novels. A Reference Guide to Fifty Works from the First Half of the Twentieth Century. N.Y., 2011 (я использовал электронную версию без пагинации).

(33) Gertz E. The Odyssey of a Barbarian. P. 280.

(34) В переводе А.Л.Гарибова: Вирек Дж.С. Обнаженная в зеркале. М., 2015.

(35) NYT. 1962, 20.03.

Философические письма



Сергей Слепухин

КАНДИНСКИЙ. ШАМАНСКИЙ БУБЕН

Не вызывает удивления, что нрав и поступки Быстрой Молнии, вожака волчьей стаи, не были похожи на поведение обыкновенного полярного волка. Автор одноименного романа, канадец Джеймс Оливер Кервуд, постоянно твердит читателю, что его герой, проявляющий удивительную «человечность» на просторах безжалостной пустыни белого безмолвия, на самом деле – потомок домашней собаки, дог в двадцатом поколении!

Кровные узы, предки... «Что в костях заложено, того из мяса не выбить», – гласит старинная английская пословица. Резонно. Довод обычно действует безотказно, и мы охотно объясняем бурную сексуальную жизнь Генриха Манна креольской кровью матери, темперамент Пушкина – жаркой Эфиопией (вернее, Северным Камеруном близ озера Чад, как поправляет нас Дьедонне Гнамманку), а стилизованный под средневековую трэвел-хронику роман «Странствие Бальдасара» француза Амина Маалуфа – генеалогией автора, потомка крестоносцев и ливанских арабов-кочевников.

Неудивительно, что истоки творчества русского художника Василия Васильевича Кандинского (1866–1944) большинство исследователей находят в иконе и лубке. Однако художник писал о себе так: «Моё воспитание было наполовину немецким; мой первый язык, мои первые книги были немецкими». И предстояло ему большую часть прожить за пределами России, а лучшие картины создать в Германии. Все же принято считать, что Кандинский – русский художник. Но позвольте, какой же русский?! Он такой же русак, как Быстрая Молния – полярный волк, ведь предки всемирного гения абстракционизма были... манси!

Манси – малочисленный сибирский народ. Сегодня эти люди живут, в основном, в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области и ряде районов Свердловской области по Нижней Оби и рекам Северная Сосьва, Ляпин, Конда, Лозьва. В былые времена территория их расселения была гораздо шире и находилась в значительной мере западнее и южнее современной.

С XII в. новгородцы начали вести постоянный обмен своих товаров на меха соболя и куницы с зауральскими племенами. В

XI–XVI вв. к населению Северного Зауралья и Нижнего Приобья, территорий, где позднее жили ненцы, ханты и манси, применялось название *югра*. В XVII в. термин *югра* исчезает, и вместо него начинают употреблять термины *вогулы* и *вогуличи*. Эти названия просуществовали до 1930-х годов. Слово «*вогулы*», как и хантыйское название манси *вогаль*, происходит, видимо, от названий рек, протекавших на землях Пелымского княжества: *воль-я* на языке манси, или *вогаль-ёган* на языке хантов. Буквальное значение – «река с плёсами». Вогулами русские издревле называли манси, живших на западных склонах Урала, позднее – с XVI–XVIII вв. – население Конды, Туры, Тавды, Пелыма, Сосьвы, Чусовой, Тагила, Уфы. Манси часто называли себя по рекам: *Сакв махум* (*Сакв* – река Ляпин, *махум* – народ, люди), *Полум махум* (*Полум* – река Пелым) и т.п.

После того как было завоевано Казанское ханство, русские промышленники Строгановы, получив от царя грамоты, начали активно осваивать территории по рекам Чусовая и Сылва. Военные походы Ивана III заставляют мансийских и хантыйских *князцов* признать вассальную зависимость.

Общество уральских аборигенов – хантов и манси – находилось на стадии так называемой «военной демократии». Во главе стояли старейшины («седоголовые старцы»), а также «богатыри» – военачальники, возглавлявшие племенные объединения, особенно во время вооруженных конфликтов. Столкнувшись с военными предводителями манси, русская администрация перенесла на них свою феодальную терминологию (богатыри, военачальники – «князцы», племенные и территориальные группировки и объединение – «княжества»).

Крепости, сооруженные на землях Строгановых, в те времена становятся форпостами для дальнейших походов на Восток и защищают строгановские угодья от набегов.

В 1574 году предприниматели получили новую жалованную грамоту на земли по восточным склонам Урала, реке Тобол и его притокам. Манси и ханты начинают совершать набеги на крепости оккупантов, грабят и сжигают русские селения. Строгановы отвечают тем же. В конце 1570-х годов колонизаторы нанимают казацкого атамана Ермака для похода на Восток.

В 1582 году Ермак разбил войско хана Кучума, покорил столицу вогульского ханства Искер и расширил владения московского княжества до рек Сосьва, Пелым и Конда. Составной частью завоеванной земли стала страна Кондинская. Среди ее коренного населения был распространен шаманизм. Знать незадолго до русских походов приняла ислам, а при Ермаке – христианство.

Приток Тавды, река Пелым, семьсот километров течет в стране болот и царстве комаров. Она начинается на восточном склоне Северного Урала. В нижней ее части находится одно из крупнейших озер края – Пелымский Туман, гигантское нерестилище многих видов рыб.

Конда – одна из самых длинных рек тех мест. Она несудоходна, ее длина в полтора раза больше, чем у Пелыма. В нижнем течении ширина меженного русла реки достигает четырехсот метров. Конда изобилует островами, в межень здесь образуется лабиринт узких, мелких, извилистых протоков, разделенных низкими песчаными отмелями. Перед впадением в Иртыш река образует Кондинский Сор – длинное (до пятидесяти километров) проточное озеро. Финский лингвист и исследователь Сибири Андерс Юхан Сьёгрен (Anders Johan Sjogren, 1794–1855) считал, что название реки происходит от одного из диалектных финно-угорских слов, означающих «ель» – «honka» или «honga».

Писатель Владимир Бараев, долгие годы изучавший родословную абстракциониста, установил, что предки Василия Ка(о)ндинского были *Полум махум* и княжили в Пелыме с незапамятных времен. В 1620-х годах князьям принадлежал огромный земельный надел – на сто копен. Кондинские сеяли рожь, капусту, свеклу, занимались рыболовством, охотой, продажей пушнины. В 1625 году воеводой Пелыма был назначен Петр Вельяминов, который учинил «налогу великую и насильства». Он отобрал у пелымских манси общее пастбище и приказал на этой земле построить крепость (острог). Реформы новоиспеченного мэра вызвали массовое недовольство, в числе мятежников были и князья Кондинские. В донесении, отправленном воеводой царю Михаилу Романову, говорилось, что князцы Василий и Федор Кондинские «возмущали торговых людей, чтобы города не ставить... Они же покушались зарезать воеводу...» Кондинские попытались пожаловаться царю, и в челобитной упирали на то, что их род присягнул на верность и принял православие еще в 1580 году. В ответ *князьям Большой и Малой Конды* из Москвы отписали, что располагают секретной информацией о тайных встречах князей Кондинских и их родственников, князей Пелымских, с родней в Большой Конде, исповедующей магометанство. Это было большим преступлением против власти. История закончилась победой воеводы. За строительство острога с башнями, стенами, на которых «тысяча колов обострены на оба конца» Вельяминов получил похвальную грамоту, и после этого Кондинским «жить на Пелыме стало не мочно».

След князей обнаруживается через сто лет в Якутске. Здесь они уже назывались Кандинскими. Петр Алексеевич Кандинский был «церковным вором». Его осудили за ограбление двух церквей и двух монастырей. После освобождения князь женился на дочери знаменитого русского землепроходца, сибирского казака Владимира Атласова (1661–1711). Еще с уральских времен стало семейной традицией брать в жены женщин по имени Дарья. Хрисанф, сын Петра Алексеевича, тоже женился на Дарье. Дарья Петровна была из рода тунгусского князя Гантимура (16??–1686), бежавшего в 1625 году от китайского правосудия из Маньчжурии в Россию. Император Канси требовал у русского царя выдачи преступника (обвинения в грабежах и убийствах), но царь беглеца не выдал. Видимо, преступления Гантимура были столь велики, что китайцы, получив царский отказ, штурмовали Албазин и Нерчинск.

Хрисанф Петрович, прадед будущего художника, в молодости шел по стопам отца – грабил на таежных дорогах, отбывал наказание на каторге. После освобождения он остепенился, занялся торговлей, разбогател. Вместе с братом, искупая грехи молодости, поставил в Бянкине на Шилке две каменные церкви по 75 тысяч рублей каждая. В 1834 году Хрисанф стал купцом первой гильдии и был награжден золотой медалью «За усердие» на Аннинской ленте. В этом же году Кандинскими была построена в Чите тюрьма (острог) для декабристов из лиственничных бревен, украшенных фирменным клеймом «К». Сохранились воспоминания декабристов Волконского, Оболенского, Муравьева, Якубовича о радушных приемах в Бянкине в доме князя Хрисанфа.

Сын Хрисанфа, Николай, женился на Марфе Сабашниковой, тетке знаменитых братьев-издателей, и первым из семейства Кандинских переехал в Москву, позвав с собою племянника Василия, отца будущего художника…

Приехавший в Москву в 1911 году Анри Матисс был потрясен впечатлением от русских икон. Это станет исходной точкой модернистских поисков в России, был уверен гость. «Никакую живопись я не ценю так высоко, как наши иконы. Лучшее, чему я научился, научился я от наших икон», – скажет в воспоминаниях Кандинский. Это признание позволило патриарху отечественного искусствоведения Дмитрию Сарабьянову (1923–2013) прочно связать индивидуальный почерк художника с ориентацией на православную иконографическую традицию. Однако другой исследователь, Вилл Громан (Will Grohmann, 1887–1968), обращает наше внимание, что в Мурнау, где, как считается, произошел расцвет творчества Кандинского, наш мастер был увлечен переосмыслением ба-

варского народного искусства – Hinterglasmalerei, иконы на стекле. Кто-то из ученых выводил абстракционизм Кандинского из немецкого югендстиля, а кто-то – отождествлял с византийскими мозаиками в Торчелло.

Масштаб личности, широта и глубина духовных интересов Кандинского дают безграничные варианты толкований его творчества, позволяют отнести великого живописца к той или иной национальной школе, обнаружить влияния и традиции, указать на аллюзии и параллели. Тем не менее, параллели эти во многих случаях весьма условны и необязательны. Сам же Василий Васильевич в статье «О великой утопии» (1920) уверенно называл себя космополитом. Современная стилевая ориентация не мешала художнику осваивать мотивы, например, средневекового искусства, или какого-либо другого, органично вводить усвоенные приемы в новую художественную систему. Однако вопрос культурной памяти все-таки очень важен для понимания наследия художника.

Во вступительной статье к каталогу живописной выставки «Кандинский в Мюнхене: 1896–1914» из собрания музея Соломона Р. Гуггенхайма профессор Сиракузского университета в США Пэг Вайс (Peg Weiss, 1933–1996) впервые обратила внимание на связь живописи Кандинского с народным творчеством финно-угорских народов. Через полтора десятилетия, в 1995 году, в издательстве Йельского университета вышла ее монография «Kandinsky and Old Russia: The Artist as Ethnographer and Shaman» – «Кандинский и старая Россия: Художник, этнограф, шаман». Это исследование заставляет по-новому взглянуть на наследие нашего соотечественника.

Став студентом Московского университета, Вася Кандинский увлекся психологией, философией, этнографией, теорией искусства, музыкой и поэзией. В мае 1889 года четверокурсник юридического факультета по поручению Этнографического отдела ОЛЕАЭ («Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии») самостоятельно отправился в научную экспедицию в приполярную тайгу, в Вологодскую губернию. Незадолго до этого Кандинский выступил перед членами Этнографического общества с докладом «Верования пермяков и зырян». Рассказами о шаманах Русского Севера и Сибири его увлек близкий друг Николай Харузин (1865–1900), впоследствии известный этнограф, автор монографии «Русские лопари». В год, когда Кандинский отправился на Север России, вышла книга Г. Л. Лыткина (1835–1907) «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык». Она поразила воображение Василия и его друзей. В этом труде из-

вестный ученый объяснял происхождение слова «зыряне» слиянием слов «сар» и «ан» (царь и женщина). Не возникало сомнений, что подразумевалась знаменитая Золотая Баба! Увы, ее следов Кандинскому на Вологодчине найти не удалось, в чем он разочарованно признался в отчете. Однако Василий обнаружил кое-что более ценное, и это что-то, возможно, изменило всю его жизнь.

«Я въезжал в деревни, где население с жёлто-серыми лицами и волосами ходило с головы до ног в жёлто-серых же одеждах, или белолицее, румяное, с чёрными волосами было одето так пёстро и ярко, что казалось подвижными двуногими картинами. Никогда не изгладятся из памяти большие двухэтажные резные избы с блестящим самоваром в окне. Этот самовар не был здесь предметом «роскоши», а первой необходимостью: в некоторых местностях население питалось почти исключительно чаем (иван-чаем), не считая ясного или яшного (овсяного) хлеба, не поддающегося охотно ни зубам, ни желудку – всё население ходило там со вздутыми животами. В этих-то необыкновенных местах я и повстречался с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – всё было расписано пёстрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лубки: символически представленный богатырь, сражение, красками переданная песня. Красный угол, весь завешанный писанными и печатными образами, а перед ними красно-теплящаяся лампадка, будто что-то про себя знающая, про себя живущая, таинственно-шепчущая скромная и гордая звезда. Когда я, наконец, вошёл в горницу, живопись обступила меня, и я вошёл в неё...»

Считалось, что шаманизм у сысольских и вычегодских зырян давным-давно исчез, однако молодой ученый не мог не заметить признаков двоеверия местного населения. Зыряне сохранили древние языческие верования, в том числе в орта. Русские лингвисты переводили это слово как «душа», но на самом деле «орт» означает двойника, которого, как уверяют шаманы, в определенных состояниях можно ощущать и видеть.

В экспедиционном дневнике Василий сделал странную запись: «Бог Чуди Найден!» Там же содержатся намеки на табуированные имена священных лесных духов. Возможно, Кандинский посетил шаманские сакральные места. Позже, покидая страну, Василий Васильевич напишет, что в России он был счастлив, ибо «побывал в полях лопарских детей». Но о чем это он? Кандинский никогда не

встречался с лопарями (саамами), специалистом по саамскому этносу был его друг Коля Харузин! Пэг Вайс предполагает, что в дневнике речь идет об обрядах шаманской инициации, которые, возможно, прошел Кандинский. Посвящаемый посещает различные области невидимого мира и получает свою «песню силы». Только с ней инициация считается успешной. Такие обряды обычно называют «детскими праздниками».

На рубеже веков был велик интерес к религиозному синкретизму и язычеству. Кандинского влекло к шаманизму. Шаман обретает знания благодаря трансу, видениям и духовному странствию в иные миры. Способность покинуть тело, отправиться в потустороннее, позволяет ему посетить духов, принести жертвы, исцелить больных, прояснить будущее и, совершив долгое духовное путешествие, вернуться обратно. Шаман – проводник в сверхъестественное, он прокладывает путь во внутренние пространства. «Шаманы, – писал Николай Харузин, – соединяют в своём лице самые разнообразные функции: они – посредники между людьми и божеством, они в силу своего вещего знания колдуны, могущие повелевать духами и управлять погодой, они врачеватели, так как могут изгнать или умилостивить вселившегося в больного духа, они гадатели, так как узнают будущее, могут открыть пропавшее имущество, знают тайны людей и богов, они, наконец, и жрецы, так как лучше, чем кто-нибудь, знают, что требуется для умилостивления данного сверхъестественного существа».

Когда после окончания университета Кандинский выберет дорогу художника, ему предстоит тяжелый труд – отринуть «философские баррикады» оккультизма, спиритуализма, монизма, «нового христианства» – увлечения юности. Он поверит, что главной созидательной силой может быть лишь «внутренняя необходимость», осознает свою роль как художника-шамана. В главной теоретической работе «О духовном в искусстве» (1910) Кандинский напишет: «В этот час приходит непреложно человек, такой же, как и мы, и нам во всем подобный, только таинственно дана ему скрытая в нем сила «видеть». И, видя, он показывает».

Американский антрополог, историк искусства Майкл Рипински-Нэксон (Michael Ripinsky-Naxon, b. 1944), автор фундаментального труда «The Nature of Shamanism: Substance and Function of a Religious Metaphor» («Природа шаманизма. Сущность и значение религиозной метафоры»), утверждает, что слово «шаман» происходит от тунгусско-монгольского существительного «саман», буквально означающего «тот, кто знает».

В «грохочущем столкновении миров» роль художника, как считал Кандинский, заключается в том, чтобы стать прорицателем, проводником, «культурным целителем» – шаманом. Акт творения Кандинским понимался как акт видения. Очень ёмкие слова для выражения этой мысли позже найдет Пауль Клее, ближайший его сподвижник: «Особого рода огонь стремится к жизни, он пробуждается, направляется вдоль руки-проводника, достигает полотна и охватывает его, чтобы затем замкнуть скачущей искрой тот круг, который должен был прочертить: возврат к глазу и по ту сторону зрения».

В статье «К вопросу о форме» (1912) Кандинский заметил, что именно понимание пространства делает художника выразителем той или иной национальной традиции. Для манси, как и для других народов финно-угорской группы, весьма актуальны представления о трехчленности мира. Они манифестируются как на уровне дома (размещение культовой атрибутики в жилище и зонирование пространства), так и на уровне таежных святилищ различных рангов (установка столба или столбов – алломорфа мирового древа). В соответствии с трехчленным строением вселенной обиталище семьи делилось на три сферы, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Чердак дома являлся местом высшей сакральной значимости, символизируя область Верхнего мира. Именно на чердаке находились семейные *пупыги*, изображения (объемные и плоскостные) богов, а также другие предметы культовой атрибутики. До появления чердака в мансийском жилище сакральную функцию выполняли специальные «полки духов». Отношение к чердаку как к чистому месту – явление общеугорское.

Угорский дом в миниатюре повторяет образ Вселенной. Неудивительно, что двухэтажный дом под Мюнхеном Кандинский расписал в шаманском стиле: внутренняя лестница на второй этаж была похожа на мировое древо, по которому скакали всадники и лошади из Нижнего в Верхний мир, а на «святой стене» – *муле* – были развешаны картины, семейные фетиши и святыни. *Мул* в угорском доме связан с понятием *кол сот* – «домашнее счастье». Конечно, таким счастьем были картины художника. Для манси строительство собственного дома означает становление, переход от бесхитростно-детского к взрослому, ответственному «перед богом и людьми» состоянию, формирование личности, приобщение к Космосу.

Строитель дома в известном смысле уподобляется демиургу. Возможно, эта мысль является ключом к пониманию термина

«bild», Кандинский использовал его для обозначения картины-композиции. Слово «строить» широко использовалось в русской речи. *Строить войска, строить мундир, строить сапоги*... Почему нельзя *строить* картину? Вселенную, Der Welt, Das Universum? «Bild» – это не подготовительный рисунок, эскиз, это совершенное Мироздание из рук художника-творца. «*Душу строи́ть*...» Космологическую проблему художник был склонен решать как проблему пространственную, всю его жизнь это было главной задачей.

Кандинский нередко изображает шаманское древо. Оно угадывается на полотнах «Уровни» (1929), «Изящное восхождение» (1934), а также в эскизах к последней работе художника, картине «Зеленая полоса» (1944). Интуитивно предчувствуя приближение конца, Кандинский изображает здесь мировое древо, лестницу, по которой предстоит подняться в Верхний мир, пиктограммы бубнов, шаманский головной убор, а главное, орта – двойника человека, появляющегося перед смертью.

В дневниковых записях Кандинский сравнивал холст, натянутый на раму, с шаманским бубном, а удары кисти – с ударами колотушки. Для шамана бубен – крылатый конь (или олень, лось), летящий в Верхний или Нижний миры. Хозяин погоняет скакуна, ускоряя бой колотушкой в бубен, заставляя подниматься все выше или же возвращаться обратно, замедляя бой. Хорошая колотушка важнее хорошего бубна. Дорога шамана к духам опасна, ему приходится часто вступать в борьбу с враждебными силами. Бубен считается еще и боевым снаряжением шамана – луком, броней, щитом. Металлические детали и подвески осмысляются как мечи, стрелы или сабли.

Обычно не сам шаман делал для себя культовые атрибуты, их изготавливали сородичи. Мужчины вытесывали и выгибали обруч («обечайку»), выковывали железные подвески, рисовали на бубне рисунки, установленные традицией. Женщины выделывали шкуру, натягивали и пришивали ее на «обечайку», украшали бисером. На обруче овальной или округлой формы нередко располагаются ряды столбиков, выточенных из березового дерева, кости, березовой губы, по длине всей окружности обечайки – жильные нити, тонкие ремешки, шнурки, по краям – сагровые полосы из черемухового лыка. Кожа, натянутая на бубен, не прилегает плотно к обечайке, между ней и обечайкой – полости-рога. Для лучшей звучности бубен неоднократно греют над открытым огнем костра или очага.

Красной, реже белой и черной краской, на внутреннюю или внешнюю, или сразу на обе стороны обтяжки бубна нанесены ри-

сунки – символы, понятные только шаману. Иногда это простые круги, а иногда – сложные композиции антропоморфных и зооморфных знаков, изображения богов, духов, помогающих шаману во время камлания, а также символы солнца, звёзд, оленей, медведей, волков, выдр, лисиц, озёр, лесов, людей. Рисунков бывает очень много – до полусотни! Мы видим плоскую землю, окаймленную горами и морями, опрокинутое над ней куполообразное небо, опирающееся в края земли – целую галактику. Иногда рисунок радуги разделяет бубен на две части по горизонтали. В верхней изображается Млечный путь, солнце, дух и чёрные птицы, выполняющие волю шамана, а в нижней – священные деревья, лягушки, Мать огня.

Есть волшебная сила у шаманского инструмента. В книге «О духовном в искусстве» Кандинский писал об особом психическом воздействии красок – внутреннем звуке, эхе разных голосов. Как духи во время камлания слетаются в бубен и возвещают «здесь я», так и каждый мазок кисти, был уверен художник, заявляет о своем присутствии в этом мире.

Кандинский не выделял для себя какой-то отдельный этнос, допустим, манси. Для него существовал единый народ Сибири и Севера. Василий называл его «чудь». Обычно шаманы сознательно консервировали, строго передавали из поколения в поколение традиции устройства и оформления своих бубнов, но Кандинский считал себя шаманом-космополитом, в его дневниках множество зарисовок самых разных бубнов – саамских, алтайских, чукотских, лапландских. Интерес и почтение к этим артефактам художник сохранял всю жизнь. Он даже совершил дальние поездки для зарисовок бубнов, например, посетил этнографические музеи в Стокгольме и Дрездене.

«Путешествие» шамана связано с ощущением полета и прохождением сквозь «слои» реальности. О некоторых шаманах говорят, что они за свою жизнь загнали шесть коней, то есть сменили шесть бубнов. Бубен не умирает, никогда не должен умереть. Хозяин делает новый, проводит специальный обряд оживления своего «коня». Василий Кандинский создал не один десяток *волшебных бубнов*.

Индивидуальный почерк Кандинского сформировался не сразу. Поначалу боги и шаманы – угорские (Пам-Богатырь в картине «Все святые», 1911; Золотая Баба – в «Пестрой жизни», 1907) или бурятские (Саган Убугун – в той же «Пестрой жизни», 1907; Хара Гирген – «В сером», 1919; Шридеви – на холсте «Сумеречное», 1917) – соседствуют с православными святыми – Косьмой и Дамианом, Си-

меоном Столпником, Святым Георгием, Ильей-Пророком. Позже они становятся самостоятельными персонажами картин.

Пожалуй, все началось с изображения всадников – богатырей и шаманов. «Мне пришлось тренироваться в умении держать себя на вожжах, не давать себе безудержного хода, править этими силами... Лошадь несет всадника со стремительностью и силой. Но всадник правит лошадью», – писал Кандинский.

«Синий всадник» (1903), «Стрелок из лука» (1909), «Романтический пейзаж» (1911), знаменитая обложка альманаха «Der Blauer Reiter» (1912). Через всю творческую жизнь Василия Васильевича скачут и скачут всадники, спешат с Востока на Запад.

В первых опытах Кандинский только имитировал образцы шаманского искусства, заимствовал, находился под воздействием канонических образцов. На его картинах появляются «заячьи уши», «оленьи рога», «ветви березы», «след соболя» – ленточные, геометрические, зооморфные орнаменты и символы, характерные для манси и других андроноидных культур Урала и Сибири. Он начинает придавать полотнам овальную форму, «строить», как мировое древо, по аналогии с шаманской моделью космической вертикали, деля полотно на две половины. В серии гравюр «Маленькие» мастер изобразил предметы шаманского обряда: обереги, подвески, бубен с колотушкой, на которой символическая лошадиная голова. На его картинах-бубнах луки изнемогали от напряжения, звенели стрелы, столбами стояли сурки тарбаганы. Некоторые работы соответствуют овальным саамским бубнам и по размерам. Для них характерно четырехчастное членение композиции, соответствующее представлениям о Верхнем и Нижних мирах. Последние, в свою очередь, делятся на несколько – семь или девять – ярусов-уровней.

Однако позже Кандинский приходит к мысли, что долг его и предназначение – узреть и воссоздать собственные значки-иероглифы. Так родилась семантика важнейших архетипов – солнца, молнии, воды, лодки, лошади, всадника, змеи, птицы, пчелы. Кандинским овладела идея «резонанса» с космическими силами, возникающего при акте творения. Во второй половине 1920-х гг. художник переходит от картин, имеющих горизонтально-овальную структуру, к спиралевидным, концентрическим композициям. В его импровизациях появляется всё больше кругов и овалов, которые сочетаются с красочными спиралями, зигзагами, углами, пиктограммами, образами индивидуальной мифологии. Он кодирует беспредметное, канонизирует знаки, проявляет «чудеса расчленения и воссоздания», как писала о его методе Пэг Вайс. «Подобно кудеснику, практикует магию превращений».

Кандинский уверен, что причастен к явлениям высшего порядка, постижению неземного бытия. Ему доверено найти новые пластические формулы. Он верит в способность «оживлять» и «одушевлять» картину, так же, как шаман оживляет бубен. Холст становился «живым существом», «хор красок» «камлает» цветом.

Быть художником, считал Кандинский, значит, уметь ощущать в себе внутреннее *звучание* и *вибрацию*. «Музыка звучит во всем теле», – писал Кандинский в 1904 году Габриэль Мюнтер, ученице и подруге. Художник добивался, чтобы картина «резонировала», как музыкальный инструмент, а зритель мог не только «видеть», но и «слышать» вибрации. «Цветной слух», визуализация логических абстракций – вот главные формулы его творчества.

Каждое новое пятно цвета, которое художник наносил на холст, подчиняло себя предыдущему. Кандинский смело совмещал яркие краски, размещая по соседству теплые и холодные тона, усиливал их цветовое звучание. Соединение красочных пятен с контрастным рисунком придавало картине динамическое напряжение, заставляло говорить об иконографической драматургии. Кандинский разработал технический прием, который назвал «размыванием локального цвета». Идея «растворения» предмета в живописи силою цвета, изложенная в работах «О духовном в искусстве», «К проблеме формы» и «Текст художника», стала полемическим ответом живописца на «теорию разложения», предложенную Пикассо и кубистами. Кандинский упрекал коллег в «насилии» над предметом. «Растворение», как считал Василий Васильевич, способно сохранить «душу» предмета в неприкосновенности и усилить ее внутреннее звучание.

Снижение интенсивности цветового звучания, «размывание», происходило посредством добавления белил. В книге «О духовном в искусстве» Кандинский вдохновенно написал о «великом безмолвии» белого цвета. Эта краска «звучит как молчание, которое может быть внезапно понято». Зритель пытается постичь молчание, родственное безмолвию вселенной. Местом, где произойдет слияние со зрителем, будет пустой холст.

Для угров характерно «рекрутирование» чужих «святых» в «корпус духов». Это может быть Митра из иранской мифологии, а может Илья-пророк – из христианской. Угры всегда были склонны к сакрализации обретенных артефактов или природных явлений. Они считали, что предметы и боги сами «являются» тем, кого хотят отметить. Белый цвет, возможно, не случайно главенствует в палитре Кандинского. Центральной фигурой мансийского (угор-

ского) пантеона является Мир-сусне-хум, имя которого – «Мир созерцающий человек» – как считал В. Н. Топоров, суть калька с самого характерного определения Митры. Митре всегда отдавали в жертву животное белого цвета. Лучшей жертвой *Мир-сусне-хуму* у манси считался белый конь. *Мир-сусне-хума* угры называли «Мужчиной, испускающим свет».

С помощью бубна, вдыхания наркотических запахов, монотонной речи или пения шаманских текстов, упруго-ритмичных прыжков и бега по кругу в особом, «священном» ритме шаман вводит себя в состояние экстаза, транса. В совокупности эти действа и называются «камланием», от тюркского «***кам***» – колдун, знахарь, прорицатель. Это не просто исступленная пляска, а многоактное, драматическое, порой комедийное действие, не лишенное театральности, нередко высокохудожественное поэтическое, драматическое произведение.

В трудах Андрея Анохина (1860–1931), известного томского этнографа и композитора, изучавшего шаманизм алтайцев, кумандинцев, телеутов и шорцев, можно обнаружить запись одного из таких священных песнопений. В наше время этот стих расценили бы как превосходный модернистский верлибр:

Бледные живоглоты
с зеленеющими бедрами,
берег синей реки,
берег Тойбодыма,
девяти рек поклонное ... место.
Умар-тымар –
девять рек,
поклонное место.
Река Тойбодым,
устье девяти рек,
берег устья рек
с каменным дворцом, ханской ставкой,
с дворцом из черной глины
у Кан Эрлика,
железная коновязь, с бледной головой и цепью.
Пловцы-багорщики Эрлика-бия
и стрелки, убивающие козлов,
у дверей тех собрались.

Шаман раздевается по пояс, курит трубку, начинает бить в бубен и петь. Входит в транс, приобретает легкость, нечувствитель-

ность к огню, режущим предметам. Он обуян божествами. Из самых разных мест слышны издаваемые им «голоса духов» – исходят из-под земли или приходят сверху. Предметы взмывают в воздух, с неба падают камни. Человек, нуждающийся в излечении, не чувствует веса шамана, который вскакивает на больного в своем почти двухпудовом облачении. Духи умерших беседуют со зрителями голосом шамана.

Шаманизм – это строй души, шаман не служит духам, сам заставляет их служить ему. Особое воздействие на присутствующих оказывает слово. Складная, гармонизированная речь обрядового песнопения сопровождается ударами в бубен и обладает чудодейственным свойством. Смысл песнопений и шаманская лексика во многом остаются загадочны, но они понятны духам. Духи очень любят яркую, выразительную речь. Правильнее сказать, духи любят священные звуки.

Слова должны быть лишены смысла, а голос первозданно чист. Ритуальная песнь шамана разнообразна по звукам, она лишь изредка перемежается словами, звучащими нечленораздельно. Камлание – это импровизация, бессмыслица, какофония. Шаман говорит не своим голосом. Вернее, это не он говорит, это духи говорят «через него». Нередко он чревовещает, подражает голосам волков, лисиц, бобров, различных птиц и даже тюленей. Из многих точек раздается втор пернатых и четвероногих помощников. Помещение, где происходит обряд, бывает наполнено лаем и тявканьем росомах, рычанием медведя, шипением змей, писком и верещанием белок.

Кроме «освещающего зрения» – по терминологии Клода Леви-Строса – духам помогают различить их сложный путь священный танец шамана и музыка. Синкретизмом абстрактных элементов форм, красок, звуков, движения и света в первое десятилетие XX века были отмечены не только живописные полотна Кандинского – «Желтый звук», «Черный и Белый», «Зеленый акцент», «Фиолетово-оранжевое», «Сопроводительный контраст», – но и его эксперименты в поэзии и драматургии.

В 1913 году Кандинский издает в Мюнхене сборник стихотворений «Klange» («Звуки»). Предполагалось, что книга увидит свет в России, в издательстве Владимира Издебского, но выпуск не состоялся. Лишь четыре стихотворения, написанные по-русски, стали известны на родине, Давид Бурлюк опубликовал их в знаменитом сборнике кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу». Для баварского издания в типографии Ф. Брукмана поэт-художник

перевел стихи на немецкий язык. Это получились авангардные, весьма смелые тексты, со сдвигом слов и смысла, вернее, со сдвигом на грань бессмыслицы. Обратно на русский они непереводимы. «Контрапункт» сборника родственен приемам музыки Арнольда Шёнберга, а «цветозвуковая образность» заставляет вспомнить экспериментальный «Прометей» А. Н. Скрябина. «Я всего лишь хотел дать звукам форму. Однако сформировались они сами. Это описание содержания, того, что внутри», – скажет о своей работе художник.

Синкретические опыты характерны и для драматургии Кандинского. В Германии он привлек к ним друга, композитора Ф.А. фон Гартмана (1885–1956). Фома Александрович напишет для Кандинского музыку ко многим пьесам абстракциониста, а в знаменитый экспрессионистический альманах подготовит теоретическую статью «Об анархии в музыке» («Über die Anarchie in der Musik»). Вскоре к их работе присоединится художник, танцор и хореограф, будущий солист нью-йоркской Metropolitan Opera А.С. Сахаров (1884–1963). Так и шла работа: Гартман «переводил» на язык музыки картины Кандинского, а Сахаров становился автором хореографии. В марте 1909 года трио приступило к работе над «Композициями для сцены». В альманахе «Синий всадник» («Der Blaue Reiter», 1912) Кандинский опубликует одну из четырех «цветозвучных» драм – «Желтый звук» («Der Gelbe Klang»). Увы, премьера пьесы в Künstlertheater в 1914 году так и не состоялась. Началась война.

«Звук человеческого голоса будет также использован как таковой, то есть не будет затемнен словом, словесным смыслом», – делает пояснение автор «Желтого звука». Картины его композиции полностью лишены диалога. Слово занимает второстепенное по отношению к музыке, танцу и «цветному звуку» положение, выступает как инструмент соотнесения визуального и звукового рядов композиции, музыка визуализируется в слове.

Как и в шаманском камлании, слово должно терять смысл. Если звучащее слово еще сохраняется во вступлении (восемь стихов хорового пения) и во второй сцене (шесть стихов декламации людей в бесформенных одеждах), то в третьей сцене из-за сцены уже выкрикиваются «невнятно какие-то слова», например, «калязи-мунафаколя!» Постепенно звучащее слово сходит на нет, переходя от полноценных, хотя и небольших, песен во вступлении и второй картине к невнятным выкрикам в третьей и, наконец, повелительному «Молчать» в четвертой. В первой, пятой и шестой картинах звучащая речь полностью отсутствует, а их текст состоит только из авторских ремарок.

Сравниваемые с марионетками люди являются в композиции Кандинского не драматическими персонажами, а носителями разных цветов. Цветовое оформление сцены для автора не безучастный фон, а активный участник действия. Действенность цвета, особенно желтого, акцентируется и в ремарках. Следуя своей теории, Кандинский стремится «заменить литературную драму драмой почти исключительно визуальной». В композиции звук неразрывно связан с визуальными событиями: в первой картине переход музыки из более высокой тональности в более низкую происходит одновременно с окрашиванием задника в темно-синий цвет, а во второй картине «движение цветка сопровождает тоненькое си, движение листа – очень низкое ля».

Кандинский делает такие ремарки к пьесе:

Внезапно исчезают все краски (великаны остаются желтыми), и белый сумрачный свет заполняет сцену. / Отдельные краски начинают говорить в оркестре.

С усилением света музыка уходит вглубь и становится все темнее (ее движение напоминает движение улитки, протискивающейся в свою раковину). ...Достигнуто самое яркое освещение: музыка переплавлена.

В следующей за «Желтым звуком» пьесе «Фиолетовый занавес» (1914) обнаруживались явно дадаистические элементы, хотя исторически дадаизм еще не наступил.

Низкие задумчивые звуки фагота: брлллм... брллм... ууууу...
(а потом человеческий голос подражает фаготу: брллм... ууууу...)
Огромное золотое солнце бросает резко лимонно-желтый свет на хор:
Хор сразу же поет
Эх! и важно провалился вал!
Эх! чудеснейший провал!

Корова (красная, деревянная) освещается спереди розовым светом, так, что тень ее, окруженная розовым сиянием, падает на заднюю кулису. Корова мычит коротко и резко.

Меняется освещение, хор поет, корова мычит и протяжнее, и громче, потом в очередь с хором настойчиво и душераздирающе, а в конце даже вместе с хором.

В первой пьесе Кандинского «Волшебные крылья» (1908), написанной по мотивам сказок Андерсена, живопись играет второстепенную роль. Художник предлагает для декораций экспрессионистические «предметные» городские пейзажи, а действующими лицами в пьесах выступают не отвлеченные понятия, обобщения, а люди, пусть они и отмечены «живописными» характеристиками, как, например, *Араб, весь в белом, с очень темным лицом: N со змеей – прямая линия с витой* (Араб и змея воплощаются прямой и витой линиями). Однако в поздних работах Кандинский создает абсолютную беспредметную абстракцию:

Справа, в верхнем углу, появляется крохотная красная точка. Она медленно пухнет. Белый луч идет ей навстречу из левого нижнего угла. Красное переходит к центру и образует большой круг. Белое бежит от него кверху. Справа внизу голубой овал [печется] на месте. Желтый смятый круг появляется в центре красного, быстро уходит вверх и жмется в правый угол (что повторяется три раза). Голубой овал зеленеет и медленно вращается вокруг красного. Белое падает вниз, увлекая за собой желтое. Красное сжимается, получает синий обод. Ряд цветных пятен всяких форм сразу загорается вокруг центра. Синий обод окружается ярко-желтым.

Сразу темнота. Красное пятно справа, наверху, в углу быстро бежит к центру. Белый луч повторяется с большой быстротой.

Темнота.

Красное пятнышко в центре. Оно быстро растет и заливает все поле.

Труба и барабаны: Пру-пру-пру! «Трах» (зачеркнуто) Бум! Темнота.

В либретто «Композиций для сцены» Кандинский в ряде мест указывает, что участники хора должны кричать «как одержимые» и издавать произвольные звуки, произносить бессмысленные, неудобопроизносимые слова и фразы, напоминающие глоссолалии. Все это очень заставляет думать, что пьеса – ритуал «Медвежьего праздника» манси...

* * *

Как закончить статью?

Можно признаться, что автор эссе отнюдь не утверждает, что «шаманизм» – единственный вариант прочтения творчества зна-

менитого художника. Наверняка найдется немало людей, которые попробуют мне возразить и объяснить синкретизм Кандинского мощным всеевропейским трендом того времени – вагнеровским Gesamtkunstwerk, идеей синтеза искусств.

Можно повести разговор о том, что после войны новая генерация абстракционистов черпала вдохновение в трудах Кандинского и вскоре отправилась в индейские резервации. В этом были замечены Джексон Поллок, Аршил Горки, Наум Габо, Роберт Раушенберг. Таким образом, следовало бы провозгласить Кандинского патриархом этно- и антропоабстракционизма.

Есть и другой вектор. Рассматривая полотна живописца, можно с удивлением обнаружить изображения... псилоцибиновых грибов. «Магических», «волшебных», рождающих галлюцинации! Вот в картине «Всадник» (1916) мы видим кочку с грибами, высоко парящими в небе, а на полотне «Уровни» (1929) геометризованные грибы вместе с символическим мировым древом. Они такие, как их изображают на шаманских бубнах. И на одной из прощальных работ Кандинского («Последняя акварель», 1944) грибы «летят», как бабочки.

«Психоделия!» – воскликнет читатель. Эх, модное слово! Измененное сознание, культовый Кастанеда, «Учение Дона Хуана: путь знания индейцев яки»... Кто тут только не отметился! Де Сад, Ницше, Лотреамон, Селин, Арто, Батай, Берроуз, Де Куинси... Несть числа... Можно вспомнить и соотечественника Кандинского, экс-гражданина Российской империи поляка Станислава Игнаци Виткевича. Он тоже стремился к эпифании, мистическому озарению, выявляющему структуру мира и личности в полноте их взаимосвязи, но потерпел фиаско и покончил жизнь самоубийством. Читайте эссе Виткевича «Наркотики». Перед смертью человеку вдруг открылось, что индуцированное галлюциногенами *видение* «невозможно прояснить, оно ускользает от всякого анализа и рассыпается в прах, в хаос неопределенности, едва приложишь хоть минимальное усилие к тому, чтоб его осмыслить».

Но я закончу рассказ совсем не так, как от меня ожидают. Слишком мало здесь говорилось о поэзии, а это непорядок! Что ж, вот и стихи.

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, –
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Считается, что основой сюжета известного пушкинского стихотворения, написанного во время михайловской ссылки, послужила VI глава библейской книги пророка Исайи.

[6] Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,

[7] и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

[8] И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.

[9] И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите.

10 Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

Однако я позволю себе привести несколько отрывков из другой книги. Это монография легендарного антрополога и историка религии Мирчи Элиаде «Шаманизм. Архаические техники экстаза». Она о встречах ученого с сибирскими шаманами и их рассказах о вхождении в транс.

Я встретил на небе пять духов, которые рассекли меня сорока ножами, пронзили меня сорока когтями.

Три черных дьявола... рассекают его тело на куски, пробивают его голову копьем.

Все члены будущего шамана отделяют от тела железным крюком; кости очищают от плоти, внутренности отбрасывают прочь, а глаза вырывают из глазниц... Церемония расчленения длится от трех до семи дней. И в течение всего этого времени кандидат в шаманы лежит неподвижно в уединенном месте. Он едва дышит и вообще похож на мертвого.

Удивительно! Ничего комментировать не буду, но одна мысль никак не дает уснуть. А что если Василий Васильевич Кандинский не первый художник-шаман в родном отечестве?

ЛИТЕРАТУРА

Автономова Н. Б. Сценические композиции В.В. Кандинского // Русский авангард 1910-х – 1920-х годов и театр. СПб, 2000.

Анохин Андрей Викторович. Бубен бачатских телеутов Кузн(ецкого) уезда Томск(ой) г(убернии). ЭО, 1997. № 4.

Бараев В. В. Древо: декабристы и семейство Кандинских. М., Издательство политической литературы, 1991 М., «Издательство политической литературы», 1991.

Бараев В. В. Карма художника. *[1]

Виктурина М. П. Некоторые особенности живописной техники абстрактных произведений Кандинского.*

1 Здесь и далее звездочкой отмечены статьи из книги: Многогранный мир Кандинского: Сборник статей. М.: «Наука», 1999.

Галеев Б. М. Художники авангарда и светомузыкальный «Gesamtkunstwerk» в театре // Авангард и театр 1910–1920-х годов. М., «Наука», 2008.

Гемуев Измаил Нухович. Религия народов манси: культ. места XIX – нач. XX в. / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – Новосибирск, «Наука», 1986.

Кандинский Василий Васильевич. Избранные труды по теории искусства в 2 томах. М., «Гилея», 2001.

Керимова М. М. «Номадийская наследственность» Василия Кандинского.*

Листа М. В. Кандинский и А. Шенберг или идея Gesamtkunstwerk между Россией и Германией // Русский авангард 1910-х – 1920-х годов в европейском контексте. М., «Наука», 2000.

Мигунов А. С. От синестезии к синтезу искусств.*

Народы Сибири. Кн. 1. М., 1993. (Матер. к сер. «Народы и культуры». Вып. XXIV. Сибирский этнографический сб. Вып. 6).

Народы Западной Сибири. М., «Наука», 2005.

Подземская Н. П. Понятие «Bild» в формировании художественной теории Кандинского.*

Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. СПб, «Полиграф», 2009.

Сарабьянов Д. В. Кандинский и русская икона.*

Соколова Зоя Петровна. Социальная организация хантов и манси в XVIII – XIX вв. Проблемы фратрии и рода. М., 1983.

Соколова Зоя Петровна. Легенды Вут-Ими. Путешествие по Оби и ее притокам к хантам и манси. Сургут: Югорские россыпи, 1993.

Соколова Зоя Петровна. Страна Югория. М., 1976.

Туляков Дмитрий Сергеевич. Соотношение вербального и визуального в теории синтеза искусств В. Кандинского и сценической композиции «Желтый звук». Вестник Пермского университета. 2012 № 4(20).

Функ Дмитрий Анатольевич. Неизвестное описание шаманского бубна телеутов из архива А. В. Анохина. ЭО. 1997. № 4.

Функ Дмитрий Анатольевич. Проблемы исследования шаманства в трудах А. В. Анохина и Н. П. Дыренковой // Материалы международного конгресса «Шаманизм и иные традиционные верования и практики». Москва, Россия, 7–12 июня 1999 г. – М., 1999. С. 31. (Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам, Т. 5, часть 1).

Халь-Кох Е. А. Заметки о поэзии и драматургии Кандинского.*

Харузин Н. «Медвежья присяга» и тотемические основы культа медведя у остяков и вогулов //

Этнографическое обозрение. – 1899. – Кн. 38, № 3; Кн. 39, № 4.

Хэнкок Грэм. Сверхъестественное. Боги и демоны эволюции. М., «Эксмо». 2007.

Шалабин Валерий. Василий Кандинский – художник, этнограф и шаман.*

Шалабин Валерий. Шаманизм Кандинского. Art & Times: Журнал по искусству. 2002. № 2.

Элиаде Мирча. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Пер. с французского В. Трылиса. М., «Академический проект», 2014.

Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1959–1962 годы. М., 2005.

Halifax Joan. Shaman: The Wounded Healer. «Amazon», 1983.

Henry Michel. Seeing the invisible, on Kandinsky. «Continuum», 2009.

Kuhns David F. German Expressionist Theatre: The Actor and the Stage. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Ringbom Sixten. The sounding cosmos; a study in the spiritualism of Kandinsky and the genesis of abstract painting. Abo Akademi, 1970.

Ripinsky-Naxon Michael. The Nature of Shamanism: Substance and Function of a Religious Metaphor, State University of New York, 1993.

Weiss Peg. Kandinsky and Old Russia: The Artist as Ethnographer and Shaman. Yale University Press, 1995.

Weiss Peg. Kandinsky in Munich, 1896-1914, the catalog for the Guggenheim exhibition and Kandinsky in Munich: The Formative Jugendstil Years. Princeton University Press, 1979.

Многогранный мир Кандинского. Сборник статей. М.: «Наука», 1999.

Тамби Уру

ИРЬЯ ХИИВА И ВОЛШЕБНАЯ МЕЛЬНИЦА САМПО

О ТРАГИЧЕСКОЙ И НЕПОПРАВИМОЙ ОШИБКЕ ФИННОВ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ДАРА ПОВЕСТИ «ИЗ ДОМА»

Если ты сможешь выковать Сампо... платой тебе будет вот эта дева, ибо твоя работа – прелестная дева.

Калевала

Мифологическая справка: В начале земли не было. Только небо и вода. Скитающаяся утка приютила себя в подоле Луоннотар – воздушной девы и матери вод. Из снесенных яиц Луоннотар сотворила землю и родила в нее сына Вайнамёйнена, который провел свою земную жизнь в весьма неуспешных поисках жен. Первая, Айно, женой не став, утопилась, не снеся того обстоятельства, что новорожденный Вайнамёйнен был явлен миру в состоянии семисотлетней зрелости. За вторую – Деву Севера из Похйолы – потребовали Сампо, мельницу, из ничего намолоть могущую муки, соли и золота. Мельница была в Похйолу доставлена, и Дева Севера отдана в жены (правда, не Вайнамёйнену, а его брату, кузнецу Илмаринену, выковавшему Сампо). В женах дева прожила, увы, недолго, затоптанная насмерть домашней скотиной. Другую деву Илмаринену не выдали, и тогда залечивший свою ревность к брату Вайнамёйнен соглашается на экспедицию за Сампо – уж вернуть на родину, в Финляндию, хотя бы мельницу. На обратном пути, после успешной кражи, Сампо была разбита в буре, насланной колдуньей Лоухи – бывшей тещей кузнеца, но даже и те обломки, которые братьям удалось подобрать, принесли финнам относительное благополучие и, может быть, послужили причиной нынешнего благоденствия.

Перед весьма настойчивым высокомерием
память предпочитает посторониться.
Ницше

I
[К ФИННАМ]

Финны дураки.

О да!

Если оставить это заявление повисшим в воздухе без пояснений, заявителя на третьем счете молчания можно смело сдавать в богадельню или, на худой конец, в какой-нибудь интеллектуальный вытрезвитель.

Ну какие же они дураки... Будучи лишь младенцем с точки зрения политической истории, Финляндия оказалась таким вундеркиндом, что достигла уровня социального и материального развития, к которому давным-давно не подступиться ни туманному альбиону, ни без малого три века тому соединившим себя штатам... да и вообще мало кому, кроме соседей-скандинавов. Так что, Сампо – не Сампо, а не обошлось без некой рутинной гениальности. Да не позабыть нам и о том, что свершать и достигать финнам выпало в гуле рыков огромного и опасного медведя российской государственности. А когда выпустил когти, пришлось осветить свирепой гениальностью сопротивления в Северной войне – Финской, если смотреть от русских.

И все же мое «финны – дураки» не опешит, не зависнет в молчащей пустоте.

Мне трудно поверить, абсолютно горько осознать, что Ирью Хиива с её «Из дома» проглядела нация Калевалы. Не вся нация, разумеется, глядела-вглядывалась – проглядела. Ничтожного количества пар оценивающих глаз достало, чтобы в неведении остались все. Хотя отречение от сложной красоты финской психеи, которою повесть «Из дома» сочится, равно как и нераспознание собственных начал в этой ингерманландской саге, представляется мне также и актом коллективным, волевым и отчасти осознанным. Подсознание само по себе не имеет защитных барьеров высокомерия.

Историческая справка: В 1835 году трудами и волею Элиаса Лёнрота 22000 поэтически сложенных строк древнего финского эпоса вошли в мировое сознание под названием Калевала. Т.е. Ка-

левала была издана, а имя Лёнрот увековечено, по крайней мере, в финском сознании. В 1973 году в Швеции с большим успехом вышла повесть финки-ингерманландки «Из дома» – «Homefroine», переведенная на шведский с русского. (Повесть, уж чтоб добавить неразберихи, была написана Ирьей Хиива в Израиле, куда в 71-м в числе первой сотни отказников она эмигрировала с мужем и дочерью.)

Ирья Хиива родилась почти век спустя со дня явления Калевалы финнам и миру, но трудами совершенно иной природы и с произведением совершенно иной формы, нежели у Лёнрота, ко дню чествования ста сороковой годовщины публикации великого эпоса она – Ирья – по мере своего вклада в культуру народа должна была бы уж стать для финнов символом и именем того же порядка, что и Лёнрот.

Не стала.

Откуда такие замашки рецензента? Так сложилось, что таланту, памяти и будущей поэтике языка Ирьи, родившейся в 1931-ом под Гатчиной, в ингерманландской деревне Виркино Ленинградской области, достались две страшнейшие трагедии – гибель родителей и гибель родины – Ингерманландии. 37-ой забрал отца; Иван Хиво был арестован и после трех месяцев избиений расстрелян. Немедля в Ярославль из Ленинграда высылают мать. 1940-й и ее забрал окончательно: Ольга Юнолайнен арестована и через несколько лет погибает от голода в карагандинской тюрьме. Оба были учителями и уничтожены как враги народа – финны.

И это только одна (самая бóльная, конечно) боль – физической потери и мятущейся души, молящей чуда воскрешения родной крови. Молящей, потому что извещение об их смерти будет «даровано» только после войны. Второй шок, пережитый Ирьей, напоминает мне космическую катастрофу шиваического танца. Двенадцать первых лет жизни девочки совпадают с двенадцатью последними годами Ингерманландии. Эпоха, культура, физическое пространство рушатся на себя в точке присутствия нашей героини – истощенная галактика, беспамятно садящаяся в черную дыру... Но навстречу этому разворачивается стремительный противоборствующий рост девочки, способной, волею исторического случая, мощью памяти и растущей души Ингерманландию в себя вобрать и унести, то есть – спасти.

Не потому ли в повести Ирья Хиива «усиливает» имя протагониста одной буквой? Бесхитростный, на первый взгляд, выбор «Мирьи» – здесь не что иное, как всплеск абсолютной интуиции писателя, волшебно, пусть, может, и не до конца, осознанное ви*де*-

ние задачи героини – не убаюкать личную трагедию потери родителей, а вынести из ада неминуемого забвения кусок земли, глыбу, которую не приходилось взваливать на натренированные для этого плечи ни одной кариатиде. А если облечь драму в сильную, но более интимную графику, к чему подталкивает меня один из изумительных снов героини – последние капли обескровившей родины, как из раздавленных босой ногой ягод, прокровоточат в ней первой менструальной кровью. И это еще одна форма наследования Ингерманландии Мирьей.

Что такое Ингерманландия? Что пришлось спасать, память чего?

Ингерманландия на века старше своего имени. Названа же так лишь в семнадцатом веке в честь королевы-шведки, которая после успешных войн с Россией закрепила за собой Ижорские земли по условиям Столбового мира, но, никакого интереса к территориям не имея, отдала их финнам для еще более интенсивного заселения. Так и стали они зваться землями Ингер, курьезно употребляя корень «земля» в одном слове дважды – по-немецки и по-шведски. Финны же там и так селились по крайней мере с пятнадцатого века, мигрируя под давлением жестоких зим, которые подчас делали невозможным земледелие в Финляндии. Под самоироничным девизом «в Ингерманландию хоть пастухом» они шли в нее как в оттепель.

Плыли века, Петербург был возведен, переименован в Ленинград, а земля так и оставалась родиной ингерманландцев, выкристаллизовавшихся в субэтнос – не в силу ассимиляции, а, напротив, укоренения и обособления.

При этом, Ингерманландия, очевидно, имевшая ограниченную вовлеченность в политическую жизнь как Финляндии, так и России, приняла на себя поэтическую функцию фольклорного заповедника в условиях весьма удовлетворительного достатка. А там и Ирья родилась, а вскоре пришел 37-ой.

Но пришел и 59-ый, и осенью с дипломом историка-филолога Петрозаводского университета молодая женщина, красивая и сильная Ирья Хиива, прибывает на тот же Ленинградский вокзал, с которого летом 50-го, восемнадцатилетнею, она уезжала в свою последнюю ссылку. Теперь же она здесь, чтобы востребовать свой город. И он поддается. Почему?

Он многое ей задолжал. Родителей, во-первых... Самих не может – отдаст иной формой семейного счастья. Через пару лет с годовалой дочкой, рожденной в замужестве по любви, в светлой комнате с окнами на Фонтанку и церковь св. Никодима и Анны (пусть

и в коммуналке, как той, воспетой Высоцким), Ирья предана этому счастью любви и материнства, так безбожно отнятому у ее матери тогда...

Будет и настоящий тронный зал. Штурмом возьмет Зимний. Великолепный финский и карма города устроили работу гида в Эрмитаже, а харизма и манера держаться произвели прозвище – Екатерина Вторая.

Ну кто б еще так расквитался с пассивной, но, уверен, изрядно досаждавшей финскому самолюбию ксенофобией Достоевского! Любой знает, что Петербург классика населен образчиками и добродушно-нравственного русачества, и маниакально-депрессивного в своем мятущемся доброхотстве студенчества, и рисковых старух-процентщиц, и услужливо-кровопийствующих еврейчиков, и, ну конечно же! – злодействующих по черным кухням кухарок-почухонок – жутких, зловещих, хтонических финок. Однако, в свою очередь, о чем невдомек классику, хтонические финки знают, что великодержавное, гордое, исконно-русское, слезоливное – Нева – с финского переводится не более пафосно, чем канава, нечто вялотекущее по болоту. Может, ирония этого знания помогла и нашей финке лукаво улыбнуться и простить Федору Михайловичу его чванное «почухонство» и носиться с писателем и поныне как с величайшим. (Но мне до сих пор интересно, обесценивала ли слеза одного финского ребенка любую революцию в системе ценностей классика?)

Но вернемся от классика прошлого к классику будущему. Вопреки пропасти пережитого, настоящее Ирья Хиива проживает в завидном балансе экзистенциалиста-практика. Интересная работа в музее; дочь часто с ней – либо получает первые уроки живописи в художественной студии Эрмитажа, либо по Семирамидиным садам ищет выжившую принцессу за занавеской. Дом радушен и часто служит прибежищем для ночных разговоров диссидентов-разночинцев, друзей мужа, теперь – их друзей.

«Из дома» правдиво и элегантно избегает вокализаций каких бы то ни было кредо. За исключением одного места (его же цитирует и Гедройц, рецензент единственного русскоязычного издания повести 2008 (!) года). Оно хрестоматийно с момента написания и будет цитироваться тысячи раз.

«Когда я вернулась домой, за мной пришла секретарша из сельсовета и позвала с собой. У нее там сидел человек в черном костюме. Он поздоровался со мной, спросил, где я родилась, в каком году и как мое отчество. Я ответила, он дал мне бумагу, на которой было написано, что мой отец, Хиво Иван Степанович, и моя мать,

Юнолайнен Ольга Ивановна, умерли, и чтобы я больше о них не спрашивала. Вернее, все было как-то не так написано в той бумаге, но я запомнила только, что они умерли, и чтобы я больше о них не спрашивала». (*Кстати, обратите внимание на то, как бумага из «той, на которой» пишут, превращается в «бумагу», «в которой»... Бумага-собеседник – бумага-палач...)*

«В ту ночь была сильная гроза. Я не спала. Мне хотелось, чтобы громом разбило наш дом, и мы бы все погибли. И еще я в ту ночь подумала, что Бога нет, если я так молилась и все равно они погибли. И вообще, я не хочу никакого рая после своей смерти: для этого не стоит быть верующей, если стараться только для себя, и то после смерти. Пусть будет – какая разница – если есть ад, то я там буду со всеми, я не боюсь».

«Моя мама, наверное, смогла бы спастись, если бы ее в детстве пугали, говорили бы ей, как мне, если расскажешь про то, что говорят дома, нас арестуют, а когда вырастешь и будешь говорить про что думаешь, с тобой будет то же, что и с твоей матерью. Но когда она была ребенком, нечем было пугать».

Я использовал полную цитату, потому что не удержался, – нужна же мне была ее концовка. В ней мотив усмиренности. Буквально нет такого заявления «я смирилась», но грамматическая конструкция противопоставления матери себе подталкивает подразумевать это. Но это лишь структура предложения.

В жизни же, при всем понимании, что и где уместно говорить, нормальный интерес к самиздату и рутинное потребление крамольных идей в узком кухонном круге знакомых толкают Ирью играть со строем по-крупному, идти ва-банк. Наша финка становится активисткой в битве за разрешение выезда первой группе советских евреев. Из Ленинграда едет в столицу, чтобы поддержать москвичей и лично участвовать во вручении петиции с соответствующим требованием. Накануне попытки угона самолета в Швецию группой Кузнецова обреченные угонщики ночуют в ее квартире. Во время же «самолетного» процесса у них на Фонтанке живут две москвички, пробравшиеся на закрытое слушание под видом родственниц Сергея Кузнецова. И каждый вечер, вернувшись из суда, они по памяти и обрывкам стенограмм, извлеченных из чулок и лифчиков, восстанавливают сказанное за день. В коробке торта из магазина «Север» с проводницей ночной «Стрелы» транскрипт уносился в Москву и там уже становился достоянием западной прессы. Ответственной за «кондитерскую» операцию была Люся, подруга Ирьи и крестная ее дочери. В менее тесных компаниях Люсю знали, как Елену Боннер.

Конечно же, Ирья понимала, что рисковала своим новым счастьем. Но они выиграли. В 1971-м «первая сотня» покидает Совок. На вокзал проводить ленинградцев приходит Окуджава. Самолет. Вена. Рим. Израиль. Скитания. Кибуц. Передышка первой оседлости. У мужа новая репортерская работа-мечта, дочка учится. У Ирьи – первая возможность осуществить задуманное, но как-то немыслимое в Ленинграде. Ирья Хиива пишет «Из дома».

Круг нового повествования замкнулся. Время спросить, почему «Из дома» становится «Homefroine»?

Это объяснимо. Дружба со шведской переводчицей Анникой Бекстром еще в Питере, странное шведское пристрастие к чествованию выдающихся научных и литературных работ, пусть даже и не связанных со Швецией. Это объяснимо.

Необъяснимо, почему «Из дома» не становится «Pois Kodisa»? Изданная на шведском, повесть попадает во все крупнейшие книжные магазины Финляндии, но этим рандеву и оканчивается. Все переговоры о финском издании книги проваливаются.

Я признаю очевидность и правдоподобность ссылки на нежелание финнов озлоблять соседа. Но все чаще и навязчивее меня осаждало чувство, что удобная ширма политической нецелесообразности издания книги прикрывает собственную аллергию финнов на произведение.

В начале этой статьи я театрально возопил, де не верю, что народ Калевалы мог проглядеть... Парадоксально... Как только я усмирил свой плач, я вдруг понял, что Калевала и преградила дорогу «Из дома» домой – к финнам и финской культуре

Каждому человеческому племени дан миф его происхождения, имена его богов, героев, нумин (чары, высокая психическая заряженность) обрядов, объектов и символов. Однако очень немногим анклавам человеческого культурного пробуждения было дано создать и успешно заключить не просто в языковую, но в письменную форму собственную космогонию и драматизацию следующих жизненных обстоятельств божеств и других действующих лиц – то есть, создать такую среду мифообитания, в которой бы они (мифы) не нуждались более в постоянной речевой, устной, поддержке. При таком условии список бы еще сократился. Например, тут же из него бы выпали ацтеки, майя, инки, под вопросом были бы и египтяне, ослабли бы позиции вообще всех народов, полагавшихся на пиктографическую систему записи, не несущую прямых фонетических указаний.

А если усложнить условия «конкурса» требованием, чтобы национальное мифологическое наследие более или менее умещалось

под шапкой единого названия, в моем списке вообще почти никого не осталось бы. Поэтому так завладело моим вниманием достижение Лёнрота. Ведь кроме Калевалы, Вед да Эдды, да клинописного Гильгамеша, ничего на память сразу и не приходит.

Бардо Тхёдол тибетцев, как и египетская Книга Мертвых, не эпос, а инструкция; у самих греков никакой обобщенной «Олимпиады» нет, а «Илиада» – только частный случай; римляне – те же «греки» с несколькими уступками этрускам; три книги монотеистов никоим образом для нашего списка не годятся.

Оговорюсь, что здесь я ни в коем случае не сравниваю глубину и силу воздействия на развитие культуры и истории отдельных мифологических источников. Я разыскиваю узнаваемые по имени собственному, самодостаточные своды мифологического наследия данного народа (или группы народов), способные существовать без устной поддержки и музыкального сопровождения... Ни бродяги-рапсода, ни гусляра...

И, каким бы странным ни показался метод моей оценки, я надеюсь, вы согласитесь, что в 1835 году таким самодостаточным библиотечным томом стала и Калевала.

Увы, издание Калевалы информирует нас не о глубоком осмыслении её содержания финнами, а, напротив, о переводе её из разряда досадных анахроничных предрассудков в предмет литературной национальной гордости. Нация поднимается на новую ступень цивилизованности. Калевала освобождена от «нумина», т.е. от чар. – Литературное очарование *разочарованной* Калевалы... Разряженная граната в музее.

В такой оценке не стоит выискивать и следа корыстной негативности, чего бы то ни было антифинского. Это лишь констатация парадоксальной феноменологии девальвации любой мифемы, выдержавшей публикацию. Миф утрачивает свое воздействие, рвет связь с эпохой, становясь лишь деталью её интерьера, пусть по-прежнему роскошной. Из манящего, довлеющего алмаза первичной огранки – развлекающим глаз барокко, в значении бракованной жемчужины.

Юнг с сожалением говорил об этой общечеловеческой тенденции к обесцениванию мифологических основ скепсисом набирающего в самоуверенности интеллекта и ставящего знак равенства между тотальностью психики и собою – сознанием бодрствования, самонадеянно полагающим, что *оно* – пусто от рождения и открыто лишь для наполнения рациональным опытом в течение жизни, но не имеющего вакансий для архетипов коллективного бессознательного.

«Еще там, в так называемой нами «Древней» Греции, – писал Юнг, – умы были достаточно развиты, чтобы сообразить, что истории богов были ничем иным, нежели обветшалыми традициями похороненных царей или вождей. Уже тогда человек усвоил воззрение, что миф слишком невероятен, чтобы означать то, что провозглашал. Таким образом, они занижали его до в общих чертах понятной формы».

Отзвук этого высокомерия к мифу – вероятно, очень болезненный для Юнга – в нашем скепсисе ко снам. И, соглашаясь с тем, что символы сна (как и мифа) зачастую могут противоречиво указывать в разных направлениях, в защиту их самих как явлений, как символических объектов, Юнг восклицал: «Но есть ли что-нибудь в природе, что не есть то, чем оно является?»

Что же для финнов сны и мифы, разбуженные повестью «Из дома»? – Нечто страшное.

Здесь мне придется сделать еще одно важное замечание. Переход финнов от сознания фольклорного к современному западноевропейскому должен был проходить с некоторой насильственной стремительностью. Даже в лютеранство финнам суждено было не вживаться, но принять его как готовую интеллектуальную конструкцию. Так что, со свеженапечатанной Калевалой, «вчера» приобретенной государственностью и «позавчера» избранной ветвью христианства, Финляндии пришлось впрыгивать в уж порядком разогнавшийся поезд Европы двадцатого столетия в годы депрессивно-нигилистического межсезонья двух страшнейших войн. – Бог мертв, его образ исчезает из сновидений пациентов Юнга, и метафизическая пустота, по словам основателя Pittura metaphisica Джорджо де Кирико, отзывается в искусстве стремлением использовать понимание глубокого значения бессмысленности жизни, данного веку философией Ницше и Шопенгауэра, для трансформации этой «ужасающей пустоты» в эстетику «обнаженного абсолютного бездушия и непотревоженной красоты материи».

Но, как пишет в своей статье «Символизм в визуальном искусстве» сподвижница Юнга, американка А. Яффе, де Кирико сумел дотянуться лишь до «ужасающей пустоты» и «абсолютного бездушия», но не до «непотревоженной красоты», так и не разрешив проблему, поставленную перед ним бессознательным.

Безусловно, двадцатый век принес множество примеров более плодотворного «сотрудничества» бодрствующего интеллекта с дремлющим бессознательным. Но как бы ни разнились художественные течения в искусстве столетия и какую бы силу и модальность эстетического воздействия ни несли их творения – будь они

привычно-фигуративными, геометрически-абстрактными или абсолютно радикальными в попытке отвлечения от чего только можно отвлечься, – в целом, век несся прочь от конкретного в искусстве.

Не могла не «нестись прочь» и Финляндия как часть напуганной Европы, как все – по рецепту из дневника Пауля Клее, «поэта среди художников»: «Чем более ужасающим становится мир, тем более абстрактным становится искусство (и предложение, и спрос, надо полагать – Т.У.), реализм производится мирным временем».

Потенциальный антагонизм Финляндии (в качестве части Европы) и «Из дома» (в качестве продукта реализма – если повесть ошибочно принять за простую по форме хронику очевидного) к тому же специфически остр.

Немецкий писатель Вильгельм Воррингер нашел бы эту специфику в «метафизическом беспокойстве, сильнее проявленном у северных народов, страдающих от реальности». – Им отказано в натурализме южан, и они влекутся супер-реальным миром, которому они дают выражение в воображаемом или в абстрактном искусстве.

Перед тем как рассмотреть третий уровень антагонизма между Финляндией и повестью – антагонизма на пике интимной неприязни, – я позволю себе отвергнуть возможный аргумент, что к 1973-му «сегодня» Василия Кандинского, в котором художник узрел готовность абстрактного и конкретного, извечно выраженных посредством друг друга, вести наконец полностью раздельное существование, минуло бесследно.

Бесспорно, момент написания «Из дома» не гравитационный центр этого «сегодня». К семидесятым уже довольно развиты контр-течения, воплощающие идею перезавоевания веса утраченной реальности, как и перезавоевания художником веса собственного. Но и в посттравматическом пространстве разгара холодной войны можно найти примеры не менее жестокой депрессии, чем, скажем, Франца Марка, рожденного с отвращением к человеку, вскоре выработавшего такое же отвращение по отношению и к другим животным и спрятавшегося в абстрактной живописи еще до Первой мировой (в которой и погиб).

И вот во второй половине века фигура лошади и наездника итальянского скульптора Марино Марини из года в год продолжает «оплавляться» во все менее проявленную физическую форму, но год от года в ней все сильнее проявлен ужас ожидания конца света. «Ужас последней стадии умирающего мифа о победоносном герое-индивидууме, о человеке, преисполненном гуманистического достоинства», в оценке самого скульптора.

«Сегодня» Кандинского эластично, вбирая и депрессию ожидания первой катастрофы века, и депрессию осмысления «в стиле Хиросимы» многих катастроф века, уже совершившихся.

К тому же, написанная в 73-м, «Из дома» общается с миром голосом из 43-го. Не подражает ему, а вещает им, как медиум на спиритическом сеансе, только намного живее… Поэтому повесть находится в самых интимных отношениях с психическими реакциями европейского сознания образца 43-го года не в меньшей степени, чем с реакциями современников из восьмого десятилетия века.

Третьим уровнем антагонизма – специфика «финского» в «ранящей» реальности «Из дома». Вероятно, для финнов не было проблемой потребить «ранящую реальность», например, «Чумы» Камю. Чума в североафриканской французской колонии, при всей реалистичной жесткости, – спасительно-абстрактна из-за расстояния: географического, климатического, культурного. «Из дома» – трагедия части нации, чересчур близко: территориально, во времени, в крови…

То, что реалистически изображенная реальная эвакуация ингерманландцев в Финляндию в 42-м – это основной мост для встречи «Из дома» и Калевалы, – отнюдь не объединяющее обстоятельство. Напротив, как я указывал в начале статьи, основной конфликт между «Из дома» и всефинским – конфликт мифологических аллюзий и интерпретаций в эпосах Калевалы и «Из дома». Калевала – река забвения, «Из дома» – поток памятования, анти-Лета. Если Калевала – Нева, «Из дома» – Кубань, только карабкающаяся в гору.

Но прежде, чем пуститься в эпохальное, нужно понять, чем же «Из дома» является, в отличие от своей жанровой оболочки тотального реализма.

«Из дома» не метафизична и абсолютный антипод эстетики свалки и намеренно выхолощенного человеческого, в первую очередь из человекоподобных форм (как у де Кирико). Но и согревающий, удобный, сонный мистицизм Шагала, одушевленный традициями хасидизма, схож с мистическим символизмом «Из дома» только отчасти. Картины Марка Шагала вызывают лишь общие визуальные ассоциации с образным пластом повести, не в большей степени, чем, к слову, кинематография Кустурицы.

Шагал, по словам британского литератора Герберта Рида, «так никогда окончательно и не переступил порог подсознательного, но всегда держал одну ногу на питавшей его земле». Интересно, что для порыва с привычной реальностью мужчине всегда нужно что-то делать с ногами. Какие-то скакалочки… Узнаю мистика по

количеству ног на земле, т.е, в отрыве от... Для свободного перемещения из поденно-реалистичного в запредельное нашей финке и переминаться с ноги на ногу не надо. В её письме – укоренение есть источник и реализма, и хтонического мистицизма.

Мистицизма «не из небесных тел, не из эфира» мужчины всегда боялись – «и ноги грешницы прорастают в преисподнюю»... Увы, дорогие братья, – и ноги праведной женщины тоже...

А так как моя интерпретация Калевалы и современной Финляндии – наследная мужская линия Вайнамёйнена, изрядно напуганного женщинами Похйолы, – «Из дома» не приглянулась бы финнам еще пуще, разгляди они за жесточайшим её реализмом перину мистики. – Она для них безвозвратная ольгá, сглатывающая топь. И вопрос даже не в том, какая из интерпретаций «Из дома» преобладает в финском сознании и подсознании – вопрос в том, какая больше пугает?.. Уверен, что вторая – мистической хтоники. Поэтому с ней и нужно разбираться.

Вообще, письмо Ирьи Хиива, которое очень трудно сравнить с чьим бы то ни было, напоминает мне живопись немецкого/швейцарского художника Пауля Клее.

Почти задыхаясь от восторга, Клее сообщает, что «теперь он, приверженец монохромной графики, навсегда одержим цветом и повелевает им» – его африканское «завоевание», привезенное из Туниса. Во всех снах Мирьи в «Из дома» Ирья Хиива одержима цветом и повелевает им. Его диссонанс с монохромной пластикой изображения «реального» имеет потрясающие эмоциональные последствия. Цвет импортирован Ирьей из Африки снов.

Как и Клее, свободно движущийся между абстрактным и фигуративным, – за ширмой непререкаемого реализма «инструментами» снов, детского воображения, парадоксального ассоциирования, прозы, очищенной до поэтического звучания, она с легкостью выводит эпизоды любой жанровой формы, включая элементарно-абстрактные.

Если Аниэла Яффе может позволить себе наблюдение о том, что работы Клее укоренены в недрах первобытного, я позволю себе указать, что в каком-то смысле первобытное укоренено в работе Хиива; не героиня Мирья извлекается из недр, руды и энергии эпох – но они из Мирьи...

В работах обоих – свободно парящая легкость и неодолимые узы.

Несмотря на то, что узнаваемость Клее остается в его абстрактной манере, а очевидным стилем Хиива – реализм, оба отстоят от большинства в своих цехах «как живущие в эпицентре своего твор-

чества рядом с мертвыми и нерожденными». – А это в самой сердцевине искусства и мира.

Мне хочется привести пример живописи Ирьи Хиива.

(Больной дед Мирьи) «Его ноги лежали, как два рахитичных ребенка, колени большие, а ноги бледные и тонкие».

Здесь прием в слове «ноги». Ноги во втором случае становятся страшным раздражителем. Лежащий оставался бы реалистичным, по-прежнему образным, выбери Ирья голени или ляжки. Мы бы поняли направление головы «ребенка», пожалели бы страдальца и забыли. «Ноги» же (потому что непонятно, с какой стороны они лепятся к рахитичной опухоли) останавливают. В итоге я, например, остаюсь с двумя парами сиамских близнецов, сросшихся головами. Во-первых, это уже не реализм; во-вторых, этот образ уже никуда не девается.

Подобных цепляющих и не отпускающих эффектов Ирья умет добиваться многими средствами. Не обязательно словом – порой ей достаточно буквы.

Я уверен, что даже самые серьезные, важные, гениальные произведения в итоге оседают в памяти не тотальностью упомянутых достоинств, а отдельными фразами. Память можно освежить, расширить и т.д. Но свечение, исходящее от произведения как сигнал о том, что мы знаем друг друга, как правило, сосредоточено всего лишь в нескольких первичных для памяти образах. И не обязательно героев с их именами – сойдут словесные обороты, вызывающие визуализацию чего бы то ни было.

В «Чуме» Камю – для меня это образ «четырех утра» (или другого предрассветного часа), когда в разлуке «безопасно» думать о любовнице, даже если она в чьей-то постели; она защищена от другого истощением раннего часа. В этом все. А чума? Эпидемии всегда рано или поздно схлынывают.

Из «Волшебной горе» Манна, который, кажется, каждой главой пытается доказать, что лишь её словарь превосходит мой совокупный раз в шесть (особенно, если читать на неродном английском), во мне засела полная обнаженная рука русской обитательницы санатория с киргизским разрезом глаз.

«Братья Карамазовы», пока я еще с опаской жду, что откуданибудь вынырнет князь Мышкин, мне улыбаются фразой полупарализованной девочки: «Ах, мама, ну бегите же, скажите ему, что я лечу», подразумевающей, что девочка, конечно, долетит быстрее, но мама все равно прибежит первой, чтобы об этом уведомить Алешу. Интересно, и как бы разрешил эту сцену кинематограф.

Теперь «Из дома».

«Морозы долго не проходили, я научилась вязать чулок». Во-первых, гирей юмора раздавлен в тупость взрослых, та, что не дает оставить ребенка в покое продышивать заиндевевшее окно, выстраивая свою маленькую метафизику. Каждый раз новую с каждой новой продышанной полыньей. Конечно, нужен чулок. О, этот чулок! О, это ожидание множественного числа. Ну была бы шапочка... Но чулок! Не морозы от этого единственного числа становятся короче, чулок – длиннее. Сидел ребенок месяца три и научился вязать... чулок! Не какой-нибудь, не вообще тип греющей одежды – а вот этот. На английский это должно будет перевести даже не с определенным артиклем *the*, но с указательным *that*. Морозы не сокращаются. Чулок превращается в вечную себяхвостую змею времени. Вот какой чулок научилась вязать Мирья (и имя для этого, кстати, подошло). С таким товаром не обогатишься на Сенном рынке. Он туда просто не поместится, а другой она не умеет. В общем, не тупицей оказалась тетя...

Ау, дорогие финны, вы лишили себя литературы выдающейся, потрясающе образной. Даже «детская тема», которая может отталкивать потенциальной пресностью – объедение. Выдающиеся в своей невинной жестокости дети.

«– Бабушка, кто тебя так побил?

– Да невестка с сыном бьют и есть не дают, жить больше не хочется, да и умереть не знаю, как.

Она стала показывать нам синяки и ссадины на руках, ногах. Сняла платок с головы, показала громадную синюю шишку, которая высоко вылезла из седых спутавшихся волос.

Надя шепнула:

– Может быть, ей в Волге утопиться?

Я ей ответила тоже шепотом:

– Это очень больно, уж лучше повеситься.

Все мы трое начали советовать бабушке повеситься, но она сказала, что у неё нет веревки. Я вспомнила, что у нас на чердаке висит длинная веревка для белья, я тут же побежала в дом. Тихо залезла на чердак, сняла веревку и принесла старушке.

– А что ж поесть не принесла? – спросила старуха».

Кстати, и вновь одним словом (суффиксом!) скачок из «старушки» в «старуху» как мера взросления. Наивность пожертвования веревки для повешения натыкается на цинизм нужды прокормления.

«Чаще всего они называли меня Ольгой и думали, что я – это моя мама» – о нет, это не умилительное описание старческого склероза. Это до клаустрофобии осознанная теснота сцены жизни, от

которой пугающая, в две стороны летящая бездна времени становится еще бездоннее.

Я должен остановиться. К тому же у нас, финны, по-прежнему нет с вами общего языка, чтобы восхвалить или оспорить «Из дома».

Перед тем же, как огласить суть сопричастности «Из дома» с Калевалой и указать на ответ, который повесть дает на самый главный и уже веками безнадежно нетревожимый вопрос эпоса, я хочу конспективно изложить совершенно приземленные, очевидные потери, понесенные Финляндией из-за отказа от «Из дома».

Кроме самого книгопечатания, которое обернулось бы делом многотиражным и прибыльным, повесть настолько кинематографична, что разноформатным экранизациям конца и краю бы не было.

Мирья – несравненный образ принцессы-воина, столь редкий за пределами уникальной эстетики и идеологии великого аниматора Миядзаки. Из неё выходит изумительный воодушевляющий образ для юношества. А её хулиганский аспект, пожалуй, дает ей преимущество перед вашими соседками – шведкой Пеппи и Маленькой Разбойницей-датчанкой.

Из Мирьи можно было сделать куклу, любимицу рождественских ярмарок – самую продаваемую куклу героини с непродажной совестью.

Ну и еще пара мелочей нематериальной природы...

И это финское, пусть русским языком написанное произведение.

Сампо

Я использовал имя мельницы в названии, очень смутно представляя её функцию как в быту, так и в статье.

«Какие-то потерянные части, символически восполненные повестью «Из дома»... Главным для меня, было забросить слово, поэтический символ. А там уже – вы финны, вам и разбираться.

Я бы снова так поступил, даже если бы у меня забрали откровение, которым я был одарен в процессе работы и которое оправдало мой выбор заглавия.

Не могу логически объяснить причину постигшей меня смысловой дислексии, но я вдруг чутьем ухватил, что географически «южная» по отношению к Финляндии Ингерманландия – это северная земля Похйолы. И вся «Из дома» – о Сампо. И вся она – плач о несостоявшихся свадьбах: о невесте-утопленнице Айно, о Се-

верной Деве. Одну напугали обликом, другую угробили недосмотром. И в повести, воплотив образ невесты, ходила Ингерманландия в Калевалу. Сампо так и не сложили, и Ингерманландия вернулась в смерть.

Смерть Ингерманландии – смерть женщин Калевалы (эпоса). И это никогда не перестанет повторяться в 22000 строчек. А если не читать, напоминание будет жить в повести. Теперь они, миф и повесть, неразрывны. И я, может быть и насильно, вручаю вам это знание.

От книги можно увернуться. Не переводить, не печатать, не читать на английском, когда она будет переведена. Но забыть, о чем она, – уже невозможно.

Да и надо ли? Это знание целебно.

С точки зрения рационального ума мифологические сопереживания – это психические расстройства, тяжелая болезнь. Поэтому любой том мифов, включая Калевалу, – это доза вакцины, вырабатывающая иммунитет против тотальности хтонической энергии мифического первоисточника.

Такую же функцию выполняет колыбельная матери, дающая младенцу допустимую дозу вакцины страха, которая спасет в итоге от тотального ужаса, гнездящегося или даже повелевающего коллективным бессознательным. Это та же самая клиническая вирусология, только в сфере идеации.

«Из дома» для финна, как новая нить вируса, опасна повышенной концентрацией анимы, женского элемента, разъедающего мужское сознание.

Ритуал осознания и обезвреживания её можно воплотить в разные образы: химической свадьбы, всефинской иммунизации в стиле инь-ян… Если тотальность вируса «Из дома» губительна для финна, её надо разбить на отдельные книжки, как в случае с Калевалой. Это ведь статистика – после 1835 года раз в семь уменьшилось число случаев похищения подростков, прогуливающихся у ручья, ундинами. (Шучу.)

Но если разбить «Из дома» на отдельные книжки, она вас сама от себя спасет. Это серьезно.

Если для ума рационального все это окажется водой, своей магией даже не пьянящей, хтонической кислинкой не горчащей – что ж – будем солью солить, мукою мутить, золотом золотить. Внесите мельницу! Мы ее все-таки для вас собрали. Будет вам и пища для мозгов.

Не верите? Думаете, что по-прежнему никто не знает, что за мельница Сампо?

Черта с два! Ирья Хиива знает. В ипостаси Мирьи. Сама приняла обет забвения, а Мирье дала не только знать, но и огласить. В повести.

Каким по счету словом?

Первым.

Открывающая сцена.

Илмаринен с шарманкой Сампо на плече.

«Карманщик!» – т.е. «вор!» – обвиняет его Мирья в будущем воровстве и недосмотре за молодой женой. «Шарманщик, дурочка», – поправляет её брат.

Но девочка не ошибается, она знает. Этот – кузнец. А музыкант – Вайнамёйнен, он еще старее. Да он бы приехал не только с шарманкой, но и со своей кантеле. Он без нее ни шагу. Он старик орфический.

Откуда знает все это Ирья Хиива и ее хтоническая девочка Мирья? Спорьте теперь о коллективном бессознательном...

Ирья Хиива не созналась в том, что подстроила это как писатель. Ну и пусть. Сознательно контролируемая гениальность, неосознанная синестезия гениальности бесконтрольной... Тогда еще удивительнее, почти ужасающе удивительно.

И признание в последнем грехе...Выбрав красивый эпиграф «Если ты сможешь выковать Сампо...», я выкинул из него непонятное «и осветлишь и без того сияющую крышку...» В английском источнике крышка могла быть и веком. Ну какое, к черту, сияющее веко!.. С меня и Сампо было довольно.

Подбираясь к концовке статьи, я полез за выбранной цитатой из Клее в книжку – коллективный проект под руководством Юнга – «Человек и его символы», оконченный уже после его смерти. Нет-нет, ничего про Сампо и финнов в ней нет, но зато она очень щедро иллюстрирована, и в который раз я наткнулся на интригующее изображение круга, испещренного мерцающим узором, напоминающим лабиринт, паутину, черно-белую мандалу из-под кисти тибетца-модерниста...

На этот раз я не поленился прочесть. Круг оказался фотографией стального диска, а «мерцающая паутина» – звуковой волной его вибрации.

«Веко», пожалуй, все-таки крышка... Крышка-резонатор шарманки Сампо. Всякий музыкальный инструмент должен иметь резонатор. Так что высветлить сияющую крышку – это настроить Сампо идеально, отладив резонатор. Ну не нужны в Похйоле второсортные шарманки за первоклассных девиц.

Кстати, мне почему-то кажется, что основной потерей в буре была именно крышка (а может, это диск, задающий мелодии). Не хотела Лоухи, по-прежнему скорбящая по дочери, чтобы мужики там за морем (за рекой) развлекались под музыку, предназначенную не им. Да может, они и сами послали его за борт как дурную память. Так Калевала разлучилась с анимой. Бледный лунный блин шевельнулся на воде, и не то волна, не то туча скрыла его.

Кто-то может прельститься метафорой соли, муки и золота как метафорой экологически чистых энергий воды, воздуха, Солнца.

Я бы исследовал вибрационные величины зерна, кристалла соли, золотой крошки; их собственные или их крушения. Величины дали бы нам триаду – какую-нибудь новую гармонию, может быть, и воистину повелевающую небесными сферами.

И если это сработает, шведам нужно будет подумать, может, и не только о литературной премии для Ирья Хиива, но также и о её инаугурации в сфере акустики, музыкологии или квантовой физики.

А вот и Клее:

«Тайно постигнутое, превращенное в видимое...» – галочка для Ирья Хиива. – «Какой художник не желал бы обитать в центре органа всего движения пространства и времени, откуда все функции черпают свою жизнь...» – снова галочка.

Кстати, орган и орган в английском не различаются ударением, имеют значение и физиологического и музыкального характера, включая и значение – шарманка.

Ну, может быть, довольно совпадений и восхвалений на сегодня.

P.S.
[*К финнам*]

Какими бы страшными прокламациями я не оплакивал провалившуюся сделку, она состоится. Повесь «Из дома» будет поглощена финнами (как и финны повестью).

Увы, уплатив ту же дань чествования произведению, вы будете владеть им в любом случае, как минимум, на сорок лет меньше, чем изначально вам было отпущено. В любой момент времени – минус сорок лет. Так когда-то римский император Тарквиний, отказавшись платить высокую цену Кумской сивилле за девять томов предсказаний, в итоге заплатил испрашиваемое сполна всего лишь за три, потому что шесть в два приема она сожгла, цены при

этом не понизив. Только в нашем случае проторгованы не слова и бумага, а четыре десятилетия, четыре невосполнимо важные десятилетия. И не по капризу сивиллы.

PPS. На самом деле это конец статьи. То, что последует, уже написано. А это пишется сейчас. Смешно, как «Сегодня» Кандинского. Мне нужно закончить сегодня. Я то и дело подхожу к окну, мысленно отгоняя рассвет. Декабрь, несколько часов утра неотличимы от ночи. Я за городом. Пишу от руки и не пользуюсь часами. Причуды, дурные привычки.

Ночь объявляет себя ночью. Откуда-то безо всякого объявления всплыла полная Луна.

А я только что её топил… в виде крышки, выкованной фонотекой Сампо… Это очень добрый знак, мой добрый хтонический знак.

Сегодня 5 декабря, штат Нью-Йорк. Я не вру про луну и час. Можете проверить. Google it!

II
[*К русским*]

> Видите ли вы – или, наоборот, я чего-то не понимаю, – какая это безупречная проза.
>
> *С. Гедройц*

Русского «дураком» не удивишь и не обидишь. И вообще его национальную психею особо не погоняешь. Мы совершенно не знаем, какой проживаем миф и кем. Которою головой Змея – лихо пьющею, лениво курящею, скорбно трезвенной? Аль Соловьем-разбойником свистящим, аль немой Аленушкой, аль Серым говорящим волком?

И вместо Лёнрота у нас Даль, который вместо небылин в какой-нибудь побасенник собрал слова в словарь. Весьма поэтично, по-моему, и весьма никчемно, по мнению Пастернака… Но так и не знаем, какой молнией Перун оплодотворил мать-сыру землю, и по-прежнему в неуверенности, кто такая Баба-Яга – вегетарианствующая на мескалинах йогиня, или на самом деле жрет заблудившихся?

Да к тому же у всякого русофила в роду по хохлу, по еврейскому погрому, по выселенному татарину и т.п. А в самом русофиле еще и 60% финского генного кода. Поди разгадай.

Поэтому нам будет проще о маленьком – не о душе, не об архетипах коллективного бессознательного, а о слове и букве.

О той самой букве Ирьи Хиива, о которой писал литературный критик петербуржской «Звезды» С.Гедройц в 2008-ом в рецензии на первое русскоязычное издание повести, через 35 лет после шведов. 35 лет... Мы сумасшедшие.

С момента написания «Из дома» круг близких – ближайших – обернулся для Ирьи-писателя теми «другими», которые по определению Сартра есть «ад». Кроме голоса дочери, читавшей повесть по мере написания глав и воодушевлявшей неподдельным удивлением – «как мама может так повествовать языком ребенка», – других воодушевляющих голосов не прозвучало. В доме не Ирья была «литератором».

Шведское турне с телеинтервью, портретами в журналах – каким турне автора успешной книги и должно быть – ревнующих и вовсе доконало. Ирье же важнее был мир в отношениях.

Какие-то литературные связи у нее были – ее рассказы печатались в «Новом русском слове» и т.п. Но повесть в 70-х уже не была достаточно антисоветской для русской эмиграции, чтоб подхватить её как знамя. Хотя для финских отговорок она по-прежнему была антисоветской вполне.

Киты-диссиденты Солженицына, грациозные касатки-убийцы Шаламова... Мог, конечно, быть принят еще и грациозный дельфин...

Но «Из дома» из другого семейства. Щука... Символизм, поэтический реализм... – я когда-нибудь подберу лучшее определение. Но это не реализм «во имя самоценной правды», как у Солженицына, которого не люблю, и у Шаламова, которого люблю страшно.

Для меня правдивость «Из дома» не мерило ценности произведения. Несомненно, честность – этическое ядро силы, да что там – героизма и той и другой, Мирьи и Ирьи. Гениальность же Ирьи Хиива не в соблюдении этических норм, а в достижении эстетически совершенных форм.

«Из дома» все же для меня не дельфин, правду рекущий, из той диссидентской плеяды, а волшебная щука, чьи челюсти – арфа Кантеле. – Точные ноты, точные буквы, а главное, полные волшебства.

К буквам же.

В полумаске единственной буквы Мирья вольна выполнить работу не только памяти, но и колдовства воссоздания связей, до которых памяти не дотянуться.

В Мирье – фонетическое материнство по отношению к Ингерманландии, функция Мироносицы – не в смысле прощения зла, но примирения собственной гибели – разделенной участи Ингерманландии – и собственного выживания – продолжения за её пре-

делы. – Тема Трои, доля Энея. Если Москва – Третий Рим, Ингерманландия – Вторая Троя. Будущая жизнь Ирьи – Энеида. Только «М» могла быть избрана в повествовании русским языком.

И в полумаске этой единственной буквы Ирья вбегает в совершенно иной поток, нежели тот, в котором изначально подразумевала отразиться «во имя самоценной правды», жертвуя себя водам истории. Поток же понесет ее образ в миры более сокровенные, потому что Мирьей вбежала она в поток мировой литературы, мирового искусства. В Мирье, как на бале-маскараде, героиня может оставаться правдой, самою собой... но теперь она вольна флиртовать беззастенчиво и вступать в отношения со всеми первобытными чародействами места (и времени), быть на равных с хтоническими духами земли, быть духом и в итоге повелевать ими.

Тем, чем Калевала была до того, как стала библиотечным томом, Ирья быть не смогла бы. Она – жертвенная честность сознания, вещающего о видимом. Мирья – «сны о чем-то бóльшем», и с Мирьей сны уже не сны, а реальность, но другая, но бóльшая, чем наша.

Когда Ирья Хиива пишет, она – та и другая. Когда я «бужу» ее вопросами о том, как же Мирья знала то да это, как привела меня к шарманке, как умудрилась провести параллели между скудным существованием ингерманландского обоза беженства и конкретными мифологическими истоками диссоциации элементов сознания целой нации, она – Ирья, не вполне понимающая, о чем я говорю.

Работая над статьей, я сам испытываю такие провалы из медитативного созерцающего всеведения в несообразительное бодрствование. Как правило, Ирья обо всем отмалчивается, все показывает Мирья. С Мирьей весь реализм кончается.

Письмо «Из дома» гениально-абстрактно, но не в выхолащивающем значении отвлеченности, разрушения и без того недостроенного мира форм, недоданного нам в ощущениях, а в алхимическом значении – вовлеченности, проникновения, прозрения в ранее невидимые взаимосвязи. При этом ей нет нужды уничтожать или деформировать столь ненавистную многим абстракционистам двадцатого века оболочку видимой реальности. И если сама Ирья Хиива предпочтет настаивать на том, что она узница предельного реализма, я все же настою, что тогда уж – реализма *за*предельного, какого-нибудь простенького *хтонического реализма* (а вот, кажется, и термин найден).

Но меня пора остановить. Я могу посвятить этой «М» больше, чем Даль своей «П», а в его случае это был целый том из всего-то четырех для полного алфавита.

Следующая буква «Ш». Она прячется в «к», в наивной дислексивно-омонимичной оговорке маленькой Мирьи, невинно дарующей разгадку основной тайны Калевалы – что есть могущественнейший объект в мифологии нации?

Даже если бы Ирья Хиива не писала «Из дома», а просто дала телеграмму в Хельсинки: «Сампо это шарманка», этого было бы достаточно, чтобы навсегда войти в пантеон героев-исследователей – историков, антропологов, этнографов... Она же – писатель. «Из дома» нужна ей не только для духовного разрешения, но, как и неотъемлемая от этой духовной личности прихоть, лишенная моральной нагрузки. Писатель не может не писать. И слава богу.

Но поразительно, Ирья – финка, филолог, исследователь ингерманландского фольклора – ничего нового про мельницу открыть не может. А Мирья маленькой ручкой будто за палец тянет тебя к ней и смеется: «Карманщик».

О глобальных смысловых трансформациях выбором суффикса и числа существительного было в части «К финнам».

Значит, к слову...

Сцена объяснения в любви в восемь слов, три из которых – местоимения и одно – отрицательная частица? При этом рисуя тонкий внутренний мир влюбленного Герки? – Нет проблем: «Хочешь, я тебе стихи принесу, настоящие, не свои!»

Мне так нравится этот Герка, здорово, что Мирья его услышала.

А теперь смертельный трюк (для меня смертельный: не вытяну – огорчу Ирью, распугаю читателей). Итак (барабанная дробь сердца), я настаиваю, что в следующих пяти строчках – точный синопсис и кульминация повести.

«Мы ехали по лесу, дядя остановил лошадь, срубил тонкую березу, отрубил ветки и крону, положил ее в сани: «Это отцу на крест».

Бабушка сидела рядом со мной, казалось, что она дремлет, но она взяла меня за плечи, притянула к себе, я положила голову в ее подол и закрыла глаза».

«Ну, все это так просто, тут и читать-то нечего», – протянет кто-нибудь.

Есть, есть, что читать, а еще больше – видеть.

«Из дома» полна фантастических по силе, невероятности, юмору и трагичности «правд» – сцен и историй – от моментальных анекдотов до скетчей целых судеб. Единственное, в чем «Из дома» можно упрекнуть, так это в недетективности. Три очень чистые и непрерывные сюжетные линии – умирание Ингерманландии, надежда на выживание родителей и выживание Мирьи.

Так как повесть автобиографическая, понятно, что Мирья выжила. Петербуржское издание снабжено семейными фотографиями и фотокопиями посмертных реабилитаций – т.е. известно еще до начала чтения: родители погибли. Многие из нас всю жизнь прожили с убеждением, что никакой Ингерманландии нет (большинство и не знает, что была когда-то). Так что и ее исчезновение не большой сюрприз для читателя. Но эти три заведомо разрешенные темы – все же не просто поток и медиум для всего остального, но – единящая, непрерывная и самоценная энергия повествования. И вот, в пяти приведенных ранее строках – энергетическое и формальное разрешение всех основных тем.

Буквальное прочтение сцены само по себе вознаграждает как эстетически выверенная черно-белая фотография, запечатлевшая ускользающий миг и позволяющая эмоционально участвовать в печальном ритуале. Но если не испугаться собственного наития (что буквальному прочтению не противоречит, но как раз и создается точнейшею мерою слов, ведущих к полной интерпретации), в семантике эпизода можно затонуть до глубин мистических.

«Мы ехали по лесу, дядя остановил лошадь, срубил тонкую березу, отрубил ветки и крону, положил ее в сани...»

Обоз беженства Ингерманландии в этой повести, как и глобальное движение Ингерманландии – исторического тела – остановлены, как лошадь.

Тонкая береза истории ее – не многовековой дуб какой-нибудь неохватный – лишь нескольких веков тонкая береза, к которой так и тянет русского парубка. Как только увидит березу, которую «некому заломати», – он сразу к ней. – Есть кому, вот же я! И заламывает. Здесь береза не застенчивый символ сексуально томящейся девицы, не символ весенних игрищ.

Эта береза – руна Беркана, известная карелам и даже русским Поморья, наверное, и финнам, – символ возрождения. В этих краях это именно береза, не лиственница вообще и не лиственница конкретная, как у Шаламова в «Возрождении лиственницы».

И опять Ирьей демонстрируется фантастическое понимание важности выбора слов – их взаимонезаменяемости, – того, что в словоупотреблении магия не только сотворения образа, но и мира, миротворчество (в решительном, воинственном, бескомпромиссном значении).

Если в описании больного деда, ноги которого «лежали как два рахитичных ребенка», Ирья «экономит» на уточняющем синониме, оставляя их двумя парами сросшихся головами сиамских близнецов, в сцене с березой она расточается на «ветки и крону»,

будто крона не ветки. – Крона не ветки! Она – целостность: корона или даже голова. Развенчана, обезглавлена она.

«Отцу на крест».

Да, дедушка умер (и глава так и называется), но здесь это «отцу» – завеса, иллюзорный дым. Умер animus – рациональное, конкретное, мужское, физическое (в ощущениях данное), реалистически-осознанное этих мест.

Но, как мы знаем, эта земля – anima, досознательная, хтоническая... то, от чего так неуютно финнам при каждой встрече с Ингерманландией. Это куда же девается? Animus – на крест, под крест, на кладбище, под землю... А anima?

«Бабушка сидела рядом со мной, казалось, что она дремлет...»

Эта дрема – кажущаяся смерть, почти смерть, но пока все же только кажущаяся; несмерть, подвешенная в слабеющем пространстве энергией ожидания разрешения судьбы Мирьи.

И вот: «но она взяла меня за плечи, притянула к себе, я положила голову в ее подол и закрыла глаза».

Это безумно красиво. Береза обезглавлена, голова Мирьи катится в подол.

Подол – наверное, самое женственное, самое сексуальное слово и образ в поэтике русского языка. И именно подол сидящей женщины, – не идущей (тогда он слишком низко – метущая окраины Киева юбка), не лежащей (тогда он непонятно где, вовсе исчезает).

Подол – более сильный образ, чем даже то, что под ним. Как обещание, которое либо обманет, либо исполнится, либо превзойдет ожидания...

Здесь подол – женский пол, женский род – anima.

Сани – гроб для всей Ингерманландии со всем ее людом, скарбом и скорбью. И для принимающей судьбу родины как свою Мирьи сани стали бы невозвращающим капканом, если бы не подол. Погибая как часть гибнущей страны, она выживает в женственности, которая, в отличие от стран, бессмертна. Потому что женственность есть условие существования мира, тогда как мужество – только способ.

Кстати, в 90-х в лекциях по теории литературы сани фигурировали как слово, впервые в истории отечественной словесности обернувшееся образом чего-то иного, т.е. ставшее метафорой, и это значило, что русская литература началась. «Сидя на санех», писал Владимир Мономах, ожидая свою княжескую кончину.

Кто-то другой, пишущий и прозревающий такую непомерную важность в своей сцене с березой (я, например), мог бы рас-

цветить ее до вакхического ритуала, чтобы увидели, как важна и трагична. На небе громыхнуло бы, что-нибудь пролилось, ундины бы расплескались по болотным невам, порывом ветра загасило бы костры жизни, и только что грянувшие гусляры – виртуозы Кантеле смолкли бы навсегда.

В этих пяти строчках у Ирьи – двенадцать существительных и местоимение «я». Пять из них – миражи, никак не предметы. «Лес» символизирует пригодность места для ритуала. Остановившаяся лошадь – как грустный теплый символ – сообщает, что прервано не просто движение, а мука.

Береза – первое действующее лицо сцены, потому что ей что-то принадлежит – ветки и крона. (Сани же в момент броска в них четвертованной и обезглавленной березы – вместилище не столько физического, сколько мысли – настоящего о будущем кресте для мертвого отца.)

Второе действующее лицо – Мирья. У нее есть плечи, голова, глаза и т.д.

Никакого дяди нет. Если бы был, он бы, наверное, натянул вожжи и, может быть, ему бы дали топор.

Нет и бабушки. Она только предлог для подола. Поза, определяющая его положения. Его нельзя было бросить на дно саней (которых, конечно, тоже нет).

Еще «отсутствующие» дядя и бабушка указывают на абсолютное отсутствие более близкой крови, т.е. символизируют гибель родителей.

Руки только у березы и Мирьи. И глаза еще Мирье даны. Чтобы закрыть в унисон со смертью общей и раскрыть для жизни собственной уже за пределами повести, хотя формально повесть еще длится.

Фрагмент изощренно-скуп – количество слов стремится не просто к нулю молчания, но уходит при некоторых методах расчета в алгебраическую негативную зону, работая оттуда еще эффективнее.

Это безумно красивый пример минимализма, речевой разряженности фрагмента в прозе.

Бродский хвалил за подобное Кавафиса (в поэзии).

А еще он говорил, что все искусство (может, он говорил «поэзия» или «культура») это эхо. Перекличек не надо стесняться, иначе все обернется мычанием.

Памятью это Бродский, а чувством скорее Цветаева.

Несколько лет назад, в порыве восторга по прочтении в очередной раз сборника эссе Бродского «Письмо Горацию», Ирья при-

слала его мне. Я, вероятно подсознательно, избегал чтения его литературной философии, как и его англоязычной поэзии, чтобы хранить, я думаю, свою восторженность поэзией эпохи «среднего» Бродского.

Бродский в своей эссеистике добился потрясающей высоты, вероятно, компенсируя ту поэтическую атмосферу, из которой был выброшен, вступив в пору своей англоязычности.

Разбор длинного стихотворения Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес» в статье «Девяносто лет спустя» открывался намеренно топорно-заигрывающим приглашением (не дословно): читая стихотворение «О.Э.Г», написанное девяносто лет назад, задумываешься, а не было ли величайшее стихотворение в истории литературы написано девяносто лет назад.

В лучшем же стихотворении мировой поэзии (и это почти невероятный случай, когда чей-то диагноз «лучшего» нисколько не раздражает) Бродский коронует как лучшую строку ту, в которой волосы Эвридики «розданы как дождь», т.е. она растрачена – возврат невозможен.

Вторым по силе примером у него строфа о тропе, избранная вдобавок еще из-за изумительного аллитерирующего «l» в одном из английских переводов.

Бледный отрезок единственной тропы, которая...

Like a long line of linen laid to bleach (как длинное полотно льна, расстеленное для побелки)

Это осело во мне, чтобы вскоре беспокойно всплыть.

Я влез в «Из дома» и нашел.

Хотя университетский язык Ирьи Хиива – немецкий и Рильке она как-то знала, к моменту написания «Из дома» статья Бродского не то что ею не читана – им самим написана не была.

Да и когда я позвонил Ирье в полнейшем возбуждении, она (как теперь с Сампо) долго отказывалась не только его разделить, но даже понять его природу и источник.

Вот что я нашел.

«Белые полотнища, которые ткали зимой при лучине, выносили отбеливать на весенний наст к лесу. Там снег чистый. А шерсть вымачивали в бочках у канавы.

Воров тогда не было, чужие не приходили к нам».

По прочтении этого взором, зараженным Рильке, тогда давно я понял, что мне придется писать об Ирье. Когда-то целая статья на этот абзац ушла. Здесь беглый арифметический этюд.

1. «Белые полотнища» – нейтрально-белые.

2. «зимой» – чуть-чуть еще зимней белизной отбелены.

3. «при лучине» – чтобы не засветить, как в старой фотолаборатории.

4. «выносили отбеливать» – все этим финкам не бело.

5. «на весенний наст к лесу» – ароматизировать белизну, что ли?

5+ «Там снег чистый» – ну еще хоть капельку белее…

5++ А черная бочка у канавы – для контраста или как бочонок фиксажа, чтоб белизна льна уже навечно. (Да в ней, наверное, плавает соленая мандельштамовская звезда… уж если об эхо…)

5+++ «Воров тогда не было» – это об экологически чистой нравственности этой белизны.

Я самоограничен просчетом при выборе названия к старой статье. Пусть, занижение лучше натяжки.

Пусть, но по крайней мере пять восходящих степеней белизны в одном росчерке пера.

Как говорил Гедройц: «Видите ли вы – или, наоборот, я чего-то не понимаю…»

Эпилог

Тот, кто не способен представить лошадь,
несущуюся галопом по помидору, – идиот.

Андре Бретон

«Из дома» осложнена невероятно (как редкая руда обогащена) – в ней слогом легким и точным формы предельной фигуративной ясности населены множеством символов.

У них разная модальность, генеалогия, степень потаенности. – Очевидные, дидактические и повторяемые, символы, сознательно избранные автором; символы, ведущие через повествование саму писательницу, они по наитию; символы, за который творческий гений автора и читателя ответственны совместно – символы, подвластные не взгляду, но созерцанию… как буддистское: если у тебя это есть, я дам тебе это. Но все они, если не пропущены, – символы, открывающие доступ в лабиринт глубоких абстрактных концепций.

Участие «бокового зрения», доверие к собственной интуиции и медитативное спокойствие позволили бы не просто плыть по тексту, что приятно само по себе; но – созерцать, находя многие из своих аллюзий и ассоциаций внезапно разбуженными, подтвержденными и обогащенными.

Вторая (после внимательности) составляющая читательского таланта не менее важна. Это – голос, способность оглашения впечатлений. Иначе содержание прочитанного сводилось бы для нас, скорее всего, к воспоминаниям о собственных обстоятельствах и самочувствии в момент чтения. – «Все время тянуло на шоколад», «выпить», «страшно обгорели плечи», «окончательно решила избавиться от плода», «забеременеть», «решил развестись и путешествовать», «жениться и осесть», «был слишком молод, чтобы понять», «слишком стар, чтобы заинтересоваться»... – И это тоже прекрасно – память обстоятельств...

И, может, кроме фактуры обложки в пальцах, в голове осядут и название, и имя автора, и героя... Но концептуализация, приношение материала уму зиждется на оглашении. Это как аксиома ученического комплекса: никогда до конца не понимаешь того, что не преподаешь другому.

Увы, иногда мы невнимательны и безгласны, но прикрываем оба изъяна (обычно они суммируются словом «тупость») цинизмом. Увы, и он безголос. Бытовой современный цинизм имеет очень мало общего с шекспировским остроумием, а следовательно – пассивно-агрессивен и молчалив: поза, гримаса, насмешливое фырканье.

Ирья Хиива – не только творец, но и читатель очень талантливый. Ее уважение к прочитанному – в честности и вольности высказываемой оценки, оценки любой – ожидаемой, парадоксальной и непредсказуемой, неудобной... Вольна беспощадно громить, восхищаться и обожать, передумывать... Но и то, и другое, и третье – щедро. И даже материал, находящийся вне эмоциональных полюсов, все равно получает специфическую огласку.

Любой, кто употребит хотя бы долю такого внимания и честности, без труда увидит в «Из дома» произведение вдохновенное и мастерское, амальгаму выверенной эстетики и интуитивного полета. «Из дома» – как удачно сваренное снадобье, и окрыляющее, и отрезвляющее, для осмысления этических способов существования в этом мире.

Всякий увидит. И да не смолчит.

Много лишнего сказано мною.

Ведь никакого воодушевляющего вступления повесть не требовала ни в 1973-м, ни в 2014-м, как не потребует и в будущем. Ее качество постоит само за себя.

Но не усидел. Как в долгожданный дар, вцепился в возможность отпустить давно сдерживаемый и мучивший возглас. И воз-

глас этот, с удивлением отметил я в процессе подготовки статьи, стал менее отчаянным.

Не то чтобы досадная странность сорокалетней судьбы «Из дома» могла быть сполна искуплена каким бы то ни было переизданием, но все же встреча «Слов...» и «Из дома» – событие очень счастливое. Двух чрезвычайно высококачественных явлений со-бытие.

Биографическая справка: Ирья Хиива живет в Нью-Йорке, в двух шагах от Метрополитена, в котором до недавнего времени водила благодарные экскурсии по залам древнегреческой и древнеримской скульптуры, как раньше по Эрмитажу. Живет в атмосфере любви, принимаемой и даруемой в ответ.

Пишет досадно мало. Дает уроки русского внукам – Зое и Максу, – следя за стремительными успехами юности в разностороннем творчестве и личном становлении, следя за выставками дочери Ольги – пожалуй, одной из самых интригующих и в полноте реализующих свое мастерство художниц современности.

PS. Данная статья вобрала в себя фрагменты авторского перевода с английского его же эссе «Sampo. Lost, found, and lost again» и неопубликованного очерка «Пять восходящих степеней белизны в одном росчерке пера».

Геннадий Зельдович

О ДИСКУРСИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ В ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Заметки лингвиста

От автора

Для читателя, не обратившего внимания на подзаголовок, дополнительно поясним, что нижеследующие заметки носят не литературоведческий, а лингвистический характер. Литературоведа в лирическом произведении должна заинтересовать и его идейная, в широком смысле слова, и эмоциональная направленность, и его место в соответствующем цикле, творчестве данного автора в данный период и творчестве автора вообще, место в литературном движении эпохи, место в соответствующем жанре и поджанре, его подтексты, «затексты» и интертекстуальные связи, и проч., и проч. Лингвист читает лирику скорее «от структуры», опираясь на то, что более или менее прямым образом дано в тексте. Отсюда проистекают и некоторая ограниченность такого анализа, но также и его сравнительно большая строгость и осязаемость сделанных выводов. Автор питает смиренную надежду, что его разборы помогут немного лучше понять саму жанровую специфику лирического стихотворения (которая, разумеется, и литературоведам тоже далеко не безразлична).

1. Словесность и перспектива

Хорошо известно, что все наше мышление подчиняется принципу перспективы, принципу разделения информации на в том или ином смысле более и менее важную. Скажем, практически всякая, даже очень «краткая» наша мысль содержит в себе и некоторый относительно менее важный «фон», и некоторую более важную для нас «фигуру». В живописи, скульптуре, театре, кино, балете тоже почти всегда выделимы первый и второй планы, с возможными их дальнейшими подразделениями (вроде «самое важ-

ное на главном плане – просто важное на главном плане – более заметные фрагменты второго плана – его менее значимые части»)[1].

Совершенно естественно, что этот же принцип перспективы проецируется и на структуру языка.

Как известно, всякое предложение делится на тему и рему, то есть на две части, из которых вторая является прагматическим «фокусом», тем, ради чего, собственно, соответствующее высказывание делается, а первая выполняет подчиненную, служебную роль, помогая нужным образом соотнести с действительностью содержание ремы; отсюда и нередкое эллиптирование темы в тех случаях, когда это соотнесение не вызывает трудностей. См., например, [Erteschik-Shir 2007][2].

Во многом аналогичные отношения устанавливаются и в семантике отдельного слова между пресуппозицией и ассерцией: ас-

1 Не касаемся вопроса о том, каким конкретным способом такое выдвижение соответствующих элементов на первый план и/или их отдаление на второй осуществляется. Способы эти, как хорошо известно, и специфичны для каждого отдельного искусства, и достаточно многообразны. Наибольшей универсальностью обладают придание соответствующей фигуре большего размера и/или быстрого движения, ее помещение в центр, ее колористическое выделение.

Впрочем, и саму действительность человек иерархизирует, выделяя в ней более и менее важные планы в соответствии с размером, функциями и многими иными свойствами соответствующих объектов. Иерархизирована и такая «посредующая» между внешним и нашим внутренним миром область, как наши пять чувств: в разного рода экспериментах давно продемонстрирован примат зрительного восприятия и наименьшая значимость тактильного; промежуточные места принадлежат слуху, обонянию и вкусу; см., например, [Shen 2008] с дальнейшей литературой. (Там же см. о важной диалектике во взаимоотношениях между этими модальностями: самые низкие из них по рангу предполагают как раз бóльшую «личную» вовлеченность человека в восприятие, в частности непременный физический контакт, что при определенных условиях способно сделать их, наоборот, особенно значимыми; впрочем, эти подробности здесь не важны, важна сама несомненность обсуждаемой иерархизации.)

О том, сколь перспективизация, иерархизация когнитивных процессов важна для живых организмов в эволюционном плане, как одно из средств адаптации восприятия и мышления к окружающей среде, см., например, [Givón 2005].

2 Так же, как могут дополнительно нюансироваться и первый, и второй план в пластических искусствах, могут иметь «многоступенчатую» структуру и тема, и рема; см. особенно [Bogusławski 1977]. О некоторых дополнительных и тоже несомненно связанных с перспективой градациях в коммуникативной структуре предложения см., например, [Yokoyama 1986; Vallduví 1992].

серция как бы изначально предназначена быть в предложении ремой и передавать коммуникативно наиболее важный смысл, а пресуппозиция призвана быть своего рода когнитивной опорой, связывая сказанное с уже доступным адресату знанием[1].

Наконец, сообразно принципу перспективы строятся обычно и целые тексты, где в большинстве случаев хорошо выделяются первый план (в английской традиции – *foreground*) и второй план (*background*), с возможностью их дальнейшей более тонкой нюансировки.

Особенно подробно в лингвистике исследована структура нарративного текста; достаточно назвать хотя бы такие основополагающие работы, как [Hopper 1979; Hopper, Thompson 1980; Fleischman 1990].

В прототипическом случае первый план повествовательного текста представляет его нарративная, собственно событийная линия, а на втором плане находятся «фоновые» описания персонажей и тех обстоятельств, в которых события совершаются, психологические мотивировки, бóльшая часть оценок[2], разного рода общие выводы, экскурсы в предысторию событий либо в будущее и т.д.[3]

Принципиально важно то, что языки мира (предположительно все, но если и не все, то, как показали в названной работе П. Хоппер и С. Томпсон, наверняка очень многие) располагают специальными, собственно лингвистическими средствами, позволяющими достаточно последовательно маркировать и отличать друг от друга первый и второй планы повествования.

Некоторые из этих средств, так сказать, локальны и характерны лишь для единичных либо немногочисленных языков: скажем,

---

1 Понятно, что в особых случаях эти соотношения могут инвертироваться. Представим себе, например, ситуацию, когда кто-то говорит Иван перестал воровать, желая прежде всего дать понять, что Иван был вором. Тем не менее, применительно к наиболее привычным актам коммуникации все сказанное остается верным.

Добавим еще, что внутренняя «расслоенность» лексического значения обнаруживает себя и в давно известных лингвистам оппозициях между собственно семантикой слова и порождаемыми им импликатурами, главным, «центральным» смыслом слова и его коннотацией, главным смыслом и модальной рамкой, главным смыслом и смыслом «слабым», логически несамостоятельным (о последней группе см. [Зельдович 1998]).

2 Иногда оценка может быть и «внутренней», быть частью самого повествования; см. [Fleischman 1990].

3 Очевидным исключением из этого правила будет так называемая орнаментальная проза, где более важен не сюжет, но именно разного рода «дополнительные подробности».

в тагальском языке, по данным П. Хоппера [Hopper 1979], ненарративный план рассказа может маркироваться редупликацией глагола; иногда на принадлежность к основной линии указывает порядок слов VS (V – глагол, S – субъект-подлежащее), в то время как словопорядок SV характерен для второго плана (об этом явлении в древнеанглийском см. снова [Hopper 1979], в древнееврейском – [Myhill 1992]).

Вместе с тем, как показали П. Хоппер и С. Томпсон в [Hopper, Thompson 1980] и как было подтверждено многочисленными позднейшими изысканиями (см., например, продолжающие это исследование работы в составленном теми же П. Хоппером и С. Томпсон сборнике [Hopper, Thompson 1982]), среди обсуждаемых средств легко выделяется целый устойчивый комплекс, который характерен для огромного числа типологически разнородных языков.

Из десяти установленных П. Хоппером и С. Томпсон наиболее типичных маркеров первого плана назовем для примера четыре.

Во-первых, это видо-временная форма глагола. В русском языке основное повествование обычно ведется с помощью совершенного вида, а несовершенный типичен для второстепенных, «служебных» фрагментов текста. В языках, где представлена в том или ином виде оппозиция между аористом и имперфектом (французский, испанский и др.; надо помнить, что название этих времен в отдельных языках может быть иное, например, во французском аористу соответствует так называемое *passé simple*), для главного повествования служит первый, а в «фоне» выступает чаще второй (а также, конечно, и другие, более редкие временные формы, как, например, перфект или плюсквамперфект, если, конечно, они в данном языке есть)[1].

Нарушения этих закономерностей, разумеется, допустимы, но всегда сопровождаются особыми смысловыми эффектами. Например, повествование или часть повествования может вестись в настоящем времени (так называемое настоящее нарративное), так что в русском здесь используется уже несовершенный вид глагола, а в языках, различающих для прошедшего аористические и

1 В близкой связи с тяготением нарративных глагольных форм к перфективности/аористичности находится и предпочтительное употребление в наррации телических, а еще больше моментальных (пунктивных) глаголов. Чем «короче» ситуация во времени, тем она, с одной стороны, лучше «заметна» для нашего когнитивного аппарата, а с другой стороны, тем скорее она и сменит какую-то ситуацию, и сама сменится новой ситуацией, то есть будет принадлежать к некоторой хорошо опознаваемой «событийной цепи», и тем увереннее может она претендовать на свое место в нарративной линии дискурса. См. подробнее [Hopper, Thompson 1980].

имперфектные формы, эта оппозиция вообще становится неактуальной, – однако такой способ повествования надо уже считать маркированным, ибо в том случае, если в настоящем нарративном строится весь рассказ, ему, по сравнению с рассказом в прошедшем, придается своеобразный особый драматизм, как будто события автором не вспоминаются, не «извлекаются» по очереди из уже заранее существующей «истории», а непредсказуемо разворачиваются прямо перед ним; в случае же, когда настоящее время выбрано лишь для отдельных фрагментов рассказа, впридачу к этому драматизму, они еще и выделяются на фоне имеющих прошедшее время фрагментов как нечто *особенно* важное, как, фигурально выражаясь, *привилегированный подплан первого плана* (подробнее обо всем этом см. [Fleischman 1990]).

Второй характерный признак нарративной линии, по П. Хопперу и С. Томпсон, – это переходность глагола. Прототипический переходный глагол обозначает такое взаимодействие между субъектом и прямым объектом, при котором происходит переток энергии от первого к второму и второй в результате этого изменяется (возникает, разрушается, меняет форму и т.д.); см., например, [Croft 1991; Dowty 1991; Ackerman, Moore 2001; Levin, Rappaport Hovav 2005]. Между тем и сам переток энергии, и изменения в объекте делают ситуацию особенно «заметной» для нас, а значит, по правилу иконического соответствия, она и в дискурсе скорее должна занять привилегированное место.

В-третьих, главный план повествовательного текста как правило маркируется реальной, а не гипотетической модальностью, ибо реальные события для нашего сознания тоже более «явственны», чем воображаемые. Очевидно, что «воображаемая нарация» сугубо маргинальна; в частности, у нее есть свои собственно лингвистические приметы маркированности, как, например, выбор несовершенного вида (либо имперфекта в романских языках) там, где рассказывается содержание снов (вроде такого: *...И меня* ***догоняло*** *какое-то чудище,* ***хватало*** *зубами за ногу, затем* ***начинало*** *дико рычать... и т.д.*; подробнее об этом см. [Fleischman 1990]).

Наконец, в-четвертых, по той же самой причине для главного плана в повествовании характерна утвердительность. Отрицательное предложение в принципе способно входит в нарративный ряд (ср. хотя бы: *Солдат Петров не подчинился приказу и попал под суд*), но такой случай также принадлежит к исключениям; см. о нем подробнее в той же книге С. Флейшман.

Что касается текстов ненарративного типа, то хотя их внутреннее расслоение на отдельные планы и подпланы изучено слабее, само его присутствие едва ли способно вызвать сомнения; ср. хотя бы безусловную принципиальную «расслоенность» драматического произведения (см., например, [Тюпа 2010]) или бытового диалога, где, скажем, начальные приветственные реплики часто менее значимы, чем последующие, а вопрос в рамках вопросно-ответного единства в определенном смысле менее важен, чем ответ.

Учитывая все сказанное, можно предположить, во-первых, что и лирическое стихотворение будет разделяться, «расслаиваться» на два либо, при более тонком анализе, даже несколько планов, во-вторых, что у этих планов будут свои собственно лингвистические приметы, свои более или менее типичные способы «маркирования».

Разумеется, ни первая, ни вторая гипотеза в таком общем виде не могут претендовать на новизну. Для лирической поэзии уже давно постулировалось наличие у нее главного и второстепенного дискурсивных планов; см., например, [Leech 1969: 56-72]. Дело, однако, в том, что и Дж. Лич, и большинство других затрагивающих эту проблематику авторов признаком первого плана считают наличие разнообразных риторических фигур (метафоры, метонимии, сравнения, гиперболы, параллелизма, зевгмы и т.д.) и всякого рода отклонений от языковой и/или литературной нормы (неологизмы, семантическое переосмысление слов, алогизм и мн. др.) и, как следствие, непредсказуемость или ощутимо ослабленную предсказуемость текста; см., кроме указанной книги Дж. Лича, например, [Shen 2007; Nofal 2011; Manin 2012].

Безусловно, такого типа анализ необходим и плодотворен, однако если свести проблему перспективы в лирическом произведении к вопросу о присутствии разного рода «непредвиденностей» (включая сюда и авторскую метафору, авторскую метонимию и прочие риторические фигуры), то мы упустим из виду некое более фундаментальное разграничение, более фундаментальный «разлом», который непосредственно предопределяется самой жанровой природой лирических произведений и интуитивно как правило «вчитывается» нами в текст даже там, где он прямо не обозначен, и даже в тех редких случаях, когда стихотворение состоит из одной-единственной строки и как будто бы должно исключать всякую «парцелляцию» (ср. пример такого рода в [Сильман 1977: 8-9]), – в то время как присутствие всех названных выше особенностей для лирики пускай и характерно, но отнюдь не необходи-

мо: не так уж мало найдется стихов, где нет ни одной собственно авторской риторической фигуры и не нарушаются сколько-нибудь заметным образом никакие лексические, грамматические, стилистические и литературные конвенции; достаточно вспомнить хотя бы пушкинское «Я вас любил...», где есть лишь одна метафора *любовь угасла*, причем метафора эта общеязыковая и «броситься в глаза», выдвигая соответствующий фрагмент текста на первый план, никак не может.

Существо этого более фундаментального различия прекрасно описано в книге Т.И. Сильман «Заметки о лирике» [1977].

Согласно Т.И. Сильман, по своей изначальной жанровой природе лирическое стихотворение предполагает, во-первых, что автор (или – лирическое ***я***) переживает некоторый *опыт*, во-вторых, что последний подводит автора (лирическое ***я***) к некоторому открытию, постижению некоторой истины, обобщению и/или изменяет авторское восприятие мира, дает новое его понимание; см. особенно [Сильман 1977: 30-31].

Поэтому в подавляющем большинстве случаев текст лирического стихотворения разделяется на эмпирическую часть и «постижение», причем переживаемый опыт служит именно тому, чтобы «постижение» *подготовить*: любые эмпирические сведения, не подчиненные этой цели, воспринимаются как многословие, как нечто эстетически инородное тексту.

Отсюда видно, что две эти части лирического стихотворения строго иерархизированы и что опыт находится тут на втором плане, а планом первым, более важным является именно «постижение», которое в дальнейшем для краткости будем называть также «фокусом» (по аналогии с термином, широко используемым в описании коммуникативной структуры предложения).

Замечание 1. Думаем, что мысль Т.И. Сильман, хоть и превосходно отражает самую суть лирического жанра, наверняка будет требовать уточнений, если прилагать ее к далеким от Европы культурам. Скажем, человек Востока во многих случаях так погружен в свой *внутренний* мир, что нередко забывает о мире материальном (отсюда пресловутый посох дзэнского мастера, которым он охаживает учеников, чтобы напомнить им о материальной действительности: процедура, в принципе ненужная обычному европейцу, живущему преимущественно, а иногда и всецело как раз в материальном). Поэтому именно возврат к вещности или более наглядное этой вещности самораскрытие парадоксально и становится главным «постижением» во многих японских стихотворениях (этим не исключаются символические смыслы, однако они нахо-

дятся в таком случае где-то «за текстом»). Ср. хотя бы танка Исикава Такубоку в переводе В.Н. Марковой:

Там, где упала слеза,
Влажное
Зерно из песчинок.
Какой тяжелой ты стала,
Слеза.

Замечание 2. Полезно также помнить, что сами по себе и понятие «опыт», и понятие «открытие» не вполне определенны и во многом два эти феномена должны определяться через свою взаимосоотнесенность. Иными словами, нередко какая-то часть стихотворения несет в себе и «эмпирические», и обобщающие смыслы, а ее место в композиционной структуре зависит от того, является ли она «более эмпирической» или, наоборот, «менее эмпирической», нежели другие части. Скажем, в стихотворении Ясухара Масаакира (Япония, XVII в.; перевод А. Белых)

Ну и дела! Ну и дела!
Только и скажешь о вишнях,
В горах Есино...,

как это нередко бывает в японских хокку, начало «междометное», «восклицательное», выражает сильные чувства, а затем объясняется, откуда же соответствующая эмоция взялась. Ясно, что ни здесь, ни в иных подобных случаях эта мотивировка скорее не становится постижением новой истины, ибо, уже выражая свои чувства разного рода экскламативами, мы почти всегда отдаем себе более или менее ясный отчет в их источнике. О такого рода стихах можно лишь сказать, что, поскольку экскламативы предполагают непосредственное внутреннее переживание психического опыта, а пояснения обсуждаемого типа нет, постольку первая часть стихотворения здесь в некотором плане «более эмпирична», чем вторая, и в этом смысле вторая может (с долей условности, конечно) считаться «итоговой».

Замечание 3. Читатель уже сам понимает, что риторические фигуры и разного рода нарушение норм, которые для многих авторов являются признаком первого плана в лирических стихотворениях, могут выступать как в эмпирической, так и в «фокусной» их части, так что и в этом отношении оппозиция «конвенциональная речь VS неконвенциональная (образная; нарушающая те или иные правила) речь» имеет более низкий статус, нежели оппозиция «опыт VS постижение истины».

Разумеется, взаимоотношения между эмпирической часть стихотворения и совершаемым в нем «открытием» глубоко и разносторонне диалектичны. Во-первых, опыт по своей природе длителен, а открытие, постижение истины моментально, лишено по сути всякой длительности вообще. Во-вторых, хотя эмпирические фрагменты стихотворения подчинены «фокусу», но и последний столь от них зависим, что для многих стихотворений, формально представляющих собой только открытие истины, только философское обобщение (как, допустим, тютчевское «Природа – сфинкс. И тем она верней...») соответствующий опыт почти с необходимостью должен хотя бы в предельно общих чертах домысливаться, причем нередко и в самом физически *явленном*, имеющем обобщающий характер тексте на этот опыт есть прямые либо косвенные указания[1].

Как следствие из названных обстоятельств, постижение истины, с одной стороны, резко *противостоит* опыту, с другой же стороны, «вырастая» из него, также и теснейшим, органическим образом с ним связано, «сплочено».

Для нас наиболее существенно то, что и эта неразрывная связь, и глубокая оппозитивность двух начал несомненно должны находить свое лингвистическое выражение, над характером которого, насколько мы осведомлены, лингвисты сколько-нибудь последовательно пока еще не задумывались.

Здесь теоретически мыслимы три варианта: сигнализируется и взаимосвязанность, и противостояние между эмпирической частью стихотворения и «открытием»; тем или иным способом указывается только на их оппозитивность, «контрастность»; указывается только на их связь.

Последний вариант едва ли реально осуществляется ввиду своей внутренней противоречивости. В хоть сколько-нибудь длительной эмпирической части стихотворения (а она, повторим, по своей природе как раз тяготеет к тому, чтобы быть относительно длительной; в большинстве стихотворений это как минимум однадве строфы) почти наверняка будут присутствовать указания на ее внутреннюю связность –такие, как семантическое сходство некоторых лексем, общность (анафорическая повторяемость) по крайней мере некоторых референтов, подобие аспектуальных свойств у по крайней мере некоторых глаголов и т.п. Поэтому указание на связь эмпирической части с фокусом в отсутствие каких-то осязаемых признаков *различности* между ними должно приводить к их

1 Подробнее об этом «родственном противоборстве» двух составляющих лирического стихотворения см. [Сильман 1977: 5-45].

формальному *слиянию*, что, разумеется, противоречит самой природе лирического жанра.

Так или иначе, среди проанализированных нами нескольких десятков стихотворений подобная «дискурсивная конфигурация» нигде не обнаружена.

Что касается двух других вариантов композиционного устройства, а именно, варианта, когда теми или иными достаточно «осязаемыми» лингвистическими средствами эмпирические фрагменты стихотворения и содержащееся в нем открытие истины друг от друга отделены, и варианта, когда определенные лингвистические средства обеспечивают одновременно и их формальную разделенность, и их друг с другом спаянность, то оба эти случая в реальных текстах представлены очень широко.

Ниже мы хотим показать, как эта закономерность проявляет себя на уровне так называемых дискурсивных связей (иначе – дискурсивных отношений). По причинам, которые мы объясним чуть ниже, именно этот уровень «самообнаружения» перспективы в лирическом тексте является скорее всего самым основным, «исконным» – хотя вообразимы и многочисленные иные способы ее обозначить, анализ которых здесь затруднен скромным объемом этих заметок.

2. Дискурсивная перспектива лирического стихотворения и внутритекстовые связи

2.1. О типах дискурсивной связи

Известно, что всякий состоящий более чем из одной фразы текст осмыслен постольку, поскольку между входящими в его состав предложениями устанавливается какая-то реляция: каждое предложение связывается по меньшей мере с одним другим предложением посредством определенного предиката; см. особенно книгу [Asher, Lascarides 2003], где показано, насколько серьезно такой предикат способен во многих случаях изменять истинностное значение текста[1]. Если отношения между предложениями нарративные, это предикат наподобие «и потом»; если отношения детализационные, «распространительные» – предикат вроде «и еще скажу о той же самой ситуации»; если отношения контрастивные – пре-

1 Правда, в некоторых случаях постулируемые Н. Ашером и А. Ласкаридес дискурсивные отношения еще не обеспечивают интуитивную связность текста (см. особенно [Sequeiros 1995]), однако то, что они необходимы для связности, совершенно несомненно.

дикат типа «две эти ситуации противоположны или могли бы оказаться противоположными по их влиянию на какую-то третью ситуацию», и т.д. (подробнее см. немного ниже).

Во многих случаях названный предикат остается имплицитным, но нередко получает и разной степени определенности поверхностное выражение: ср. совершенный вид глагола, который обычно «движет вперед» повествование (см. ниже); ср. союз *и*, который тоже часто становится показателем нарративности, или всегда «нарративные» обороты *и потом*, *и затем*, *после чего*; ср. союз *но*, который сигнализирует о контрасте; ср. вводные конструкции *иначе говоря*, *другими словами*, сигнализирующие, что по-новому сообщается уже известное, то есть о дискурсивном отношении *повтора*[1].

В дальнейшем мы будем опираться на представления о дискурсе, которые разработаны Н. Ашером и А. Ласкаридес, а также их последователями в так называемой Теории представления сегментированного текста (Segmented Discourse Representation Theory); см. в первую очередь фундаментальную книгу [Asher, Lascarides 2003]; см. также [Jasinskaja 2009], откуда мы с легкими изменениями заимствовали некоторые из последующих примеров. Эта модель предпочтительна перед иными благодаря своей тонкой теоретической разработанности, а вместе с тем относительной простоте и способности, несмотря на такую простоту, объяснить множество, в том числе на первый взгляд как будто таинственных фактов[2].

1 Подчеркнем, во избежание недоразумений, что ни союз и, ни совершенный вид глагола не являются однозначными показателями нарративности, а только повышают ее вероятность. Так, в текстах, первый их которых ниже будет еще рассматриваться по другому поводу, Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения и Маша расплакалась прямо на рабочем месте. Она получила выговор от начальника употреблены глаголы совершенного вида, однако отношения между частями каждого текста скорее не нарративные, а детализационные в первом случае (здесь два предложения по-разному описывают одно и то же событие) и пояснительные во втором (выговор был причиной слез). Как хорошо известно, конкретный смысл того или иного указывающего на текстовые отношения слова или выражения в большой мере зависит от жанра данного текста, от – в самом широком смысле – «режима интерпретации»; см. богатые иллюстрации в [Fleischman 1990].

2 Из «конкурирующих» моделей дискурса весьма влиятельна модель, созданная В. Манном и С. Томпсон, – так называемая Теория риторической структуры; см. [Mann, Thompson 1988]; анализ и критику этой теории, а также дальнейшую литературу см., например, в [Stede 2008]. Об иных вариантах представления дискурсивной структуры см., например, [Wolf, Gibson 2005].

Хотя в целом дискурсивные связи могут быть весьма разнообразны (так что даже и конечность их списка некоторыми ставится под сомнение; см., например [Nicholas 1994] или [Wolf, Gibson 2005] с дальнейшей литературой и ее кратким обзором), в теории Н. Ашера и А. Ласкаридес выделяется всего лишь несколько базовых, «центральных» типов дискурсивной связи, чьими основными особенностями являются, во-первых, высокая частотность в реальных текстах, во-вторых, простота, благодаря которой эти связи способны обходиться без формального выражения (см. подробнее ниже), в-третьих, их очень четкая отличимость друг от друга. Прежде всего к таким базовым типам принадлежит уже кратко охарактеризованная выше *наррация*, а также *детализация* (в английской традиции – *elaboration*) и примыкающее к ней *пояснение* (*explanation*)[1].

При *наррации* события представляются в их временно́й последовательности.

Полезно помнить, что в лингвистической теории дискурса наррация понимается существенно шире, чем в литературоведении. Для литературоведов наррация обычно подразумевает рассказ о последовательных событиях, которые *находятся в центре авторского внимания*, которые *имели место в действительности, а не в воображении*, которые, будучи взяты вместе, обладают свойством *сюжетности*, то есть *формируют целостную историю*, с отчетливым началом и концом (завязкой и развязкой), причем в норме каждое из них *происходит только один раз*, а потому легко может быть локализовано на временно́й оси по отношению к иным, более ранним и более поздним событиям[2]. Поэтому, скажем, литературоведческая поэтология никак не признает нарративным текст *Иван странный. Вчера вечером сел за книгу – и тут же погасил свет*, где о сюжете в сколько-нибудь привычном смысле слова, конечно же, не приходится говорить и где два последовательных события *сел за книгу* и *погасил свет* упомянуты не столько ради них самих, сколько ради того, чтобы привлечь внимание к *странностям* Ивана. Что касается лингвистики текста, то здесь наррацией считается *любой* сколь угодно краткий рассказ о хотя бы двух

1 Надо сказать, что во многих альтернативных интерпретациях дискурсивных отношений основной их инвентарь не так уж сильно отличается от инвентаря, принятого Н. Ашером и А. Ласкаридес. Ср. хотя бы упомянутую в предыдущем примечании статью Ф. Вольфа и Э. Гибсона.

2 Сверх этого, в «образцовой» наррации есть еще экспозиция, некая «предыстория»; путь от завязки к развязке непременно лежит через кульминацию, и т.д. О многих дополнительных присутствующих тут требованиях, не сводящихся к временно́й рядоположенности событий и их причинно-следственной связанности, см., например, [Shen 1985].

последовательных событиях. В частности, эти события могут не принадлежать к, так сказать, первому плану дискурса и сообщение о них может играть служебную роль (скажем, помогать в построении аргументации, как это обстоит в только что приведенном тексте), могут многократно повторяться, вследствие чего становится крайне трудно приурочить их к тому или иному конкретному времени (так называемая генерализованная наррация, как в тексте *Иван так всегда: сел – и сразу уснул*), могут принадлежать не реальному, а фиктивному миру; ср. хотя бы рассказы о виденном сне, которые по сравнению с «канонической», «типовой» наррацией имеют не только референциальную, но и собственно грамматическую специфику: здесь очень часто используются не характерные в целом для наррации глагольные формы, например имперфект в романских языках или несовершенный вид в русском, ср. хотя бы такой фрагмент: *...И меня* ***догоняло*** *какое-то чудовище. А потом* ***говорило*** *мне человеческим голосом, что я должен трижды подпрыгнуть – и тогда освобожусь от насланных на меня чар*. Все эти явления можно определить как *неканоническую* наррацию, но для лингвиста это – все же *наррация*. (Подробный анализ неканонических случаев, в том числе только что упомянутой генерализованной наррации и рассказов о снах, видениях и т.п. содержится в книге С. Флейшман [Fleischman 1990]).

При *детализации* мы либо еще раз, но иначе называем ту же самую ситуацию (этот тип детализации принято называть *повтором*), либо сообщаем об уже названной ситуации некоторые дополнительные сведения (ср. примеры (1-2) ниже). При пояснении мы даем информацию, почему ситуация возникла (тут часто говорят о *причине* как об особом текстовом отношении), либо почему мы думаем, что так произошло (соответственно, (3) и (4)).

(1) Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения (наиболее естественное прочтение: ‘этим средством были лыжи’, – то есть такое, при котором две пропозиции кореферентны).

(2) Мария испортила одежду. Она утюгом прожгла в блузке дыру (предпочтительна интерпретация, согласно которой второе предложение сообщает о дополнительных обстоятельствах первого события, а не о какой-то иной, независимой ситуации).

(3) Мария испортила одежду. У нее вылились чернила (одежда скорее всего была испорчена именно пролитыми чернилами).

(4) Мария испортила одежду. Она покупала в магазине пятновыводитель (тут вывод, что Мария испортила одежду, делается скорее всего на том основании, что она покупала пятновыводитель).

Кроме того, хоть и не считаются в теории Н. Ашера и А. Ласкаридес основными, «центральными», но достаточно частотны в реальных текстах такие отношения, как *следствие*, *параллелизм*, *контраст* и так называемое *продолжение* (*continuation*; самый слабый, неспецифический тип связи, усматриваемый там, где о ней не удается сказать ничего конкретного), ср. соответственно примеры (5), (6), (7) и (8):

(5) Мария испортила одежду, ей не в чем идти на прием (следствие).

(6) Мария испортила одежду, а Иван разбил окно (параллелизм).

(7) Мария испортила одежду, а Иван ее заштопал и подкрасил (контраст).

(8) Мария испортила одежду. Одежда теперь очень дорогая (продолжение).

О причинно-следственных отношениях заметим, что они весьма часто присутствуют и в наррации, ибо здесь смысл ‘событие P1 предшествует событию P2’ мы склонны усиливать до ‘событие P1 является причиной P2’; см. особенно [Asher, Lascarides 2003]. Впрочем, и собственно наррация без причинно-следственных отношений имеет право на существование; в частности, некоторые языки располагают специальными средствами, позволяющими два эти типа наррации разграничить; см., например, [Кибрик 2008].

Учитывая и необычайно высокую частотность причинно-следственного отношения в реальных текстах, и его тесную связь с таким важным, центральным отношением, как наррация, и бедность его маркировки (сплошь и рядом здесь нет специального показателя, как, в частности, нет его в примере (5)), можно и причинно-следственное отношение тоже считать одним из центральных, когнитивно наиболее доступных.

В качестве особого отношения в литературе обычно выделяют отношение между «фоном», так сказать, вторым планом нарративного текста и главной, «первоплановой» линией повествования. Особым типом можно признать также отношения интродуктивные – те, которые устанавливаются в нарративном тексте между собственно повествованием и начальным фрагментом текста, где чаще всего бывают представлены главные персонажи, место и время действия (ср. типичные сказочные зачины вроде *Жили были старик и старуха*; *В некотором царстве…*; *Давным-давно…*), а также предыстория повествуемого, то есть более или менее давние события, которые исключены из актуального сюжетного времени.

2.2. О некоторых важных свойствах дискурсивной связи в лирическом тексте

Обсуждая дискурсивные связи в лирическом тексте, надо помнить о трех важных обстоятельствах, первые два из которых касаются не только поэзии, но и всей нашей речевой коммуникации вообще, однако в поэзии проявляют себя намного ярче и будут весьма существенны для дальнейшего анализа, последнее же характерно скорее именно для лирики, а не для прозаической речи.

Обстоятельство 1. В самых разных школах языковой прагматики в той или иной форме признается, что, интерпретируя высказывание, мы стремимся получить из него как можно больше релевантной в данный момент и в данном коммуникативном контексте информации; ср. Постулат информативности у П. Грайса; ср. особенно работы по Теории релевантности, где этот мотив разработан исключительно подробно, в первую очередь [Sperber, Wilson 1995; Carston 2002].

Как показано в работах Н. Ашера и А. Ласкаридес, особенно в книге [Asher, Lascarides 2003], проекция этого общего принципа на структуру дискурсивных отношений состоит в том, что для всякой пропозиции в тексте устанавливается *как можно больше дискурсивных связей* – если, конечно, они релевантным образом обогащают когнитивную среду адресата.

Иллюстрируя этот принцип максимальной когерентности, Н. Ашер и А. Ласкаридес приводят примеры следующего рода [Asher, Lascarides 2003: 18 и др.]:

(9) Иван переехал из Петербурга в Москву. Там меньше платят.

Хотя в принципе каждому анафорическому выражению мы ищем *ближайший* в тексте подходящий антецедент и хотя для наречия *там* таким антецедентом была бы *Москва*, более естественная, первой приходящая на ум интерпретация этого текста иная: антецедентом становится Петербург, именно там платят меньше.

Объясняется это тем, что при первой интерпретации между двумя предложениями устанавливалась бы только одна детализационная связь (второе предложение дает дополнительную информацию о чем-то таком, что уже описывалось в первом), а при второй интерпретации связей было бы уже *две* – все та же детализационная, плюс пояснительная: здесь второе предложение указывает также на *причину*, по которой Иван переехал.

Принцип максимальной когерентности, принцип «ищи в тексте как можно больше релевантных дискурсивных связей» как раз и ответствен за описанное интерпретационное предпочтение[1].

Что касается лирической поэзии, то в ней, судя по всему, эта тенденция должна проявлять себя еще ощутимее, хотя бы уже в силу двух очевидных причин.

Во-первых, как хорошо известно, в поэтическом тексте в принципе значимы все его элементы, все его особенности, в том числе такие, какие становятся пренебрежимыми и в обычной речи, и даже в художественной прозе. Иными словами, «область релевантного» тут радикально расширяется и как следствие может становиться интересным любой сопряженный с установлением той или иной дискурсивной связи дополнительный смысл.

Во-вторых, лирический текст имеет гораздо больше прав на многосмысленность, смысловую «размытость» всех своих единиц, а это позволяет многообразнее их друг с другом соотносить.

Например, в стихотворении О.Э. Мандельштама «Я не слыхал рассказов Оссиана...» строки 9-10, *Я получил блаженное наследство – Чужих певцов блуждающие сны*, по отношению к строкам 3-4, *Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна?*, можно воспринять и как детализацию (презумптивная часть заключенного в строках 3-4 вопроса, *мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна*, и *Я получил блаженное наследство...* суть разные описания одной и той же ситуации), и как следствие, вы-

1 Есть один очень интересный класс примеров, которые также могли бы тут служить иллюстрацией, но которые у Н. Ашера и А. Ласкаридес специально не рассматриваются. Текст вроде *Стояла темная ночь. Иван пошел купаться на озеро* можно понимать и в чисто детализационном ключе (первая фраза дает дополнительные сведения о том, что описано во второй, либо, что менее естественно, вторая – дополнительные сведеня о *темной ночи*), и в ключе контрастивном, когда наряду с детализационными отношениями между фразами предполагается антитеза (темная ночь – неподходящее время для купания в озере). Поскольку же антитетичность, хотя бы некоторую трудносовместимость усмотреть у двух ситуаций во многих случаях не так уж трудно, то можно предположить, что достаточно часто обсуждаемый принцип максимализации дискурсивных связей будет подталкивать и автора, и читателя именно к поиску контрастов. На эту закономерность обращали внимание и авторы многочисленных поэтик, и писатели, например, В.В. Набоков в «Даре»: *А какие вещи у богатых: «кровати из розового дерева... шкапы с пружинами и выдвижными зеркалами... штофные обои...! А там, бедный труженик...».* ***Связь найдена, антитеза добыта****: с большой обличительной силой и обилием предметов обстановки, Николай Гаврилович вскрывает всю их безнравственность* (подчеркнуто нами – ГЗ).

вод (‘*поскольку* мне мерещится поляна…, *постольку* я вижу, что получил блаженное наследство’), и как причину.

1.
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

2.
И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

3.
Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

4.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И, как свою, ее произнесет.

Обстоятельство 2. Как видно из только что сказанного, иногда в дискурсивную связь может входить не предложение как таковое, а *часть* его смысла: упомянутые детализационные отношения устанавливаются между предложением *Я получил блаженное наследство – Чужих певцов блуждающие сны* и «урезанным» содержанием вопроса *Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна?*, а именно, его содержанием, за вычетом обстоятельства цели *зачем* и вопросительной иллокуции.

Еще нагляднее это явление в стихотворении Эмили Дикинсон:

1.
We never know how high we are
Till we are called to rise;
And then, if we are true to plan,
Our statures touch the skies –

2.
The Heroism we recite
Would be a daily thing,
Did not ourselves the Cubits warp
For fear to be a King –

1.
Мы никогда не знаем, как мы высоки,
Покуда нас не призовут восстать;
И тогда, если мы соответствуем замыслу,
Наши фигуры досягают небес –

2.
Тот Героизм, о котором мы твердим,
Был бы повседневной вещью,
Если бы мы сами не коробили нашу Меру
(букв. – *Локоть* как меру длины)
Из страха быть Царем –[1]

Последняя строка достаточно ясно говорит, *как же* люди высоки (они цари) и в этом плане детализирует первую, создавая таким образом очень важное композиционное кольцо.

Вместе с тем, смысл ‘люди в какой-то степени высоки’ составляет лишь часть содержания начальной строки («вычитается» тут фрагмент *Мы никогда не знаем, как…*), а смысл ‘люди – цари’ в последней вообще не выражен прямо, не содержится в собственно *сказанном*, но лишь угадывается в качестве импликатуры: ‘мы боимся быть царями’ => ‘вероятно, мы *можем* быть царями’ => ‘в некотором мире «сущностей», в мире «подлинностей», отличном от нашего обыденного мира, мы цари’. (На том, как в деталях происходит этот прагматический вывод, здесь останавливаться не обязательно.)

---

1 Стихотворение переводилось на русский язык многократно. Приводим перевод В.Н. Марковой:

Мы не знаем – как высоки –
Пока не встаем во весь рост –
Тогда – если мы верны чертежу –
Головой достаем до звезд.

Обиходным бы стал Героизм –
О котором Саги поем –
Но мы сами ужимаем размер
Из страха стать Королем.

Обстоятельство 3 тоже касается существенно большей по сравнению с обычной речью свободы дискурсивных связей в поэтическом тексте и заключается в том, что тут радикально облегчено их дистантное установление.

Посмотрим на такой прозаический текст (для наглядности каждое предложение пишем с новой строки и снабжаем буквенным индексом):

(10) (а) У нас в гостях Иван.
(б) Что он за человек?
(в) Он сидит за столом.
(г) Он не гений, но очень амбициозен.
(д) Он пьет чай.
(е) Он хочет славы.

Ясно, что текст этот вопиюще бессвязен. Теоретически рассуждая, здесь фразы (б), (г) и (е), которые все касаются человеческих качеств Ивана, могли бы служить описанием одной ситуации и вступать друг с другом в детализационные отношения; ср. правильный текст:

(11) (б) Что он за человек?
(г) Он не гений, но очень амбициозен.
(е) Он хочет славы.

Связь между фразами (в) и (д) тоже могла бы быть детализационной (обе отвечают на вопрос *Что Иван сейчас делает?*); ср. тоже правильное:

(12) (в) Он сидит за столом.
(д) Он пьет чай.

Исходный же текст (10) аномален потому, что, хотя *по содержанию* сказанного названные связи совершенно естественны, просто «напрашиваются», действительно установить их мешает тематическая перебивка, то, что «родственные» тематически предложения в каждом случае отделяются друг от друга инородными[1].

А между тем лермонтовский «Парус», который нам и в голову не приходит считать бессвязным, построен именно так:

1.
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. –
Что́ ищет он в стране далекой?
Что́ кинул он в краю родном?

1 Более подробный и формализованный анализ этого ограничения на устройство дискурсивных связей см. в [Asher, Lascarides 2003].

2.
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! – он счастия не ищет
И не от счастия бежит! –

3.
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой: –
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Здесь строки 1-2, строки 5-6 и строки 9-10 находятся в детализационных отношениях, и в таких же (возможно, наряду с некоторыми другими; подробный разбор этого стихотворения будет дан позднее) отношениях находятся строки 3-4, 7-8 и 11-12, но в первом и втором случае это *разная* детализация, описание *разных* ситуаций: в первом – описание «фона», того, где же и в каком «окружении» парус находится, во втором – рассказ о, фигурально выражаясь, «собственном мире» паруса, его устремлениях.

Таким образом, перебивка тем, вторжение инородного смыслового материала между связанными тем или иным дискурсивным отношением фрагментами текста если и не безразлично для дискурсивных связей в лирике, то во всяком случае ограничивает их установление куда меньше, нежели в текстах прозаических. Разумеется, чем легче дискурсивная связь может устанавливаться «через голову» другой связи, тем более густую «сетку» дискурсивных отношений способен формировать данный текст. Многие стихотворения действительно обнаруживают, перифразируя знаменитое выражение Ю.Н. Тынянова, необыкновенную тесноту, плотность «дискурсивного ряда».

2.3. Богатство дискурсивных связей как маркер первого плана в лирическом стихотворении

Как мы уже говорили выше, в принципе первый и второй планы лирического текста могут маркироваться бесконечно разнообразными способами: «постижение» может отличаться от эмпирической части любым теоретически мыслимым лингвистическим свойством, например, иной темпоральной соотнесенностью, иным составом референтов, иной пространственной, темпоральной, когнитивной позицией автора, в конце концов (хотя этот слу-

чай уже экзотичен) отсутствием каких-то частей речи, которые в эмпирической части появлялись.

На таком фоне могло бы создаться впечатление, что если эмпирическая часть и фокус стихотворения различаются по типу и/или по богатству тех дискурсивных отношений, в которые вступают соответствующие пропозиции, то этот контраст занимает среди иных структурирующих лирическое стихотворение средств лишь рядовое, обыкновенное место.

Тем не менее, это вовсе не так.

Из всего сказанного выше, в п. 1, видно, что взаимоотношения между эмпирической частью и фокусом глубоко диалектичны. С одной стороны, это разные и в принципе противопоставленные друг другу фрагменты текста, и отсюда несомненная потребность их *разграничить*. С другой стороны, «постижение» как бы *вырастает* из эмпирической части, оно, в идеале, безупречно ею подготовлено и в этом смысле оказывается своеобразным замковым камнем, благодаря которому обретает целостность *весь* текст.

Поэтому *идеальным* способом маркировать разделение лирического дискурса на первый и второй планы был бы такой, который позволил бы и различить эти планы формально, и в то же время обозначить их глубокую взаимосвязь.

Ясно, что этому «высшему» критерию отвечают далеко не все вообразимые средства. Большинство из них годится лишь для различения, разделения планов, а «синтезирующий» потенциал у них либо слаб, либо вообще отсутствует.

Допустим, первый и второй планы различаются своей временной соотнесенностью. В таком случае обсуждаемая «синтетическая» тенденция могла бы проявиться в том, что временная соотнесенность фокуса была бы шире, «универсальнее», чем временная соотнесенность эмпирических фрагментов, так что он бы в этом смысле их и «охватывал», обнаруживая таким образом свое *главенство*, и вместе с тем на них бы *опирался*, от них *зависел*, отчасти строясь в тех же самых темпоральных координатах.

Это явление действительно встречается, но не так уж часто, ибо «постижение», как многократно, хотя и пользуясь несколько иными терминами, подчеркивала Т. Сильман [1977], тяготеет к гномичности, к тому, чтобы стать «вечной» истиной или по крайней мере ее близким подобием, а такая временная соотнесенность всегда *заведомо шире* любой соотнесенности конкретной, любой прикрепленности к конкретному, известному или во всяком случае в принципе опознаваемому временному интервалу, которая как раз и характерна в лирике для эмпирического плана.

Поэтому в прототипическом случае, когда специфика жанра не подвергается никаким акцидентальным, идущим от данного отдельного контекста возмущениям, более широкая временная соотнесенность у фокуса оказывается просто *тривиальной*, чем и объясняется сравнительно редкое использование этого способа маркировать перспективу в лирических стихотворениях.

Другое не просто теоретически вообразимое, но достаточно часто используемое в текстах средство состоит в том, чтобы нарушить в фокусе референциальную связность текста, в простейшем варианте внезапно ввести в текст новые референты или уже знакомые, «активированные» представить как впервые вводимые. Понятно, что *отделить* таким образом фокус от эмпирической части можно, а вот указать на их *связь* – уже нельзя.

В принципе могло бы случиться, что в фокусе сразу *все вместе* появились бы те референты, которые были прежде «рассыпаны» по (обычно достаточно длинной сравнительно с фокусом!) эмпирической части, однако принципиальная краткость фокуса делает такой всеобщий «финальный выход» практически неосуществимым, так что искомая интеграция текста в референциальной плоскости весьма проблематична.

Очевидно, что большинство иных способов маркировать перспективу в лирическом стихотворении на «интегрирующую» роль подходят еще хуже, ибо тут даже чисто умозрительная возможность интеграции как правило отсутствует. Скажем, если бы в стихотворении на первом плане присутствовали глаголы (прилагательные, частицы и т.д.), а на втором плане их не было, либо же только на первом плане присутствовали вопросы, либо же только первый план имел реальную модальность, либо же только на первом плане появлялась того или иного рода оценочность, либо же только первый план содержал полипредикативные синтаксические структуры и т.д., то эта особенность безусловно может *разделить*, *противопоставить* два плана, однако совершенно не видно, как здесь могла бы обнаружить себя их *взаимозависимость*.

Безусловно, маркировать в обсуждаемом аспекте дискурсивную структуру стихотворения достаточно и этим более простым способом, одним только *разделением* первого и второго планов, и это зачастую именно так и происходит, однако, повторим, в силу особенностей самого жанра «идеальным» маркером этой структуры надо признать тот, который и противопоставит планы друг другу, и одновременно их друг с другом *соединит*.

Именно такого рода средством потенциально является *система устанавливаемых в стихотворении дискурсивных связей*.

Если окажется, что по числу и/или по качественному богатству своих дискурсивных связей фокус (достаточно ощутимо, конечно) превосходит эмпирическую часть произведения, то, с одной стороны, эти его планы будут друг другу и формально противопоставлены, с другой же стороны, поскольку фокус по природе тяготеет к краткости, весьма и весьма вероятно, что либо все его дискурсивные связи, либо их большинство окажутся направлены к эмпирической части, что и обеспечит желательную «слитность», «нерасторжимость» двух планов текста.

Поэтому можно предполагать, что в достаточно многих лирических стихотворениях дискурсивные связи той их части, где происходит открытие некоторой истины, окажутся богаче дискурсивных связей у части эмпирической.

Ниже мы хотим привести подтверждающие эту гипотезу примеры.

2.4. Пример 1

Начнем с предельно наглядного примера, которым будет мандельштамовский «Ламарк»:

1.
Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

2.
Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

3.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

4.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

5.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

6.
Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

7.
И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу в темные ножны.

8.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

«Постижением» или во всяком случае важнейшей частью «постижения» несомненно является тут заключительное *...тех, У кого зеленая могила, Красное дыханье, гибкий смех...* (≅ ‘для нас/людей характерно то, что у нас зеленая могила и т.д.’). Очевидно, что коннотация тут безусловно положительная и что сказанное становится своеобразной антитезой к большому числу пропозиций, содержащихся в предшествующем тексте: и к тому, что *все живое лишь помарка...*, и к тому, что *[З]ренья нет*, и к тому, что *[П]рирода вся в разломах*, и к тому, что *Наступает глухота паучья*, и к тому, что *Здесь провал сильнее наших сил*, и к бегству, отречению от своей природы, которое описывается в строках 7-12 (в общей сложности *шесть* пропозиций, не считая тоже способного претендовать на достаточно самостоятельный статус деепричастного оборота *Прошуршав средь ящериц и змей*), к тому, что *[О]т нас природа отступила* и что *[К]ак будто мы ей не нужны*.

Сверх этого, в последнем случае, вероятно, есть еще и две связи пояснительные: отступление природы и ненужность ей людей как раз и имеют своей причиной то, что у них зеленая могила и т.д.

Но даже если эти две связи счесть факультативными и ими пренебречь, то и тогда число дискурсивных отношений, в которые вступает заключительный фрагмент «Ламарка», равняется ни много ни мало *тринадцати*. Думаем, и без пристального анализа ясно, что ни одна другая часть стихотворения ни таким же, ни даже сопоставимым числом текстовых связей не обладает.

Добавим, что, по всей видимости, подобная «дискурсивная фигура», когда фокус стихотворения находится в контрасте со всеми либо с многими его частями, не только далеко не редка, но скорее и весьма типична для лирической поэзии. Вспомним хотя бы «Свидание» Б. Пастернака, где последняя строфа тоже вступает со всем предтекстом в своеобразные антитетические отношения:

1.
Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

2.
Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

3.
Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

4.
Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

5.
И прядью белокурой
Озарены: лицо,

Косынка и фигура
И это пальтецо.

6.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

7.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

8.
И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

9.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

10.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

2.5. Пример 2

Другим подтверждающим нас тезис примером будет «Парус» М.Ю. Лермонтова:

1.
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. –
Что́ ищет он в стране далекой?
Что́ кинул он в краю родном?

2.
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! – он счастия не ищет
И не от счастия бежит! –

3.
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой: –
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Рассмотрим по очереди, в какие дискурсивные связи вступает каждая содержащаяся в этом стихотворении пропозиция.

Первая, *Белее парус одинокой В тумане моря голубом*, связана с иными следующим образом.

Вопрос *Что ищет он в стране далекой?* содержит презумпцию ‘он что-то в далекой стране ищет’, и ее вполне резонно воспринять как *детализацию* первых двух строк.

Такой же их детализацией является и смысл ‘он что-то кинул в родном краю’, содержащийся как презумпция в следующем вопросе, *Что кинул он в краю родном?*

Помимо этого, вытекающую из названного смысла импликацию ‘он оставил родной край’ можно здесь воспринять и как *пояснение*, уточняющее причину того, почему парус оказался в данном месте.

Кроме того, оба рассматриваемых вопроса выражают смысл ‘я хочу знать, что парус ищет / что оставил в родной стране’, и само это желание говорящего логично интерпретировать как *следствие* того, что он видит одинокий парус.

Очевидно, детализацией к интересующим нас начальным строкам становится и *Играют волны*, и *[В]етер свищет*, и *[М]ачта гнется и скрипит*, и *[О]н счастия не ищет и не от счастия бежит*,[1] и *Под ним струя светлей лазури*, и *Над ним луч солнца золотой*, и *[О]н, мятежный, просит бури*.

Таким образом, первые две строки стихотворения вступают в 12 дискурсивных связей.

---

1 Разумеется, и сочинительную конструкцию *[М]ачта гнется и скрипит*, и конструкцию *[О]н счастия не ищет и не от счастия бежит* в принципе можно трактовать как две самостоятельные пропозиции, но мы, чтобы не перегружать текст, этого делать не будем. Предоставляем читателю убедиться, что такое упрощение никак не скажется на наших главных выводах.

Третья строка, *Что ищет он в стране далекой?*, как мы уже видели, связана с первыми двумя детализационным отношением.

С четвертой строкой, *Что кинул он в краю родном?*, здесь имеется, во-первых, отношение «причина-следствие» (парус чего-то ищет в чужом краю, следовательно, он оставил родной), во-вторых, отношение очевидного параллелизма.

Далее, смысл 'парус чего-то ищет в далекой стране' детализируется пропозициями *Играют волны, [В]етер свищет, [М]ачта гнется и скрипит* (дающими информацию, грубо говоря, о том, при каких же обстоятельствах происходит этот поиск), пропозицией *[О]н счастия не ищет и не от счастия бежит* (тут содержится хотя и уклончивый, лишенный определенности, но все же по крайней мере частичный ответ на вопрос, чего же парус ищет) и, наконец, – теперь уже вполне удовлетворительным, «информативным» образом – пропозицией *[О]н, мятежный, просит бури*.

Как видим, строка 3, *Что ищет он в стране далекой?*, вступает в 8 дискурсивных связей.

Что касается строки 4, *Что кинул он в краю родном?*, то выше уже говорилось, что она связана со строками 1-2 как одновременно детализация и пояснение, а со строкой 3 как следствие и впридачу с ней по смыслу и синтаксически параллельна.

Кроме того, частичным ответом на заданный тут вопрос становится строка 11, *А он, мятежный, ищет бури* (следовательно, в родном краю он оставил скорее всего спокойствие), так что с одиннадцатой строкой устанавливаются пояснительные отношения.

Иных связей у четвертой строки не видно, так что их общее число – 5.

Далее, три содержащиеся в строках 5-6 пропозиции (*Играют волны, [В]етер свищет, [М]ачта гнется и скрипит*) связаны каждая со строками 1-2 детализацией – и детализацией также со строкой 3.

Пропозиция *[О]н счастия не ищет и не от счастия бежит* со строками 5-6 находится скорее всего в контрасте: учитывая последующие строки *Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой…*, где описываемое оценивается несомненно положительно, надо думать, что и *Играют волны, ветер свищет, И мачта гнется и скрыпит* – это нечто хорошее, нечто такое, в чем есть предпосылка счастья, а в этом случае обсуждаемое дискурсивное отношение должно быть именно противопоставительным.

Что же касается отношений между строками 5-6 и строками *Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой…*, то это отношения детализации.

Наконец, в контраст интересующие нас строки вступают еще и с предпоследней строкой, *А он, мятежный, просит бури*.

В итоге у всех трех пропозиций из строк 5-6 обнаруживается по 5 дискурсивных связей, а учитывая еще и то, что эти пропозиции связаны также и друг с другом (*Играют волны* и *[В]етер свищет* суть причины, почему *[М]ачта гнется и скрипит*; между *Играют волны* и *[В]етер свищет* есть параллелизм), дискурсивных отношений оказывается по 7 для *Играют волны* и для *[В]етер свищет* и 6 для *[М]ачта гнется и скрипит*.

Далее, строки 7-8, *Увы! – он счастия не ищет И не от счастия бежит!*, как мы уже говорили, по отношению к строкам 1-2 становятся детализацией, и детализацией являются они и по отношению к строке 3, *Что ищет он в стране далекой?* (в строках 7-8, повторим, дается хоть и явно неполный, но все же ответ на этот вопрос).

Поскольку, как тоже выше упоминалось, все три представленные в строках 5-6 пропозиции, *Играют волны*, *[В]етер свищет* и *[М]ачта гнется и скрипит*, сообщают скорее о чем-то хорошем, априори желанном, постольку с ними всеми строки 7-8 находятся в отношении контраста. В контрасте они, разумеется, и с *Под ним струя светлей лазури*, и с *Над ним луч солнца золотой*.

Наконец, с пропозицией *[О]н, мятежный, ищет бури* рассматриваемый фрагмент вступает в детализационную связь.

Всего, таким образом, у строк 7-8 дискурсивных «спаек» обнаруживается 8.

Что касается пропозиции *Под ним струя светлей лазури* (строка 9) и пропозиции *Над ним луч солнца золотой* (строка 10), то каждая из них, как мы помним, вступает в отношения детализации со строками 1-2, в отношения детализации со всеми тремя пропозициями, содержащимися в строках 5-6, и в контраст со строками 7-8. Сверх этого, очевиден тут и контраст со строкой 11, *А он, мятежный, ищет бури*, так что всего дискурсивных связей тут 6.

У строки 11 дискурсивные связи богаче. Она, повторим, относится как детализация и к строкам 1-2, и к строке 3, и к трем пропозициям, содержащимся в строках 5-6, и к строкам 7-8. Со строкой 9 и со строкой 10 связь строится по принципу контраста, а со строкой 4 связь пояснительная. Сверх этого, строка 11 вступает с последующим сравнительным оборотом *Как будто в бурях есть покой* еще и в детализационную связь (последний указывает на то, *как же* происходит поиск: на его страстность, его упорство и т.п.), и в связь пояснительную (последний дополнительно говорит о *причине*, побуждающей к поиску), так что общее число связей составляет здесь целых *одиннадцать*.

Заключительная строка, будучи сравнительным оборотом, подчинена здесь только и единственно предшествующему *А он, мятежный, ищет бури* и вступает, таким образом, лишь в две упомянутые связи.

Итак, мы выяснили, в какое число дискурсивных отношений вступает каждая содержащаяся в «Парусе» пропозиция.[1] Запишем теперь стихотворение еще раз, отмечая число этих связей напротив соответствующей строки (там, где одна пропозиция занимает две строки, цифру ставим при первой из них; если одна строка содержит две пропозиции, ставим сразу две цифры):

1.	
Белеет парус одинокой	12
В тумане моря голубом. –	
Что́ ищет он в стране далекой?	8
Что́ кинул он в краю родном?	5
2.	
Играют волны, ветер свищет,	7, 7
И мачта гнется и скрыпит;	6
Увы! – он счастия не ищет	8
И не от счастия бежит! –	
3.	
Под ним струя светлей лазури,	6
Над ним луч солнца золотой: –	6
А он, мятежный, просит бури,	11
Как будто в бурях есть покой!	2

Максимальное число дискурсивных связей тут у начальных строк, и это, несколько парадоксальным образом, вполне объяс-

1 Самостоятельным, имеющим права пропозиции мог бы, абстрактно, говоря, считаться смысл ‘парус мятежен’, выраженный в строке 11 обособленным определением. Если так, то между этой пропозицией и другими пропозициями должна возникать дискурсивная связь: скажем, очевидна связь детализационная и причинно-следственная с *[О]н счастия не ищет* из строки 7.

Мы не будем рассматривать эту возможность, поскольку в таком случае *в равной мере* увеличилось бы число связей и у каких-то иных фрагментов текста, и у строки 11 и никак бы не было отменено то преимущество, которое тут есть на стороне последней и которое, как мы увидим чуть ниже, играет столь знаменательную роль в композиционной организации «Паруса».

нимо. Дело в том, что вообще начальный фрагмент всякого стихотворения, кроме, возможно, отдельных весьма экзотических случаев, *не бывает* его фокусом, его смысловым итогом, а потому здесь богатство связей маркером дискурсивного первого плана заведомо не может стать. С другой стороны, известно, что и в целостном тексте, и в достаточно самостоятельном фрагменте текста (в отдельном предложении, в отдельном абзаце, в отдельной главе, в отдельной стихотворной строке, если она обладает относительной смысловой целостностью, в отдельной строфе, при том же условии, которое здесь соблюдается в подавляющем большинстве случаев) исключительно сильной позицией является не только финал, но также и начало; см., например, [Gernsbacher, Hargreaves 1992].

Поэтому предположению о том, что фокус стихотворения часто отмечен богатством дискурсивных связей, их богатство в открывающей стихотворение части вовсе не противоречит. Просто само это предположение при строгом подходе надо сформулировать более тонко: фокус стихотворения должен тяготеть к богатству дискурсивных связей, большему, чем остальные его фрагменты, *за вычетом начального*.

В строках 3-10 «плотность» дискурсивных связей резко падает (в ряде случаев вдвое и даже больше, чем вдвое: до 5-8 связей на одну пропозицию), чтобы затем вновь резко, до одиннадцати, возрасти в строке 11, *А он, мятежный, просит бури*,[1] то есть именно в той строке, которая интуитивно воспринимается как начало «постижения», «открытия», подготовленного всем предыдущим текстом.

Вторая часть этого «открытия» – заключительная строка *Как будто в бурях есть покой!* – обнаруживает, напротив, наименьшее (притом в целых 2,5 – 6 раз меньшее, нежели у иных фрагментов текста) число дискурсивных связей.

Таким образом, дискурсивный фокус «Паруса» маркирован двояко. Здесь осуществляется и более «богатая» стратегия, когда обилием дискурсивных связей фокус и противопоставлен эмпирической части, и с нею тесно «сопряжен» (строка 11, *А он, мятежный, просит бури*), и стратегия «минималистическая», когда через

1 Скачкообразность этого роста дополнительно подчеркнута и тем, что у непосредственно предшествующих одиннадцатой строке строк 9 и 10 связей всего по 6; они, наряду со строками 4 и 6, принадлежат здесь к, так сказать, слабее всего «укорененным» в дискурсе. Окажись строка 11 в непосредственном соседстве со строками 3 и 7, у которых связей по 8, ощутимость контраста несомненно бы уменьшилась.

структуру дискурсивных связей фокус и эмпирическая часть только друг другу противополагаются, а их содержательная «сопряженность», содержательная подготовленность первого второй лишь подразумевается или, возможно, сигнализируется уже совершенно иными средствами (чей репертуар, впрочем, как мы говорили выше, едва ли окажется сколько-нибудь обширным).

2.6. Пример 3

Во многом похожим и тоже весьма интересным примером является следующее стихотворение О.Э. Мандельштама:

1.
Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

2.
И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек, –
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

3.
Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы.
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

4.
Небо тусклое с отсветом странным –
Мировая туманная боль –
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.

Интуитивно несомненно, что дискурсивным фокусом, «открытием» становятся здесь две заключительные строки, а весь предыдущий текст их появление подготавливает.

Особенно это наглядно для строки предпоследней, *О, позволь мне быть также туманным*, где желание автора воспринимается как самый прямой «вывод», самое прямое «следствие» из це-

лого множества перечисленных выше свидетельств о неприютности, недружелюбности мира: из того, что воздух пасмурен и влажен (стало быть, с большой вероятностью в воздухе висит либо предчувствуется *туман*); из того, что жизнь сумрачна (сумрак и туман очевидно друг другу очень сродни, ибо оба мешают видеть, оба противны ясности); из того, что озеро сонно (сонное озеро тоже определенно ассоциируется с туманом); из того, что стволы сосен одурманены двойным отражением (тоже противоположно ясности, возможности отчетливо видеть); из того, что небо тускло; из того, что весь мир – «туманная боль». Даже если строка *О, позволь мне быть также туманным* связана отношениями «следствие – причина» только с этими фрагментами эмпирической части (а нельзя исключать причинно-следственную и связь по другим, менее очевидным линиям), то и здесь связей *целых шесть*.

Существенно и другое.

Если бы поэт просто сказал *О, позволь мне быть туманным*, без слова *также*, отношение этой строки к упомянутым фрагментам предтекста исчерпывалось бы связью типа «следствие – причина». Однако коль скоро частица *также* здесь появляется и, тем самым, появляется прямое, лексикализованное указание на параллелизм, сходство того, к чему стремится автор, и соответствующих частей предтекста, то дискурсивные связи обсуждаемой строки сразу обогащаются *вдвое* и в сумме их становится 12.

Кроме того, строка эта связана с последней строкой по принципу детализации (в обеих речь идет по сути об одном и том же, только о разных его «гранях») и, возможно (почему именно *возможно*, будет видно чуть ниже), как причина со следствием (автор хочет быть «туманным» и *поэтому* хочет не любить), что дает еще более внушительную цифру: 13 или 14 связей.

Предоставляем читателю самому убедиться, что ни одна пропозиция в предшествующей части стихотворения ни в такое же, ни даже просто в сопоставимое число дискурсивных отношений не вступает.

Что касается последней строки, *И тебя не любить мне позволь*, то весь контекст как будто бы дает нам право отождествить здесь отсутствие любви с туманом, а в таком случае дискурсивные связи этой строки с «эмпирическими» строками 1-14 должны быть целиком подобны связям предпоследней строки и, соответственно, должны оказаться исключительно богатыми.

Вместе с тем, если, как мы видели шестью абзацами выше, связь между сообщающими о тумане, тусклости, затрудненности видения фрагментами достаточно ясно подсказывается здесь их

лексическим наполнением, то отождествление тумана с «безлюбостью» такой собственно лингвистической поддержки лишено, поэтому более убедительным кажется совсем иное прочтение последней строки, при котором она вовсе не «вырастает» из тех обстоятельств, что воздух пасмурен, влажен, жизнь сумрачна и т.д., но появление ее, наоборот, *неожиданно*, *не подготовлено* предтекстом – и в таком случае во вполне определенной дискурсивной связи она состоит только и единственно с предпоследней строкой, с которой соотносится как детализация и, возможно, как следствие.

Читатель с легкостью вновь-таки сам удостоверится, что дискурсивные связи у любой пропозиции в эмпирической части стихотворения богаче, чем связи этой строки: среди прочего, потому, что, как мы видели выше, тут 6 пропозиций входят с предпоследней строкой сразу в два дискурсивных отношения (причинно-следственное, контраст), а впридачу к этому фрагменты эмпирической части еще и дискурсивно соотнесены *между собой*; скажем, *Я участвую в сумрачной жизни* может быть и детализацией и пояснением (указанием на причину) к *Легкий крест одиноких прогулок Я покорно опять понесу*, и детализацией и пояснением к *И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрек*, и причиной «мировой туманной боли», и т.д.

Иными словами, так же, как это было с лермонтовским «Парусом», в рассмотренном стихотворении реализуется и «оптимальная» стратегия маркирования фокуса через богатство его дискурсивных связей (в предпоследней строке), и (в последней строке) стратегия, в общем случае менее желательная, обратная, при которой фокус отмечен крайней бедностью этих связей – что, однако, тоже позволяет успешно противоположить его «эмпирике».

2.7. Пример 4

Утверждая или, в отсутствие внушительной статистической выборки, во всяком случае предполагая, что содержащееся в лирическом стихотворении «постижение», «открытие» часто бывает отмечено богатством своих дискурсивных связей, надо помнить, что богатство это может состоять не только в их количестве, в их многочисленности, но также и в их большем по сравнению с эмпирическими фрагментами смысловом разнообразии. Оно в принципе не зависит от численного перевеса, так как фокус теоретически может и проигрывать перед эмпирической частью по общему числу дискурсивных связей, зато иметь преимущество в плане их «репертуара».

Примерами послужат два стихотворения О.Э. Мандельштама. Вот первое:

1.
Мы напряженного молчанья не выносим –
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: просим!

2.
Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо:
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье – суета и слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима.

3.
О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

С интересующей нас точки зрения, главное «открытие» в этих стихах вполне традиционным образом совершается в конце, в последней строке: здесь обнаруживается, что все выдуманное Эдгаром По и услышанное автором никуда не исчезло, что оно и доныне с автором пребывает, только сгущенное в простой символ шарфа-удавки.

Нетрудно убедиться, что такое членение этих стихов прямо спроецировано на их дискурсивную структуру.

В какие связи вступает здесь первая строка, *Мы напряженного молчанья не выносим?* Во-первых, следующая, *Несовершенство душ обидно, наконец!*, ее поясняет, указывает на причину, почему молчание невыносимо; во-вторых, эта же строка, вероятно, ее и детализирует, говорит, фигурально выражаясь, о том, «каким образом» люди не выносят молчания (испытывая во время молчания чувство обиды). В-третьих, начальная строка указывает еще и на причину, почему же «объявился чтец» и почему его «радостно приветствовали».

Таким образом, если говорить не о числе дискурсивных связей, а о их качестве, их содержании, то связей у начальной строки три: пояснительная, причинно-следственная и детализационная. Поскольку, впрочем, пояснительная и причинно-следственная

связи по своей природе весьма близки (вся разница в том, указано ли сперва на следствие, а потом на причину или же наоборот), то в сущности связи только *две*.

Разумеется, все сказанное относится и к дискурсивным связям, в которые вступает вторая строка, *Несовершенство душ обидно, наконец!*: здесь есть пояснение, детализация (к первой строке) и причинно-следственная связь со строками 3 и 4.

Третья строка, *И в замешательстве уж объявился чтец*, относится к первой и второй как следствие, а к четвертой, *И радостно его приветствовали: просим!*, как начало нарративного ряда к его продолжению, так что и здесь связей с точки зрения их «качества» две. Две их окажется и в том случае, если признать связь третьей строки со строкой 6, *Кошмарный человек читает «Улялюм»*: ясно, что связь эта, если она есть, тоже нарративная.

Вполне вероятно, что строки 3 и 4 соотносятся друг с другом еще и как причина и следствие, ибо у нас безусловно имеется стереотип вроде «когда появляется чтец (певец, артист), его надлежит приветствовать», однако, поскольку в другую причинно-следственную связь строка 3 уже вступала, «репертуар» ее дискурсивных отношений от этого не обогащается.

Очевидно, все сказанное *mutatis mutandis* приложимо и к строке 4, *И радостно его приветствовали: просим!*, чьи связи также ограничиваются каузальной и нарративной.

Строка 5, *Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо*, не вступает ни с одной пропозицией в строках 1-4 ни в какие ясные отношения, и говорить тут можно разве что о так называемом продолжении (континуации; см. о ней выше, в п. 2.1), текстовой связи, которая по сути лишена собственного содержания, тривиальна, ибо устанавливать ее мы имеем право всюду, где в какой-то связи есть потребность, но не удается усмотреть никакое более специфическое смысловое сопряжение, и потому учитываться здесь такая связь не должна. Отношение строки 5 к строке 6, *Кошмарный человек читает «Улялюм»*, более определенное: последняя пятую строку и детализирует (уточняется, кто же именно незримо присутствовал), и поясняет (поясняет, почему у автора возникло ощущение чьего-то незримого присутствия).

Строки 7-8, *Значенье – суета и слово – только шум, Когда фонетика – служанка серафима*, возможно, уточняют, как происходило чтение, и, возможно, поясняют, почему чтец был «кошмарным» и/или почему читал он именно «Улялюм»; здесь текст не слишком прозрачен и допускает весьма свободную интерпретацию, однако

в любом случае качественно различных дискурсивных связей едва ли может быть больше двух (детализация и пояснение).

Очевидно, в детализационное отношение с предтекстом входят и строка 9, *О доме Эшеров Эдгара пела арфа*, и строка 10, *Безумный воду пил, очнулся и умолк*, части которой ('безумный пил воду', 'безумный очнулся', 'безумный умолк') между собой дополнительно связаны еще по нарративному принципу.

Наконец, в строке 11, *Я был на улице. Свистел осенний шелк*, вторая фраза детализирует первую.

Рассмотрим теперь, в какие же текстовые отношения вступает последняя, дискурсивно первоплановая, «фокусная» строка, *И горло греет шелк щекочущего шарфа*.

Что касается ее связей с пропозицией *Свистел осенний шелк*, то здесь есть и параллелизм, и контраст. Параллельны, схожи две конструкции в том, что в обоих случаях речь о *шелке*, что *шелк* в обоих случаях подлежащее, что сказуемым в обоих случаях является глагол в личной форме, что в обоих случаях у подлежащего *шелк* есть определение, хоть и по-разному выраженное (в одном случае согласованным прилагательным *осенний*, в другом примыкающей именной группой *щекочущего шарфа*). Кроме того, умирание, на которое намекает фраза *Свистел осенний шелк*, и та «сохранность», неизбытость пережитого ужаса, которая угадывается из финального *И горло греет шелк щекочущего шарфа*, делают эти конструкции параллельными еще и на уровне их импликатур.

Контраст между двумя конструкциями (который, конечно, становится только более явственным ввиду их параллелизма) связан прежде всего с тем, что они принадлежат разным и резко противопоставленным в данном контексте временным планам: первая плану прошлого, тому же, на котором происходило чтение и переживались автором описанные у Эдгара По трагические события, а вторая – настоящему, которое, казалось бы, с этим прошлым не должно уже иметь ничего общего, но, как выясняется, по-прежнему носит на себе его печать.

Далее, и с пропозицией *Я был на улице*, и с пропозицией *Свистел осенний шелк* последняя строка, *И горло греет шелк щекочущего шарфа*, входит в отношения типа «раньше – позднее», то есть в отношения нарративные. Вполне вероятно, что шарф был надет уже в прошлом, уже тогда, когда автор *только выходил* на улицу (см. чуть ниже), однако если у последней строки грамматическое время не прошедшее, а настоящее, то, значит, та или иная

степень временной разобщенности здесь тоже очень существенна, так что элемент наррации здесь несомненен.[1] С другой стороны, коль скоро *de facto* шарф, по всей видимости, был повязан во время выхода на улицу, то между фразой *Я был на улице* и смыслом 'я был в шарфе', который угадывается из *И горло греет шелк щекочущего шарфа*, устанавливаются еще и отношения детализации.

Помимо этого, если кто-то повязывает шарф, то делает это обычно *именно потому*, что идет на улицу, где холодно, ветрено и т.д. Поэтому и с фразой *Я был на улице*, и, хотя и в чуть меньшей степени, с фразой *Свистел осенний шелк* (=> 'скорее всего был ветер') сказанное в последней строке может соотноситься еще и как следствие с причиной.

В итоге наших наблюдений становится ясно, что конструкция *Я был на улице* вступает в три типа дискурсивной связи (детализационная, нарративная, причинно-следственная), конструкция *Свистел осенний шелк* в пять типов связи (детализационная, нарративная, причинно-следственная связь, параллелизм, контраст), и в те же самые пять типов связи вступает последняя строка.

Иными словами, если в эмпирической части стихотворения, в строках 1-11, ни одна пропозиция, кроме последней, не вступает в дискурсивные связи более чем трех разновидностей (а чаще этих разновидностей даже две: см. выше), то у заключительной, «фокусной» строки 12 этих разновидностей целых *пять*.

Правда, пять их, как только что было сказано, и у предваряющего ее явно еще не «фокусного», а «эмпирического» полустрочия *Свистел осенний шелк*, но это можно трактовать просто как неизбежную и не слишком высокую плату за обогащение дискурсивных связей последней строки параллелизмом и контрастом – сразу двумя отношениями, которые вдобавок нигде прежде в тексте не устанавливались и оттого их присутствие в финале должно быть особенно осязаемым.

1 Понятно, что это не та каноническая наррация, в которой друг друга сменяют *события*: здесь оба предиката стативны. Кроме того, происходящая тут альтернация прошедшего и настоящего времени выглядит немного странно, порождая даже слегка сюрреалистический эффект (на улице автор был в прошлом, а шарф в том или ином, вероятно, символическом, смысле не снят и поныне), но углубляться в эту тему мы не будем: принципиально, что с чисто лингвистической точки зрения *всякая* рядоположенность, «разверстанность» (хоть сколько-нибудь тематически связанных, конечно) ситуаций во времени может квалифицироваться как наррация; см. особенно [Asher, Lascarides 2003].

Общий вывод из всего изложенного таков, что в стихотворении «Мы напряженного молчанья не выносим...» фокус, «открытие» маркируется богатым *содержательным разнообразием* его дискурсивных связей.

2.8. Пример 5

Несколько иной поворот этой же темы проиллюстрируем другим стихотворением О.Э. Мандельштама:

1.
В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка,
Монахи выпили вино.

2.
На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.

3.
На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок:

4.
Он осыпается с телеги –
Не хватит на мешки рогож, –
И, недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь!

Напомним сначала то, о чем уже выше говорилось. Поскольку фокус, «открытие» в лирическом стихотворении подготавливается его эмпирической частью и представляет собой своеобразный интеллектуальный и/или эмоциональный итог авторского переживания и поскольку этот итог, тривиальным образом, есть самое важное в стихотворении, а наиболее сильной позицией в стихах является финальная, постольку именно финальную позицию фокус в наиболее прототипическом случае и должен занимать.

Чем, однако, очевиднее и тверже это правило, тем интереснее исключения из него, а таким исключением как раз и являются приведенные стихи.

Претендовать на роль фокуса, главного обобщения тут в первую очередь способен фрагмент *У вечности ворует всякий, А вечность – как морской песок: Он осыпается с телеги – Не хватит на мешки рогож…*, а заключительные строки, *И, недовольный, о ночлеге Монах рассказывает ложь!*, явным образом возвращают нас в «эмпирику».

Трудно не спросить, чему же служит столь необычная и почти наверняка требующая какого-то «оправдания» композиционная фигура.

Представим себе, что двух последних строк в стихотворении нет, и подумаем, в какие дискурсивные связи вступал бы только что указанный фокус. Ясно, что связи эти детализационные: все, что описано выше (игра и пиршество воровской шайки, спор между химерами и проч.), суть иллюстрации к общему тезису «всякий берет от вечности, а брать можно без конца».

В такие же отношения с фокусом вступают как будто и финальные две строки, однако это еще не все. Когда кто-то играет в домино, ест, спорит, когда проповедник созывает народ, возятся собаки, меняла утром открывает лавку, мы обычно вполне готовы воспринимать это как нормальные, рутинные действия и не спрашивать, *почему* они совершаются. Иначе дело обстоит с ложью. Вспомним, сколь последовательно не только в русской, но и в иных самых разных культурах порицаются, считаются ненормальными *ложь*, *обман*, *хитрость*, *двуличие*, *лицемерие*, *неискренность*, *лукавство*, и проч., и проч. Поэтому когда человек лжет, более чем естественно задаться вопросом, *почему* или *зачем*. В таком случае дискурсивная связь между финальными двумя строками и фокусом рассматриваемого стихотворения становится не только детализационной, но еще и причинно-следственной (данная ложь объясняется повсеместным воровством у вечности) – чем обогащается содержательное разнообразие присущих фокусу дискурсивных отношений и одновременно «оправдывается» появление эмпирического фрагмента в постпозиции к фокусу.

3. Вместо заключения

Заканчивая эти заметки, едва ли можно обойти один вопрос, над которым по ходу нашего изложения почти наверняка уже за-

думывался внимательный читатель. Если «открытие» совершается в лирическом стихотворении как правило ближе к концу, чаще всего в последней строке, двух или трех-четырех строках, то зачем же нужно специальными средствами этот фокус маркировать, коль скоро он и так хорошо «заметен» в подавляющем большинстве случаев?

В кратком виде ответ следующий: деление стихотворения на эмпирическую часть и «открытие», «постижение истины» представляет собой, в свете анализа, предложенного Т.И. Сильман, самую главную, основополагающую «дихотомию» лирического жанра, а наиболее важные структурные свойства стихотворения, безотносительно к читательскому «удобству», имеют вполне объяснимую тенденцию проявляться не только на поверхностном, «феноменологическом» уровне текста, но еще и иконически «проецироваться» в глубинные пласты его структуры.

По сути дела, тут мы имеем дело все с тем же принципом повтора, который Р.О. Якобсон считал главным организующим началом поэзии (см., например, [Якобсон 1987]). Правда, по Р.О. Якобсону, повторяющиеся элементы должны быть «разверстаны» на синтагматической оси, один предшествовать другому, другой же за первым следовать: вспомним хотя бы о таких приемах, как рифма, аллитерация или ритмическое подобие фрагментов, – а в данном случае «взаимоотраженность» касается таких элементов дискурса, которые, так сказать, лежат в разных плоскостях и свойством синтагматической взаимонезависмости, по крайней мере в целом, не обладают; но все-таки по сути перед нами все тот же *повтор*.

В книге [Зельдович 2015] мы стремились показать, что часто, особенно в наиболее выдающихся стихотворениях, структура дискурсивных связей вступает в иконическое соответствие с более или менее прямо явленным общим замыслом текста, с его, грубо говоря, «главной мыслью». Например, в мандельштамовском «Ламарке», несмотря на его как будто бросающуюся в глаза «балладность», нарративность, на самом деле наррация не только развивается, но еще и тонкими многообразными способами затушевывается, как бы денонсируется – что, конечно же, иконически соотносится со столь важным тут мотивом деградации, попятного движения. В чем-то аналогичным образом, в «Концерте на вокзале» есть как бы робкие намеки на нарративность, которая всякий раз «захлебывается», остается неосуществленной – то есть остается неосуществленной некая поступательность, некое открытие будущего, в полном согласии с общим мрачным, «поминальным» колоритом стихотворения.

У Б.Л. Пастернака в «Никого не будет в доме...» дискурсивные связи последовательно движутся от наименее прототипических к все более прототипическим, «естественным», и это движение совпадает с движением авторского взгляда от неодушевленных предметов и явлений к его возлюбленной (вспомним, что вообще у Пастернака любовь пребывает в самой «природе вещей», так что между «безусильностью» дискурсивных связей и существом любви возникает своеобразная «смысловая рифма»).

Уже из этих примеров видно, что в принципе взаимоподобие разноранговых элементов текста в лирической поэзии и вполне возможно, и заслуживает самого пристального внимания.

Именно с таким подобием мы и имеем дело там, где содержательное, семантическое и близкое к поверхности различие между эмпирическими фрагментами стихотворения и его главным «выводом» дополнительно маркируется на уровне дискурсивных связей.

Литература

Зельдович Г.М. 1998 – О типах семантической информации: слабые смыслы // Известия РАН. Серия лит. и яз. 1998. Т. 57. N 2. С. 27-37.

Зельдович Г.М. 2015 – О дискурсивных отношениях в лирической поэзии. Вена. (В печати).

Кибрик А.А. 2008 – Финитность и дискурсивная функция клаузы (на примере карачаево-балкарского языка) // Грамматические категории в дискурсе. М., 2008. С. 131-166.

Сильман Т.И. 1977 – Заметки о лирике. Л., 1977.

Тюпа В.И. 2010 – Драма как тип высказывания // Новый филологический вестник. N 3 (14). М., 2010. С. 7-16.

Якобсон Р. 1987 – Грамматический параллелизм и его русские аспекты // Р. Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987. С. 99-132.

Ackerman F., Moore J. 2001 – Proto-Properties and Grammatical Encoding: A Correspondence Theory of Argument Selection. Stanford, 2001.

Asher N., Lascarides A. 2003 – Logics of Conversation, Cambridge, 2003.

Bogusławski A. 1977 – Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences. Warszawa, 1977.

Carston R. 2002 – Thoughts and Utterances. The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford, 2002.

Croft W. 1991 – Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information. Chicago, 1991.

Dowty D. 1991 – Thematic proto-roles and argument selection // Language. 1991. Vol. 67. N 3. P. 547–619.

Erteschik-Shir N. 2007 – Information Structure. Oxford, 2007.

Fleischman S. 1990 – Tense and Narrativity: From Medieval Performance to Modern Fiction. Austin, 1990.

Gernsbacher M.A., Hargreaves D. 1992 – The privilege of primacy: experimental data and cognitive explanations // Payne D.L. (ed.). Pragmatics of Word Order Flexibility. Amsterdam/Philadelphia, 1992. P. 83-116.

Givón T. 2005 – Context as Other Minds. Amsterdam, 2005.

Hopper P. 1979 – Aspect and foregrounding in discourse // Givón T. (ed.). Discourse and Syntax. Syntax and Semantics. Vol. 12. N.Y., etc., 1979. P. 213-241.

Hopper P., Thompson S. 1980 – Transitivity in grammar and discourse // Language. 1980. Vol. 56. P. 251-299.

Hopper P., Thompson S. (eds.). 1982 – Studies in Transitivity. Syntax and Semantics. Vol. 15. N.Y., etc., 1982.

Jasinskaja E., 2009 – Pragmatics and Prosody of Implicit Discourse Relations. Dissertation. Tübingen, 2009.

Leech G.N. 1969 – A Linguistic Guide to English Poetry. London, 1969.

Levin B., Rappaport Hovav M. 2005 – Argument Realization. Cambridge, 2005.

Manin D. 2012 – The right word in the left place // Scientific Study of Literature. 2012. Vol. 2. N. 2. P. 273-300.

Mann W., Thompson S. 1988 – Rhetorical structure theory: Towards a functional theory of text organization // Text. 1988. Vol. 8. N. 3. P. 243-281.

Myhill J. 1992 – Word order and temporal sequencing // Payne D.L. (ed.). Pragmatics of Word Order Flexibility. Amsterdam/Philadelphia, 1992. P. 265-278.

Nicholas N. 1994 – Problems in the Application of Rhetorical Structure Theory to Text Generation. Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the M. Eng. Sc. (Cognitive Science) Degree. Melbourne, 1994.

Nofal K.H. 2011 – Syntactic Aspects of Poetry: A Pragmatic Perspective // International Journal of Business and Social Science. Vol. 2. N 16. September 2011. P. 47-63.

Sequeiros X.R. Discourse relations, coherence and temporal relations // Harris J. (ed.) UCL Working Papers in Linguistics 7, 1995. P. 177-195.

Shen Y. 1985 – On importance hierarchy and evaluation devices in narrative texts // Poetics Today. N 6/4. P. 681-698.

Shen Y. 2007 – Foregrounding in poetic discourse: between deviation and cognitive constraints // Language and Literature. 2007. Vol. 16. N 2. P. 169-181.

Shen Y. 2008 – Metaphor and poetic figures // Gibbs R.W., jr. (ed.). The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge, 2008. P. 295-308.

Sperber D., Wilson D. 1995 – Relevance: Communication and Cognition. London, 1995.

Stede M. 2008 – RST revisited: disentangling nuclearity // Fabricius-Hansen C. (ed.). 'Subordination' versus 'Coordination' in Sentence and Text. Amsterdam, 2008. P. 33-58.

Vallduví E. 1992 – The Informational Component. New York, London, 1992.

Wolf F., Gibson E. 2005 – Representing discourse coherence: A corpus-based analysis // Computational Linguistics. 2005. Vol. 31. N. 2. P. 249-287.

Yokoyama O. 1986 – Discourse and word order. Amsterdam, 1986.

Содержание

От редактора 3

Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет

Сергей Александровский 7
Вероника Афанасьева 11
Ольга Шенфельд 18
Ирина Валерина 25
Юрий Лукач 33
Олег Комков 41
Алёна Бабанская 48
Айдын Ханмагомедов 56
Майя Шварцман 62
Ярослава Широкова 71
Валерий Носарев 77
Елена Цыганова 85
Игорь Вельгач 93
Николай Рябеченков 102
Александр Шапиро 110
Ярослав Старцев 118
Елена Тверская 123
Михаэль Шерб 130

Не рифмой единой

Андрей Кротков. ЗАПИСКИ ЛАЗАРЯ 135
Кирилл Малянтович. РУССКАЯ ОДИССЕЯ
(Публ. А. Кроткова) 165
Сергей Смирнов. ПЁСЬЯ ДЕНЬГА 197
ПОСЛЕДНИЙ ОРДЕН 203
Раиса Шиллимат. ДОЛГИ НОЧИ – БЕЛЫ СНЕ́ГИ 211
Лилия Александровская. ДВЕ ГРАЦИИ 219
Сергей Кузнечихин. САНИТАРНЫЙ ВАРИАНТ, или
СЕДЬМАЯ ЖЕНА ПОЭТА ЕСЕНИНА 231

Наталья Солнцева. БУСИНА ОТ ШАМАНКИ 282
THE SHAMAN'S BEAD by Natalya Solntseva
(*Пер. Галины Вельгач*) 288
Алан Черчесов. ПАЛЕЦ В РАНЕ. Рассказ.....294
Ион Деген. ВСТРЕЧА НА МЁРТВОМ МОРЕ.....303

Век перевода

Сергей Александровский.....309
Мануэль-Хусто де Рубалькава (1769–1806)
Мигель де Унамуно (1864–1936)
Вера Хорват 314
Марина Цветаева (1892–1941). *Перевод на сербский*
Ольга Маркелова 318
Стихотворения и автоперевод на исландский
Ярослав Старцев.....324
Оскар Уайлд (1854–1900)

Школа злословия

Дмитрий Смирнов-Садовский 333
«СТРАНСТВИЕ» ВИКТОРА ТОПОРОВА. *Эссе*
Александр Кузьменков. КИБЕРПАНК В ПОИСКАХ САТОРИ
(В. Пелевин, «Любовь к трем цукербринам»;
М., «Эксмо», 2014).....339
ЕДИН В ТРЕХ ЛИЦАХ (О М. Веллере) 343

Свободной композиции игра

Евгений Витковский. АПОСТЕРИОРИ (*Окончание*).....351
Василий Молодяков. ДЖОРДЖ СИЛЬВЕСТР ВИРЕК
(Глава из будущей «Истории литературы США») 373

Сергей Слепухин. КАНДИНСКИЙ. ШАМАНСКИЙ БУБЕН 405
Тамби Уру. ИРЬЯ ХИИВА И ВОЛШЕБНАЯ МЕЛЬНИЦА САМПО 427
Геннадий Зельдович. О ДИСКУРСИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ В ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ. Заметки лингвиста.....456

С48 Слова, слова, слова: Литературный альманах. 2015. № 2. – Чикаго; М.: Водолей, 2015. – 504 с.

ISBN-13: 978-1519601889
ISBN-10: 1519601883

Литературно-художественный альманах «Слова, слова, слова» (Чикаго–Москва) – независимое издание, выходящее на средства тех, кому небезразлична судьба русской культуры. Альманах содержит разделы поэзии, прозы, поэтического перевода, критики, эссеистики и философии. Наряду с современными авторами в книге представлены страницы литературного наследия К. Малянтовича.

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

Слова, слова, слова

Литературный альманах. 2015. № 2

Технический редактор *А. Ильина*
Корректор *Н. Федотова*

Подписано в печать 15.03.14. Формат 60x90/16
Бумага офсетная. Гарнитура Constantia
Печать цифровая. Печ. л. 31.5. Заказ №

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: http://www.vodoleybooks.ru
E-mail: info@vodoleybooks.ru

ФГУП Издательство «Известия» Управления делами
Президента Российской Федерации
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6.
Контактные телефоны: 650-38-80
http://izv.ru

Книги издательства «Водолей»
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

ГУП «ОЦ»Московский Дом книги»
119019, Москва, ул. Н.Арбат,7
тел. (495) 789-35-91

ТД «Библио-Глобус»
101990, Москва, ул. Мясницкая, 6\3, стр. 1
тел. (495) 781-19-00

Дом книги «Молодая гвардия»
119180, Москва, ул. Б. Полянка, 28, стр. 1
тел. (495) 238-00-32

ТДК «Москва»
125009, Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1
тел. (495) 629-73-55, (495) 629-64-83

Галерея книги «НИНА»
Москва, ул. Волхонка, 18 / 2
тел. (495) 201-36-45

Книжный магазин «Русское зарубежье»
109240, Москва, ул. Н.Радищевская,2
тел. (495) 915-00-83, (495) 915-27-97

Книжный магазин «Фаланстер»
109012, Москва, М. Гнездниковский пер.,12\27
тел. (495) 749-57-21

Оптовая торговля: ООО «КнАрт»
E-mail: knarttd@mail.ru тел. 8-916-119-67-20

12+